



НЕВА 12

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Борис ХОСИД

Стихи • 3

Наталья ГВЕЛЕСИАНИ

Мой маленький Советский Союз. *Роман* • 6

Елена ШОСТАК

Стихи • 90

Павел ВЯЛКОВ

Нестор. *Рассказ. Посвящается девятистолетнему юбилею первой русской летописи* • 96

Геннадий МОРОЗОВ

Стихи • 114

Елена ТЮГАЕВА

Всемогущий поезд. *Рассказ* • 118

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Лев АННИНСКИЙ

Разум и смысл. *Читая публицистику Льва Толстого* • 128

Феликс ЛУРЬЕ

Окаянный пасквиль • 162

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Pro et contra. Юлия Щербинина. Писательский стол как гинекологическое кресло. *Литература в зеркале перинатальной метафоры. Эпоха и образы.* Лев Бердников. Два лика императрицы. *Елизавета Петровна и евреи. Путь к читателю.* Ольга Глазунова. О толерантности и терпимости. **Рецензии.** *Ирина Чайковская.*

Хроника объявленной смерти. *Елена Игнатова*. «Книга с местом для свиданий». *Алла Марзенко*. Куда ж нам плыть... **Пилигрим**. Архимандрит Августин (Никитин). Голландские символы. **Дом Зингера**. Подготовка публикации *Елены Зиновьевой* • 231–250

Содержание журнала «Нева» за 2013 год • 251

*Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации
Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена
Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9)
Рукописи не возвращаются и не рецензируются*

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Наталья ЛАМОНТ
(ответственный секретарь,
коммерческий директор)

Александр МЕЛИХОВ
(зам. главного редактора)

Маргарита РАЙЦИНА
(контент-редактор)

Ольга МАЛЫШКИНА
(шеф-редактор молодежных проектов)

Игорь СУХИХ
(шеф-редактор гуманитарных проектов)

Елена ЗИНОВЬЕВА
(редактор-библиограф)

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **М. Райценой, Л. Жуковой**

Борис ХОСИД

* * *

Два миража, два города во мне —
Санкт-Петербург и Иерусалим.
Один — кристалл, мерцающий во мгле,
Болотами, как ватой, храним,

Другой же — камень, что Господь вложил
В пустыни отвердевшую ладонь.
По улицам его — сплетенью жил —
Христос нес скрытой истины огонь.

Три тыщи лет оттуда кровь моя
Текла к Неве сквозь время и сердца.
Две формы вечности и бытия,
Два города во мне — дары Творца.

* * *

Бахрома березовой аллеи
Виснет вдоль Приморского шоссе.
Я по ней, жену свою жалея,
С псом гуляю утром в полусне.

Часто я мужчину в красной куртке
Вижу с пивом в мерзнувшей руке.
У канавки, где пасутся утки,
Он приметней шрама на щеке.

Смотрит, как растет через дорогу
Новый дом за этажом этаж.
Там рабочих не видали сроду —
Сам поднялся, словно на дрожжах.

Общее есть в стройках и в руинах —
Те и те пугающе пусты.
Прошлого счастливые картины
Можно в окна новые внести.

Борис Владимирович Хосид родился в 1962 году в Ленинграде. В 1984 году окончил Финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского. В советское время работал по специальности. С 1991-го по 2005 год занимался бизнесом. В настоящее время оператор газовой котельной. Публиковался в поэтическом сборнике «Петербургский квадрат», в альманахах «Рог Борей», «Дорога», в журналах «Окно», «Петербург», «Царскосельская лира», «Нева» и др.

Помечтает незнакомец. Водки
Купит по пути к себе домой.
Разве в однокомнатной коробке
Сгладить угол? Только в черепной.

Утром выйдет с пивом на аллею.
Бросит взгляд белесый на меня.
Так бывает, что глаза седеют.
Говорят, нет дыма без огня.

ПОСЛЕДНИЕ ПРОГУЛКИ

Я должен эту осень вставить в раму,
Навек повесить в память, как в музей.
Сияние такое, словно в храме,
Горят деревья в тысячи свечей.

Доходим до скамьи — и отдыхаем.
Отец хлебнет из фляжки самогон...
Дай, Господи, дожить ему до мая,
На даче лето сам протянет он.

С отцом гуляем часто мы по парку,
Пьем свет осенний, как остывший чай.
Кружат соринки чаек над заваркой,
Залив ест берег в форме калача.

Я каждый миг сейчас запоминаю
С тем, чтоб, когда отец уже уйдет,
Восстановить картину: вот он с краю
Сидит и говорит про свой завод.

БУЛЫЖНИК

Вобрал он тайны бытия
Неорганического мира
И видел дальние края,
Моря времен, поля эфира.

Под тонкой кожей — серый мозг,
И в нем проскакивают искры.
Я попадаю под гипноз,
На камень глядя, как на сфинкса.

КАРЛОВЫ ВАРЫ

Елене Жабинковской

Карловы Вары — игрушечный город,
Если б не вырос случайно в объеме,
Гномы, и тролли, и прочая молодежь
В нем бы гуляли, как я, в полудреме.

Сказочно здесь поправляют здоровье,
Употребляя лишь мертвую воду,
Что из источников теплою кровью
В кружки стекает из чрева природы.

Гейзер взметнулся тропическим стеблем,
От непогоды укрытый кувшином.
Из развлечений — прогулки вдоль Теплы
Или хождение по магазинам.

Я подымался по стежкам-дорожкам
К символу города — серне летящей,
С края отвесного не понарошку
Прыгнувшей вверх, за собою манящей.

Лену, что стала моей половиной
Годы спустя, окрестил олененком,
Имя и внешность связав воедино
С образом серны в воздухе звонком.

Ненастоящие Карловы Вары,
Вас полюбил за прообраз супруги,
А не за ваши земные отвары,
Что не мои исцеляют недуги.

* * *

В юности меня тянуло
Во Владимирский собор.
В нем сквозь тело вечность дула,
Как сквозь сетчатый забор.

Между куполом и полом
Словно плавала душа,
И покой безбрежный полный
Окружал ее, дыша.

Драгоценные мгновенья...
Милость малым дарит Бог.
Так меня Он до крещенья
Вел по лучшей из дорог.

* * *

Неподвижное солнце любви.

Вл. Соловьев

Отчего мы так разобщены?
Равнодушны к другу и врагу...
За собой не ведая вины,
Связи рвем, как связки на бегу.

Между нами нарастает лед,
Властвует естественный отбор.
«Человек на полюсе живет», —
Так сказал маститый режиссер.

А кому на севере нужны
Загнанные лошади в крови?
Но и там заглядывает в сны
Солнце неподвижное любви.

Наталья ГВЕЛЕСИАНИ

МОЙ МАЛЕНЬКИЙ Советский Союз

Роман

Часть первая

1

— Нет, шорты сегодня лучше не надевать, — говорит мать, стоя ко мне спиной и, словно ожидая подтверждения сказанному, вытягивает руку за перила балкона и скептически всматривается в небо, — Наденешь брюки — свежо. А то будешь потом кашлять на моих нервах.

Что значит — наденешь? Мне, ясное дело, до лампочки, брюки там на мне или шорты, но что означает этот повелительный тон? Выудив из сетки сплюснутую, как юла, сине-красную луковицу, я отправляю ее в полет над озабоченным воробьем, который, прикорнув на нашей веревке для белья, слишком уж откровенно — подчеркнуто откровенно — чистит свои перья, навевая на мать хмурые представления о погоде.

Я бегу в прихожую, нащупываю впотьмах сандалии. Мать набегает из зала, словно сила и ее перенесла на ковре-самолете из лоджии в спальню, откуда она уже несет охапкой какую-то подхваченную на лету одежду.

— Померяй-ка вот эти. И кофту не забудь... — повторяет она впопыхах, размахивая перед моим лицом широкими оранжевыми брюками и красной шерстяной кофтой в крапинку.

Я выхватываю кофту, комкаю ее и отбрасываю прочь.

— Опять тетя из Магадана прислала?

— При чем здесь Магадан? Тетя Света покупает в военторге все самое модное.

— Ты пойми: тетя Света живет в Магадане, а я — в Тбилиси. В Тби-ли-си!..

Как ни в чем не бывало мать поднимает кофту с пола и вновь подбирается ко мне, выставив вперед приспущенным флагом оранжевые брюки.

— А это еще что за Африка?! — кричу я возмущенно.

При этом я незаметно отступаю к двери.

— Самый модный цвет в этом сезоне. Сейчас все девочки в таких ходят, — говорит мать, не моргнув. И вдруг небрежно добавляет поскучевшим голосом: — Хотя, если хочешь, можешь надеть свои вечные синие брюки.

Наталья Александровна Гвелесиани — литератор — окончила филологический факультет Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили, автор книги «Путь неприкаянной души: О Марине Цветаевой и не только» (Ставрополь: Ставролит, 2012), статей и художественной прозы («Новый журнал», «Футурум АРТ», «Новая реальность», «Архетипические исследования», «Русская жизнь»). Лауреат литературной премии им. Марка Алданова (за повесть «Уходящие тихо» — Новый журнал. 2007. № 247). В канадском издательстве «Altaspera Publishing» готовится к печати сборник прозы автора. Живет в г. Тбилиси (Грузия).

Машинально просунув руки в накиннутую мне на плечи кофту, я надеваю узкие и порядком протертые синие брюки и выскакиваю на лестницу.

— Кепочку вот еще возьми! Правда, девочки у нас такие не носят...

Раз девочки такие не носят, значит, буду носить.

Этажом ниже меня осаживает на бегу меткий, привязчивый запах. Он змеисто струится из приоткрытой двери. Дверь на цепочке. Взявшись рукой за цепочку, я слегка пошатываю ее, блаженно принохиваюсь, прикрываю глаза. Хочется петь, лепетать какие-то звуки, в голову лезет вздор. Время как отвязалось и течет себе вдаль... Но вдруг нас соединяет с ним — моментальная молния. Это внезапная тетя Надя положила мне на руку свои холодные пальцы.

— Хочешь пирожок? — спрашивает она таинственным шепотом. И протягивает, не снимая цепочки, тарелку с горкой из пышущих душистым ароматом пирожков, что это — почти смертельно для меня.

— Хочу, — говорю я хмуро и моментально беру один.

И без всякого «спасибо», сбежав без дальнейших объяснений на два этажа вниз, без всякого удовольствия проглатываю его. И, немного подумав, возвращаюсь назад. Кладу руку на цепочку. Стучу в дверь.

— А можно еще?

— Бери-бери, деточка. Кушай на здоровье.

Этот второй я съедаю неспешно — во весь свой степенный путь до подъезда, за который успеваю изучить последние надписи на стенах и добавить мелом свою. У меня — огненный живот, потому что пирожки с густо проперченной картофельной начинкой — тоже огненные. И язык у меня огненный, и мысли. И весь обведенный, обхваченный этими мыслями двор — тоже огненный.

Я вхожу, выступив из подъезда прямо в огненный шар. Это солнце в оранжевых брюках встало прямо напротив, грудь у груди, и мглисто посверкивает, переливаясь, крапинками из туч.

Большой белый корпус с восьмью этажами и тремя подъездами, незримо покачиваясь в синем воздухе, гудит, как пароход перед отправкой из гавани.

А может — это поезд с синими окнами. И он бьется о тьму шелестящими крыльями. Поезд — это гусеница на листке ночи. Он едет и спит. Спят все его пассажиры. И только внутри его — шелест и сквожение крыльев... Сквозь него идет проводник с фонарем — наш домоуправ без портфеля дядя Саша. Никто не назначал дядю Сашу управлять домом, но он заходит в корпус тогда, когда все остальные выходят. Все идут на работу, а дядя Саша — уже искупался в Тбилисском море, сделал гимнастику, собрал в кучки мусор, поправил изгородь у саженца виноградной лозы. Потом он тоже уйдет на работу. А на улицу выйдет задумчивый полуслепой дворник, зашуршат колеса авто. И появятся Аэлита, Афруля, Апуля и Аспуля. Они выйдут из среднего подъезда, спустившись по двум ступенькам со своего первого этажа походкой плавной, с высоко поднятыми головами и привычно-напряженными лицами. Они словно всегда ожидают, что сейчас кто-то скажет: «А... смотрите, вон идут Аэлита, Афруля, Апуля и Аспуля». И проводит их долгим насмешливым взглядом. Правда, у самой старшей из четырех сестер — Аэлиты — лицо не столько напряженное, сколько сосредоточенное — на чем-то своем, чему она в самой себе слегка улыбается, и от нее словно струится мягкое синевато-дымчатое сияние. Колышется у нее на груди алым парусом пионерский галстук. Аэлита учится в седьмом классе и шефствует над третьеклассниками — и не только в урочное время. И, наверное, поэтому она иногда повязывает галстук на обычную неформенную блузку и идет по своим делам и заботам — с ясным лицом и спокойной, приветливой улыбкой. И что самое интересное — никто не говорит ей вслед: «Вон — смотрите... пошла. Да еще и с галстуком...»

Чего не скажешь о моей однокласснице Апуле. Смотрит она исподлобья, вид имеет грозный, надменный и одета — как и положено нормальному ребенку — не лучше и не хуже других.

Но другие дети, только взглянув на нее, ядовито спрашивают:

— Апуля, а сколько вас всего? Давай посчитаем: Аэлита, Апуля, Афруля, Аспуля... А когда родится Аполлон?

Стремительно сорвавшись с места, Апуля бросается в гущу разбегающихся обидчиков и, если успеет схватить кого-нибудь за шиворот, награждает его звонкой оплеухой и строго выговаривает, чеканя слова:

— Меня зовут Аппатима. А сестер — Афродита и Аспасия. Это — древнегреческие имена.

Ну, Аппатима так Аппатима. Я не против. И так ее и называю, стараясь спрятать усмешку, которую втайне разделяю со всеми остальными. Кто ж виноват, что родители у сестер — греки. И скучают по своим великим предкам.

Я голосисто распеваю — ведь звуки все равно разбегаются, растворяются, в них не вслушаться с балконов. Красная кофта накинута на плечах, как мундир. Подобрыв припрятанную, выструганную из ветки тополя палку, я срубая ею головки колючек, а иногда и цветков. А к пригорку уже идут друг за дружкой, проводив в школу держащихся за руки Аэлиту и семилетнюю Аспасию, которые учатся, в отличие от нас, в первую смену, Аппатима и Афродита.

Проворно взобрались по склону, встали на обломок бетонной трубы, прошлись по ней раз-другой, как гимнастки, и, разом замерев, сложили руки на груди. Смотрят в упор.

Аппатима надменно произносит с издевкой в голосе:

— Тебе медведь на ухо наступил!

— Знаю, — говорю я беспечно, глупо улыбаясь. — Так у меня же — ни слуха, ни голоса!.. Ну что — может, сходим за абрикосами, пока хозяева дрыхнут?

— Сходим-сходим, — обещает Аппатима, стараясь уклонить от моего лица цепкий взгляд, который тем больше наливается у нее непонятной сердитостью, чем больше я улыбаюсь.

— Только сначала ты нас покатай...

Вот странная просьба.

Мало того, что в наших ежедневных набегах на окрестные сады и огороды я — главное действующее лицо и собиратель, так сказать, репьев и шишек на совесть и репутацию, а они — только у забора подсаживают да на шухере стоят, так их еще и катай!

Но вместо того чтобы возразить, я спрашиваю, продолжая сиять во всю ширь своей большущей улыбки на немного скуластом лице:

— Это как?

— А вот так, — равнодушно говорит Аппатима и выкидывает вперед руки. — Подойди!

Без лишних слов я поворачиваюсь к ней спиной, и она падает на нее коршуном, сцепив руки у меня груди, кричит: «О-го-го!» И мы — скачем, скачем вокруг трубы с вечно молчащей, уныло-спокойной, не в меру упитанной Афродитой, следящей за нами немигающим взглядом, и Аппатима кричит с мгновенно проснувшимся горячечным азартом: «Ого-го! Ого-го! Битый небитого везет, битый небитого везет!»

Потом, устав, мы сваливаемся в заросли колючей травы и, тяжело дыша, нервно хохочем.

Мы сидим на голой земле на некотором расстоянии друг от друга, и Аппатима

удовлетворенно-примирительно поглядывает на меня то с любопытством, то с мерцающим в глубине черных глаз лукавым огоньком.

Потом, отдышавшись, вдруг произносит:

— Слушай, а почему ты такая?..

— Какая?.. — вынуждена спросить я нерешительно.

— Ну... Как тебе сказать... Похожая на Волка из «Ну, погоди!». Заяц столько раз обводил его вокруг пальца, а он все такой же. Сними, кстати, эту дурацкую кепку — не подходит она тебе.

Машинально сорвав кепку, я резко встаю и делаю шаг сама не зная куда, но, словно наткнувшись на преграду, останавливаюсь. По-прежнему улыбаясь сквозь прорезавшуюся изнутри скуку и боль, примирительно говорю:

— А теперь уже можно... за абрикосами?

— Ну, кому что. Кому — покататься, а кому — пожрать. Ладно, пошли. Но только не за абрикосами, а — за игрушками. Есть тут одно местечко...

— За игрушками? А это где такое?

— Да в детском саду, который рядом с нашей школой. Там сейчас ремонт и никого нету — даже строителей. А в одной комнате окно разбилось, и можно туда пробраться и взять мяч или скакалку — их там все равно много, никто и не узнает.

— Ну нет уж! — сказала я, сердито водрузив кепку обратно на голову, — Лучше в мяч пока поиграем. Ну их на фиг — абрикосы и все такое.

— А Афро вчера потеряла наш мяч. Забыла во дворе — и нет больше мячика.

— Я свой спущу — у меня их пять штук. Я — мигом!

— Да стой ты!.. Ну, необязательно же в том детском саду что-то брать. Мы простоходим — посмотреть. Просто проверим, какие там у них ходы-коридоры-сокровища. Как разведчики.

Как разведчики? Это уже интересно. И — меняет дело. Воображение, задетое волшебным словом «разведчики», вспыхивает яркими красками, душа взмывает из пяток ввысь, готовая растечься какой-то смутной мыслью по древу.

— Ладно, — говорю я с деланным безразличием. — Только по-быстрому давайте.

— Только ты нас на спине немного прокати — все будут думать, что это мчится кентавр.

...И когда шумно пыхтящий, тяжеловесный кентавр с плетущейся рядом молчащей Афродитой перемахнул через раму разбитого окна и приземлился в царстве игрушек, лежащих вповалку на грязном, смешанном со следами побелки полу детского садика на ремонте, душа его уже не знала удержу и струилась по странным темным коридорам, ныряя в незапертые комнаты, как затопившая разум стихия.

Мы заходили в кабинеты, которые находили незапертыми, и сидели за большим канцелярским столом, щелкали костяшками на счетах, перебирали ручки и карандаши, переворачивали чернильницы, рисовали рожицы на бланках и плакатах, поднимали трубку телефона и говорили: «Але!» А когда кентавр с шумом и смехом вылетел, как из дыры, обратно — к стоящей на лужайке Афродите, — в руках у него оказался большой полосатый мяч.

— Трофей, — многозначительно сказала державшая его Аппатима, всматриваясь мне в глаза долгим, отсеивающим сомнения взглядом.

2

...Блеснула молния. Большие рваные капли легли на асфальт детской площадки, подмочили кусок мела, которым чертили квадраты для игры в классики и рисова-

ли смешное и страшное. Зашумели, раскачиваясь от порывов полетевшего вверх тормашками, будто сорвавшаяся с земли птица, ветра тополя, растущие стройной рощицей за бордюром поля с баскетбольными щитами, нижняя часть которых служила нам футбольными воротами. И появилась собака.

— Сильвия! — крикнула я, ударив ногой по мячу, и он пружинисто полетел, подскочив несколько раз, к калитке, через которую она намеревалась войти, прокатилась по земле и замер у ее лап.

Гостья, сбавив шаг, кажется, слегка призадумалась, покосившись на наши маячившие вдаль фигурки, над тем, стоит ли быть такой неразборчивой в выборе дороги, но гнет какой-то иной мысли, иных воспоминаний был так тяжел, что она, тут же позабыв о происходящем, проследовала в угол детской площадки и легла там, грустно положив морду на лапы, как воплощение сущего сумрака.

Мы никогда не видели столь грустной собаки.

И не могли понять секрета этой грусти, в которую, казалось, бессильно лился сходящий на нет погожий день.

А потом случился потоп.

Мы с Аппатимой и Афродитой сидели в подъезде, вцепившись в рвущуюся куда-то из мира и себя, практически обезумевшую Сильвию, и содрогались вместе с ней от разрядов грозно стучащего, потрясающего звуковой волной в железные двери подвала самого Зевса-громовержца в колеснице из сабель-молний. Там, в небе, кто-то славный и грозный ловко орудовал белыми саблями молний, время от времени скидывая увесистые громы, которые ударяли в железные двери подвала в глубине подъезда, как в шаманский бубен. Звуковая волна ужасала Сильвию. Сильвия пыталась удрать. Но не тут-то было. Мало того, что ее обхватывали с трех сторон бдительно стерегущие ее несвободу часовые-дети, — сразу же за козырьком подъезда небесная вода вливалась в превратившуюся в реку, кипящую пузырями, дорогу. Река шумно неслась с горы, где располагалась автобусная остановка, откуда, надо полагать, всех пассажиров как смыло. Лишь один пассажир — он был нашим соседом — все-таки доплыл, выпрыгнув почти на ходу из смутного очертания чего-то желтого, похожего на утлое суденышко — то был скрытый стеной ливня автобус-«экспресс», — до нашего белого парохода. Чертыхаясь, он проворно взбежал по ступенькам и нажал кнопку тут же открывшегося лифта.

Воспользовавшись случаем, Сильвия, ловко вырвавшись одним сильным пружинистым движением из наших рук, тоже заскочила в лифт. Там она забилась в угол и отказалась из него выходить, как мы, вчетвером, ее ни выманивали... По-прежнему чертыхаясь, сосед пошел пешком, а Сильвия так и осталась сидеть в лифте. Двери открывались и закрывались, приходили и уходили, бурча или тоже чертыхаясь, другие соседи, тоже не решаясь составить компанию столь неожиданному попутчику, появлялись и исчезали за двигающимися туда-сюда дверцами куски хлеба и колбасы, доставленные Афродитой из собственного холодильника, уж и гроза отбушевала, уступив место искрящемуся в ряби луж солнышку, и ушла вспять река... А Сильвия со всей силой своего упрямого существа все продолжала жить в лифте. И мы решили: а почему бы и нет?

Надо было только придумать, что делать с другими его потенциальными пассажирами. Но так как столь серьезный вопрос надо было обдумать хорошенько, никуда не спеша, мы пока что — испортили лифт. Сильвию, как все равно не желающую из него выходить, мы оставили внутри. А для того, чтобы лифт не смогли отремонтировать, мы выкрали из лифтерной специальную палочку-выручалочку: стальную, с красиво оплетенной разноцветными проводками рукояткой. Без нее дверцы застрявшего лифта не удалось бы открыть даже лифтеру. Аппатима без

труда вынесла за пазухой этот давно привлекавший наше внимание инструмент из маленькой комнатки в углу корпуса, куда мы иногда заскакивали, чтобы поглядеть на табло с мигающими лампочками, пока лифтер куда-то отлучился.

— Возьми, пожалуйста, мяч и палочку к себе, а то нам нельзя — Аэлига сразу насторожится и начнет расспрашивать, откуда они у нас, — неожиданно ласково сказала Аппатима, улыбаясь краями губ.

— Не проблема, — сказала я небрежно и, завернув трофеи в свою красную кофту, унесла их домой.

Мы твердо верили, что, по крайней мере, до нашего возвращения из школы Сильвии обеспечен сытный и уютный угол в нашем гостеприимном корпусе.

3

В довершение к удачам так счастливо начавшегося дня мамы дома не оказалось. Наверное, засиделась у соседки.

Спрятав мяч и палочку в картонный ящик под письменным столом, где у меня хранились коллекция открыток и наклеек со спичечных коробков, я наскоро переоделась и, подхватив с тарелки бутерброд с маслом и сыром, который сжевала, пока спускалась по лестнице, понеслась в школу.

Высочив на поворот, за которым в поле зрения обозначилось синее и строгое, как форма милиционера, четырехэтажное, тоже похожее на коробку здание с находящимися внутри одинаково одетыми детьми, я резко сбилась на шаг и, пройдя остаток пути сдержанно-напряженной, угловатой походкой, сутулясь, но при этом широко помахивая свободной от портфеля рукой, вошла в вестибюль здания, а потом, поднявшись на второй этаж, в свой класс. Там я прошла к последней парте в первом от двери ряду и, опустившись на нее, погрузилась в молчание. Лицо у меня было непроницаемое, взгляд хмурый и почему-то уже усталый, хотя за несколько минут до того я была весела.

Вокруг было шумно: мои одноклассники непрерывно обменивались знаками внимания, периодически подкрепляя их тумаками и подзатыльниками. Одни бежали, другие ходили, третьи сидя вопили, четвертые гонялись друг за другом... Летали портфели, пеналы, губка для доски. И все это, существовавшее словно за тонким разделительным стеклом, нисколько не трогало меня. Все напоминало преувеличенно-радостную жизнь в клетке зоомагазина выставленных на продажу волнистых попугайчиков: беспечных и неутомных, несмотря ни на что, скачущих с жердочки на жердочку, на все лады голосащих.

— Сделала русский? Дай списать! — сказал мой сосед по парте Деточкин, аккуратно пнув меня в бок локтем — так, чтобы не было больно и обидно, но и чтобы никто тут по рассеянности не забыл, что в случае чего — может быть и больнее.

Вообще-то на самом деле моего соседа по парте звали не Деточкин, а Алик Данилов, и он был, к моему счастью, персонаж достаточно спокойный и миролюбивый, относительно независимый от компанейства, не вмешивающийся в свары и драки. Его посадили со мной за парту еще в нулевом классе — в те годы в Грузии существовала система нулевых классов, с которых начиналось обучение. Далее следовал первый, второй, третий класс. С четвертого же — начальная школа заканчивалась, и, перейдя со второго на третий и четвертый этажи, школьники с тех пор перемещались из кабинета в кабинет с теперь уже разными педагогами, ведущими разные предметы. Таким образом, десятилетка, называясь десятилеткой, была на деле одиннадцатилеткой.

Деточкиным я прозвала своего соседа по парте в честь главного героя рязанов-

ской комедии «Берегись автомобиля». У Алика были такой же, как у него, большой черный пузатый портфель и такая же соломенного цвета прическа, да и глаза — какие-то васильковые. Правда, с Юрием Деточкиным хотелось дружить, а с Аликом — нет.

Говоря по правде, прозвище ему льстило, и он был не против называться Деточкиным. Но только на основе молчаливо соблюдаемого уговора: никто больше, кроме нас двоих, о прозвище знать не должен. А я уговоры обычно не нарушала.

Я без лишних слов выложила перед Даниловым тетрадь по русскому языку, а он отдал мне свою по математике. И мы заскрипели перьями автоматических чернильных ручек, от которых у меня все время были пятна на пальцах.

Тут прозвенел звонок, ничего не изменивший в привычном непорядке вокруг. В класс зашли некоторые бесцельно слонявшиеся в коридоре лица и вбежала и решительно протопала к парте своей отрывистой походкой, стуча каблуками длинных не по ноге туфель, Аппатима.

Потом появилась плавная и величественная Зоя Михайловна — наша первая и единственная, не считая учителей физкультуры и пения, учительница. И провела урок чтения, во время которого тонкое стекло между мною и классом на время растворилось в лучах исходящей от нее простоты. Зоя Михайловна была высокой стройной женщиной лет сорока семи, с большими мягкими васильковыми глазами и красиво уложенными сзади короной густыми белокурыми волосами. Невластная и немногословная, она имела среди нас естественный авторитет благодаря безупречному вкусу во всем и какой-то природной чуткости. В ее присутствии все быстро приходило в лад, а между тем сама она оставалась за гранью придирчивости.

Уроки географии и, особенно, чтения проходили у нее в атмосфере тонкопоэтической, которая так завораживала меня, что слова для ответов с места находились у меня сами собой, и в журнале с отметками напротив моей фамилии всегда стояли пятерки с четверками.

Но — тем больше робости было во мне в ответ на сдержанно-одобрительную улыбку Зои Михайловны, с которой она заносила отметки мне в дневник. Тем больше я вжималась потом в парту, изо всех сил стараясь ни в чем себя и ее не подвести, не уронить этого навеянного неведомо каким ветром доверия.

Вот и в этот день, выплыв в конце урока из тонкой дымки золотой осени, про которую Зоя Михайловна певуче рассказывала стихами Есенина и зарисовками природы из Пришвина и Бунина, я так и осталась где-то еще внутри, еще немного там, с ними, с поэтами и писателями. Тогда как класс, напротив, словно моментально высыпал вместе со звонком — наружу. И у всех тут, снаружи, была душа нараспашку, все смеялись и шутили, тогда как я оставалась серьезной.

Опять пролегла стеклянная грань между мною и классом — такая, какой она бывает, должно быть, в цирке, между преувеличенно яркими, эксцентричными людьми и предметами и каким-нибудь профессором, оказавшимся здесь по случайности.

А ведь я только что была так едина с классом, слушая Зою Михайловну!

Вздохнув, я погрузилась для виду в учебник.

Наружно эта грань обозначалась у меня складкой между бровей, суровым, напряженным выражением лица, опущенным в книгу взглядом.

Я решила не выходить на перемену, просматривая рассеянно этот подвернувшийся под руку учебник, который оказался учебником математики, в которой я ровно ничего не смыслила.

Но большинство, наверное, полагало, что я действительно озабочена уроком. И опасалось нарушить личное пространство столь нешуточно занятого человека.

Не нарушала его и Аппатима, и не только в тот день.

Хотя у нее, как и у меня, друзей в классе не было, мы с ней отчего-то и не смотрели друг на друга, когда находились в школе. Трудно было заподозрить в нас друзей.

Аппатима сидела в том же ряду, что и я, но на две парты впереди, так как была пониже ростом, и сейчас, навалившись всей грудью на парту, почти лежа на ней, быстро списывала откуда-то левой рукой домашнее задание в свою практически вертикально лежащую тетрадь.

За весь школьный день мы с Аппатимой ни разу не подошли друг к другу, и когда прозвенел звонок с последнего урока, я уныло дождалась, когда развернется пробка из истошно торопящихся выбежать одноклассников, и неторопливо вышла последней. Только тогда ощущение нереальности несколько покинуло меня.

Я шла все быстрее и быстрее, и энергия обиды и злости, просачиваясь наружу, все больше захлестывала меня. С какого-то места — кажется, с того самого, когда я ощутила спиной, что здание школы скрылось за поворотом, — я не выдержала и перешла на бег.

Мне нужно было поскорее добежать до лифта, чтобы, выпустив Сильвию, прогнать ее.

Почему-то мне вдруг позарез захотелось прогнать собаку из нашего двора. Мне чудилось, будто она повязала нас с Аппатимой какой-то нехорошей тайной.

Помню, что в этот момент меня коснулось смутное подозрение, что во мне — словно два человека. Один из них, бодрый и бойкий, выйдя из дома, добегают до того самого поворота на школу, а дальше — передает эстафету другому: своей почти что противоположности. И этот противоположный персонаж — тоже я. Но какая из них я — настоящая, понять было невозможно. Поэтому чего уж тут было пенять Аппатиме, которая совершенно искренне не воспринимала этот персонаж номер два. Ведь она привыкла во дворе, где мы проводили большую часть дня, к персонажу номер один.

В лифте, который уже исправно работал, несмотря на украденную нами палочку, Сильвии не оказалось. В нем не было даже ее следов в виде подстилки и миски. Стало совсем грустно. Захотелось снова увидеть эту собаку, прижать ее к себе и не отпускать, сидя рядом до заката солнца. А может, потом и до восхода. Сидеть всю жизнь и не ходить больше ни в школу, ни домой. Просто ездить в лифте. Куда будет приносить еду Аппатима или, лучше, лифтер.

А между тем лифтер, как оказалось, уже разыскивал меня.

Мать с порога объявила делано невозмутимым тоном:

— Приходил лифтер.

— Ну и что? — сказала я тем же тоном.

Пройдя в залу, я покосилась на коробку с моими коллекциями, куда я сунула злополучную палочку — она по-прежнему стояла под столом, задвинутая к самой стенке.

— Как это что? Вы испортили лифт, притащив в него какую-то собаку, да еще и изгадили его. И, кстати, ответь мне, пожалуйста, зачем ты пошла к тете Наде за вторым пирожком? Тебя что — дома не кормят? Надя встретила меня на лестнице и говорит со своей ядовитой улыбкой: «А вашей девочке так понравился мой пирожок, что она ушла, а потом вернулась и попросила второй. Большая она уже у вас». Тут она как в воду глядела — чересчур большая, как я погляжу.

— А зачем же ты общалась до сих пор с тетей Надей, если тебе так не нравится ее улыбка?

— А зачем ты общаешься с Аппатимой? Ведь она тебе не нравится! Не так ли?

Тут, выпалив эту фразу, мать осеклась, увидев, как внезапно побледнело мое лицо. Выждала паузу, видимо, пытаясь про себя что-то понять. Но не смогла. И вкрадчиво закончила своим коронным язвительным тоном:

— Ведь она тебя унижает! Что за дружба такая странная, я никак не пойму.

Я обомлела. Сжала кулаки, чтобы сдержать нахлынувшую ярость. Сейчас я выкрикну в лицо матери какие-нибудь жуткие ругательства — так уже бывало не раз. А может быть, и разобью какую-нибудь вещь. Снова уйду, хлопнув дверью, во двор.

Но мать вовремя метнулась на кухню снимать с плиты сгоревшую сковороду. И уже оттуда крикнула сквозь причитания и обвинения из оперы «И зачем я тебя родила?»:

— И, кстати, верните лифтеру инструмент, который вы сперли. Пока он не обратился в милицию... И поживей!

Тот, кто видел картину Сальвадора Дали про сон за секунду до пробуждения, где в ухо спящему человеку жужжат, трубят и рычат пчела, тигры и слон, поймет состояние, в каком я вытянула из коробки палочку лифтера и, с омерзением бросив на пол, как змею, выскочила на лестницу, крикнув напоследок:

— Да делайте вы что хотите!

Не помню, сколько прошло часов, прежде чем я встретилась с Аппатимой.

Кажется, было уже десять часов вечера. В освещенном фонарями сумраке курсировали редкие прохожие. Звуки их шагов по неровному, присыпанному гравием асфальту казались скрипом и шелестом теней. Эти шаги проваливались, как в обрыв, в торжественный голос диктора Центрального телевидения: кто-то, у кого было открыто окно, включив телевизор на полную катушку, слушал программу «Время». В углу площадки притаились прильнувшие друг к другу сжавшимися тенями старшеклассник и старшеклассница, приходившие сюда в поздний час каждый вечер.

В продолжение этого незадачливого вечера я совершила много славных дел: доставала в овраге из развороченных нор больших зеленых ящериц, впившихся мне челюстями в палец до крови, и играла с ними. Потом я отпустила ящериц, оторвав у них на память — их память — хвосты, а сами хвосты забросила в камыши и открытые окна квартир на первом этаже соседнего корпуса. Дальше я занималась роскошным садом, который вырастил позади того корпуса один офицер запаса, ставший, как поговаривали в народе, куркулем. Я не знала значения слова «куркуль», но огражденный высоким железным забором с колючей проволокой поверху громадный кусок земли с аккуратно подрезанными яблонями и айвовыми и инжировыми деревьями, в центре которого был выложенный голубым кафелем круглый бассейн и росла пальма, взметнувшаяся выше всех трепетно-изысканными крыльями-ветвями, казался среди прочих небрежно вспаханных и огороженных участков каким-то заморским, а следовательно, чужеродным, оправдывающим укоряющие интонации, с которыми произносилось слово «куркуль». И я прошла, воспользовавшись сумерками, по саду куркуля, как татаро-монгольское нашествие: отцепила от забора, чтобы перелезть через него, не только часть проволоки, но и виноградную лозу, а также повыбывала ногой все подпорки из-под прислоненных к ним каких-то неизвестных растений. Заодно я вытряхнула вместе с землей из цветочного горшка зачем-то стоявший здесь, как в учреждении, фикус и бросила его в бассейн, а после принялась ожесточенно срывать крошечные зеленые яблоки и кидать их через забор. Под конец я сорвала приглянувшуюся мне пальмовую ветку, чем-то похожую на хвост павлина, и теперь решительно шагала, помахаяв ею в руке, по направлению к своему подъезду. Но дорогу мне преградила внезапно материализовавшаяся из ниоткуда Аппатима.

— Прогуливаешься? — спросила она не предвещавшим ничего хорошего делано равнодушным, ледяным тоном, чеканя каждый слог.

— А чего тут такого? — машинально ответила я тон в тон, не сбавляя шага. — Некогда мне. Ночь на дворе!

— Получай! — звонко крикнула Аппатима, и позвоночник мне в районе поясницы пронзила запредельная, рушащая все связи с действительностью боль.

Сознание мое на несколько секунд погрузилось в полную темноту, я только молча, бессильно глотала ртом воздух. В этом состоянии я внутренне пыталась дотянуться до сомкнутых стройными рядами кустов в человеческий рост, среди которых притаилась фигурка Аппатимы, и как-то опереться на них.

Потом я оперлась на руку тети Тамары, которая появилась будто из-под земли с фонариком в руке, луч которого полоснул по кустам, обнажив отшатнувшуюся и стремительно унесшуюся в свой подъезд Аппатиму.

После чего тетя Тамара решительно сказала:

— Я так и знала, что это дочь Трифона. Она и моего ребенка сегодня покалечила. Исцарапала, дура такая, моей Регине лицо. Мы с тобой завтра в милицию пойдем.

...И ведь действительно — пошли.

Тете Тамаре — матери двух сестер-погодков Ии и Регины, учившихся с нами в параллельном классе — они жили в моем подъезде на втором этаже, — удалось убедить мою маму, что с Аппатимой можно справиться только силами общественности, а им двоим, с молчаливого согласия сестер, удалось убедить меня поведать о наших приключениях последних дней. Я с жаром рассказала, как ловко Аппатима подставила меня, втянув в ограбление детского сада и лифтерной. В доказательство я представила мяч, который прятала в своей коробке вместе с лифтерной палочкой.

Странно, что никому из взрослых, включая инспектора, не пришла в голову мысль, что грабителей на самом деле было двое — Аппатима и я, и это не считая хронически молчащей Афродиты.

Невозможно вспомнить следующий день без стыда. Мы все — Аппатима, ее мать и отец, ее старшая сестра Аэлита, тетя Тамара с Региной, моя мама и я — сидим полукругом в детской комнате милиции перед столом инспектора, и тот, обращаясь к одной Аппатиме, перечисляет все наши записанные с моих слов лихоимства и требует после каждого пункта подтверждения сказанному. Аппатима чуть слышно, ни на кого ни глядя, подтверждает. Она очень бледна и серьезна, желваки так и ходят, и подергивается кадык на шее. Руки за спиной сжаты в кулаки. В какой-то момент, заметив кулаки, инспектор вдруг орет, стукнув кулаком по столу: «А ну встань нормально! Руки вперед!»

У меня не было на Аппатиму ни капли злости. Вляпавшись в это судилище, я простила ей все прошедшие и — наперед — грядущие обиды и сейчас бы с радостью выскользнула с ней отсюда. И даже подарила бы свою коллекцию открыток, и все пять мячей, самых разных, которые перекачивались у нас дома по комнатам, влетая маме под ноги, и она шумно сетовала, что не надо было ей их столько покупать. Но что-то подсказывало мне, что Аппатима не примет моих подарков.

История с походом в милицию закончилась банально: строгим предупреждением с занесением в личное дело о том, что при повторной краже либо драке Аппатима загремит в колонию. За сим документом последовал выговор директору школы.

Ну а после уволилась наша классная руководительница Зоя Михайловна. Уволилась она по собственному желанию, ничего никому не сказав о причинах. О причинах в классе догадывались только мы с Аппатимой... Все произошло мгновенно, без лишних слов и проводов. Зоя Михайловна просто провела, как обычно, все по-

лагающиеся уроки и буднично объявила, что переходит с завтрашнего дня на другую работу.

«А теперь прощайте, дети!» — сказала она глубоким грудным голосом, в котором была, однако, какая-то трещинка, как ни старалась она ее утаить. Природный такт ей все-таки несколько изменил. Сначала она как бы между делом стояла и задумчиво всматривалась в журнал с нашими фамилиями, словно то было начало, а не конец урока. А потом, подняв голову, решительно закрыла его и сказала с чувством, нарастающим, со срывающимися интонациями: «Будьте счастливы, дети!»

Обвела всех грустными нежными глазами и торопливо вышла, аккуратно захлопнув за собой дверь.

4

Невзирая на разные неурядицы, случавшиеся со мной, корпус, в котором я жила, был для меня больше чем дом. Это был самый лучший в мире дом. И город мой был больше чем город. И — страна... Правда, школа была — как школа. Но со школами так бывает часто, и это было не слишком важно.

Наш корпус был построен для своих сотрудников предприятием при главном управлении геодезии и картографии — сокращенно ГУГК — на пятом году моей жизни, после чего мы с матерью, как и семьи некоторых других геодезистов-полевиков, перестали мотаться вместе с экспедицией, где работал мой отец, по съемным квартирам и, что называется, перешли к оседлости. Отец же продолжал колесить по всему Советскому Союзу вместе со своей топографической партией, которой бессменно руководил с каких-то неведомых мне времен, и навещался в свой дом только изредка.

Итак, почти весь корпус, за редкими исключениями, был заселен семьями геодезистов, работающих на одном предприятии — имевших постоянную работу в Тбилиси или разъезжавших по всей стране полеви́ков. Все они подчинялись непосредственно Москве — там располагалось министерство, и туда же отправлялись потом учиться в Институт геодезии и картографии отпрыски геодезистов: те из них, кому не опротивела за годы экспедиционных будней эта отнюдь не романтическая работа. Поэтому дух в корпусе был, как сказали бы сегодня, корпоративный. Здесь жили относительно дружно, без серьезных эксцессов, и все про всех знали. Старались не ударить в грязь лицом, ни в чем от других не отстать... Словом, старались!

Разбор полетов такого рода, какой устроили вокруг поведения Аппатимы, был для жильцов нетипичен. Поэтому после того, как моя мать и тетя Тамара подали на нее заявление в милицию, отец Аппатимы, тоже сотрудник предприятия, потребовал у себя на работе созвать товарищеский суд, надеясь выяснить, зачем его товарищам понадобилось, ничего не сказав родителям ребенка, сразу тащить его в милицию. Неужели нельзя было просто обратиться к нему?.. И такой суд состоялся. Причем мой отец, только вернувшийся в тот день из экспедиции и впервые вышедший на работу, ничего про милицию не знавший, выслушал в полном молчании в свой адрес не одно критическое выступление. После чего, придя домой, обозвал мать душой и на следующее утро уехал.

Тетя же Тамара уже через неделю после суда как ни в чем не бывало щебетала о своем, о женском, с матерью Аппатимы, а муж тети Тамары, встречаясь на улице с ее отцом, по-прежнему приветливо здоровался с ним, как и со всеми, за руку, хоть и был весьма важной птицей — начальником экспедиции, а отец Аппатимы был птицей рядовой — ее обычным сотрудником. И только моя мама, по непримиримости своей прямолинейной натуры, вычеркнула из своей жизни до скончания веков их всех.

Так проявлялся извилистый, петляющий, местами пропадающий из поля зрения, управляемый скрытыми подводными течениями корпоративный дух, в неписанные законы которого из взрослых не вписывалась, пожалуй, только моя мать.

Поскольку предприятие черпало свои главные кадры в Москве — Тбилисский топографический техникум, который окончил мой отец, давал только среднее специальное образование — да к тому же его сотрудники работали по всему Советскому Союзу, то дух этот был еще и русский. То есть — по тем временам — интернациональный. Здесь жили, помимо грузин, русские, украинцы, армяне, азербайджанцы, осетины, курды, греки. И все общались меж собой на грузинском или русском. Русская речь при этом была преобладающей, тем более что в корпусе было много смешанных семей: у многих геодезистов были русские жены.

Широка страна моя родная!.. То, что мой адрес не дом и не улица, а — Советский Союз, я впитала буквально с пеленок и отнюдь не из песен. Отец-грузин познакомился с моей мамой русско-украинского происхождения, наполовину казачкой из Запорожской Сечи, в Ашхабаде, где стояла в тот момент его экспедиция и где моя мать, бросив запорожское медучилище, временно проживала у сестры, которую распределили после педвуза в Туркмению. А родилась я в соседнем Узбекистане, в маленьком, приграничном с Туркменией городке Тахиаташ Каракалпакской Автономной республики, близ мест, которые Андрей Платонов изобразил в повести «Джан» как символическое место Ада в глубине азиатской пустыни, из которой ее герою Назару Чагатаеву надлежало вывести мифический народ Джан, а «Джан» переводилось на русский язык как «душа». Тогда туда перевели воинскую часть, где служил офицером муж моей тети.

Русская речь притягивала в наш двор все русскоязычное население района от мала до велика. Он был для него маленькой Меккой, своего рода Византией. Иногда грузины даже называли его со снисходительной иронией Москвой. Тем более что обустроен двор силами жильцов нашего дома был на славу: перед корпусом красовалась большая уютная площадка для взрослых и детей — с футбольно-баскетбольным асфальтированным полем, песочницей, столами с лавочками, многочисленными скамейками. И все это — среди высоких тенистых кленов и тополей, ив и акаций.

Район примыкал к водохранилищу на северо-востоке столицы и назывался — по названию водохранилища — районом Тбилисского моря. К нему ходили особенные — голубые — трамваи. Он был частью административного образования с названием «Поселок ТЭВЗа». Загадочная для непосвященных аббревиатура, напрягавшая работников почты в других республиках, расшифровывалась просто: Тбилисский электровозостроительный завод. На этом заводе, расположенном в пятнадцати минутах езды от Тбилисского моря, выпускали известные на весь Союз электровозы.

Вначале дом стоял в чистом поле под горой с искусственно высаженным сосновым лесом, которая возвышалась над Тбилисским морем, а Тбилисское море возвышалось над котловиной, где строители возводили новый тогда микрорайон. Тут тогда тянулись лишь переходящие в огромный овраг луга и глинистые пустыри. Но уже в начальных классах школы я жила не на пустыре среди скученных однообразных коробок, а как бы в том самом городе-саде, о котором грезил Маяковский: «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвести, когда такие люди в стране советской есть!» Зазеленели деревья, раскинулись парки и сады, легли там и сям буйно разросшейся зеленью огороды.

И жизнь стала — под стать ландшафту — широкой и по-своему удивительной. К

примеру, наша площадка перед домом, предназначенная для всех, но которую почему-то многие называли детской, возникла в одночасье, в день субботника, руками не только взрослых, но и детей. Мы тоже носили песок и щебень, помогая своим тридцатилетним родителям — таков был средний возраст живущих здесь геодезистов.

Но была рядом с нашим корпусом, прямо на углу, и другая стройка. Ее называли в народе «стройкой коммунизма». И она тоже была как бы детской — здесь строили детский бассейн-лягушатник. Но никак не могли построить. Хоть и обнесли похожей на крепостную бетонной стеной территорию втрое больше, — здесь благополучно могла бы разместиться автостоянка. И она тут втихаря и размещалась — по вечерам в ворота охраняемой сторожем крепости-бассейна въезжали какие-то частные автомобили.

Стройка коммунизма была заложена в год, когда я пошла в нулевой класс. Она простояла памятником эпохи до скончания века и, благополучно встретив третье тысячелетие, стоит до сих пор.

5

В третьем классе я съехала на тройки и сидела на последней парте уже одна: Деточкин куда-то пересел, а других мой внешне суровый, неприступный вид отпугивал.

Границы моего личного пространства обычно нарушала явно только Лали Киасавили — добродушная полноватая девочка с рассеяннo-мечтательной улыбкой, выглядевшая порой как сомнамбула. Она была неглупа, значилась в хорошистах, или, как тогда говорили, ударниках, и была к тому же проникательна и любопытна.

Когда она подсаживалась ко мне на перемене или подходила в коридоре, где я бесцельно стояла у окна или слонялась у стендов, и с места в карьер принималась рассказывать очередную историю из жизни своего семейства, которое очень любила, этот разговор про отношения ее бабушки, матери, отца и младшей сестры, безалаберные и в то же время церемонные, полные скрытой теплоты, хоть и были чужды мне, как, например, мир итальянской оперы, все же несколько скрашивал мое одиночество. Но поговорив о своем, Лали, прищутив близорукие, вечно смеющиеся глаза, принималась — сначала издали, а потом все больше и настойчивей — тормозить меня расспросами уже про мою семью. А что я могла ей рассказать про свою семью? Это был большой пункт, и я, уклоняясь так и этак, в конце концов совсем замыкалась.

К счастью, перемены были короткими, и эта пытка вопросами длилась недолго.

Что вообще я могла рассказать про свою жизнь вне школы, если она по-прежнему раздваивалась?

На парте у меня лежал под учебником журнал «Юный натуралист», который я украдкой читала на уроках. Новая классная руководительница Марина Арутюнова особо не следила, кто с кем сидит, и вообще смотрела на многое сквозь пальцы. Это была невысокая худощавая женщина в очках с толстыми круглыми стеклами, уже немолодая и вспыльчивая. Психологический климат в классе ее не интересовал, внимание ее целиком было сосредоточено на знаниях и формальной дисциплине, которым она придавала большое моральное значение. Я же состояла в заочном «Клубе почемучек» при «Юном натуралисте» — была такая рубрика-викторина для младших школьников, участникам которой высылались за правильный ответ на каких-то три не особо сложных вопроса членские билеты. Не смотря на этот билет в портфеле, про который моя мать с гордостью рассказала

той же Лали Киасашвили, случайно встретив нас идущими вместе по дороге из школы, я обращалась с природой без всяких сантиментов. По-прежнему чем дальше я отходила физически от своей парты в классе и, особенно, от того водораздела-поворота, за которым скрывалось за спиной словно одетое в милицейскую форму здание школы, тем быстрее слетала с меня скованность. Сбрасывая на ходу налет цивилизованности, как надоевшее школьное платье, я словно чувствовала поднимающееся изнутри ледоколом солнце, но не ласковое, а хищное, с треском раскалывающее и отбрасывающее с пути весь скопившийся за школьный день внутри лед. Бросив в прихожей портфель с членским билетом «Юного натуралиста», я уносила после скорого перекуса в природу: лес, овраг, огороды. И ловила бабочек, не заботясь о том, что будет с ними дальше, плохо сознавая, что это вообще-то — живые существа. Я разглядывала у них узоры на крыльях. В птиц я стреляла из рогатки, правда, к моей досаде, никогда не попадая. А ящерицам вспарывала лезвием брюхо, чтобы посмотреть, как они устроены внутри. Еще я разводила дома в банке гусениц, безуспешно пытаясь подсмотреть момент превращения их в бабочек-капустниц. Еще раскалывала из того же любопытства и удали яйца голубей...

Я еще не решила, кем я стану, когда вырасту — географом-путешественником или хирургом, — но эти две профессии влекли меня с опьяняющей силой. Целыми днями я читала книги знаменитых путешественников, особенно Тура Хейердала и Владимира Арсеньева, вперемешку с брошюрами про флору и фауну и предавалась своей хищной жизни среди природы. Тем более что друзей у меня после прошлогоднего разрыва с Аппатимой, с которой мы стали смертельными врагами, не было теперь и во дворе.

Иногда ради того, чтобы побольше побыть «на природе», я пропускала школу, а моя мама, руководствовавшаяся принципом «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», писала потом нашей классной объяснительные записки, — в них пояснялось, что дитя пропустило учебу по уважительной причине: приболело.

Наконец Марина Арутюновна обратила на это пристальное внимание и принялась меня «воспитывать». «Воспитание» заключалось в том, что Марина Арутюновна почти каждый урок вызывала меня к доске и невозмутимо ставила двойки за отказ отвечать — ведь я не собиралась заниматься всеми этими предметами, у меня просто не было на них времени.

— Садись, два. Тише!.. Подожди-подожди, не садись. Скажи мне, пожалуйста, почему тебя вчера опять не было в школе?

— Я болела. Не верите — вот справка от родителей.

Самое интересное, что в словах моих была доля истины, за которую я изо всех сил держалась, лелея ее как высшую справедливость: если уж мне случалось болеть, то длилось это порой месяцами. Так, в первом классе я почти не ходила в школу из-за хронически обостренного бронхита, к тому же осложненного аллергией, и меня вечно таскали по врачам, подозревая то астму, то порок сердца, то ревматизм. И — на всякий случай освободили от физкультуры, куда я не ходила всю начальную школу. Собственно, мама мирилась с моими пропусками больше из медицинских соображений: она опасалась, что за нежеланием идти в школу может скрываться наметившееся недомогание, которое нельзя просмотреть и лучше, если я в этот день буду у нее на виду, пусть и появляясь из лесу или оврага лишь изредка, короткими пробегами по площадке, которую она частенько обозревала с нашего седьмого этажа.

Это глупое противостояние с Мариной Арутюновной, начавшееся во втором полугодии, к весне привело к тому, что мне и вовсе расхотелось ходить в школу. В

один прекрасный день я осуществила это насущное желание, когда нашла для себя одно полезное и увлекательное занятие.

Дело было в мае. Пользуясь нахлынувшей теплынью, многие жители микрорайона расплозились, как проснувшиеся божи коровки, по садово-огородным участкам, разбитым позади корпусов и по склону оврага. Огородничество было так популярно, что со временем на участки с густо растущими на них кукурузой, подсолнухами и тыквой был изрезан с нашей стороны до самого дна почти весь овраг, и это при том, что он тянулся на несколько километров.

Но в год, о котором идет речь, огородов еще было мало, и жались они ближе к заболоченному дну в густых камышах выше человеческого роста. В этих камышах квакали лягушки и водились ужи, но зато можно было черпать воду для поливки.

Занимались огородничеством в основном пенсионеры, и нам, детям, любившим играть в овраге в войну и казаки-разбойники или просто бродить тут, строить блиндажи, собирать камушки, выкапывать какие-то диковинные цветы и колючки, ловить бабочек, жуков и стрекоз и тех же многострадальных ящериц, нравилось иногда наблюдать и за их работой. Если, конечно, те не вредничали, гоня нас как потенциальных вредителей.

А поскольку работа в саду для городских детей была чем-то диковинным и по-сему манящим, я любила, примостившись на пригорке, наблюдать за сим действием с любопытством неопита некоего греческого культа. Сидя так однажды, я долго шла взглядом за точными плавными движениями *тохи* — так в Грузии называли мотыгу — в руках высокой стройной старухи в панаме и очках, которая иногда, прервавшись, садилась на складной брезентовый стульчик и рассеянно погружалась в раскрытую на коленях книгу.

В разморенной моей памяти всплывали кадры из фильмов про колхозы. Герои труда, восседая на тракторах и в комбайнах, вглядывались с гордой улыбкой в необозримые колоссящиеся поля, по которым шли с серпами и вилами радостные крестьяне. Иные из них пели, иные просто молча улыбались, а иные что-то неторопливо рассказывали дивным белокурым детям в вышитых рубашках и сарафанах. Вот кто-то надел сплетенный из колосьев, ветвей дуба и цветов, сияющий всей палитрой красок венок, стелющийся свежестью будто прямо по воздуху. И на малыша, который шел рядом, держась за руку, тоже надел венок...

Эта фантазия так и ударила мне в голову, и кадры замелькали быстрее.

«Хлеб — имя существительное», — выговаривала когда-то, вспомнив писателя Михаила Алексева, написавшего книгу с таким названием, с необычайной бережностью и сквозящей в голосе светлой грустью, Зоя Михайловна. И правила грамматики схватывались и усваивались на лету, как подброшенные в стаю голубей зерна.

Детские и чьи-то широкие мозолистые ладони набирали зерна полными пригоршнями и протягивали кому-то на весу. Это тоже был кадр из фильма, то ли когда-то увиденный, то ли придуманный мной, — я уже не отличала вымысел от реальности. И потеряв этот водораздел, я сбежала вприпрыжку со своего бугра и принялась очищать землю под собственный огород — как раз за межей участка, где сидела склоненная к книге бабуля, оказавшаяся при ближайшем рассмотрении и не бабулей, а просто немолодой женщиной.

В продолжение дня она не обратила на меня никакого внимания, видимо, принимая мои действия — выдергивание травы, камышей и колючек, выковыривание камней — за игру. Но когда утром я пришла в школьной форме с портфелем в одной руке и лопатой в другой (я сказала дома, что беру лопату для урока труда на

школьном приусадебном участке, которого в нашей школе никогда не водилось), ее деликатное отсутствие сменилось пристальным, стремительно нарастающим, словно поднимающимся на склон высокой горы, вниманием, перешедшим наконец на самой вершине в изумление. Так и просияв, она крикнула издали необычайно весело и приветливо:

— Дорогая, скажи, пожалуйста, чем ты тут занимаешься?

Голос у нее был прямо-таки бархатный, словно пересыпающийся внутри зернами того самого хлеба, который имя существительное. Ему сопутствовал легкий акцент: женщина была грузинкой.

— Хочу посадить кукурузу, — ответила я просто, улыбаясь и одновременно хмурясь по своей привычке ждать от людей какого-то подвоха, когда они начинают разговор вот так вот — за здоровье...

— Ваша семья, наверное, нуждается?

— Нет, я просто так... Просто так хочется. Мне просто интересно, когда все это тут... вот...

Я окончательно запуталась. И, взглянув исподлобья на стоявшую вдали изваянием женщину с тохой, повернулась к ней боком и принялась обкладывать свой участок камнями. Я собиралась явиться назавтра с выструганными из веток колышками и проволокой и поставить настоящую ограду. Боковым зрением я видела, как, вся сияющая, она подняла с земли палку и, прихрамывая, направилась прямо ко мне. Она легко перешагнула бы через мои камни, но не стала этого делать и почтительно остановилась, будто перед настоящим забором, и, несколько приосанившись, весело протянула мне тоху.

— Держи, дорогая! Это — подарок. Эта штука тебе еще пригодится, раз уж ты решилась на такое хорошее дело. А скажи, у тебя есть дедушка с бабушкой? Это, наверное, они тебя надоумили?

— Бабушка и дедушка есть. Но не здесь... Нет, я — сама.

— Ну, совсем хорошо. Я тридцать лет проработала в школе и не помню ни одного случая, чтобы кто-то из наших учеников захотел того, чего хочешь ты.

Она еще долго оживленно вспоминала что-то, весело рассказывая разные милые пустяки из своей профессиональной жизни, а я, напряженно улыбаясь, тем временем по-прежнему боком вспахивала грядки, думая про себя с колотящимся сердцем: «Только бы не узнала... И не спросила, почему я не в школе». Ведь это была, как я рассмотрела вблизи, та самая бабуля, которая метала в меня, когда я залезла в прошлом году на абрикосовое дерево в саду за одним из корпусов, как раз ту самую палку, на которую она теперь опиралась — больше для виду, периодически размахивая ею, как продолжением руки.

На следующий день соседка по участку принесла мне семена кукурузы, и я засеяла под ее руководством поле, которое собственноручно выполола и вспахала.

Позже соседка, сделав все свои дела на участке, пропала.

А я продолжала каждое утро приходить сюда вместо школы.

Положив на грядки портфель, я доставала из него книгу — кажется, это был Жюль Верн, а потом, сев на него, погружалась в чтение. В кармане фартука лежали старые отцовские часы. Когда стрелки приближались ко времени окончания уроков, я, выждав еще минут десять, вкладывала, как в ножны, Жюль Верна обратно в портфель, отряхивалась и неспешно шла домой.

Но в один из дней я напоролась на так же неспешно идущую с блуждающей улыбкой Лали Киасашвили.

Покраснев, я выдавила:

— Привет.

— Привет, — весело ответила Лали, нимало не смутившись и даже, кажется, чему-то обрадовавшись. — А у нас скоро будет сбор металлолома. И последняя в семестре контрольная по математике, от которой будет зависеть итоговая оценка. А еще в классе говорят, будто ты стреляешь из рогатки птиц. Но я в это не верю.

— Ну и правильно... что не веришь, — выдавила я растерянно, опять покраснев.

— Аппатима говорит. Она еще говорит, что тебя зря от физкультуры освободили, что ты здоровая как лошадь, а врешь потому, что над тобой нету старших. А еще...

— Ладно, Лали, спасибо. Ты извини — меня дома ждут.

— Ладно, Маша. Передавай привет маме.

На следующий день я пришла в школу. И встретили меня там все как ни в чем не бывало. Даже Марина Арутюновна не задала мне ни одного вопроса, не потребовала справки за пропуски, не вызвала к доске. Спустя еще день я сама вызвалась к доске.

Это был урок природоведения, и я выучила параграф наизусть и с чувством пересказала его, ничего не пропустив, своим умеющим быть, когда надо, выразительным, громким глуховатым голосом. Это был просто параграф из учебника, но — в моем исполнении. И он неожиданно покориł внимание класса, словно был стихотворением.

Но вот текст иссяк. А вместе с ним — и мой энтузиазм. Я, смутившись, закуталась в свою привычную молчаливость, а лица у всех оставались еще какое-то время какими-то прояснившимися, плывущими в легкой думке. И даже никогда не смотревшая в мою сторону Аппатима была сама не своя. Но больше всего самой не своей оказалась учительница. Она с видимым удовольствием вывела напротив моей фамилии в журнале большую четкую пятерку и с не меньшим удовольствием добавила бы ее и в дневник, но у меня дневник не водился.

Так с того дня и повелось: я учила наизусть параграфы по природоведению (до остальных предметов у меня как-то не дошли еще руки), а потом получала за их артистический пересказ пятерки, что нравилось и мне, и классу.

Но вот звенел звонок на перемену, и класс забывал обо мне, а я забывала о классе.

6

Наступил день сбора металлолома. Пионерские классы освободили от уроков и послали группами по несколько человек в разные концы района с заданием подбирать все валяющиеся в округе железки — от труб и дырявых кастрюль до изношенных газовых плит и частей разбитых автомобилей. Всего этого добра хватало на улицах в избытке, так как в одной из выемок оврага жители устроили свалку, но не всегда доносили такого рода добро до нее.

Оставшись без надзора, иные группы школьников разбежались по домам еще в начале дня. Другие заметно поределели. А третьи — их было меньше всего — работали за себя и за того парня. Эти последние были из самых дружных классов и не упустили любую возможность побыть вместе, объединенные хоть делом, хоть пустяками. Работали они легко и с фантазией. Одна из таких групп — это были ребята на год старше — извлекли со дна оврага кем-то сваленный туда остов «победы» и с грохотом перекачивали его под болтовню и периодические взрывы хохота по проезжей части, я же, отстав от своей, наверное, уже рассыпавшейся вдали группы — нас послали убирать лом в районе недостроенного бассейна, — уныло брела поодаль, завидуя этому чувству монолитности.

Грустное чувство отделенности от своего рассыпавшегося при первой же возможности класса стало острым, как никогда. Но в то же время изнутри, словно толкнувшись в незримо приоткрывшуюся щель, пошли распускаться клейкими листиками другие чувства — они оторвались от грусти, как голуби, и, курлыча, обозрели с высоты весь этот усыпанный трудящейся детворой кипящий, бурлящий, шумящий простор с разливающимся, как звон колокольчиков, смехом. Все словно струилось, смешавшись в звенящем белом пухе, то ли падающем с небес, то ли поднимающемся в воздух с земли. И телу — до дрожи — тоже захотелось в это дивное струение. Руки так и ринулись в работу!

...Когда в конце недели на общешкольной пионерской линейке объявили, что наш класс занял в сборе металлолома почетное третье место, никто из моих одноклассников, кричавших до одури «ура!», так и не узнал, что третья по величине куча лома, в которой были даже газовые плиты, мотор и дверца автомобиля, над которой вился флажок с надписью «Третий “А”», была собрана почти исключительно мной. Каждый день я добавляла в нее после уроков что-нибудь новое, незаметно пробираясь в школьный двор через дыру в сетке ограды.

Правда, иногда я перекладывала по мелочам в нашу кучу и кое-что из куч других классов, хоть это и не приносило удовольствия. Так поступали все, и я на первых порах в отстающих не значилась.

7

Ну а потом — тогда же, в конце третьего класса, наступил самый великий день в моей жизни: мне надоело быть плохой.

Я лениво гоняла во дворе футбольный мяч и пнула консервную банку. Банку обнюхала незнакомая собака, и я пнула собаку. К собаке же подбрел, чтобы утешить ее, какой-то малыш, специально вылезший для этого из песочницы, и я разрушила все его песочные домики. Было все как всегда. Но малыш заплакал. Не кинул в меня привычно пригоршню песка, как это делали другие, не бросился жаловаться маме и даже не назвал меня дурой.

Он просто присел на край бордюра, вернувшись к своим разрушенным домикам в желтом песке, и, тяжело вздохнув, как старичок, о чем-то грустно и глубоко задумался. И я вдруг растерянно выронила из себя — себя... Да-да, это звучит странно, но до этой минуты я была как не в себе. Меня не было с собой! Был кто-то, кто шел со всеми вместе или врозь — по привычке. Кто-то одевался, завтракал, ходил, говорил, играл, смеялся, шалил, а я, пригорюнившись, как тот малыш, грустным воробышком внутри этого кого-то, роняла беззвучные слезы.

Этот ребенок внутри соединялся со мной и раньше — в редкие минуты задумчивости без мыслей, когда в бурливом моем ребячестве словно образовывалась щель и кто-то, глотая слезы, проглядывал изнутри наружу. Но внешняя жизнь набегала снова, и ее волны смывали из памяти то, что не оставило даже мыслей...

Вот только... э-э... как мне быть с этим пригорюнившимся на бордюре песочницы малышом — как дать ему понять, что я — уже наполовину человек? Ведь я такая неумелая!..

В то лето, вернувшись из Запорожья от дедушки и бабушки, я обнаружила на засеянном мною поле в овраге — выросшую мне по пояс, стоящую среди бурьяна в свой рост — кукурузу. Кукуруза без меня засохла: лето выдалось засушливым. Но я все равно ликовала в душе, радуясь своему первому, все-таки нежданно-негаданноazoшедшему урожаю.

Часть вторая

1

Итак, я была — плохой. А мир вокруг, в общем-то, — хорошим. Теперь же я как-то вдруг, в одночасье — стала хорошей. А мир почему-то — плохим. Это плохое, желая видеть в мире одно совершенство, я обнаруживала буквально во всем. И тем сильнее — буквально до кома в горле — радовали меня день ото дня проблески прекрасного или просто хорошего. Про хорошее я постараюсь рассказать побольше...

Я уже не была прежней — кровно соединенной с происходящим вокруг тысячами невидимых нитей, по которым, как кровь по кровеносным сосудам, циркулировали, молниеносно сменяя друг друга, привычно кружащиеся по одному и тому же общему руслу мысли, чувства, настроения. Теперь я превратилась внутри в слышащего разгадать какую-то загадку ребенка, который, словно привалившись плечом к стене с облупленной штукатуркой, глядел куда-то вперед, поверх голов, поверх бурлившей повсюду жизни и отслеживал при этом перемены в ней открывшимся периферийным зрением.

Это был не тот чудесный ребенок с невыразимо прекрасными чертами, который с болью и слезами взирал на точно такие же боль и слезы и мог жить только в самом чистом, потаенном, скрытом даже от меня уголке моего сердца. Тот ребенок выплывал из золотисто-зеленоватой дымки только на миг. То был — ребенок вспоминающий. Силающийся вспомнить своего растаявшего в дымке друга и брата, собирающий для этого, как в один кулак, всю силу бедной мысли.

Наружно же это привнесло в мое лицо отпечаток страдания и рассеянности, а в походку и движения — еще большую скованность и напряженность. Что сочеталось с почти полным пренебрежением к одежде и деньгам, к желанию блеснуть чем-то внешним, прославиться чем-то незаслуженным, приврать, прихвастнуть. И это при том, что большинство людей вокруг, к моему великому сожалению, проявляли повышенный интерес как раз к вещам такого рода, несмотря на то что на страницах книг и газет, экране телевизора и даже плакатах и стендах в учреждениях и на улицах настойчиво культивировалось нечто противоположное.

Моему вопрошающему, сбитому с толку уму и щемящему, только что проклюнувшемуся в груди новому сердцу была необходима религия. И я создала ее из сподручных средств, повенчав свой природный анархизм с марксизмом. Первый из этих компонентов давал простор, а второй — ориентиры в этом просторе. Это было то чистое поле, где я творила собственную душу перед алтарем мыслей, чувств и отношений, которые как бы опаляли ее высоким огнем. И если что-то во мне или вовне противилось этому огню — то это становилось для меня источником нешуточных разочарований как в себе, так и в людях.

«Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», — трудно поверить, что меня, четвероклассницу (по нынешним меркам — пятиклассницу, если прибавить нулевой класс), в то время, как другие мои сверстницы уже поглядывали на мальчиков и судачили о любви, эти затертые до казенщины ленинские слова приводили буквально в священный трепет. Но при всем при том, при всей своей внешней напускной серьезности среди не друзей я не только не переставала быть в душе ребенком, а, напротив, все больше становилась им, заново обретая вкус и доверчивость ко всему естественному — светлому, тонкому, глубокому, непритязательному, сложному и в то же время простому, ясному и вместе с тем таинственному, струящемуся неприметным светом.

«Главное, ребята, сердцем не стареть», — это была вторая по силе воздействия на мои фибры расхожая цитата из фразеологического арсенала видимого и невидимого идеологического фронта под командованием нашего доблестного Политбюро во главе с ассоциирующимся у меня с Кутузовым мудрым, неторопливым дедушкой Брежневым. Эта фраза, которую можно было встретить даже на транспарантах, высекала у меня чуть ли не искры из глаз, и на них навертывались слезы, как и у самого дедушки Брежнева, когда он украдкой смахивал их на парадах Победы. И я чувствовала в такие мгновения: где-то в глубине сердца у меня — кремень, который всегда будет высекать искры, соприкасаясь с прекрасным, и это называется бессмертием.

Как я любила все эти парады и демонстрации, выставки достижений народного хозяйства, съезды, пионерские сборы, комсомольские собрания и даже растянутые речи дедушки Брежнева! То, чего я не имела возможности видеть и слышать наяву, я замороженно поглощала с экрана телевизора с необычайным вниманием, будучи погруженной во все тот же священный трепет, а на самом деле — в свою собственную вибрирующую, переливающуюся всеми цветами радуги, плещущую внутри ласковым теплым морем, верящую в безусловное добро душу.

Слова доброго пастыря — вождя и учителя, старшего друга всех детей, которых он радушно целовал в щеку, когда они подносили ему цветы, человека, отвоевавшего для них у демонов-фашистов Малую Землю, грудь которого к тому же была четырежды отмечена Звездой Героя Советского Союза — были тем елейным маслом, которое таинственно растворяло все грехи и сомнения. Смысл их был важен меньше и отходил на второй план.

А сколько я читала книг о революции и войне! О Гражданской войне и Великой Отечественной!.. Как вдохновлялась стройками коммунизма и целиной, мечтая отправиться жить и работать на БАМ после того, как закончу школу!.. Эти мечты и цели полностью смели мои прежние интересы к природе и природоведению. Век географии сменился в моем личном календаре веком истории.

В фильмах, как и в книгах, я искала настоящих героев, с которых можно было, как в стихах Маяковского, делать жизнь. Правда, Маяковский предлагал делать ее с товарища Ленина. Но Ленин был для меня такой святыней, стоящей высоко на небесах над еще живущим на земле, своим в доску дедушкой Брежневым, что я о нем, в сопоставлении с людьми, до поры до времени и не помышляла.

В дошкольном возрасте я как-то спросила у мамы: «Мама, а почему, если Ленин самый лучший в мире человек, все выходят замуж не за него, а за других? Наверное, это потому, что он уже умер?» Не знаю, что ответила мне на это моя ироничная, не ведающая общественных шаблонов, своевольная мама, но идея выйти замуж только за самого лучшего человека, которого, быть может, в мире уже и нет, отправилась в подсознание и явно руководила мною оттуда, ведя потом по судьбе. Идея эта строила под себя и многие другие, столь же глобальные и не очень, мысли и идеи, а уж идей у меня, как своеобразно понятых ответов на свои же собственные вопросы, была полна коробушка!

Однако книги и фильмы о революции, войне и строителях социализма все-таки были полны героями — образцами хороших людей — на любой вкус и выбор. Я легко выделяла в них главное — необычайное благородство, из которого следовало и все остальное: любовь к людям и Родине, преданность идеалам Революции, справедливость, целеустремленность, милосердие, великодушие к поверженным врагам, горячее желание защищать слабых и сострадание к чужой боли, мягкость, деликатность, душевность, поэтичность... И все это — обязательно! — в сочетании с личной скромностью, без которой все эти качества обращались в ничто, становясь пустыми и крикливыми.

Но в одном человеке все же трудно было совместить столько силы и тонкости, и я выделяла — точнее, что-то во мне выделяло, жадно ловя невидимо распространяемые этими художественными персонажами искры, два типа героев.

Один из них был глубоко серьезен и несколько строг, отстранен... Другой же — вечно оживлен и весел, тоже приподнят, но — по-другому. Первый был — как Павел Корчагин, но более учен, более погружен в дела мира, а не войны, он много размышлял, и к нему любили приходить за советом. А второй был — как неунывающий герой одного старого фильма в исполнении Бориса Чиркова, который все напевал, сталкиваясь с жизненными трудностями:

Крутится-вертится шарф голубой,
Крутится-вертится над головой!
Крутится-вертится, хочет упасть,
Кавалер барышню хочет украсть.

Все это — оба эти героя в их неисчислимых вариациях и их серьезные и веселые деяния непременно благородные, пронизанные духом скромности и простоты, — было для меня источником самой неподдельной радости. Но радость эту длинной черной тенью сопровождала грусть: моя страна не разделяла моей религии. Точнее, правильнее сказать, моя страна не разделяла *своей* религии. В нее верил дедушка Брежнев, его Политбюро, верил пламенный оратор Эдуард Шеварднадзе — первый секретарь ЦК Компартии Грузии вместе с другими ее руководителями, а уже мои родители, соседи и некоторые — если не все! — учителя в школе не верили. Большинство людей, с которыми я пересекалась дома, в школе и на улице — в этом я хорошо отдавала себе отчет, — были абсолютно безрелигиозны.

Книжные полки их квартир украшали книги, на страницах которых жили прекрасные герои-коммунисты, и не они одни, а также их многочисленные предтечи из истории лучших людей человечества, такие, как Сократ, Марк Аврелий, Коперник, Джордано Бруно, Мартин Лютер, Радищев, Чернышевский, Достоевский, Сервантес... На их земле родился, вырос и нашел свою последнее пристанище в мавзолее самый лучший в мире человек. Там же, у Кремлевской стены, спали вечным сном Серго Орджоникидзе и Максим Горький, Семен Буденный и, быть может, всех их святей и прекрасней, всех несчастней — Неизвестный Солдат. А эти, да простит меня моя совесть, скучные, потому как *скугающие*, люди, остались такими же, как были. Из века в век они протягивали равнодушной рукой яд Сократу, а потом, спустя годы, бездумно носили его на руках, повторяя, как попугаи: «Платон мне друг, но истина дороже», казнив с подозрительной легкостью и быстротой расправившихся с ним клеветников. Это они распинали Христа.

Итак, в то время как страна, отбрыкиваясь и отфыркиваясь, но еще не отплевываясь, плыла лебедем, раком да щукой по течению сонной реки стоячего времени, все дальше уходя в семидесятые–восьмидесятые годы от своего идейного наследия, я только входила в него.

2

В четвертом классе у меня наконец появились во дворе первая настоящая подруга и первый мальчик, пробудивший первые нешуточные чувства, с которым мы тоже подружились. В среднем подъезде на третьем этаже жила шумная, задорная женщина-украинка, с которой дружила моя мама, отличавшаяся дома не меньшей шумливостью, но порицавшая за оную других. Дружа с этой женщиной, мама не-

прерывно порицала ее за поведение, смешно копируя за глаза ее манеры. У этой маминной подруги были необычайно тихий, передвигавшийся словно украдкой, абсолютно незаметный — по-кошачьи незаметный — муж и такая же необычайно тихая, но ходящая с прямой, в струнку вытянутой спиной и гордо посаженной, никогда не вертящейся по сторонам головой со спускающимися до плеч русыми, чуть вьющимися волосами аккуратная домашняя дочка. Такое загадочное существо для меня, как дворовой девочки, было, по меньшей мере, странным. И хоть среди сочиняемых мною стихов, которые я записывала украдкой в тщательно оберегаемую от всех тетрадь, была строчка «Люблю людей я странных, ведь они жгут по ночам для нас живые фонари», странность, которую имела в виду я, никак не вязалась со странностями Веры. «Сердце мое — центр Вселенной!» — гласило мое программное стихотворение, хотя и узнав о нем, все вокруг бы несказанно удивились, так как не замечали в столь скрытном и застенчивом ребенке особого сияния. Вера же казалась и вовсе непроницаемой. Часто она, вместо того чтобы спуститься во двор, не меняя позы по часу, просто недвижно стояла на балконе и без всяких эмоций, но и без усталости смотрела на всю эту непрерывно меняющуюся чехарду у нас на площадке.

Но порой Вера все же — по только ей ведомой причине — спускалась во двор.

Но когда она своей прямой, но быстрой походкой входила в ворота площадки, ее порой ждал сюрприз — большая зеленая или даже очень маленькая полосатая ящерица в моей умело владеющей этим видом земноводных ладони. После чего Вера, отвернувшись, бежала опрометью обратно в подъезд и, взлетев на свой этаж с быстротой кошки, вновь оказывалась на балконе. Вся в красных пятнах, выступивших вместе с капельками пота даже на лбу, смотрела она оттуда на меня, как кролик на удава, теперь уже, правда, расширенными, сияющими от ужаса глазами. Хоть я давно уже и распрощалась со своими прежним вредностями, направленными на людей и зверей, пугать и мучить Веру специально отловленными, а потом милостиво отпущенными ящерицами мне нравилось...

Так как Вере и самой, вероятно, нравилось пугаться. Когда же ящериц в наличии не было, мы с Верой и не подходили друг к другу, гуляя сами по себе в разных концах площадки. Я — примыкая время от времени к какой-нибудь из играющих компаний, а она — просто собирая камушки и листья в тихой части двора.

Никак не могла бы я предположить, что эта далекая от меня, как инопланетянка, девочка однажды станет моей подругой. А между тем случилось это как-то незаметно.

К Вере ходила ее школьная подруга, жившая в корпусе напротив, и они взяли в привычку регулярно гулять. Поэтому когда Вера стала полноправным членом нашего дворового сообщества, я решила дать ей понять, что у меня больше нет в кармане ящериц — ни реальных, ни фигуральных.

Подойдя к ним с Ирой (так звали школьную подругу), я заметила с чарующей, а может, всего лишь глупой улыбкой, какая невольно осеняла меня вблизи Веры:

— А здесь, между прочим, имеются и более интеллектуальные игры. На днях красили столы и вон на том — начертили краской шахматное поле. Можно теперь в шашки играть. За белых будут осколки кафеля, а за черных — камни.

— Вот еще... пачкать руки... собирать всякий хлам. Пойдем, Вера, прогуляемся вокруг дома, — сказала без обиняков Ира, коренастая широкоплечая девочка в аккуратной блузке с оборками и ладно облегающей бедра юбке, с золотой цепочкой на груди. Взяв Веру под руку, она сделала шаг по направлению к выходу, но вынуждена была осечься из-за внезапно заупрямившейся подруги, которая приросла к месту как вкопанная.

— А я хотела бы сыграть в шашки, — произнесла Вера совершенно невозмутимо и, тряхнув головой и повеяв подбородком в сторону, словно отмахиваясь от стоящего за плечом беса — была у нее такая привычка, — круто развернулась и направилась быстрым шагом к столу, на который я указала.

Ира, обиженно сжав губы, потянулась следом. Ринувшись туда же, я на радостях, отстранив неуклюжие попытки Веры помочь мне, повывокывривала в одиночку мелкие камни из пристающей после дождя к рукам глинистой почвы и раздробила на осколки плитку кафеля, которую прятала в траве. И мы сыграли в Верой первую партию, кажется, закончившуюся вничью.

Так с тех пор и повелось: мы шли с Верой, едва завидев друг друга, к шашечному столу, и все у нас получалась ничья или кто-то проигрывал, но отыгрывался в следующей же партии, и постепенно становились все веселей и словоохотливей.

Обычно в течение дня мы, как и другие девочки — мальчики проезжали это расстояние на велосипедах, а велосипед мне упорно не покупали, опасаясь, что я стану выезжать на шоссе, — несколько раз обходили корпус кругом. Этот маршрут назывался у нас «Проспект Вокруг Дома», и ходили по нему степенным прогулочным шагом, иногда специально для этого принарядившись. Только я, не делая различия между двором и «проспектом», ходила в одних и тех же пропыленных, протертых до дыр на коленках брюках, которые мать не успевала стирать, и разбитых от лазания по склонам оврага, чердакам и подвалам отнюдь не модных сандалиях. Загорелые мои руки были в ссадинах и шрамах, светлая майка — простая, хлопчатобумажная, с местной фабрики спортивной одежды — за день моих подвигов существенно меняла цвет, какой бы она ни была с утра выстиранной. Однако Вера и Ира относились к стилю моей жизни терпимо. Правда, у Иры были в ходу добродушно-снисходительные замечания относительно разных сторон моей малопонятной натуры, и она даже порой пыталась приложить руку к моему перевоспитанию, но это не превышало границы моего терпения. Вера же при этом — что было для меня главней — никогда не вплетала свой голос в поучения девочек, желавших превратить меня в «нормальную девочку».

Обычно Ира, вышагивая по проспекту под руку с задумчиво глядящей под ноги Верой, приступала к делу издали:

— Маша, а ты не хочешь записаться на танцы? Мы с Верой ходим теперь за овраг на балльные танцы в студию при тридцать третьей школе. Может, присоединишься?

— Не-а. Не хочу. В тридцать третьей школе теперь директором Константин Федорович, наш бывший завуч, которого турнули за рукоприкладство.

— Ну, его-то бояться нечего, его в такое время в школе уже нет: занятия начинаются в семь вечера. Во дворе болтаться времени будет поменьше, конечно. Зато — какая грация появится в движениях, походке. Женихи пачками станут бегать.

— Без женихов обойдусь. Таких, за кого можно бы было выйти замуж, все равно больше нет.

Ира знала мои мысли про то, что выходить замуж можно только за самого лучшего в мире человека, а так как такой человек в лице Владимира Ульянова-Ленина уже ушел с милой Земли, лучше беззаветно посвятить свою жизнь всему человечеству, а не какой-то там одной ее замкнутой на себе ячейке, как у нынешнего большинства.

— А вдруг ты ребеночка захочешь? Ты же все-таки женщина — будущая мама. А мамы должны быть образцом для дитяти: уметь готовить, гладить, стирать. Таки-ми, знаешь — плавными, музыкальными движениями. И р-раз — пельменей целый таз! Можно будет даже под музыку готовить. Поставить пластинку, а детки

при этом будут кружиться вокруг, как снежинки. А ты среди них — как Снегурочка. И тоже — танцующая.

— Нет, пусть лучше будет вот как. Детки будут для всех пап и мам как бы общими. В каждом корпусе надо открыть на первом этаже столовую, где все — как женщины, так и мужчины — будут дежурить по очереди, готовя для всего корпуса, в том числе и для деток. Тогда женщина окончательно освободится от своего многовекового рабства на кухне и сбудется ленинский завет о том, что при социализме каждая кухарка сможет управлять государством. Класс кухарок будет ликвидирован. Заодно родители научатся любить, заботясь сразу обо всех детках, а то подумаешь — добродетель: выделять своего... детеныша. Так и животные могут.

У Иры погасала улыбка, которую она старательно прятала, и, что называется, глаза поднимались на лоб. Некоторое время она молчала, как поперхнувшись, не в силах отыскать контраргументы. Потом, вздохнув, с укором изрекала:

— Какая ты у нас умная, Маша.

— Да уж какая есть,— весело отвечала я, следя украдкой за меняющимся под дымкой задумчивости лицом Веры, по которому пробегали, озаряя его мечтательной улыбкой, какие-то мысли. Я догадывалась, что кое-что из моих речей ложится в ее тонкую, восприимчивую душу благодатным зерном, которое она обратит во что-то свое. — А что касается музыки и танцев, то я не против них. Для чего у нас обычно используют танец? Для того, чтобы повертеть задним местом перед чьим-то передним местом, не так ли? А музыку для чего? Для того, чтобы понежиться в кресле перед торчащей напротив вазы из импортного хрусталя? Другое дело, если бы стены были, например, стеклянные и за ними бы плавали среди кораллов диковинные рыбы и медузы, жили бы морские черепахи и даже, может быть, крокодил. А ты бы была сотрудником научно-исследовательского судна, бороздящего моря и океаны, откуда и привозила бы всю эту живность. Это уже само по себе было бы музыкой!.. И тебе бы захотелось слушать другую музыку — не такую удобную. Например, шум раковины, когда ее приложишь к уху.

— Слушайте, детеныши, вы лучше скажите, а есть разница между красивой и прекрасной музыкой? Я, например, ее чувствую, — тактично разводила нас в стороны Вера каким-нибудь глубоким вопросом.

— А по-моему, это одно и то же, — произносила Ира с укором, адресованным нам двоим, — а вообще, я вижу, у вас обеих мозги набекрень.

И это был высший комплимент, услышав который я расцветала и внешне, и внутренне. Подобно гейзерам в вулканической лаве, рождались во мне с той минуты молниеносно выговариваемые идеи, вокруг каждой из которых мы с Ирой, все больше входя в раж, упражнялись в красноречивом споре. Арбитром же была Вера. По степени глубины ее вопросов я могла судить о том, насколько мне удалось всколыхнуть ее смутно понимающую меня и без слов душу, наколобродить в ней и неожиданно для нее самой свергнуть в ее же собственную бездонность.

Одно было плохо: для того, чтобы испытать чувство солидарности с Верой в общем образе мыслей или, говоря точнее, неком общем безумии, а также углубить ее восприимчивую душу, я использовала Иру, выставляя ее ординарной личностью, тогда как та была пусть и не особенно глубоким, но незлым и сердечным человеком. Мне не нравилась собственная манипулятивность, к тому же отчасти замешенная на чувстве ревности (в какой-то степени мною руководило желание стать для Веры подругой номер один, оттеснив Иру на второе место). Ведь ратуя за равную любовь матерей и отцов ко всем деткам подряд, не ища своего, я на деле не могла выработать в себе равного и справедливого отношения всего лишь к двум своим единственным подругам.

Все споры прекращались, как только мы с Верой оставались одни.

Увы, тогда выяснялось, что у меня нет слов, чтобы пробить ее молчаливость, а в ней — при всем магнетизме ее влияния на меня — нет сил, которые могли бы долго удерживать в присущей ей невозмутимости и малоподвижности мои разгоряченные порывы. И я, поерзав с полчаса на лавочке за сходящей на нет неторопливой беседой, найдя какой-нибудь предлог, испарялась.

Кто бы мог подумать, что невозмутимая Вера скоро возьмет в руки пистолет и станет одной из лучших в городе спортсменок-стрелков. Случайно обнаружив за универсамом в нескольких остановках от нашего корпуса спортивный стрелковый клуб ДОСААФ, я немедленно записалась в секцию спортивной стрельбы из пистолета и привела туда Веру — просто посмотреть. Но тренер разрешил ей не только посмотреть, но и пострелять, а после, взглянув на аккуратно легшие в десятку пули, предложил начать тренировки.

Вскоре выдержанная и целеустремленная Вера стала выходить на соревнования и принесла клубу первые призы. Я же через некоторое время, искренне радуясь ее успехам, тихо удалилась из тира, так как стреляла — при моем неустойчивом мире чувств — довольно посредственно, да и тихий, размеренный ритм тренировок не подходил мне.

Потребность в одиночестве и тишине я удовлетворяла вечерами за чтением.

Чего только не было на стуле перед моей кроватью! Неровными глыбами лежали вперемешку добытые из двух библиотек, школьной и районной, Лермонтов, Гоголь, Горький, Гайдар, Васильев, Бондарев, Астафьев, книги по истории и психологии, история этики и эстетики, сборник «Диалектический и исторический материализм» и даже «Классики марксизма-ленинизма о религии и церкви». И — к вящему удивлению мамы — «Ветеринарная хирургия».

Тут же возлежала упорно не замечаемая мамой, хоть я упорно раскрывала ее на определенных страницах с нарисованными женскими гениталиями и обильно цитировала, ходя за ней следом по квартире и увертываясь от кидаемых в меня тапочек, «Гигиена женщины».

3

Однажды ко мне подошел Олег — мальчик из еврейской семьи, жившей с Верой на одной лестничной площадке. К тому же он был ее одноклассником. (Ира, Вера и Олег формально были на класс старше меня, хоть мы были и одноклассниками, так как из-за чрезмерно трепетного отношения к моему здоровью мама отправила меня в школу не в шесть, а в семь лет.)

— Не могла бы ты... э-э... достать мне котенка? Ты же бродишь по огородам, поймай мне там какого-нибудь. Я домой его возьму.

Этот Олег был приятелем другого Олега — того, который был высок, серьезен, молчалив и — недоступен, как тополь, возле которого можно играть, но на который невозможно взобраться. И даже присесть возле него, в отличие от ивы или акации, как-то неловко. Когда этот зеленоглазый блондин в свитере с длинным под горло воротником иногда появлялся на площадке — один или со своим другом Вадиком, — на меня накатывала необъяснимая робость, словно я была в школе и в класс вошел завуч. Чем-то нечеловечески загадочным веяло от этой спянной с высокой душой высокой, стройной фигуры, от спокойных, немного грустных и в то же время мягких, задумчиво-улыбчивых глаз. Сила моего притяжения к нему была как натянутая струна: вибрируя и звеня от напряжения, она создавала вокруг меня поле такого благоговения, что я не могла вымолвить ни слова, не могла сделать и шага по направле-

нию к этому человеку, а тем более — взглянуть ему прямо в лицо. Единственное, что мне оставалось — это сбегать в другой конец площадки и наблюдать украдкой за каждым его движением, которое пронзало меня с макушки до пяток.

Ничего особенного не происходило — Олег просто неторопливо прохаживался по площадке, коротко заговаривая то с одним, то с другим из мальчишек, не присоединяясь, как правило, к играм и шумным сборищам, разве что играл иногда со старшеклассниками в волейбол, молча встав в их круг как равный. Я даже не знала его голоса. И была не в курсе тем его разговоров с Вадиком, когда они, заговорщически сев верхом на лавочке напротив друг друга, принимались о чем-то оживленно говорить. Кудрявый, постоянно улыбающийся Вадик то и дело раздражался звонким смехом. И этот смех, смешавшись со струящейся тонким дымком улыбкой Олега, казался мне плывущими белыми облаками в глубоком синем небе над киевской Софией в ту далекую-предалекую пору, когда еще жили на земле богатыри и княгиня Ольга оплакивала ратного князя Игоря. Два этих друга-витязя словно вышагнули из тех давних-предавних времен и, не обращая внимания на календарь, присели на мгновение на лавочку между двумя тополями перед домом у водохранилища, названного Тбилисским морем.

Как-то, набравшись храбрости, я все-таки присела вблизи двух друзей на скамейке напротив. Они, не прерывая беседы, которую я по-прежнему не могла слышать, мельком взглянули на меня, а Вадик даже подмигнул, но этим все внимание и ограничилось.

Однако меня окутала влажная волна, и нестерпимо захотелось подойти к Вадiku и поправить у него на голове несуществующую — воображаемую мною — буденовку.

Вадик был словно младшим братом Олега — его продолжением, несколько проще, несколько менее загадочный, ему легче было оказать какую-нибудь простенькую услугу — к примеру, дать напиток из колодца, если бы, конечно, был колодец.

Самого же Олега можно было представить если не в короне принца, то только в офицерской фуражке. И вообще, он напоминал мне Веру, которая была мне как старшая сестра, но был при этом еще сложнее и загадочнее. К нему, как к невидимой вершине, мне было идти куда как непросто. Тем более что нас разделяла такая крайне неприятная штука, как пол.

И вот когда другой Олег, одного роста со мной темнобровый мальчик с высокомерными, вечно насмешливыми карими глазами, с непокорной шевелюрой разросшихся, как у взрослого парня, волос, обратился ко мне с просьбой-наказом и я, дав слово, выловила в саду среди бродячих кошачьих семейств то, что смогла — простого, короткошерстного, пугливо озирающегося, дрожащего на слабых лапках черного котенка, — этот котенок нежданно-негаданно достался первому Олегу.

Было это так. Я высадила котенка на раскинутую ковром-самолетом кофту перед подъездом, где жили Вера и ее одноклассник Олег, и вызвала Олега, как мы и договаривались, условным стуком. Но пока этот Олег спускался, неожиданно появился шагающий куда-то мимо площадки тот, другой...

Поравнявшись, он заметил котенка и, наклонившись к нему, взял на руки с мягкой учтивой улыбкой.

— Это твой? — дружелюбно спросил он негромким, глуховатым, но при этом мелодичным голосом, и впервые в жизни — единственный раз — наши взгляды встретились.

Мне показалось, что раньше, до этого мгновения, я была улиткой, прячущейся и плачущей внутри влажной тьмы улиткой, которой некуда было распространить все свое главное, нежное. И вот шедший мимо некий добрый Бог оглянулся и, под-

мигнув, открыл мне пространство рядом, и внутри, и вокруг, потому что лучисто изливался в него.

— Нет, это я для Олега Гольдштейна поймала в саду, — пролепетала я едва слышно и, поспешно подняв с земли кофту, отряхнула ее, ведь Олег был такой аккуратный. — Он меня просил.

— А-а... Понял. Симпатичный звереныш — я бы тоже от такого не отказался.

— Так бери, Олег, бери, — это сказал появившийся Олег Гольдштейн.

Споткнувшись взглядом о его нервное, высокомерное, озабоченное чем-то своим лицо с небрежно свисающей на лоб челкой, я опять вжалась в свою раковину и потухла.

— Ну, нет, что ты... — Олег, высадив котенка на землю, выпрямился и шагнул в сторону. — Он же твой. Мне вот девочка в следующий раз другого принесет. Тебя как зовут? Кажется, Маша? Поймаешь мне котеночка, Маша?..

— Пожалуйста! — выпалила я торжественно-испуганно.

— А зачем ждать следующего раза? Это я подожду. А ты бери, бери сейчас. Бери, пока дают.

Олег Гольдштейн, который вообще-то не горел особо сильным желанием обрести сокровище, да еще черного цвета, победил моего Олега, и тот, смущенно улыбувшись, махнул рукой: «Ладно!»

И ушел, счастливо, нежно и несколько неловко прижимая к широкой груди будущего питомца, в свой четырнадцатизэтажный корпус на взгорье, который одиноко возвышался среди окрестных восьми- и девятиэтажек.

— Спасибо, Олег! Спасибо, девочка! — крикнул он, обернувшись, уже издали. — Маша, не забудь найти Олегу братца этого звереныша!..

И Олег навсегда исчез, словно уступив место под солнцем другому Олегу.

Больше он в нашем дворе не появлялся, а после уехал.

И только Вадик, увлекшийся впоследствии авиамодельным спортом, поднимал со дна моей души затаившуюся там, никогда не умирающую память. Он отдаленно напоминал мне всем своим обликом и — особенно — летающим вокруг него на длинной леске фанерным самолетиком с ровно жужжащим мотором о своем светлом друге.

Эта память оживала во мне в трудные минуты, когда хочется обратиться за помощью и поддержкой к милому Богу...

Но если тот, главный Олег, был мне как старший брат, то мое чувство к Олегу Гольдштейну, с которым с того дня у нас началась тесная пламенная дружба, было с самого начала похоже на отношение к младшему брату.

Пока во дворе не было Веры и Иры, мы с Олегом всюду ходили вместе.

Тогда — один на один — Олег был не похож на себя: сходили на нет дерзость, насмешливость, небрежность в разговоре и походке, высокомерие. Спокойный, в меру любопытный, любознательный вихрастый мальчишка мастерил вместе со мной качели и услужливо вызывался потом покатать меня, после чего мы менялись местами, и я раскачивала его, раскачивала, пытливо всматривающегося в летящее навстречу небо в сетке веток двух могучих, сплетенных макушками тополей, куда хватало сил...

А еще мы с ним делали «секреты» в земле.

Это было очень популярное в те годы занятие среди детей: вырыть в земле ямку, сложить в ней красивый узор из камешков, стеклышек и цветков, прикрыть стеклом и засыпать, замаскировав листьями, камнями, травой... Все потом ходили и азартно искали «секреты» друг друга. Обнаруженный и раскопанный секрет, согласно дворовым поверьям, был предвестником удачи.

Главный же наш секрет вскоре стал для окружающих абсолютно прозрачен: мы с Олегом явно симпатизировали друг другу — это можно было понять уже по нашей манере всегда предупредительно держаться рядом, с ходу соглашаясь с любыми исходящими друг от друга предложениями и охотно включаясь в их реализацию.

Можно было это почувствовать и по образовавшейся у Олега трогательной манере называть меня Машуней.

Странно, что жестокая в таких случаях мальчишеская среда как-то пропустила наш случай мимо своего агрессивного внимания, и мы с Олегом, гуляющие сами по себе в стороне от всех ватаг, так и не удосужились насмешливого прозвища «жених и невеста».

Но вот появлялись идущие под руку Вера и Ира, и Олег после того, как мы с шумом и гиком присоединялись к ним, снова превращался в несколько избалованного, высокомерного мальчишку, который мог, например, потянуть, насмешничая, Иру за волосы, и они потом смешно гонялись друг за другом. Или нарочито цинично отозваться о классной руководительнице, в которой они с Верой души не чаяли, и Вера, сердито нахохлившись, смотрела на беснующегося одноклассника-соседа большими и круглыми глазами.

В такие минуты Олег насмешничал и в адрес моей персоны, но до поры до времени эта его переменчивость казалась мне только несколько замаскированной формой той же ласковости.

4

Ужасно не любя пустопорожние посиделки на лавочках, где, тесно сгрудившись, девочки глупо хихикали, а мальчики оглушительно гоготали, травя за бесконечным трепом анекдоты, в том числе о дедушке Брежнев, честь которого я старалась, невзирая на насмешки в свой адрес, защищать от досужих вымыслов, я всем играм предпочитала боевые командные. В любимой моей игре люди делились не на мальчиков и девочек, а на «казаков» и «разбойников».

Как только во дворе раздавался боевой клич: «Кто будет играть в казаки-разбойники?! Арчевани!..», я, отозвавшись эхом: «Арадани!», то бишь назвавшись, в вольном переводе с грузинского на русский, капитаном второй команды, бежала со всех ног к назвавшемуся капитаном первой команды, чтобы, встав с арчевани плечом к плечу, сформировать две команды, набирая в свою как можно больше проверенных, надежных приятелей. Этой игрой я соблазнила всех троих — Веру, Иру, Олега, — прежде не имевших к ней вкуса. Я старалась сделать наше мушкетерское звено основой своей команды. Но последнее удавалось не всегда — как правило, я успевала взять к себе только Олега, а Иру и Веру забирал арчевани.

Потом мы бросали жребий, и одним выпадало быть казаками, а другим — разбойниками. Команда разбойников скрывалась, а команда казаков разыскивала ее, прячущуюся врассыпную по окрестным кустам, подъездам, подвалам, чердакам, садам, огородам, и приводила по одному в «штаб» на площадке. Игра заканчивалась для казаков победой лишь в случае пленения в «штабе» всех без исключения разбойников и выдачи ими тайного пароля. Естественно, казакам для этого приходилось немало попотеть, поэтому всем хотелось быть не казаками, а разбойниками. Эту привилегию — быть разбойниками в следующем раунде — мог дать только выигрыш.

Как-то мы с Ирой оказались в команде разбойников, а Олег и Вера — в команде казаков. Добросовестно — без подглядываний — досчитав до ста, наша команда,

разделившись, отправилась на поиски. Мы с Ирой вызвались обследовать овраг и заметили прячущихся за гаражами Олега и Веру. Олег, прохаживаясь, о чем-то вдохновенно разглагольствовал, а Вера, невозмутимо уставившись в невидимую точку перед собой — это была ее привычная поза, — молчала. Набежав с криками «Сдавайтесь!», мы схватили их за руки: я — Веру, а Ира — Олега. Но Олег, резко вырвавшись, подскочил ко мне и грубо оттолкнул меня от Веры так, что я, покачнувшись, упала.

Правда, он тут же подал руку и бросил, не глядя: «Извини», и даже натянуто улыбнулся, но лицо его стало равнодушно-жестоким, и он, повернувшись к Вере, принялся угодливо помогать ей перейти через поросшую камышом канаву. Радости моей как не бывало. В сердце больно кольнуло. Не в первый раз замечала я высокомерное отношение к себе мальчиков, по-видимому, считавших меня «своим парнем» и порой не останавливающихся перед тем, чтобы толкнуть меня или обидно обозвать. В таких случаях я вскидывалась и тоже начинала толкать обидчика в грудь. Не отступал и он, и мы, примеряясь силами, наскокивали друг на друга, как два петуха, пока другие девочки или мальчики не разводили нас, пеняя на разницу в силовых категориях двух полов. Но от Олега я такого поступка не ожидала.

«Люблю людей я странных, ведь они жгут по ночам для нас живые фонари».

К нам с Олегом, затесавшимся в компанию играющей в паровозик малышни, где мы дурачимся, подходит задумчивая, словно наобум бредущая Ира с бережно держащей ее под локоть, озабоченной, искоса посматривающей на ее профиль Верой и говорит:

— Вы вот что — запомните: с сегодняшнего дня отменяются всяческие смешки, подковырки и прочая лезущая из мозгов хрень в адрес той ненормальной женщины из пятьдесят седьмого корпуса, которая покупает каждый день себе цветы. Вчера она уговорила нас с Верой зайти к ней домой и угостила чаем. Оказалось, что она художница. В общем, нормальная она, просто несчастная — у нее столько картин, а мужа и детей нет.

А вот еще один ненормальный — он немой от рождения. И когда он торопливо проходит или, лучше сказать, пробегает, стараясь не поднимать головы, мимо вдруг превратившейся в зверинец площадки, где дети — обезьяны, прильнув к сетке ограды, орут, кривляясь: «Эй, немой, немой!.. Слышишь?.. Ну не торопись так — поговори с нами!», в груди у меня становится так пусто, что я, вдруг почувствовав себя старой, бросаю играть и, перейдя на лавочку, тихо сажусь в сторонке от этой галдящей толпы. Я смотрю куда-то в одну точку, а внезапно сузившийся до скелета мир, утративший свое очарование, отъезжает...

Но однажды я вдруг, как проснувшись, вскакиваю и бегу вдогонку за этим едва не отъехавшим миром. Я звонко кричу что есть мочи: «Эй, немой, погоди!»

Немой, поскольку он еще и глухонемой, не только не говорит, но и не слышит. Но я, опередив его, загораживаю ему дорогу и, слегка поклонившись, тут же делаю шаг назад и в сторону, глядя ему в лицо с предупредительной улыбкой:

«Проси, что хочешь, немой: сегодня мы все твои слуги и исполняем любые желания».

Я обильно жестикулирую, и поначалу ничего не понимающий немой начинает что-то понимать, отвечая похожими движениями рук.

Глядящий исподлобья, сгорбленный, он делает знак: «За мной!»

И мы всей гурьбой — потянувшиеся за мной, словно загнипнотизированные, Олег, Вера, Ира и еще два-три малыша плюс собачница Лариска — вваливаем-

ся вслед за ним в гастроном, наперебой помогаем наполнить консервами и крупами хозяйственную сумку у него в руках, подчеркнуто шумя среди подтягивающихся на это зрелище из разных отделов продавцов с преувеличенно строгими лицами, становимся все в очередь к кассе.

После мы по очереди несем немоу сумку, провожая его до самого дома, затем до лифта в подъезде и даже потом — до его пятого этажа.

Там, на родном этаже, мы наконец оставляем его у двери в родную квартиру, поставив рядом сумку, которую, помимо продуктов, распирают абрикосы, награбленные нами по дороге в чьем-то незадачливо огороженном саду.

5

Я перешла в шестой класс, и мы уезжаем на все лето в Россию. У отца там уже стоит экспедиция, и он приехал за нами.

— Ну все, надо посидеть на дорожку, — говорит мать, упав в кресло у двери в прихожую. Она одета с иголочки и держит в одной руке шляпу, а в другой — модельную сумку.

Из-за этой сумки они и поссорились с мамой Веры.

Когда отец, опять уезжая в экспедицию прямо с предприятия геодезии и картографии, где мама Веры работала машинисткой, попросил ее передать матери зарплату, то ответ был таков: «Некогда мне — я не хожу, как твоя жена, с модельной сумкой. У меня сумка — базарная!» Ответом же на этот пассаж со стороны моей матери стало молчаливое игнорирование мамы Веры без всякого объяснения причин.

Знал бы кто, как дорого достается нам всем этот стильный молодежливый вид мамы, которую все мужчины в нашем дворе и не только провожают тоскливо-одобрительными взглядами. Не менее трех часов непрерывных верчений перед зеркалом, перебирания всего гардероба, примерки и перемерки не менее трех-четырёх платьев или костюмов, прежде чем решиться надеть... В общем, опоздания моей мамы, а заодно меня и отца, если мы шли в одном направлении, стали уже горькой традицией, в результате чего мы даже один раз опоздали на самолет.

Вот и сейчас нас ждет самолет, скоро уже подоспеет время регистрации, а мать только-только собралась «посидеть на дорожку».

Вся взмыленная, раздосадованная, я хожу по зале из конца в конец и покрикиваю: «Ну быстрее уже, быстрее!.. Хочешь, чтобы опять, как тогда, никуда не полетели?!»

— А я и не хочу никуда лететь — это все ваши затеи, — задиристо отвечает мать.

И немудрено. На диване спокойно возлежит единственный в целом мире мужчина, который совершенно равнодушен к маминому виду, — это мой отец.

Он никуда не торопится, потому что может собраться за две-три минуты, а это сделать — никогда не поздно, достаточно просто встать и, пройдя в прихожую, сунуть ноги в туфли и взять под мышку папку. Брюки-то и сорочку он надел еще утром.

Все его беспокойство выражается лишь в подчеркнуто частых проворачиваниях в руке связки с ключами, причем ключами от других домов и помещений — казенных, экспедиционных. Ключи позвякивают, как костяшки на канцелярских счетах. И эти обесценивающие все ее усилия канцелярские звуки страшно бесят мать.

— Бери чемоданы и шуруй уже на остановку, — говорит она, стремительно поднявшись, и идет в который раз проверять, выключен ли газ и завинчены ли краны. На ходу она кричит — уже мне:

— А ты — ты вот принесла вчерашний кефир. Если я отравлюсь, отвечать за это будешь ты. Сколько раз говорила: смотри на число, этой Офелии нельзя доверять.

— Да у этой Офелии вообще не нужно ничего покупать! — завожусь я с пол-оборота. Будь моя воля, я отправила бы продавщицу Офелию, торгующую из-под полы дефицитными в Тбилиси молочными продуктами, нагло обвешивающую и обсчитывающую всех — у всех на виду, — причем все делают вид, что так оно и надо и, более того, так в Грузии поступают почти все продавцы и покупатели!.. В общем, я бы отправила бы всех этих продавцов, а заодно и покупателей — в тюрьму. Я даже готова пойти после школы учиться на юриста только затем, чтобы очистить свою республику от всех этих жалких, обманывающих друг друга с самым добрососедским, добросердечно-заговорщическим видом мещан. Неприязнь к таким людям порой переходит у меня в неприязнь к народу, среди которого я живу и кровь которого течет в моих жилах... Тем более что отец, ничего не подозревающий о моих настроениях, все время способствует углублению этой трещины — между мной и народом. Словно нарочно, в нем, отце, как и в народе, по моим понятиям, сконцентрировалось все самое негативное из того, что есть в этом мире и чего я ни за что на свете не хотела бы выпустить в свой маленький, а точнее — такой большой, прямо-таки гигантский мир, куда уже не умещается какой-то там малый народ... Вот и мать подливает масла в огонь:

— Слава богу, что уезжаем на лето в Россию. Хоть там никто не обманет, не обвесит, не обхитрит. Да и продукты будут качественней. Не то что у этих — производителей халтуры!..

И мать презрительно отворачивается от уже стоящего в дверях с двумя чемоданами отца.

— А... Э-э... Елки-палки, и куда столько вещей, — говорит он с глухим недовольством, все еще полусонный, и силится нащупать возражение. И, ничего не нащупав, говорит, дернув плечом перед тем, как окончательно скрыться за порогом: — Ну и уезжай насовсем в свою Россию. Только ты ж ведь хохлушка!

Обычно после таких слов вспыхивает короткая перепалка на тему — кто кому больше испортил крови и кому первому и куда лучше бы поскорее уехать. В сопровождении неизменной присказки: «Да если бы не ребенок!» И мать, взяв значительный словесный перевес, переходит в режим монолога, который длится и длится, усиливаясь, до тех пор, пока отец не заорет, или не грохнет об пол тарелку, или не перевернет стул или стол. Или просто не возьмет молча портфель и исчезнет на месяц или два в своей экспедиции.

К счастью, последнее случается чаще всего, и отец в моей жизни практически отсутствует.

А ведь когда-то мы с ним дружили. И я, пятилетний ребенок, примостившись к нему сбоку на все том же диване, гордо поглаживала, играя курчавыми темными волосками, его широкую обнаженную грудь — отец любил лежать в одних трусах. Я делала вид, что тоже читаю газету, стянув с него очки и водрузив себе на нос... С сонным безразличным видом я посматривала сквозь мутные, искажающие все вокруг, большие стеклышки на мечущуюся пантерой мать. Или, глядя в телевизор, делала вид, что думаю о чем-то своем. И — увлекшись — правда о чем-то там думала. Либо просто лежала, как и он, прикрыв глаза, и делала вид, что сплю. Да так, бывало, и засыпала.

Когда же мать затевала ссоры, в них я неизменно вставала на сторону отца. «Ох, наказал же меня Бог, — томно говорила я словами отца. — Слушай, хохлушка, а не уехала бы ты на свою Украину?..»

Невзирая на продолжающую метаться мать, мы начинали мило дурачиться на этом вечном троне отца — стоящем в зале складном двуспальном диване.

Но однажды, когда я, воображая себя мушкетером французского короля и — это смутно чудилось в глубинах памяти — витязем древнерусского войска, а заодно — попросту офицером советской армии, надела к его приходу с работы спортивные штаны с красными продольными полосами вместо лампасов и белую сорочку с собственноручно пришитыми погонами из обрезков какой-то красной материи, взяла в руку тонкую белую палку, выструганную из тополиной ветки... В общем, когда я кинулась, радостно вскинув руку к козырьку, чтобы отдать честь отцу, он, едва переступив порог, досадливо отвернулся и бросил в сердцах:

— Сними это к черту!.. И никогда больше не надевай этот шутовской наряд. Занялась бы уже чем-нибудь полезным!

Не знаю, что случилось в тот день на работе у отца. Но во мне в эту минуту произошел, быть может, самый главный, на всю оставшуюся жизнь взрывом прогремевший переворот. Его взрывная волна гудит и гудит в потаенных глубинах подсознания до сих пор, потрясая основы моей личности, а стало быть, и мироздания.

Отец не признал во мне мушкетера! Значит, он не король. И даже, по всей видимости, не серый кардинал. Жалкий печенег!.. Долой его! Он — всего лишь обычный скучный взрослый человек, к тому же мужчина, наделенный от природы силой и властью, деньгами. Тот, кто может соблазнить еще более-менее гибкое, тонкое и живое существо, именуемое Женщиной, заманив его в золотую клетку и заставив обслуживать себя. Тот, кто может унижить ребенка. Нет, никогда не захочу я стать похожей на него!

Между мной и мужчиной — война! И на этой войне я — мужчина! Это с меня можно будет брать пример обычному взрослому мужчине. Это я — отец своему отцу! Я — защитница жен и детей!

Да и в самом деле — как вели себя большинство окружающих меня мужчин: соседей, родственников, просто прохожих? Они скучали среди жен и изменяли им, надеясь — и часто небеспочвенно — в обмен на вечное золото клетки, на лицемерное соглашательство своей «второй половины».

Эту картинку я наблюдала в Грузии повсеместно и незаметно так прониклась ею, так впечатала себе в лоб и печень, что совсем позабыла про возможность исключений из этого общего — характерного только для мира обыденности — правила.

— Нет, лучше пусть **он** уезжает в свою грузинскую деревню. А мы — русские — будем жить здесь! — говорю я через два часа молчания, повернувшись к матери, и всей кожей спины ощущаю, как отъезжает, отъединяется — буквально физически — отец. А заодно и бабушка с дедушкой по линии отца... Удивленно хлопая глазами, остается за бортом моей любви и внимания добрая, ласковая, веселая тетя Тина, так любившая мои приезды.

Отныне и вся родня отца, и — шире — вся моя грузинская Родина, разбитые вдребезги, отправляются за ненадобностью в хлам моего подсознания.

Больше я не приеду в гости на каникулы в свою грузинскую деревню!

Наверное, в минуты такого сильного разочарования и рождаются революционеры.

Должно быть, далеким вечером в провинциальном городке Гори маленький мальчик Сосо Джугашвили горько заплакал, в первый раз оскорбленный своим отцом-сапожником, который не остановится и перед тем, чтобы выгнать его впоследствии босым на мороз.

Поник глубоко опечаленный чем-то в отце мальчик Федя Достоевский, задумавший в глубинах своего существа отцеубийство, но по забывчивости переложивший бремя этого желания на Ставрогина.

Выбежал из квартиры ничего сквозь цифры не видящего отца — математика — Боря Бугаев — будущий писатель Андрей Белый. Позже Николай Аблеухов из романа «Петербург» подложит бомбу с часовым механизмом под собственного отца-сенатора — такого мутного, скучно-размеренного старика.

Под весь этот Старый мир — бомбу! Долой его — в Бездну! Долой ветхого человека, человека-старика! Да святится имя твое — Дитя... Вот только... как обошелся с собственным сыном Яковом Иосиф Сталин, когда-то выгнанный на жесточайший мороз своим отцом-сапожником? А Ставрогин — он как обошелся с Дитем?..

Нет, я, как Володя Ульянов, пойду другим путем. У Володи Ульянова было с кого делать жизнь — с брата Александра. И мне есть с кого — с Веры, Иры, Олега. С Зои Михайловны. С настоящей пионерки Аэлиты. С Альки из «Военной тайны» Гайдара и его же Мальчиша-Кибальчиша. С Ассоли из «Алых парусов». С писателя Крапивина и его мальчишек и девчонок из отряда «Каравелла», про которых я взахлеб читаю в журнале «Пионер».

Помогите вы, старшие, стать и мне старшим другом — неразумным моим родителям, соседям, родственникам и просто прохожим, на лицах которых так горько отпечатались муки старости... Сердце мое расколото на две половины. В одной из них — гнев. В другой — жалость. А обе вместе они застопоривают, запечатывают внутри Любовь, и я молчу и тушуюсь, мучаясь никому не видимой виной.

Мы взошли на гору с автобусной остановкой друг за дружкой — отец, я, мать.

Но — разделяло нас не менее десяти метров физического расстояния и неизмеримое количество пространственной энтропии.

Мы так и шли — в десяти метрах друг от друга, думая каждый о своем и видя свое, только свое и — еще раз свое.

А придя к месту, стали порознь.

И в автобусе — тоже ехали порознь.

И только в самолете — вновь объединились, оживившись.

— Смотри, Маша, Тбилисское море, — сказал отец звонким голосом и, словно захмелев, принялся напевать вполголоса песню «Тбилисо».

Прильнув плечом к иллюминатору, спрятав улыбку, я с умилением и гордостью взирала на раздолье далеко внизу — на ровные зеленые и коричневые квадратики с тонкими полосками дорог, среди которых огромным голубым овалом покачивалось, как пятно на шкуре жирафа, или, лучше сказать, летело, прильнув к могучему крылу лайнера влажнокрылым лебедемком, наше море с приникшей к нему горой с основным лесом.

Где-то там, под горой, был и наш дом, и в нем ворочались с боку на бок в сей ранний час воскресного утра два самых дорогих мне человека: Вера и Олег. Предчувствуя со шемящей грустью мучившую меня каждую поездку на каникулы тоску по дворовым друзьям, я ощутила, как сердце, ткнувшись в грудь, поднялось к горлу и попыталось сделать с ним что-то такое этакое, куда-то проскользнув... Кашлянув, я еще больше нахмурилась и на всякий случай закрыла глаза.

— Правильно, Маша, лучше поспи, — одобрил отец.

Ему не мешало то, что я с ним по жизни практически не разговаривала. Присев поодаль, он иногда принимался негромко, неторопливо рассказывать мне о чем-то, не требуя ответа. Как правило, такие разговоры содержали какое-то скрытое поучение, которого я, однако, не могла уловить, да и, впрочем, не силилась. Они про-

должались до приближения матери, которая бдительно прислушивалась ко всему, что происходило в доме и за его окрестностями, и, услышав звон, тут же выдавала серию экспромтов, достойных лучших образцов обличительного красноречия.

Видимо, я все-таки задремала, потому что из мечтательно-радужного тумана, которым заволокло мое сознание под ровный гул двигателя, меня вывел все тот же доброжелательный, непривычно оживленный голос отца:

— Маша, а вот и Москва.

— Где?!

Рванувшись к иллюминатору, я с затаенным дыханием всматриваюсь в такие же, как и в самом начале, зеленые и коричневые квадратики с тонкими полосками дорог и чуть ли не плачу от разочарования: «И это все?!»

Держа перекинутую через руку кофту и поминутно поправляя челку, в одной шелковой блузке, пронизываемая несильным, но ощутимым ветром, я осторожно и в то же время торжественно, стараясь не терять осанки, хожу по Красной площади. Только здесь я смогла избавиться от неудовлетворенности видом Москвы, только тут провалилась в сказочное раздолье. До того мы, оставив вещи в недорогой гостинице у Театра Советской армии, успели сходить только в случайно попавшийся по пути Музей художника Васнецова, и у меня до сих пор стоят в глазах так поразившие меня «Три богатыря». Если выехать из этой картины славным Иваном-царевичем на Сером Волке, прижимающим к себе печальную Аленушку, и проскочить эту тьму и туман, вздор и шум, вывески и витрины — весь этот собирательный Торговый дом, одной из ипостасей которого является не то ГУМ, не то ЦУМ, где, как в Бермудском треугольнике, провалилась моя мама, бросившая нас с отцом три часа назад, велев ждать бессрочно, у какой-то клумбы, где отец благополучно и сидит, читая газету и пожевывая пирожки, то когда-нибудь конец пути упрется в три богатырских здания — Кремль, собор Василия Блаженного и Мавзолей.

Собор Василия Блаженного я уже обошла по кругу и побывала у него внутри, подхватив незримую печаль, веющую от винтовой каменной лестницы. Но вот я вышла, пристроившись к группе экскурсантов, на залитый солнцем простор бульварной мостовой, увидела синее небо в курчавой бороде облаков, пронзенных вдали золотистыми куполами соборов, и теперь счастливо брожу среди оживленных людей, которые, заполонив Красную площадь, тоже как-то приосанились и выросли, понимая, что стоят сейчас, быть может, на самом родном и главном месте планеты.

Особенно много тут детей: нарядных, забывших на время о забавах и внимательно, с самым бесхитростным видом вглядывающихся и вслушивающихся в происходящее и в то, как стараются взрослые, что-то высмотрев, может быть, даже впервые открыв для себя, донести, рассказать, показать, чтоб оно никогда не забылось.

В эти редкостные минуты — на этой мостовой, где так же топтались веками наши предки — душа так открыта, что ее можно брать голыми руками. И даже голуби, кротко приземляясь на эти священные камни, безбоязненно льнут к рукам, словно руки человеческие — и есть хлеб небесный.

В такие минуты никто не может обидеть ни одно живое существо.

Это здесь, прямо среди площади, среди этого символического для народа места, в отличие от выдвинувшегося несколько в сторону огороженного Кремля и совсем неведомого, невидимого за стенами прочих зданий кремлевского двора, спит вечным сном в Мавзолее самый лучший человек на Земле.

А значит — пока часовые на посту, — в мире все хорошо. Мир любит тебя, человек!

Но тут же — дегтем в бочке меда — примостился рядом с прекрасной тройкой — Кремль, собор, Мавзолей — четвертый элемент — Лобное место. И я даже не сразу замечаю его и не сразу улавливаю его назначение за красивым фасадом слова «лобное». Но с подачи экскурсовода смысл проясняется, и тогда та печаль, которая всплыла было изнутри, когда я поднималась по узкой винтовой лестнице собора Василия Блаженного, моя хроническая, обычно задвигаемая печаль, задвигаемая куда-то, где она плещется, неумолчная, в глубинах чего-то большого и влажного, такого непоколебимо-красивого, что ему нет места даже здесь — в центре благостного мира, — снова накатила и так накрыла меня, что Красная площадь вдруг показалась всего лишь щелью меж пыльной землей и грозным, насупленным небом.

Да, это была лишь щель, только узкая полоска воздуха между двумя равнодушными ладонями, одна из которых — безразличная Земля, а другая — равнодушное Небо. Подавленная, я оглянулась на клумбу вдали за обочиной, у которой сидел отец, и заметила вернувшуюся наконец мать. И — устремила им навстречу.

Пока я шла, солнечный день снова пронизал меня расходящимися во все стороны лучами, которые пропускали через себя и другие дети, ходившие повсюду с чистыми, трогательными лицами, и мир вновь раскрылся, как разомкнувшаяся шкапулка.

В руках у матери была сумка с покупкам, и они с отцом обсуждали, куда стоит пойти еще, пока есть время до поезда — ведь нам предстояло ехать дальше — в Тульскую область, куда направили в то лето его геодезическую партию.

— По-моему, можно уже вернуться в гостиницу и немного поспать, — услышала я сонный и в то же время ироничный голос отца, — надоела уже вся эта показуха. Надо жить чем-то реальным. А это все рассчитано на дураков.

И он потянулся за пирожком.

— Ну, правильно: помнишь, как ты сказал про портрет маленького Володи Ульянова в магазине: «Какая красивая девочка! Может, купим себе такую?» Пределом твоей мечты, когда мы познакомились, и было, как ты сам говорил, обзавестись макинтошем, портфелем и животом. Два вторых пункта ты уже выполнил. Осталось дело за макинтошем.

Отмахнувшись неопределенным жестом, отец устремляется к дороге, ведущей из этого праздничного простора вокруг, и мы вынуждены двинуться ему вослед.

Так как отец никогда не оправдывался, то я никогда не могла понять, какие из историй, которые постоянно рассказывала про него мать, правдивы, а какие трансформировались в ее падком на выживание негатива сознании до такой несурязицы, на какую отцу просто надоело реагировать. Но факт остается фактом — и те, и другие успешно работали на непрерывно накручиваемый в моем сознании демонизированный образ отца. Собственно, в тот день матери необязательно было повторять весь этот не раз пролетевший через мои внимательные уши «джентльменский» набор отца — то, что его посещение Красной площади свелось к сидению у клумбы с газетой и пирожками, окончательно убило во мне последние остатки уважения к нему. Тем более что он так дурно, так плоско отозвался о вещах, которые вызывали в моем сердце только благоговение, только священный трепет.

Но я, как и он, была молчалива в семье — и мои мысли о нем оставались для него тайной за семью печатями. Как оставались для меня тайной и его настоящие, тщательно скрываемые от всех мысли и настроения.

К вечеру мы прибыли в поселок Епифань Кимовского района Тульской области и направились в обветшавшее здание бывшего педучилища, второй этаж которого местные власти выделили для работы и проживания партии геодезистов-полеви-ков, которую и возглавлял мой отец.

Так как время было позднее, мы, найдя училище, поднялись на второй этаж, прошли впотьмах узким коридором в самую дальнюю угловую комнату, приготовленную для нас отцом, и тут же заснули, свалившись одетыми на раскладушки с походными спальниками. В комнате были только эти раскладушки, простой дощатый стол и два стула, а стены были обклеены плакатами на тему техники безопасности из жизни геодезистов — привычная, созвучная чему-то глубинному во мне обстановка, в какой я росла до пятилетнего возраста, пока мы не вселились в тбилисскую квартиру.

Утром меня разбудили крик петуха, квохтание кур, позвякивание колокольчика, протяжное мычание коровы вдали, дальний плач ребенка, чей-то сдавленный смех, чей-то шепот с одной стороны и неторопливый говор с другой — на фоне мерных шагов. Встав, я ринулась, в чем была, в коридор и, заглянув попутно в пустые комнаты — бывшие классы, одна из которой была заполнена на треть хламом, среди которого обретался сломанный пополам скелет, и можно было насладиться раскопками среди кучи старых полустгнивших книг, спустилась вниз по узкой скрипучей лестнице — здание было деревянным и походило на сплавленный на пенсию корабль. Но на первом этаже этого корабля-пенсионера располагалось весьма молодое и веселое общество — цех по производству игрушек. И туда как раз шли лукаво улыбающиеся, подмигивающие мне женщины в цветных косынках, среди которых было немало совсем молодых, некоторые из них, как потом выяснилось, жили тут же — в женском общежитии, расположенном во дворе. Я еще не знала тогда, какие последствия нас всех ждут от этого соседства на одной территории — молодых незамужних или несчастнозамужних женщин с партией грузин-геодезистов, большинство из которых были молодыми парнями или мужчинами в самом расцвете сил.

Погода была солнечная, и повсюду по двору летали бабочки-капустницы, пчелы и стрекозы, тоненько подавали голоса птицы в кронах лип, рябин и берез, растущих вокруг здания училища. Трава была по пояс, среди нее вились от ворот потрескавшаяся асфальтированная дорожка и множество тропок, одна из которых вела к туалету, другая — к большому крану, третья — к заброшенному колодцу, а четвертая — к заботливо огороженному обелиску, на котором были выгравированы имена погибших в Великую Отечественную войну выпускников училища.

Постояв немного у обелиска с всегда охватывавшим меня в таких местах благоговением и священным трепетом, я вышла за ворота и пошла по широкой улице с деревянными домами с резными окнами — туда, куда шли и другие редкие прохожие. И вскоре оказалась на центральной площади поселка, на которой располагались магазины со столовой, поселковый совет и главная достопримечательность — высокий старинный собор, настолько заброшенный, что в него закидывали бутылки. Не только пол в соборе, но и липовый сквер вокруг него был усеян не только бутылками, но и лежащими вповалку мужчинами, которых под вечер выкликали и уносили чуть ли не на спине подходящие по одной женщины. Да что там говорить — вскоре выяснилось, что единственными стоящими на ногах мужчинами в поселке были председатель поселкового совета и начальник милиции.

Первым делом я направилась к собору и попыталась в него проникнуть, но усилия мои оказались тщетными — массивная чугунная дверь, казалось, стояла здесь еще со времен седой древности, которой здесь так и веяло, как в музее Васнецова, а потом — на Красной площади. И этой двери было не сдвинуть моим тонкокостным плечом.

Но зато я подтянулась, ставя ноги на выбоины в стене, к решетчатому, но незастекленному окну и сумела разглядеть едва различимые, запыленные, замызган-

ные лики святых на фресках. Они казались странными и пугающими, далеко отстоящими от этого сквера вокруг, этой почти безлюдной площади за стенами собора и даже от самого собора с выстилающим его земляной пол настиллом из бутылочных осколков.

Слегка подавленная и в то же время зачерпнувшая какой-то тонкости и тишины, я спрыгнула наземь и куда-то пошла наобум по одной из улиц, которую пересекали другие улицы, — их, улиц, вливающихся друг в друга, пересекающихся и параллельных, было в Епифани великое множество.

Я шла и шла, решив посмотреть, где же конец, и вышла на опушку с громадным высохшим дубом, обвитым тучей оглушительно каркающих в звучной тишине ворон. На некоторых ветвях громоздились гнезда. И над ними вились тонким дымком отдельные вороньи семейства.

За дубом же — стояла церковь со златоглавым куполом. Она была небольшая и, кажется, действующая.

Будучи убежденной атеисткой, я никогда еще не заходила в действующий храм, хотя храмов в Тбилиси было великое множество. Когда кто-то из сопровождающих меня людей во время прогулок по архитектурно богатому проспекту Руставели, помявшись, робко давал понять, что хочет ненадолго отлучиться (зайти в храм), я оставалась в молчании на улице, очень в глубине души сожалея о неразумии и косности этого своего (читал бы Маркса и Ленина!) знакомого.

Но тут я решила — была не была, ведь это русская церковь, к тому же старинная, и пора бы уже посмотреть все как следует. И я направилась прямо в широко распахнутый дверной проем, благо что церковь была не огорожена. Но вдруг наткнулась на сидящую на крыльце на табуретке сгорбленную в три погибели старуху с палкой в руке.

— Куда?.. — сказала она зло и скрипуче. — А ну назад! В брюках сюда не ходят!

И я, попятившись, ретировалась.

Каркали вороны, падали, кружась, листья с полуоблезлой, болезной какой-то липы, лалял пес. И — мучительно саднил внутри словно влетевший черной вороной отголосок скрипучего, корежащего душу голоса старухи...

А направо через проселочную дорогу стояли кресты на могилах, отсюда начиналось кладбище.

Гнет происходящего буквально вытолкнул меня с этой поселковой окраины и, подгоняя, будто злой ветер в спину, принес к родному — теперь уже родному — педучилищу.

Возможно, это с той поры действующие церкви стали ассоциироваться у меня с запретами и кладбищем, что трансформировалось в страх смерти и неприязнь к мертвенному фарисейскому духу, который я начинала ощущать сразу же, как только переступала порог большинства храмов. Так длилось очень долго и немного развевалось только после того, как я углубилась в литературу о смысле храмовых таинств.

Потекли вольным, извилисто петляющим, кружащим, но широким и полноводным ручьем летние дни моего первого большого проживания на российской земле, среди неширокого здесь Дона и полей с необозримой далью, по которым раскинулись холмы и перелески. Где-то всего в получасе езды находилось Куликово поле. А сам поселок Епифань в свое время заложил проезжавший здесь Петр Первый, это его историю изложил Андрей Платонов в повести «Епифанские шлюзы». До того мы выезжали с матерью только на Северный Кавказ, в район Минеральных Вод. То — тоже Россия, но исторически курортные городки Ставропольского края расположились на землях местных кавказских народов, да и природа кругом была все та

же, кавказская. Однажды я даже умудрилась, подхватив кишечную инфекцию, провести в инфекционной больнице Железноводска целый сентябрь, опоздав из-за этого на месяц в школу и запустив навеки английский, который нам начали преподавать в этот год. Единственной книгой, которой мне пришлось довольствоваться, был сборник стихов Сергея Есенина «Несказанное, синее, нежное» — в навевающей свежесть элегантно обложке с летящими по лазури осенними листьями. Мать купила его в местном книжном магазине, чего обычно с ней не случалось — книжными покупками у нас ведала моя пермская тетя, присылавшая нам посылки с чудесными книгами Пермского книжного издательства.

Таким образом, Есенин стал первым сознательно прочитанным мною поэтом. Он еще больше углубил мою всегдашнюю пронзительную тоску по России, которую я ощущала именно так: несказанное, синее, нежное. И понимала: такой несказанной — ее здесь нет. Она такая вот — высокая, таинственная, синеокая — притаилась в водах Китежа. К ней не приплыть даже Волгой и Доном. Но можно опереться на белокаменные стены и златоглавые купола, на холмы и поля, на леса и перелески, на непонятную тоску бредущего с косой за плечом мужика... И на тоску такого близкого и понятного, но почему-то потерявшего радость поэта Есенина, вроде не старого еще человека, почему-то жалующегося на пролетевшую молодость.

Вскоре выяснилось, что поскольку в Епифани нет твердо стоящих на ногах мужчин, то нет и верных им женщин.

Женщины поселка просительно заглядывали в лица любых проезжающих мимо особей мужского пола, не гнушаясь разницей в возрасте, национальности и вероисповедании. Поэтому весть о приехавшей в Епифань экспедиции в мгновение ока облетела едва ли не всю Тульскую область. Слово вихрь приподнял с земли истосковавшихся по теплу простых русских женщин и понес, как к магниту, к прямостоящим молодцеватым грузинам. Сей вихрь был встречен молодцеватыми грузинами с необычайным ответным энтузиазмом. Вернувшись с полей, где они проводили измерительные работы, члены геодезической экспедиции разбредались в полумгле по хатам либо к ним приходили в комнаты их вездесущие, всепроникающие подружки, с которыми они ездили в выходные с шашлыками на Куликово поле.

Однажды, когда мать уехала в Тулу, чтобы походить там по магазинам, отец принес билеты в кино, которые бесплатно выделила администрация города для нашей экспедиции. Приодевшись, мы с ним и другими нашими джигитами явились вечером в местный клуб, полный самым разнообразным народом.

И тогда выяснилось, что и у отца есть пассия. Она подошла к нему прямо у входа и, взяв по-свойски под руку, повела в зал. Не сразу поняв, что происходит, я тоже села рядом, на предназначенное мне билетом место. И — о, ужас! — как только погас свет и вспыхнул экран с кинохроникой, отец положил пассии голову на плечо, и рука его юркнула ей под блузку...

Как ужаленная, я метнулась к выходу, чего отец как будто и не заметил.

Мать уже была дома и восторженно носилась вокруг купленного в тульском универмаге сервиза. Но я, вся бледная, решительно сказала ей, что она должна немедленно развестись с отцом, потому что он ей изменяет.

В тот же вечер сервиз был разбит вдребезги, — отец, услышав первые звуки претензий к нему, тут же перевернул стол и ушел куда-то на всю ночь.

А наутро я застала его в рабочем кабинете подвыпившим, с незастегнутой ширинкой. И не преминула сообщить об этом матери, еще раз повторив, что она теперь должна развестись.

Мать слегла с ишиасом. У нее начались такие боли, что пришлось вызвать «скорую».

В то время как доктор обкалывал ей поясницу и ногу новокаиновой блокадой, отец был во дворе и демонстративно обнимал впорхнувшую ему под крыло пассию, которой было, как я узнала позже, всего двадцать два года — она работала в цехе по производству игрушек и проживала тут же — в женском общежитии.

Тогда мне захотелось убить его.

Я нашла тюбик с его зубной пастой, растолкла таблетки перекиси водорода, которыми красилась мама, и попыталась смешать его с содержимым. Но у меня ничего не вышло. Обдумывая план истребления такого негодяя, каким я представляла в те дни отца, я было вознамерилась сжечь секретные аэрофотоснимки, на которые он наносил вечерами чертежи. Все сотрудники экспедиции в определенные часы корпели над будущими топографическими картами, вооружившись циркулями и наборами красок и простых карандашей. Это, как я надеялась, привело бы к его аресту. Но я как-то не решилась на столь радикальный поступок.

В один из этих дней, проходя мимо цеха по производству игрушек, я услышала в приоткрытую дверь, как женщины журят ту самую пассию: «И не стыдно — при жене и ребенке — так выкобениваться?.. Ну неужели ты не могла округить неженатого?»

Поднявшись к себе, я еще раз напомнила матери о разводе. Я надеялась, что теперь уж мы точно сбросим с плеч этот страшный груз — потерявшего всякий человеческий облик мужа и отца.

Но, похоже, что, несмотря на то, что мать механически твердила, глядя полными слез и боли глазами в мои глаза и видя при этом что-то свое: «Да-да-да, как только вернемся домой — я подаю на развод», ее решимость таяла с каждой минутой, как песок в песочных часах.

И однажды она, всхлипнув, обронила: «Деточка моя, а как же мы будем одни? Я же совсем не умею работать. Я и так всю жизнь одна-одинешенька, никто меня не поддерживает».

Это говорила женщина, которая переплывала в юности Дон в своем казачьем отечестве. Бывшая в своем школьном классе бессменным председателем совета отряда, к которой учителя, отдавая дань ее неформальному авторитету среди сверстников, порой обращались с просьбой водворить на уроке порядок. И мама царственно справлялась с этой ролью. Кроме того, она занималась велоспортом, художественной гимнастикой и была завсегдатаем танцплощадок в студенческих городках, где за ней ходили грустными пажами отвергаемые ею поклонники.

Бросившись к ней, я стала горячо, со слезами уверять, что если мы останемся одни, нам станет только лучше. Но внутри меня словно стронулась корка прикрывавшей прорубь наледи — и черная горечь, смешав прежние мысли и чувства в один леденящий душу поток, нещадно хлестнула наружу, натываясь на поднимающуюся откуда-то из душевной, спрессованной, дрожащей, как басовая струна, глубины стену безудержной жалости. Эта жалость не раз опрокидывала мои намерения. И я в конце отпрянула от матери и, выбегая из комнаты, крикнула напоследок в ее лицо с моляще расширенными глазами: «Как я вас всех ненавижу!»

Тем более что мать, немигающая — взор ее василькового цвета глаз словно тонул в ломком льду, — сказала, как со дна залитой черной мутью проруби: «Он с самого начала был вероломным. Когда еще тебе было полтора года и мы жили тогда в Запорожье у моих родителей, он мог поиграть с тобой, купить тебе конфет, взять мочалку и, сказав нам с самым невинным видом, что идет в баню, — уехать в Грузию».

Прошла еще неделя и отец, с которым мы не разговаривали — он спал в эти дни в кабинете, — как-то сам собой, без лишних слов и проблем расстался с пассией. Выглядел он при этом так, словно в его жизни и не было такого эпизода — он не потерял даже аппетита и выглядел все таким же сонным и благодушным снаружи и критичным (на мой взгляд — циничным) внутри.

6

Скорее — заберите у меня эту дорожную сумку!.. Я просто закину ее в прихожую, передав на бегу волоочащей чемодан матери ключи, отмахнувшись — ведь сердце бешено скачет! — от ее просьбы помочь, понесусь вниз по лестнице, увернусь от попытавшейся задержать меня ласково-любопытной соседки, живущей этажом ниже, что когда-то угощала меня пирожками, и, выбежав во двор, ворвусь на нашу детскую площадку. И уж там отдышусь, приседая, как бегун после забега. Там уж осмотрюсь.

Сколько раз представляла я себе эту сцену.

Только соседка стала ниже ростом, и улыбка ее уже не казалась больше любопытной. И другие соседи — тоже почему-то — стали ниже. И даже стали ниже перекладины на трубах с баскетбольными щитами. И только деревья все еще были большими. А моих трех друзей — Веры, Иры, Олега — как не было, так и нет.

Вера и Олег приехали только поздно вечером — они с родителями отдыхали вместе на Черном море. Поэтому увидела я их уже в школе — на следующий день — первого сентября.

Вера, бывшая до того выше меня почти на целую голову, стала почти на целую голову ниже меня. Мне стало так неудобно, будто я лишилась в этот миг старшей сестры. Но я виду не подала и бодро спросила: «Ну, как ты?.. Рассказывай». Я все-таки была очень счастлива и смущенно улыбалась. Вера засияла тоже. И, беспечно поведя плечом, кротко сказала: «Да ничего особенного и не было — просто сначала я была, как всегда, у бабушки в Конотопе... Ну, ты знаешь — я этого не люблю. А под конец удалось вырваться на море». — «Ну и хорошо!» — сказала я, совершенно удовлетворенная. И мы пошли вместе в буфет, договорившись встретиться потом во дворе.

А после я попыталась остановить Олега, куда-то бегущего в компании мальчишек своего класса, но он так и пронесся метеором, крикнув «Потом-потом!..» Ну, потом так потом. Я только заметила, что вот он стал выше. А ведь был почти на полголовы ниже меня. Неужели я утратила и младшего брата?..

Но действительность оказалось еще суровой — через совсем короткое время я утратила обоих друзей. И началось все с грустной констатации факта: Олег стал ко мне агрессивно-неравнодушен.

Так постепенно мы подошли, хоть я и оттягивала этот момент, чувствуя его неизбежность, к той черте, после которой уже начинается прямая конфронтация. Терпение мое наконец лопнуло. И, лопнув, обнажило бездну спрессованного внутри гнева.

Дуэль! Теперь уже — только дуэль! Олег исчерпал все шансы другого исхода!

И подойдя к Олегу в подьезде вплотную, я схватила его за шиворот и яростно бросила в побледневшее лицо:

— Вот что, гад, — я вызываю тебя на дуэль! Приходи завтра днем к Вере, и мы будем драться. Попробуй только не прийти — я тебя и из-под земли достану.

Больше всего я боялась, что он, презрительно поведя плечом, просто оттолкнет меня и, повертев пальцем у виска, уйдет.

Но Олег неожиданно согласился.

— Ладно, — сказал он, косо сплюнув и посмотрел мне в глаза своим холодным, высокомерным взглядом, в котором скользнула узкая, скользкая, как змея, злость. Сквозь бледность мраморной, тонкой кожи на сомкнутых скулах проступила краска, и все лицо его пошло пятнами.

Скорей всего, на него подействовало столь неотразимым, обязывающим образом имя Веры, в которую — это постепенно и запоздало понимали уже все — он был теперь влюблен. Правда, Вера не отвечала ему взаимностью и подчеркнуто устранилась если уж не внешне, то внутренне, едва он предпринимал попытки расположить ее к себе с помощью лихих выходок либо елейных, нарочито сладких речей. Вера, как всегда, понимала меня. И даже, правда без удовольствия, сделав несколько кратких попыток отговорить меня, согласилась стать моим секундантом, предоставив для дуэли собственную квартиру. В этом человеке — я по-прежнему не сомневалась ни минуты, не испытывая ни малейшей ревности, более того — считая ее чуть ли не жертвой такого эгоцентриста, как Олег.

И день дуэли настал. С моей стороны присутствовали Вера и Ира. Со стороны Олега — только Олег. Мы взяли в руки два огромных пластмассовых меча со щитами, которые я специально купила в магазине игрушек, и принялись драться.

План у меня отсутствовал. Я только лишь хотела дать выход ярости и воспринимала эту прямую сосредоточенную борьбу как процесс. Об исходе и результате я как-то не задумалась. Наверное, я все же надеялась в глубине души, что Олег, увидев происходящее, опомнится и образумится. Остановится первым, притихнет. А после — тихо уйдет из моей жизни, оставив меня в покое раз и навсегда. Или, может быть, останется — снова став прежним.

Но Олег, подловив удачный момент, больно, с силой всадил мне меч прямо под дых.

Меч был игрушечный и поранил только кожу под одеждой. Но боль была такая, что я не удержалась на ногах. Когда же я упала, Олег ударил меня под дых уже кулаком. На Олеге с двух сторон повисли Вера и Ира. Они оттеснили его к двери и вытолкнули. Но и с порога он бешено кричал: «Убью ее!.. Убью, если когда-нибудь еще встречу на своей дорожке!»

С тех пор мы по жизни с ним больше ни разу не поздоровались.

А спустя еще какое-то время мы раздружились и с Верой и Ирой. Это произошло как-то незаметно. Как-то незаметно их утянуло, как на дно сонной реки, в более взрослую, размеренную, солидную жизнь, где не было места нашим играм во дворе — в прятки и казаки-разбойники, в бадминтон и волейбол, в сидение на трубах и деревьях, в рассказывание историй о небывалом. Прогулки по ненастоящему проспекту закончились. После школы они отправлялись в кружок домоводства. После домоводства шли домой и занимались домом. И, надо полагать, прихорашивались, потому как влюблялись — пришла такая пора. И хоть ухажеров еще не было нигде и в помине, для них надо было выглядеть так, будто они уже совсем рядом и вот-вот предложат тебе сердце и руку. А заодно — ключик от золотой клетки.

Но это прозрение — насчет золотого ключика — было уже моим, и оно было тем рвом с непроходимой водой, который всегда разводил меня с людьми, не ведающими в своих начинаниях про клетку. Так и получилось, что я снова осталась в своем большом дворе одна: в своем глупом детстве. Но длилось это совсем недолго. Как ослепительная чужестранная комета ворвалась в мою жизнь Лариса Раевская — такой же, как и я, вечный ребенок.

7

Я была занята позади нашего корпуса одним очень важным и забавным делом — я приручала волков. Среди бродячих собак и кошек водились и дикие, шарахающиеся от людей, неухоженные. И самыми непримиримыми по отношению к человеческому сообществу были два серых, приземистых, длинношерстных, остромордых пса, бывших абсолютно неотличимыми друг от друга братьями-близнецами. Их-то и прозвали волками. Из-за них ни взрослые, ни дети не отваживались свободно разгуливать на поляне за корпусом.

Я каждый день приходила на поляну и просто стояла на ней, не доходя до черты, за которой могло последовать нападение волка. С собой я приносила еду — куриные кости и ошметки колбасы. Однажды, когда я привычно отвернулась, намереваясь уйти, сзади к моей ноге прикоснулся лизнувший меня язык. «Останься!..» — нежно сказал мне этим робким прикосновением волк.

В один из таких дней, когда я сидела на своей — теперь уже своей — поляне, куда меня беспрепятственно пускали волки, я и увидела идущего по дороге громко плачущего человека. Это была Лариска-собачница — девочка из соседнего пятидесят седьмого корпуса. Увидев издали ее спускающейся по дороге с нашей автобусной остановки на пригорке вместе с идущим чуть сзади терпеливо-молчащим отцом и обильно эту дорогу — горячими слезами — поливающей, я прошла к дороге и, встав рядом с Лариской, спросила:

— Что с тобой? Что случилось?

— Бима убили!.. Сволочи!.. — выдохнула Лариска.

Этого знойно-обреченного выдоха-выкрика было достаточно для того, чтобы я сразу попала в широко распахнувшее свои объятия — синее-пресинее, огромное-преогромное, близкое-преблизкое, прозрачное, с вьющимися барашками веселых курчавых облаков — небо. Это небо было всегда. Непонятно было только, где все время была я, почему искала его вверху, не догадываясь просто присоединиться.

Все самое лучшее пришло в мое детство вместе с Лариской.

И смело далеко в сторону все узкое и ординарное, все, к чему приходилось как-то притираться, пытаться натянуть на себя как единственно имеющуюся одежду. Я как бы вышла из мелководья в прекрасное, неумолчное море, вечно плещущееся и живое, и мы поплыли с ней в наше дальнее плавание двумя капитанами.

Не шагающая — всегда размашистой, сопровождаемой широкоими взмахами рук, незабываемой, очень характерной походкой, — а фактически бегущая, показывалась она из-за поворота наших двух спаянных углами корпусов и, выкрикнув мое имя, срывала и уносила меня за собой с любого места.

Если это была игра, я бросала игру. Если беседа — прерывала беседу. Если томительное ожидание дома за каким-либо всегда неважным занятием чего-то важного, бросала любые занятия и стремглав слетала по лестнице. Окружающие просто не в состоянии были даже заметить ступени нашей непредсказуемости. И поэтому из чувства самосохранения и не глядели в нашу сторону, полагая наше времяпрепровождение чем-то неважным, а то и принимая его за дурь. К примеру, моя мама часто спрашивала, правда, весьма добродушным, снисходительно-ироничным тоном: «И что — ты так и будешь всю жизнь вместе с Лариской крутить хвосты собакам?» Как-то у всех сложилось мнение, что из Лариски по жизни не выйдет толку, пропащий она совсем человек. А меня считали умной и, в общем-то, серьезной девочкой, несмотря на сопровождающую меня блажь.

Вот мы с ней, перемахнув через бетонный забор «стройки коммунизма» — недостроенного бассейна-лягушатника в окружении пристроек и большого асфальти-

рованного поля, на котором в пору гонять в футбол, — взбираемся на крышу одной из пристроек и прыгаем в горку песка с высоты не менее чем четыре метра. Это так увлекательно, потому как дух обмирает от чувства опасности. Тем более что все происходит под самым носом у сторожа, пока тот дремлет.

Но вот появляется сторож — некоторое время в них значился высокий худощавый старик грузин, ходивший с очень прямой спиной, с выгнутой по-военному грудью, с гордо приподнятой головой с орлиной формы носом и с голубыми, немного затуманенными, внимательными, казалось, сразу во все стороны глядящими глазами. И, грозя одним пальцем, другой рукой показывает жестом «За мной».

Похохатывая, Лариса жметя к стенке здания, откуда только что спрыгнула. Нам ничего не стоит ускользнуть и, перемахнув через ограду, оставить этого новенького, непохожего на других сторожа, что называется, с носом.

Но мы заворуженно, продолжая игриво посмеиваться, шуточно толкаясь и как бы подталкивая друг друга вперед, движемся вслед за сторожем. И — оказываемся в его сторожке.

Что же мы видим? На стене висят настоящая древнегрузинская чоха и две скрещенные сабли. А на столике стоит чайник с ароматными травами в окружении белоснежных чашек с горошинами на изящных полных боках. Тут же — графин с вином и стаканы.

Сторож-чохоносец величественным жестом приглашает нас к столу.

Нимало не смущаясь, мы принимаем приглашение.

Мы потягиваем чай, не отказавшись от переломленного пополам хачапури, а сторож подливает себе вино. Он рассказывает нам о мачехе Саманишвили. Был в девятнадцатом веке такой писатель — Давид Клдиашвили. Он написал повесть «Мачеха Саманишвили» про то, как сын решил подыскать овдовевшему отцу из числа обедневших дворян бездетную невесту, чтобы обезопасить себя от рождения наследника-конкурента. И найдя таки самую пропащую и престарелую в округе женщину, женил на ней отца. А та возьми и — забеременей.

Мы чуть ли не падаем со стульев от хохота, так как сторож, сделав недоуменное лицо, смешно разводит руками, а потом, загадочно ухмыльнувшись, самодовольно поглаживает себе грудь.

Впрочем, мы с Лариской смеемся всегда, так как улыбка никогда не сходит с ее лица, а шуточки и прибауточки так и сыплются, словно во всем мире всегда салют.

— И тогда другой писатель — Александр Казбеги, — продолжает свой рассказ сторож, — насмотревшись на мытарства мачехи Саманишвили и все это безобразие, устроенное пасынком...

— Устраивает революцию! — говорю я.

— Именно! — веско соглашается сторож-чохоносец, пристально всматриваясь мне в глаза. Он словно старается протолкнуть в них что-то значительное. Кажется, он сейчас встанет и продолжит свой рассказ стоя. И сторож действительно встает и наливает полный стакан. Я, поддавшись его порыву, тоже невольно встаю... В то время как Лариса, коротко похохатывая, раскачиваясь на стуле, с интересом следит за происходящим.

— Александр Казбеги отказывается от своей доли в богатом и просторном доме своего отца-дворянина и уходит жить к пастухам. Пять лет живет он в горах, перегоняя с пастухами стада по горным пастбищам. Пять лет постигает школу настоящей жизни. А потом, вернувшись в цивилизованный мир, быстро пишет одна за другой повести про то, как должны жить настоящие джигиты.

— Люблю людей я странных, ведь они жгут по ночам для нас живые фонари! — очень серьезно говорю я.

— Да! — с придыханием произносит сторож. Он отводит в сторону руку с полным стаканом и вглядывается в него своим орлиным взором так, словно в ладони его — череп Йорика.

Лариса, помалкивая, уже почти не смеется.

Я же — жадно слежу за каждым изгибом этого величественного полета мысли, которая так кстати, так неожиданно развернулась передо мной. Ведь я хочу стать писателем — правда, об этом еще не знает ни один человек в мире. Писательством я планирую заниматься в свободное от какой-нибудь другой — тоже полезной и увлекательной — работы время. Работы следователя, капитана корабля или на худой конец адвоката, или тренера по экстремальным видам спорта, или хоть психолога, занимающегося кризисами, в которые попадают люди внутри себя.

— Александр Казбеги сжигает себя и умирает в расцвете физических сил от психического истощения, в последние годы его не раз госпитализировали в психиатрическую клинику. Но вся просвещенная Грузия уже бушует у его изголовья разгоревшимся пламенем. Грузия, жадно читавшая все эти годы каждую его новую строчку, хочет вернуться к себе. Это она породит великого Нико Пиросмани, который тоже уйдет из этой жизни голым, как последний пес... Так куда же ушел вслед за уважаемым Александром уважаемый Нико?

Напрасно я лихорадочно подыскиваю ответ на сей риторический вопрос. Ничего путного мне в голову не приходит. Только вспоминается рассказ отца про то, как, будучи студентом Топографического техникума, расположенного в старинном районе Ваке, он часто видел на вакийских улицах вечно пьяного пожилого мужчину — великого грузинского поэта Галактиона Табидзе, который, по словам отца, тоже был сумасшедшим, но это отцовское мнение меня только сердило.

Мой собеседник, сокрушенно покачав головой, показывает жестом за окно и произносит горестно и в то же время торжественно:

— Он ушел по следам великого Руставели — в настоящую Грузию!.. Так выпьем же за параллельную Грузию — Грузию уважаемого Александра, уважаемого Нико и уважаемого Шота! «Мир — лишь свет от лика друга, все иное — тень его».

Никогда не забыть мне этого сторожа-чохоносца!..

Родители Ларисы были под стать ей — люди особенные.

Отец был настоящим морским капитаном в отставке, бывшим фронтовиком. На пиджаке его в праздничные дни сияли орденские планки. Это был уже пожилой мужчина плотного телосложения, похожий на популярного в те годы спортивного комментатора Льва Озерова, но только тихого, молчаливого, живущего размеренной, неторопливой жизнью, нечуждого лиризма, проглядывающего в его мудрых, серьезных и в то же время простодушных синих глазах. От этого человека веяло чем-то нездешним. Собственно, он и приехал в Тбилиси из Севастополя, где в свое время воевал, а родился и вырос в Москве, где занимался в ранней юности спортивной гимнастикой и был в ту пору так похож на актера Андрея Столярова, что ему посчастливилось дублировать того в фильме «Цирк» при выполнении сложных акробатических трюков. Не знаю, насколько соответствовал истине этот рассказ Ларисы о каскадерском прошлом отца, но сходство со Столяровым, сыгравшим в пленившей меня «Сказке о царе Салтане» главную роль, я улавливала.

Мать Ларисы была лет на двадцать моложе мужа и обладала, в отличие от него, ярким, бурным темпераментом. Всегда подтянутая, с выгнутой по-спортивному грудью и гордо поднятой головой, с красивыми, аккуратно уложенными белыми крашеными волосами, густобровая, сероглазая, с огоньком и иронией во взгляде, она обладала способностью внушать к себе уважение — перед ней все и вся неволь-

но расступалось, освобождая ей дорогу. Порой она громогласно извещала о себе уже издали — приветствуя кого-то взмахом руки и удачной репликой. Работая на двух работах — тренера по плаванию и инструктора-методиста по физкультуре на одной из фабрик, — она тем не менее никогда не выглядела обремененной и озабоченной, что называется, замученной трудом и бытом, — с бытом в семье было все в порядке.

В Ларисе удачно совмещались внутренние и внешние качества обоих родителей. Она была по характеру ровно посередине между ними, но внешне больше походила на отца, которого очень любила, гордясь им. И отец тоже не чаял в ней души, тем более что она была у него единственным, поздним ребенком.

Иногда мы с Ларисой, надевшей по этому случаю тельняшку, садились в белый «запорожец», который государство выделило ее отцу как ветерану войны, и отправлялись на весь день на центральную спасательную станцию Тбилисского моря, где нас встречали как родных. Отец Ларисы работал в республиканском ОСВОДе, и спасатели знали его, что называется, в лицо.

Пока отец и спасатели занимались документацией и своими разговорами — скорее о житье-бытье, чем о работе, — мы с Ларисой, обследовав каждую дырку на станции и коротко со всеми переговорив, обменявшись приветствиями и шуточками, садились в моторную лодку, которую вел, улыбаясь, кто-то из взрослых, и бороздили море, глядя без усталости на его воды сквозь взвизгивающуюся кругом пену.

Однажды, отправившись вдвоем на пустынный в осеннюю пору пляж, мы отвязали одну из лодок, которые держали здесь перевернутыми вверх дном и без весел прокатчики, развернули ее и — отправились в море без весел, гребя какой-то доской. Когда же мы отошли далеко от берега, бездомная овчарка Тома — неизменная спутница Ларисы, не любившая меня за то, что я тоже спутница ее хозяйки — принялась лаять и кидаться на меня, а сама Лариса, похохатывая, раскачивала в это время лодку, и без того полную воды... А я не умела плавать, меня не сумела научить этому даже мама Ларисы. Да-да, будучи лучшей подругой дочери морского капитана и тренера по плаванию, я так и не научилась плавать и испытывала вдали от берега панику. Когда же, отлаявшись, отсмеявшись и отпаниковав, мы добрались до берега, я кинулась на Ларису, толкнув ее в грудь, и между нами произошла короткая драка. Мы с ней часто обменивались на виду у изумленных прохожих кулачными ударами. Чаще всего это был спектакль, который и предназначался для чересчур корректных, приглашенных, прилизанных людей, которых нам нравилось шокировать.

8

Параллельно этой неотделимой от Ларисы жизни шла во мне какая-то внутренняя работа.

Порой она была тяжела, и тогда внутри словно поскрипывали одиноким лязгом в бесприютном осеннем дне пустующие детские качали. И словно проталкивался в растущем впереди тоннеле невидимый крот, плутающий среди хитросплетений корней. Ребенок внутри меня то проявлялся, то исчезал, подобно пламени свечи в руке идущего в ночи человека. Иногда он тихонько улыбался, а иногда страшно тревожился, и пламя бывало то желтым, то красным. Но чаще он не подавал признаков жизни или, погруженный в непроницаемую тьму, глухо стонал. Порой этот стон слышала даже Лариса, так как я неосознанно постанывала с ним в унисон. «Чего ты кричишь? — спрашивала она с неудовольствием. — Тебе вроде еще не девяносто лет. Или ты стонешь?» Как я могла ответить на этот прямолинейный воп-

рос? Только неловкой шуткой и замешательством. Так уж повелось, что о серьезном мы с Ларисой не говорили.

Зато мои одинокие вечера принадлежали исключительно внутренней жизни. Вернувшись с улицы, я по-прежнему погружалась в чтение и писание. Читала я, как всегда, все подряд, мешая детское и взрослое, а писала теперь ни больше ни меньше как роман-эпопею о Советском Союзе — таком, каким я его видела в школе, у себя во дворе, в своих поездках на каникулы, в характерах родственников, соседей и однокашников... Мне очень хотелось запечатлеть тревожащее меня ощущение, что с нашим милым Советским Союзом — с нашей, в конце концов, великой и могучей Родиной, политой кровью сражавшихся за нее предков — что-то не так. И я добросовестно фиксировала, записывая все бросающиеся мне в глаза признаки этой налипшей репьем болезненной чужеродности. Больше всего я хотела разгадать, где же у репья корни, и помногу раздумывала над причинно-следственными связями. Я планировала отправить эпопею после ее написания не только в издательство, но и в ЦК КПСС, чтобы дедушка Брежнев и другие члены Политбюро смогли воочию увидеть целостную картину того, что, вероятно, было из Кремля не так хорошо видно.

И вот однажды я, как мне показалось, все поняла про Советский Союз.

А заодно поняла, чего мне так не хватало для улавливания причинно-следственных связей в лабиринте из сидящей глубоко в почве корневой системы.

Это случилось тогда же, в шестом классе, в год, когда мы сдружились с Ларисой.

По Центральному телевидению прошел фильм «Карл Маркс. Молодые годы». Эти несколько вечеров у экрана я провела так, как, наверное, проводили время у стоп гуру адепты какого-нибудь восточного культа. Или рокеры перед поющим со сцены кумиром бунтующей молодежи. Какой же он был рыцарь — этот молодой Карл! Какой светлый, глубокий ум! Какой благородный характер! К счастью, отнюдь не «мужчина», как мой отец. В моем детском сердце — навеки пятнадцатилетнем! — не было места для мужчин: оно предназначалось только для рыцарей.

В эти пять вечеров я поняла, кто может соседствовать в моей груди рядом с самым лучшим человеком, который покоился в Мавзолее. И приступила к поиску его книг.

Как я поняла позже, так, помимо всего прочего, нашла лазейку в мою изнывающую по глубокой мысли, не находящую достойной опоры душу — Ее Величество Философия, которой не во что больше было рядиться, как в книги Маркса, ибо других мыслителей в стране попросту не издавали или их тиражи не доходили до масс.

Переступив порог книжного магазина, я сразу направилась в отдел политической литературы и, только взглянув на полки, высмотрела трехтомник избранных произведений Маркса и Энгельса. Возможно, он стоял тут и раньше — я часто навещала в этот магазин, покупая приглянувшиеся новинки, включая брошюры с материалами партийных съездов и пленумов, — но не привлекал моего внимания, как не привлекает небо увлеченно бредущего по лесу грибника. Теперь же сердце мое так и дрогнуло, так и понеслось вскачь.

— Дайте мне... вот это, — сказала я срывающимся голосом, показывая на полки рукой, — этот трехтомник, пожалуйста.

Продавщица, проследив за моим взглядом, после некоторой заминки тихо сказала внушительным, вкрадчивым и немного таинственным, немного опасливым, немного сочувственным тоном:

— Девочка, это Маркс.

— Я знаю, — ответила я с большим достоинством. — Маркс, как и Пушкин, — это непреходящие ценности.

И продавщица, немного помолчав, сразу все поняла.

Молча достав с полки все три тома, она деловито завернула их в пакет и тут же без лишних слов вручила мне, а я — ей мелочью из копилки всю причитающуюся сумму, которую она, не считая, аккуратно разложила в кассе.

Какой же это был праздник! В те дни, даже гуляя с Ларисой, я не замечала внешнего мира, целиком уплыв в простор сильной, точной мысли. Маркс разил наповал все мелкое, пошлое, больное, что встречалось еще в этом предназначенном для счастья человека мире, и не просто разил — объяснял его происхождение и показывал, что надо делать.

Слово Маркса обладало магнетизмом. И этот скрытый жар передавался тоже магнетически. Залпом проглотив не раз потом перечитываемый трехтомник, я в свои тринадцать лет все в нем поняла. Более того, я стала с ходу схватывать любые гуманитарные науки, любые художественные произведения, сразу просекая их суть, на которую нанизывались разнообразными деталями. Словом, Маркс пришелся мне, несмотря на мои юные лета, впору.

Как и Владимир Высоцкий, которого я открыла для себя практически одновременно.

Помнится, я как-то услышала от одной девочки во дворе, что, дескать, жалко Высоцкого, умершего в дни Олимпиады, хороший был артист. Тогда я не придавала значения фразе о неизвестном мне имени — Олимпиада ассоциировалась у меня с улетающим в небо олимпийским Мишкой, а не с каким-то Высоцким.

Но имя не забылось, и однажды я увидела в отделе грампластинок нашего универмага большой диск Высоцкого, на котором был изображен неброско одетый, серьезный и в то же время простой, какой-то очень естественный — не артистически естественный — человек с гитарой. Этого артиста я помнила по фильмам «Арап Петра Великого» и «Место встречи изменить нельзя». Я купила пластинку скорее из любопытства.

Но как только большой черный диск крутанулся и раздались первые аккорды — вся прежняя эстрадная музыка, под которую я любила нежно грезить о чем-то и о ком-то, расхаживая по комнате или лежа на диване, навсегда ушла из моей жизни, словно ее смел ураган. Простой, стремительный, упругий ритм — органичный, свежий, огненный — пулеметной очередью Любви косил любые границы, заборы и стены и поднимался прямо к Звездам. А с ним, вырвавшись наружу, поднималась, распространяясь повсюду, моя летящая в блаженном бешеном ритме неспокойная душа. Это были песни о Дружбе, Любви и Родине, о капитанах и летчиках, геологах и разведчиках, альпинистах и рвущихся за предел волках, то есть — о племени Канатоходцев, которое я считала самым настоящим — единственно настоящим и стоящим. А все остальное при этом — плохое, мещанское, — что так хлестко изображал этот задыхающийся на высоте ниже Гор человек, становилось неважным, поскольку человек был со всем этим абсолютно несоизмерим.

Никто еще не считал тогда Высоцкого великим артистом или большим поэтом — в печати были запрещены дифирамбы опальному Гамлету. Но я, не подзревая о его конфронтации с властями — о самой возможности конфронтации с которыми у меня просто отсутствовали понятия, поскольку я не сомневалась в их святости, — и совсем не понимавшая, не улавливавшая из-за этого второго дна в песнях, тем не менее была внутренне уверена, что пройдет время, и общество высоко оценит талант этого Мастера, и тогда имя его тоже войдет в число непреходящих ценностей.

9

А в школе между тем все оставалось по-старому. Я не вписывалась в коллектив своего класса, да, собственно, и не старалась в него вписаться. Одноклассники с их жизнью были как в тумане и казались какими-то плоскими фигурками. С ними было и неинтересно, и сложно. Все, что они говорили и делали, казалось слишком скучным, будничным, однозначным, хоть некоторые из них и были яркими личностями.

Например, учившийся на класс старше грек Гера Позов, с которым мы даже не были знакомы, вызывал у меня ощущение полета, в чем-то напоминающее мой восторг перед Высоцким — он был тот еще канатоходец! И как красиво выходил за флажки! Казалось, даже страдающие в присутствии такого хулигана учителя в глубине души любовались им.

Гера Позов был известен тем, что не мог усидеть на уроке за партой.

Он начинал ерзать, потом — громко комментировать рассказ учителя, затем — препираться с ним в ответ на замечания, а после — откровенно ерничать. Ну а дальше — чаще всего даже не дожидаясь особого приглашения, вставал и выходил в коридор.

Там Гера Позов расшагивал по всему этажу, время от времени заглядывая в класс, и необязательно в свой, и бросал под всеобщий хохот какую-нибудь шутовскую реплику. А иногда он и вовсе заваливался в чужой класс без приглашения и под одобрительные взгляды совершенно ошалевших от такой смелости учащихся, что называется, доводил педагога. Мог, например, войти в класс на руках или, влетев в него после удара головой о дверь, сделать сальто прямо перед столом внезапно присмирившей, просто слов не находящей учительницы. Выпроваживать его иногда приходилось вместе с директором и обоими завучами, но и тут Гера Позов смешно препирался и отбрыкивался, показывая свои акробатические номера. Он был ростом выше среднего, крепок, длинноног и широкоплеч, густые волосы были зачесаны назад, удлинняя красивое длинное лицо с правильными чертами и изящным, хоть и слегка расплывчатым профилем. Взгляд его был скользким, как бы плывущим в дымке, и весь он был какой-то нездешний, и иногда меня даже посещала крамольная мысль: а не является ли Гера Позов не человеком, а сошедшей с постаментов скульптурой древнегреческого бога, титана или героя, наподобие Прометей? А может, это и сам Прометей, несущий проливающий свет правды — Огонь... Ведь сей огонь проливался в основном на головы тех учителей, за которыми водились грешки. И они становились абсолютно беззащитны перед словесной эквилибристикой этого весьма пронизательного циркача, который мог, к примеру, простодушно спросить: «А сколько сейчас стоит пятерка в четверти?»

Меня тоже живо интересовал этот вопрос. И в то же время я боялась услышать на него ответ, боялась разочароваться в тех учителях, которые мне нравились, поскольку разочарование в человеке, которого я воспринимала как учителя или хотя бы как брата, сестру, друга, вызывало во мне такое сильное огорчение и замешательство, что земля уходила из-под ног, и я оказывалась словно зажатой в некой безысходной, давящей, как большая темная паутина, пустоте, где я задыхалась.

Такого рода разочарования были противопоказаны мне — буквально физически. Я уже имела опыт чуть ли не предобморочной дурноты, когда случайно услышала, как матерится в дружеской беседе со своей подругой — школьной уборщицей, идя с ней под руку — наша директриса, преподававшая нам русский язык и литературу. Только накануне она посвятила целый урок чистоте родной речи, когда, декламируя с дрожью в обычно металлическом голосе стихотворение в прозе Тур-

генева и поднимая глаза к портретам классиков, умоляла нас чуть ли не со слезами на глазах никогда не употреблять слова-паразиты. Класс так впечатлился, что на следующих двух переменах было непривычно тихо...

Вообще же, мне очень хотелось быть такой же смелой, как Гера Позов, и высказывать учителям и людям вообще все, что я о них думаю. Но я не могла... Какая-то сила преграждала мою внутреннюю речь, и эту, тоже внутреннюю, плотину было не обойти.

И все-таки в один прекрасный день меня понесло по стопам Геры Позова. Уж слишком его пример был заразителен. Я решила поподражать неподражаемому Гере Позову, которого побаивалась даже такая стальная леди, как наша бессменная директриса с металлом в голосе, заставлявшим всех школьников буквально цепенеть, вжавшись в парты.

Для этого я приобрела в магазине «Детский мир» черный игрушечный пистолет, стреляющий большими белыми шариками, и маску очаровательно смеющейся свинки.

Изучив общешкольное расписание, я выбрала день, когда урок физкультуры в нашем классе, куда можно было не пойти без всяких неприятных последствий для себя, сославшись на забытую форму, совпадал с уроком пения в каком-то младшем классе.

Надев в туалете мамины черные перчатки, маску и зарядив шариком пистолет, я, как в тумане, не помня себя от волнения, с бешено стучащим сердцем и клокочущей в висках кровью постучала в дверь класса, ожидая, что кто-то из малышни ее откроет, после чего я торжественно ворвусь в него, как настоящий Робин Гуд.

Но, к моему несчастью, дверь открыла сама учительница пения — невысокая, полная, рыхлая женщина лет сорока восьми. Быстро поставив ногу между дверью и косяком, я выбросила вперед руку и выстрелила...

Учительница вскрикнула, я машинально отпрянула назад, дверь захлопнулась.

Мне бы бежать сломя голову!

Но я — из-за совершенно запредельного волнения — смогла только заскочить в туалет.

И через минуту — я услышала это с ужасом — дверь вновь открылась, и послышался неритмичный стук каблуков.

Прежде чем я успела что-то сообразить, Полина Сергеевна, похожая в этот момент не на учительницу, а на обычную домохозяйку, в меру испуганную, в меру хваткую, в меру воинственную, вошла в уборную.

Отбежав в конец комнаты, я повернулась к ней лицом в маске и скрестила на груди руки в черных перчатках, наверное, для того, чтобы не выдать дрожи.

— Сними маску, — сказала Полина Сергеевна. — Кто ты?

— Не сниму! Не ваше дело, — выкрикнула я грубо.

— Ах так, ну тогда я заберу твой портфель, а там и поговорим! — спокойно сказала Полина Сергеевна. И, потянув за ручку портфель, который я оставила на подоконнике у самой двери, преспокойно отнесла его в класс.

И пришлось мне — застигнутому врасплох Робину Гуду — тоже войти в класс в оставленную открытой дверь — в класс, где присмирившие от соучастия во внештатной ситуации третьеклассники так и ахнули при моем появлении.

— Свинухка!.. — произнес кто-то изумленным, сдавленно-восторженным голосом.

Чтобы поддержать этот настрой класса, я слегка помахала им свободной рукой. В другой я по-прежнему держала пистолет, не направляя его никуда конкретно.

Раздался смешок, потом другой, и вот уже весь класс, кто упав на парты, а кто

вскочив, не просто хохоча — грохоча внезапно слившимися в хор голосами и партами, с живейшим интересом наблюдал за нашим с Полиной Сергеевной поединком.

Я требовала — вернуть портфель. Она — снять маску и назвать фамилию. Наконец мне это надоело, и я сорвала маску и выкрикнула:

— Вот вам! Кикнадзе моя фамилия! Довольны?

— Понятно... А ведь я помню тебя. Забирай свои причиндалы!

Портфель был в одночасье перемещен с учительского стола на пол у доски, и я, схватив его, как драгоценный трофей, круто развернулась и шагнула к выходу, не забыв на прощание помахать рукой просто воющей от восторга малышне.

Ну, разумеется, Полина Сергеевна помнила меня — скорее в лицо, чем по фамилии — ведь она преподавала у нас пение.

Вернув портфель и саморазоблачившись, я неожиданно успокоилась и обрела решимость. И даже почувствовала некую удовлетворенность. Я стала спокойно ждать продолжения событий, не страшась неприятностей и даже как будто предвкушая их. Я надеялась дать отпор любой силе, даже если это окажется педсовет. Но ничего такого не последовало.

И когда я, изнывая от ожидания, слегка смущенная и разочарованная, пришла через три дня на урок пения уже в собственном классе и села в сторонке, должно быть, с загадочно-высокомерным видом, Полина Сергеевна и глазом не повела в мою сторону.

И тогда я принялась рисовать на нее карикатуры в альбоме для нот, а после урока, вырвав из него разрисованные листы, на которых Полина Сергеевна была изображена в виде поющей и пританцовывающей свинки, положила их ей на стол, многозначительно присовокупив вполголоса: «Это — вам!» Меня так и распирало от растущей бесшабашности. Должно быть, мне удалось достаточно прочно войти в образ Геры Позова, и как притормозить и повернуться к выходу — я уже не знала. И Полине Сергеевне пришлось мне помочь.

Когда я пришла на следующий урок в кабинет русского языка и литературы, задумчиво сидевшая за столом Дина Александровна, наша классная руководительница, окликнула меня: «Маша, подойди, пожалуйста». И меня словно огрели обухом по голове. Или — облили холодным душем. А может быть, горячим. Потому что я сначала похолодела, а потом почувствовала предательски прилившую к щекам краску. Дина Александровна была учительницей литературы. А с учителями литературы и истории у меня были традиционно хорошие отношения. Они явно не представляли меня в маске и с пистолетом. Поэтому Дина Александровна сказала тихо и скромно, почти нежно:

— Ну что там у вас случилось?.. Ладно, иди, и пусть это поскорее забудется.

Вернув мне мои карикатуры с резвящейся свинкой в образе учительницы пения, Дина Александровна, опустив лицо, продолжила свои занятия с тетрадями. Я же едва доплелась до парты. Если бы на меня набросилось целое отделение милиции во главе с инспектором по делам несовершеннолетних, клянусь, мне было бы легче! С той минуты роль Геры Позова была ликвидирована.

Знала ли я, что спустя месяц-другой придется опять подходить к Дине Александровне, на сей раз в слезах, с гневно высказанной просьбой — защитить меня от обвинений классной руководительницы Ларисы, с которой Дина Александровна каждое утро приходила в школу под руку — они жили по соседству.

Классная наставница Ларисы, задержав ее маму после родительского собрания, обратила ее внимание на то, что дочь чрезмерно увлеклась дружбой с девочкой из старших классов, а сие — не есть норма. Другие, более взрослые интересы могут исказить развитие ребенка.

Об этом рассказала мне нейтральным тоном присмирившая, отчего-то посерьезневшая Лариса, которая, однако, увидев мою реакцию, попыталась обратить все в шутку, бросив:

— Да ладно, мама не такая дура. Проехали!

— Более взрослые интересы! — кричала я, рыдая, и в лицо Дины Александровны. — Это какие, интересно, такие?! Пусть объяснит!

— Ладно, ладно... Я поговорю с Раисой Тимофеевной, — говорила, глядя на меня сквозь дымку рассеянной задумчивости, Дина Александровна. И, видать, обещание свое сдержала. Тема моего дурного влияния на Ларису больше не всплывала, да и родители Ларисы, видимо, замечали скорее обратное: я несколько ограничивала, вводя в более позитивное русло, разгульно-разухабистый нрав их доблестного чада.

Слезы... Они выходили наружу нечасто, но так и копились внутри. Как-то я шла, сама не зная куда и зачем, по школьному коридору и услышала участливый голос:

— Девочка, ты плачешь?

Завуч Надежда Антоновна, бывшая балерина с тонким станом, невысокая, изящная даже в пожилом возрасте, приостановившись, заботливо глядела на меня сбоку, по-птичьи. Она была противоположностью брутальной Елены Ивановны, второго завуча, точнее, педагога-организатора, имевшего за плечами опыт работы инспектором в детской комнате милиции, которая преподавала у нас английский и с которой мы удерживались от обмена колкостями только потому, что старались свести контакты к минимуму.

Надежда Антоновна вела уроки биологии и старалась ставить мне, вытягивая всеми силами у доски, четверки вместо вполне устраивавших меня троек, что вынудило меня со вздохом перейти на твердую четверку. Она сияла несколько дней, носясь с одной моей лабораторной работой, где я написала, цитируя Энгельса, что «жизнь есть способ существования белковых тел». Показывала мою тетрадь коллегам, расспрашивала ненавязчиво — что я еще вынесла из произведений классиков марксизма, одобрительно кивала, улыбаясь легкой, тонкой улыбкой.

— Я — плачу? Ну-у нет!.. У меня — настроение ровное.

— Ну, хорошо, деточка. Не буду тебе мешать.

И что за лицо у меня такое — преувеличенное!.. Мне нужно всегда улыбаться, чтоб не думалось, будто мне плачется.

10

Если отношение к тем, кого я считала учителями — а это были после мыслителей, писателей, революционеров и героев Отечественной войны в первую очередь мои друзья, а во вторую — те из взрослых, в ком я видела некий возвышающийся над обыденностью внутренний план, — отличалось благоговением, то все остальные становились мишенью моего осуждения. Мало того, что я не уважала собственных родителей, я и в целом к большинству родителей относилась весьма скептически. Зачем, к примеру, они звали со двора своих чад, отпуская им на гулянье и игры, на дружбу какие-нибудь час или два? Затем, что почитали эту сторону жизни за что-то незначительное. Я просто обомлела, когда отец один раз сказал, что дружба — это, конечно, хорошо, но у взрослых людей ее не бывает. И ведь верно! Больше всего меня угнетало, что отец чаще говорил очень верные вещи, он попадал прямо в точку. Но в какую точку? В ту самую, зовущуюся собственным пупом? Вокруг нее, увы, и крутилась планета большинства людей. И это-то — и было обидно до слез.

В том, что эта планета большинства действительно существует, а не является моей выдумкой, я убеждалась не раз.

Взять хотя бы историю с вором...

Как-то, стоя в кухне спиной к улице, я услышала странный шум, будто кто-то грузно плюхнулся на пакет с осколками разбитого стекла, который стоял у нас на балконе. Оглянувшись, я успела заметить только промелькнувшую тень. Она была большой и не могла, следовательно, принадлежать птице. А между тем — сумела пронестись буквально по воздуху, словно не касаясь перил.

Ничего не поняв, я после минутного замешательства вышла на балкон.

Пакет с осколками действительно был опрокинут, но на балконе не было ни души.

Я стала смотреть вниз и по сторонам и увидела внизу выбегающих из подъезда, сбивающихся в кучу соседей.

— Вор, у ваших соседей был вор! Он перескочил на ваш балкон, а потом — прыгнул на лестничную площадку, — сказала со своего балкона жившая среди детей и внуков пожилая интеллигентная женщина по фамилии Константинова, обычно молчаливая. Она была прямой, как палка, и со мной без экстренной надобности никогда не заговаривала, мы даже и не здоровались.

Ах вот, значит, в чем дело... Ну и ну!..

И я понеслась вниз.

Там и выяснилось, что муж Константиновой заметил приоткрытую дверь в квартиру отлучившихся на дачу соседей, с которыми у нас были спаяны балконы, и, сунувшись туда, спугнул вора. Бывший военный офицер Константинов кинулся к себе домой за пистолетом, из которого салютовал на Новый год, и, вооружившись, крикнув на ходу, чтобы вызывали милицию, сбежал вниз, надеясь перекрыть вору выход.

Поступок, конечно, смелый, не каждому он был по плечу.

Но и вор был шит не лыком. Предусмотрев такой поворот, он сиганул на наш балкон и, пробежав по нему, а потом прыгнув на лестничную площадку, спустился вниз — из другого подъезда. Причем успел все это провернуть еще до того, как Константинов занял внизу свой пост с пистолетом.

— Ну где же он? — недоуменно спрашивал потом этот полковник в отставке, поглядывая на меня с подозрительностью. И другие соседи тоже спрашивали. И тоже смотрели как-то подозрительно.

А жена Константинова, стоявшая тут же со сжатыми губами и непроницаемым лицом, молчала.

— Ведь вы же видели, что он, пробежав через наш балкон, прыгнул на лестничную площадку, — сказала я.

— Нет, я ничего не видела, — ответила Константинова, — и вообще, у меня давление, я плохо вижу. Костя, я ухожу. Может, пойдем уже?

Да-да-да, я понимаю — у взрослых — некоторых взрослых, — да что там темнить — у большинства! — дружбы не бывает, и человек человеку волк.

Константинова предусмотрительно отказалась от своих слов, чтобы не фигурировать в деле в качестве свидетеля.

Прибывшая милиция обошла все квартиры, разыскивая вора, который мог бы спрятаться у кого-то из соседей, возможно, просто припугнув их. Но — никого не обнаружила. И так впоследствии и не нашла. Да и не старалась.

И хоть милиция побывала и в нашей квартире, никого там не найдя, соседи еще долго судачили о том, что, вор, вероятно, прошел через нашу квартиру и впустила его я, им запуганная. По мнению соседей, он не мог так быстро и ловко прыгнуть на лестничную площадку — это, мол, невозможно физически.

Я понимала — взрослые люди приветливо здороваются, гладят тебя по голове, говорят тебе и друг другу приятные слова, и иногда вполне даже искренне. Вполне даже искренне иногда помогают.

Но случись что посерьезней, и большинство вспомнит про то, что у взрослых людей — дружбы не бывает.

Присматриваясь к тем, кто чувствовал в глубине души, что человек человеку — волк, хоть, может быть, и следовал за настойчиво проводимой идеологической линией на обратное, я заметила, что больше всего такому мироощущению были подвержены люди с мещанской, или, как говорили раньше, мелкобуржуазной психологией. Те, кого, должно быть, в двадцатые–тридцатые годы называли нэпманами. А историю КПСС я знала по вузовскому учебнику, который прочитала весьма внимательно, достав его, никем прежде не открываемый, с полки отдела истории и обществоведения в нашей районной библиотеке.

Там же я раскопала материалы двадцатого съезда партии, из них с некоторым удивлением узнала о культе личности Сталина, которого я считала мелким партийным деятелем, так как почти не встречала в печати его имени.

Хотя материалы шокировали, честность и энтузиазм партии во главе с Хрущевым глубоко удовлетворили меня. Так же как ее же честность и энтузиазм, смелость и бескомпромиссность, проявленные впоследствии к самому Хрущеву, который на каком-то этапе своей государственной карьеры тоже уклонился, забыв, что руководитель в государстве трудящихся — слуга народа.

Тогда же я нашла в материалах двадцатого съезда упоминание о некоей ошибочной статье Сталина про то, что по мере развития социализма классовая борьба не уменьшается, как можно бы было думать, а, напротив, разгорается все сильнее. И что вроде бы эта ошибочная, вредная теория и сподвигла его на идущее по нарастающей выискивание всяческих врагов.

Как я ни старалась разыскать саму статью, ее нигде не было.

И тогда, подавив нетерпение и желание вьестись в тему поглубже на основе всех имеющихся фактов, я принялась фантазировать.

А так ли уж ошибался товарищ Сталин в теории? — думала я. То, что он предпринял на основе теории ошибочные, да что там говорить — просто мерзкие шаги, репрессировав цвет тогдашней партии, еще не говорит о том, что исходная его мысль была ложной.

Если поглядеть вокруг, то в нашу эпоху развитого социализма дух социализма практически сошел на нет, растворившись в растущей в геометрической прогрессии, вместе с ростом благосостояния людей, мелкобуржуазной психологии. Если в двадцатые–тридцатые годы встречались отдельные нэпманы и кулаки или даже классовая прослойка нэпманов и кулаков, то теперь нэпманами стали практически все. Образовался класс нэпманов. Причем этот класс незаметно эксплуатировал оставшуюся прослойку честных людей и благодаря своей массовости стал почти не видим, как серое — на сером.

Если так продолжится, то в дальнейшем произойдет контрсоциалистическая революция и общество — это страшно подумать! — вновь вернется к капитализму. Более того, этот перманентный контрреволюционный процесс уже идет, он уже близок к тому, чтобы выплыть наружу, и тогда буржуазия сможет спокойно взять в руки и государственную власть. Ведь души людей и так уже под контролем!

Итак, по мере развития социализма растет благосостояние трудящихся.

А благосостояние вызывает зацикливание на материальных благах, будит и усиливает их желание. Прежнее горение духа сходит на нет, и появляются поколения тех, кто тлеет — точнее, коптит и коптит, коптит и коптит...

Поэтому действительно — чем дольше развивается социализм, тем больше у него врагов. Врагами и в самом деле становятся все.

Люди работают спустя рукава, предпочитают игнорировать политические новости, предпочитают поменьше знать, поменьше читать, поменьше мыслить. Они только укрепляют собственные гнезда, словно то их мини-государства, где они хотели бы укрыться в уюте и заведенном ими порядке от всего большого и сложного, такого непонятного, такой теории и практике противоречащего.

Но и это их не может удовлетворить, и многие в России нещадно пьют. Какой же из этого выход? Ликвидировать мелкую буржуазию как страну? Или, может быть, конфисковать у всех излишки собственности? Или в срочном порядке понизить уровень жизни, переведя всех на карточную систему? Отправить всех на войну, дабы вспомнили в предсмертном поту, как отлетает шелуха?

Нет, мы пойдем другим путем: мы просто выделим и усилим главное — идеологическую основу. Ибо это она, а не экономика должна править бал.

Раз по мере обращения к материальному падает духовность, духовная составляющая партийной работы должна приобрести исключительное значение.

Чем лучше мы живем в материальном плане, тем чище, ярче должен гореть дух настоящих коммунистов. Теперь их значение возросло в разы. Все честные люди должны фактически стать коммунистами. А лучшие из них — возродить традиции комиссарства.

Комиссары должны являть собственным примером перед забывшими былые идеалы согражданами всю красоту Человека с большой буквы, который, по определению, есть убежденный коммунист.

Именно Красота духа должна пробудить уснувшие человеческие души!

Все эти мысли я изложила в виде газетной статьи — первой в своей жизни написанной статьи — и отослала в «Комсомольскую правду» и «Вечерний Тбилиси».

Где-то с полгода я, раскрывая свежие номера этих газет, которые наша семья традиционно выписывала вместе с журналами «Здоровье» и «Работница», всякий раз так и обмирала. Казалось, вот сейчас я увижу свои, безусловно, правильные мысли — в обрамлении комментариев какого-нибудь старшего, мудрого товарища.

Но ничего такого не последовало.

Я часто замечала, что люди становятся более задумчивыми, погруженными внутрь и в то же время приподнятыми, когда с ними случается какая-нибудь нешуточная беда. Поэтому печальные люди привлекали меня больше, чем радостные — они казались мне глубже. Более того, я не раз ловила себя на мысли, что втайне радуюсь некоторым случающимся с людьми неприятностям, если последние как-то просветляли их.

Но чем я тогда отличалась от товарища Сталина с его репрессивной машиной? Не исключено, что он начинал с тех же мыслей. Так что же делать, боже мой, что же делать — как не поддаться этой обманчивой легкости, ввергающей душу в омут забвения?

Точного ответа на этот вопрос я не знала. Я знала только, что люди могут быть такими, как Данко из рассказа Горького.

Прочитав легенду о Данко в «Старухе Изергиль», я была так потрясена, что выучила ее наизусть и пересказала потом слово в слово одной девочке с нашего двора. Я думала, что такие слова не могут оставить безучастными ни одну душу, после них человек уже не сможет быть прежним. И действительно — у девочки, когда она, притихнув, слушала меня, стало такое нежное, чистое, благородное лицо. И мы в тот день как-то по-хорошему провели время, взобравшись на акацию и рассказывая друг другу разные случаи из жизни на каникулах. Она даже в какой-то

момент, придвинувшись ко мне ближе, склонила голову ко мне на плечо, от чего стало хорошо — до небывалости. Но день пролетел, и я по прошествии еще одного количества дней узнала, что эта девочка распускает обо мне какие-то сплетни...

11

Я выплываю из сна, обрывки которого тут же разлетаются, как тени и шорохи ночи с первыми лучами солнца, и, выключив вслепую зазвеневший уже после, через несколько секунд, будильник, тут же встаю.

И зачем, интересно, я завожу каждый вечер будильник, если я — сама себе будильник? Так было и раньше, но теперь, когда я живу одна, без родителей (они уехали на три месяца в Тамбовскую область, куда послали на сей раз отцовскую экспедицию), это работает безупречно.

Ближе ко времени, когда надо будет вставать в школу, я уже начинаю — прямо во сне — беспокоиться. И напоминаю — себе же, во сне, куда-то вечно бредущей в стороне от занятых какими-то важными делами людей и ругающей себя за это, думающей только о себе: трусливой, ленивой, готовой убежать с поля боя, когда все за что-то сражаются с кем-то непонятным, непонятно за что, — я напоминаю этому серому унылому существу, что ему — скоро в школу. И понимаю — оно совсем не радо. И готово — отбежав в сторону и укрывшись в какой-нибудь щели — переждать это неприятное, ненужное ему время.

Однако время прорезает сей призрачный мир лучами моего дневного ума, и я, серая, вялая, тлеющая, испаряюсь. И кто ж из нас я? Этот вопрос мучает меня. Ведь та, которая во сне, ничем не лучше моего отца, которого я так осуждаю. Она — плоть от плоти и кость от кости — его дочь. С его стариковской ленцией, привязанностью к простым удовольствиям, с одиночеством на людях, до которых нет никакого дела, с философией «После нас — хоть потоп». Пока она есть — я чувствую себя неловко за все те речи, которые произношу перед гораздо более цельной Ларисой. И — тушуюсь. И потому — часто свертываю их, не довожу до логического конца программу своего критичного, придиричьего ума, подстегивающего меня обнаруживать все новые и новые глубины несовершенства мира и людей.

А логический конец там один: в таком душном, мелком, сером, несовершенном мире не захочется жить.

Кому не захочется жить? Тому мелкому, серому, несовершенному существу, полуживотному из моих поверхностных снов перед самым рассветом? Но ему все равно!.. Это только я, неспящая, следя за собой же во сне, тоскую и скучаю, такую себя не приемля. Она — мутное течение в глубине прозрачной, искрящейся реки и, выплыв наружу, налипает, как пена, на днях чистой радости. Пока она есть, меня, радостной, доброй, счастливой, нет. Я, неспящая, ею обкрадена.

И робко стучится в клетку моего ума, свербя в сердце виной и тоской вопрос: «А может, и у отца тоже есть его *неспящий* отец?». И кому я в таком случае так яростно желаю смерти, не этому ли тайному — одному на двоих — старчески сонному существу внутри нас? Оно покрывает наружность отца, заболачивая его некогда чистую воду, до такой степени, что про то, что основа — вода, а не грязь, я уже не помню и — главное — не желаю помнить, ибо испытываю отвращение к дурному виду и запаху. Но не тот ли запах — у меня внутри?..

Я — Сталин, убивающий своего отца-сапожника в каждом встреченном обывателе: буржуе, кулаке, нэпмане. В каждом — кто не с нами. Даже — в собственном товарище. Даже — в себе. Я всюду ищу предателей — *ребенка*, вытеснивших его за

обочину сего мира, где он — весь в слезах — стоит и ждет, когда люди, опомнившись, вспомнят его, всех их любящего.

Я словно поклялась защищать его, мечтающего нас одарить нетленными и несуетными богатствами, до последней капли крови. И я защищаю его — но он отодвигается... Я продвигаюсь в глубь себя, но он, отвернувшись в страхе и ужасе, вжимается в непроницаемую красную тьму, и вот уже я не вижу его, слившегося с ее глубиной, в которую он так самоотверженно нырнул. Я в бешенстве. Я почти как Ставрогин и рыщу, как лев, испытывая себя и других на прочность.

Еще немного — и я захочу испытать на прочность даже его, скрывшегося от меня без всяких объяснений. Ведь, кажется, я считаю в глубине души, что страдания очищают душу. Святые слезы ребенка, омывая душу, спасают мир. А значит, отцеубийство и детоубийство — две стороны одной медали.

Я, которая старается быть беспристрастной, думает, мучается — та, проснувшаяся в свой день без будильника, — отмотав срок в школе, вернувшись домой, хожу по зале из конца в конец и сочиняю повесть, записывая ее небольшими кусками в раскрытую на столе ученическую тетрадь.

Повесть называется «Несколько дней из жизни профессора». В ней два главных героя — сын и отец. Отец — профессор-онколог, создавший лекарство от рака, не пожелал открыть свое изобретение миру из жажды наживы. Он принимает пациентов тайно, на съемной квартире — под подписку о строгой секретности. На вырученные деньги он строит себе за городом роскошный особняк в старинном готическом стиле.

Сын же живет с матерью, так как родители в разводе. Кроме того, он знает о тайне отца и не желает иметь с ним ничего общего, так как стяжательство профессора — слишком омерзительно, чтобы возможно было дышать с ним одним воздухом. Всегда отстраненный, холодный, высокомерно проходящий как сквозь туман мимо людей, он имеет только одного друга. Этот друг являет собой его противоположность: он прост, добродушен и весел. Не замечая людских пороков, он даже не в состоянии о них судить и, вероятно, поэтому то и дело пробует помирить своего лучшего друга с отцом. Но друг всякий раз отстраняется.

Так живут они — сын и отец — по разные стороны баррикады, а друг ходит кругами и ищет способы как-то обратить их обоих.

Эти два человека — бессердечный сын профессора и его добросердечный друг — были, видимо, двумя раздутыми до крайностей, расколовшимися на две отдельные личности персонифицированными частями моей натуры. А отец был — моей тенью, если ее увеличить и раздуть. Я не хотела иметь ее внутри себя, но какое-то зерно этого образа, видимо, присутствовало, пусть, может быть, и малое, размером с горчичное. И я не знала, как утрясти все это внутри себя. Я чувствовала только, что, проявляясь на бумаге, эти образы проявляются и внутри и, сталкиваясь и споря между собой, обтесываются друг о друга, и с каждым днем, каждым годом, каждым новым моим шагом и новым произведением, становятся тоньше, можно сказать, интеллигентней и, увы, незаметней. Не сливаясь с неким высшим, скрытым во мне началом и не преображаясь им, они создают иллюзию слитности и преображенности, и я всякий раз принимаю их за уже исправившихся в конце произведения героев.

И так день за днем тянется моя иллюзорная жизнь в иллюзии совершенства, которая время от времени терпит жестокое фиаско, когда все эти герои вдруг выскакивают, как джинн из бутылки, стоит кому-то или чему-то ущемить меня, задеть за живое.

С каждым днем, каждым годом герои эти, теряя грубую силу, становятся тоньше, а значит, в чем-то слабей. И кто из них победит?

Повесть и заканчивалась этим вопросом, так и не нашедшим художественного разрешения. Я собрала все три тонкие черновые тетради, переписала их в такие же три беловые тетради и, отправив в редакцию журнала «Молодая гвардия», принялась со спокойным сердцем за продолжение своей эпопеи о Советском Союзе.

На этот раз я таки дождалась ответа из редакции. Спустя два месяца заведующий отделом прозы известил меня, что у меня, скорее всего, есть литературные способности, но журнал пока не готов публиковать мои произведения ввиду их еще слабого художественного качества. И посоветовал продолжать писать, прочитав для начала книгу о труде писателя «Золотая роза», принадлежащую перу Константина Паустовского.

Этот совет, который я сочла за долгожданную заботу старшего друга, окрылил меня. И, раздобыв Паустовского, я принялась за отшлифовку своего главного писательского труда — романа-эпопеи о Советском Союзе, который еженедельно пополнялся у меня в течение нескольких лет новыми главами.

Эти три месяца без родителей очень нравились мне. Теперь я могла писать не украдкой, прикрывая тетрадь от колкого любопытства мамы, а — расхаживая по квартире и то и дело записывая то, что прорисовывалось в воображении. Причем новый поворот в воображении, новая черта будущего произведения, новая идея могли посетить меня и за обедом, и во время сна. И тогда рука привычно тянулась к тетради. Казалось, что из квартиры — вместе с суетой и суматохой — выехало и все лишнее. Я успешно заменила всегдашний мамин кавардак в делах и вещах на привычный порядок, который старательно поддерживала. Такой порядок, хоть он и был для меня сущим пустяком, за которым я следила машинально, без пиетета к хозяйству, стал для меня какой-то опорой, придал уверенности и высвободил своей слаженностью пространство и время для более важных, интересных и позитивных занятий. Таковыми, кроме «кручения хвостов собакам» с Ларисой, были чтение художественной и научной литературы, писательство, слушание музыки, просмотр аналитических телепередач, художественных фильмов и новостей, чтение газет...

К занятиям причислялись также размышления и мечтания.

Мечту я считала делом серьезным и крайне оскорблялась — не за себя, а за мечту, — когда замечала у окружающих признаки пренебрежения к столько возвышенно-реалистической, весомой субстанции.

А из занятий чисто материального плана мне нравилась кулинария как процесс принятия пищи.

Обычно я удовлетворялась жареным картофелем с яичницей и кефиром, но при этом аппетит у меня был отменный. Дабы удовлетворить его прихоти, я купила сливочный торт и, распределив его на довольно приличные куски, с удовольствием начинала утро с нежного бисквита на тарелке, запивая его молоком.

Еще я иногда покупала пирожки и ходила обедать в кафе. Во время своих одиноких прогулок по кафе и столовым я распробовала много блюд национальной грузинской кухни, которая нравилась мне своей остротой. В любимых значились у меня лобио, хачапури, хинкали и котлеты-«кебаби», а также многочисленные подливки и блюда из зелени.

Все у меня шло в эти дни моего первого самостоятельного жительство как по маслу. Тем более что я старалась не допускать внутри себя никакой хмари, понимая, что одиночество страшно именно этим: какой-то жалостью к себе, нытьем и прочими следующими отсюда прелестями зависимости от благодетелей старших.

Когда до возвращения родителей оставалось не более недели, случилась неприятность: перегорели пробки. Но сия оказия могла досадить только мне, а меня она

только воодушевила. Мне было интересно лежать по вечерам в обнимку с радиоприемником и, взглядывая на мерцающую на тумбочке свечу слушать, классическую музыку. Я представляла себя плывущим на борту «Наутилуса» капитаном Немо и явственно ощущала в своих объятиях целый мир, который просачивался в грудь всеми своими волнами — мажорными и минорными, бурными и трепетно-нежными, задумчивыми и бездумными, спасительными и взывающими о помощи...

Но однажды все советские радиостанции словно приспустили паруса, и вместо передач — на всех диапазонах от Бреста и до Владивостока — заиграла пронзительно-печальная классическая музыка.

Смутная тревога, заплескавшаяся у самого сердца и тяжело сжавшая его, как обручем, заставила меня спуститься во двор.

Был ясный ноябрьский день.

Мимо подъезда шла и плакала какая-то бабушка.

— Что случилось? — крикнула я.

— Брежнев умер. Деточка, как же мы теперь все будем, а?

Обруч, отпустив мою грудь, поднялся Икаром к светилу и заключил его, страшного, в свои чистые объятия.

Часть третья

1

В дверях школы, словно при облаве, стоит учитель физкультуры и сдерживает напор собравшейся в вестибюле толпы. Дверь заперта, ключ — у учителя. Он пытается быть строгим и одновременно увещательным, пытается не потерять короткой дистанции с предпочитающей всем другим наукам спорт оравой мальчишек, что умоляют выпустить их как-нибудь по одному, под шумок, пока еще ничего не началось.

— Ну не могу я, не могу... Нельзя. Идите на собрание. Оно уже — вот-вот... Идите, короче.

И действительно — завернув в спортзал, я вижу возвышающегося на трибуне майора Стрельцова — школьного военрука. Он худ, но высок и статен и очень волнуется, от чего кажется издали самым большим деревом в лесу, какому обычно больше всех достается от налетевшей бури.

— Страна, слава богу, подтягивается и укрепляется, входит в так необходимую ей колею порядка и дисциплины. Это значит, что все у нас будет хорошо. У руководства стоит проверенный коммунист, чекист — Юрий Владимирович Андропов. Мы все должны стать — как единый кулак. Каждый из нас может, а значит, должен внести свой вклад в благое дело, которое, слава тебе господи, задумали наверху... А начинать придется — с теории. С того, зачем это и почему. Все это отлично изложено в докладе Юрия Владимировича на последнем пленуме партии. С текстом этого доклада мы сейчас с вами и ознакомимся.

Голос у Стельцова, хоть он и задыхается, то и дело хватаясь за грудь, заходясь чуть ли не после каждого абзаца страшным кашлем, такой зычный, что рокошет на весь зал, как из рупора. Он не замечает ни микрофона, ни стакана с водой, который ему тихонько пододвигает сидящая на краю сооруженного из нескольких парт президиума завуч Надежда Антоновна. Лоб и щеки майора прорезаны глубокими морщинами, от чего его изможденное лицо кажется не просто землистым, а самой землей — изборожденной, отдавшей все свои силы, истощенной, как надел колхозной

земли в войну. Но он не сдаётся, и, словно не желая знать про это, отмахиваясь от тяжести в сердце хватающейся за него рукой, которая, помимо этого широко, несколько сбивчиво и нервно, жестикулирует, выдает с присущим русскому человеку размахом такой жаркий уголь, еще ворочающийся в его недрах, что на него невозможно смотреть без того, чтобы не опалиться. Да он и сам как опаленный — своим же собственным, сухим, изо всех сил поддерживающим горение огнем. И, пошатываясь, обреченно обводит взглядом куда-то ввысь и внутрь затуманенным, тщетно борющимся с угасанием взглядом — ряды шумящих, совершенно равнодушных к происходящему на трибуне, живущих отдельной от страны и ее политики жизнью детей.

В том же году он умрет от третьего инфаркта в звании подполковника, оставив сиротами дочь-десятиклассницу и воюющего в Афганистане сына. Желю он потеряет незадолго до кончины: окружившая его после первого инфаркта сердобольной заботой, подорвавшая на этом собственное здоровье, жена уйдет первой.

А первый инфаркт случился у военрука прямо в школьном дворе, когда он рухнул, как подкошенный вражеской пулей, на учениях по гражданской обороне — в присутствии комиссии из роно и каких-то высокопоставленных военных. До этого он две недели неустанно готовился к общешкольной учебной тревоге: рыл с мальчишками траншеи, закладывал блиндажи, что-то вычерчивал, вымерял, проверял собственноручно, став на четвереньки, каждый квадратный метр в сооруженных укреплениях. И маршировал, маршировал, смахивая пот большим белым платком, зычно подавая команды и раскатисто обсуждая ошибки и недочеты, вместе с учащимися, которые непрерывно сменяли друг друга на плацу целыми классами.

Про майора Стрельцова говорили, что он — Дон Кихот и его не остановить. И что даже если он не сгорит, как отдавшая всю себя знойному простору летняя трава, то все равно умрет из-за расцветшей в его горле опухоли. Поэтому ходил он среди нас — как мертвец. И ему, как мертвецу, не перечили.

Вот и сейчас Стрельцов сам вызвался читать доклад генсека Андропова. И — все легко согласились. А потом — просто-напросто покинули докладчика, слушая его лишь внешне.

...Майор Стрельцов, закончив доклад, вышел в коридор, и оттуда даже сквозь шум послышался его страшный, похожий на рыдания кашель.

А ко мне протиснулась завуч Елена Ивановна, бывшая к тому же учителем английского языка, то есть человеком, у которого я — по определению — не вызвала ничего, кроме плохо скрываемого возмущения.

Но на сей раз она была приветлива и невинно предложила самым безмятежным тоном:

— Кикнадзе!.. Это... Кха-кха... Гм... А ты не могла бы выступить в следующий раз на собрании? У нас будет комиссия из райкома. Ты можешь подготовить доклад о наших недостатках?

— Как это — специальный доклад о недостатках?

— Ну да. Сейчас такое время: многое пересматривается и принято говорить больше о недостатках, так как о достоинствах мы уже все сказали слишком много говорили, и видимо, перестарались. Выговорились — до дна.

— Понятно. И теперь стараемся заткнуть пустоту... Нет, извините, я не критикую никого по заказу.

— Ох, Маша, вечно ты все не так понимаешь... Ну, дело твое — не хочешь, как хочешь. Только я хочу тебя предупредить, что ты зря совсем не занимаешься английским — смотри, окончишь семестр с двойкой.

«Ничего страшного, — подумала я, удаляясь. — Если что — уйду в ПТУ, как Вера и Ира. Есть вон училище, где готовят водителей троллейбусов и трамваев. Я с удовольствием пошла бы в водители трамвая. А может, и троллейбуса. Жаль только, что в Грузии трамваи и троллейбусы водят одни мужики. Но сие можно исправить».

Все взрослые были в шоке от, как они считали, неожиданной «выходки» Веры, которая после экскурсии по швейно-прядильному профтехучилищу, которую провели специально для того, чтобы соблазнить нерадивых учеников возможностью обрести хоть какую-то специальность, а заодно — сплавить их из школы после восьмого класса, дабы выполнить план из роно, взяла и подала документы в училище. А ведь шла на медаль! И никому не удалось уговорить ее изменить решение, мало того — она увлекла за собой и хорошистку Иру.

Самое интересное, что Вера и Ира выбрали ту самую специальность, от приобретения к основам которой я высокомерно отмахивалась на уроках труда. Интерес же к швейному делу в них, доказанный выдержанной борьбой, меня восхищал... Это был только один из донимавших меня многочисленных парадоксов.

Разговоры о переменах в стране с приходом Андропова кажутся сущей чепухой.

В сентябре, заслушавшись на уроке истории рассказом Веры Анатольевны о крестовых походах и Реформации, я вдруг потеряла чувство времени. Я просто слушала неторопливый, методично раскладывающий по датам, сражениям, количеству потерь голос исторички и внезапно ощутила, что наш восьмой «А» мог существовать и тогда. Какие-то школьники — кто из семей католиков, кто из протестантов — сидели вот так же когда-то на уроке истории и слушали, должно быть, про древний Рим. А всего через секунду — какое-то энное количество лет по историческим меркам — их не стало. Вместо школы — на дворе образовался сначала пустырь с руинами от разрушенного очередными захватчиками здания, потом — ратуша, затем — музей... А на кладбище — сначала были могилы с крестами, потом — пустырь, затем — на вытопанной, закатанной под фундамент земле вырос многоэтажный корпус, может быть — даже наш... Ведь все мы живем — на бывших могилах бывших людей. Земля на самом деле — могильник. А весь наш класс... Боже мой, он ведь тоже умрет!.. И произойдет это по историческим меркам — в доли секунды. Сидели детки за партами — и нет деток. Вместо них в землю легли естественным, удобным удобрением трупы.

Похолодев, я прищурилась и так и почувствовала, увидела сквозь некую дымку эти пустые в будущем парты — без нас. Жизнь есть способ существования белковых тел?..

Из школы я возвращалась в тот день пошатываясь, как после отравления. Дома я не смогла притронуться за обедом к рыбе. Мясо, рыба, яйца были вчерашними живыми существами, ставшими по нашей прихоти трупами. Как это противно и страшно! Господи, за что люди и звери пожирают друг друга? Почему это так?

Мне, как атеистке, некому было задать эти внезапно обесмыслившие будущее вопросы. И я осталась перед ними совершенно безоружна. Моя безоружность усугублялась растущей чувствительностью, когда я буквально физически ощущала события, о которых другие обычно по привычке просто рассуждали, жонглируя словами, как та же учительница истории или авторы учебников истории, да и вообще все историки, не чувствующие за словами о жертвах боли реальных людей, за пафосными словами о крови — реальной крови.

Так, например, проходя с матерью на рынке сквозь мясной ряд, я видела страшные картины — красиво уложенные, нарумяненные для пущей красоты, обезображенные трупы — и не понимала, как я могу потом с аппетитом их есть в более при-

способленном для повседневного созерцания виде. А ведь я могла!.. И это было самое ужасное. Наше людское неумение проникнуться этим царящим кругом безобразия и ощутить его всем нутром было поистине удручающим. Люди, включая меня, чаще всего не чувствовали реальности за обертками из слов. Только болезненно-извращенное сознание могло придумать, к примеру, рекламные щиты с каким-нибудь одетым в платье желторотым цыпленком, танцующим у входа на птицефабрику. И это всеобщее нечувствие большинством даже не замечалось.

У меня появились головные боли, участилось сердцебиение. Пришлось обратиться к кардиологу, который, проведя какой-то металлической штукой по животу, удовлетворенно изрек, глядя на мгновенно проступившую красную полосу:

— Повышенная реактивность нервной системы. Сейчас таких много. Принимай пустырник с валерианкой. На всякий случай назначим тебе аспаркам. А тахикардию будешь снимать, когда приспичит, валокордином.

И я принялась за валокордин, практически не помогавший.

И немудрено — куда бы я ни бросала взгляд, даже случайный, всюду в его поле попадали признаки боли и страданий, тления и распада, разлада, то есть всеобщего какого-то отсутствия лада.

Сидя как-то на скамейке у нашей дворовой песочницы, я заметила свалившегося в нее смятым комом умирающего воробья, который, трепыхаясь, из последних сил пытался встать на крыло, да так, боком, и замер, вытянув раскрытый клюв навстречу предательски ускользнувшему воздуху.

Пришла из-за поворота Лариса, села рядом и укоризненно сказала:

— Зову тебя, зову, а ты не слышишь. Что с тобой в последнее время происходит? Раньше ты была другая. Раньше ты была для меня примером, я тебе подражала — ты так лихо отпускала это все... Ну, понимаешь, о чем я говорю?.. Ты умела так классно разгонять все эти тараканы в башке, которым живет большинство.

Но что я могла ответить Ларисе? Только то, что мне плохо, очень плохо, и я не знаю, как с этим быть. Мне даже некому об этом рассказать, а ей, такой далекой от всей этой жизненной разноплановости, тем более.

2

А перед тем сентябрем, когда я поняла, что все мы скоро умрем, у меня умерла бабушка, а потом и я едва не умерла.

Это было в августе. Нас вызвали телеграммой в Запорожье в связи с кончиной бабушки.

Мама встретила это известие мужественно, и мы с ней вылетели на Украину.

Но похорон уже не застали: бабушку быстро похоронили прямо из больницы, где она скончалась от инфаркта в возрасте шестидесяти шести лет. Что само по себе было странно: у нас, в Грузии, к похоронным церемониям относились с большим почтением. Тут же — никто не надел траурных одежд, да и жизнь в большом доме продолжала как ни в чем не бывало идти своей привычной колеей. Только людей в нем стало заметно больше — здесь, кроме дедушки, находились все четверо детей покойницы — сын и три приехавшие издалека дочери, две из которых были с мужьями. Старшая из дочерей — учительница тетя Света — единственная из всех все время плакала, не будучи в силах пережить свою вину: это она предложила и без того дышащей на ладан бабушке с ее разрушенной диабетом нервной системой и ломкими сосудами посидеть во дворе на старой железной кровати. Бабушка, почти не выходявшая до того из дома, присев на кровать во дворе, в какой-то момент забылась и, пожелав облокотиться, как о спинку кресла, в котором про-

водила обычно дни, опрокинувшись, упала спиной на мощенную камнями дорожку... Тут же начались рвота и боль в животе — кто бы тогда смог разглядеть в них признаки атипичного инфаркта!.. И пока тетя Света пыталась утихомирить все это своими силами, минуты, отведенные на спасение, были упущены. Позже, в больнице, помочь умирающей уже не смогли.

Все утешали тетю Свету, говоря, что это все равно случилось бы если не сегодня, то завтра, организм бабушки был изношен. И — шли потом на пляж, ведь на дворе стояло лето, и надо было пользоваться деньками незапланированного отпуска. Моя двоюродная сестра, дочь тети Светы, прожившая первые школьные годы в Магадане, превратившаяся в модную говорливую девочку, целыми днями собирала на свою нежную, белую кожу шоколад загара. Только моя мама, боявшаяся испортить кожу загаром, не ходила на пляж, а гуляла с подругами юности — по магазинам. И — запрещала брать на пляж меня, считая, что у меня слишком слабые бронхи для того, чтобы купаться в Днепре. С ней спорили, мама твердила свое... Я же не сопротивлялась из-за охватившей меня апатии и печали о них всех... Раньше мне хотелось крикнуть матери в лицо: «Мама, хватит притворяться дурой! Выйди из магазина!» И я так и кричала. А теперь — мне просто было больно и пусто. Неужели, думала я, они так и проживут остаток нескольких вселенских секунд своей жизни в этом сером коконе из будней? Неужели так и не выпутаются из паутины неведения?

Как это страшно — жить, не зная счастья: вылавливать куцую радость простого существования среди природы и людей, к которым не чувствуешь сопричастности сердцем. Радужные люди, с легкостью одаривающие друг друга всем материальным — одаривающие избыточно, на широкую ногу, способные отдать и последний кусок, честные, работающие, альтруистичные люди — мои родственники — не понимали сердечной близости, не знали ее и знать не желали, бежали от нее как от чумы, бессознательно пресекая всякую мою попытку заговорить о чем-то, выходящем за пределы простого и неприхотливого, не сближающего и не отдаляющего обмена знаками материального достатка.

Сновал с лейкой и лопатой вечно занятый работой и огородом великий молчаливый дедушка. Я слышала краем уха, что он хлопчет над тем, чтобы забронировать себе место на кладбище рядом с бабушкой, степень привязанности к которой с его стороны была покрыта всю жизнь непроницаемой завесой. Ему не мешали... Не спрашивали ни о чем... И особенно не спрашивал дядя-юрист, преподававший правоведение на бухгалтерских курсах рядом с домом. Он, кажется, единственный из всех, был нешуточно привязан к матери, так как жил при ней, благосклонно принимая заботу о своем теле, один, без семьи, каким-то раком-отшельником. У дяди был измученный, затравленный в глубине взгляд, и он как-то сказал мне со вздохом, в котором словно плескалось море безначальной печали — уже наполовину высохшее, оставившее после себя пустоту:

— Маша, ты просто не представляешь, как я тебя понимаю... Я такой же... Но жизнь слишком сложная и страшная штука, чтобы смотреть на нее в упор и не обманываться. Поверь — лучше иногда соврать, чем сказать правду. Я уже говорил тебе: нас всех обманули. Нас манили тем, чего нет. Вся твоя хорошесть, все это чистоплюйство пропадут, как только ты начнешь что-то делать. Пока еще ничего не началось — ты можешь оставаться хорошей. Но если так пойдет и дальше, то жизнь, прости меня господи, умрет. Начни что-то делать, и сразу обретешь недостатки. А такая «хорошесть» — удел незрелости.

— Нас всех обманули. Понимаешь?.. — завел он тот же разговор в другой раз. — Нет, пока не понимаешь. Для этого ты пока слишком хороша. А хороша ты потому,

что ничего не делаешь. Но как только ты выйдешь за порог школы и двора и начнешь что-то делать, то — сразу станешь плохой. Плохое всплывает быстро — как только приступаешь к реальной жизни.

Слушая скептические, полные парадоксов, точные речи своего наиумнейшего дяди, я добавляла в душу и без того разъедающий ее яд неуверенности в основаниях мира.

Может быть, и так. Все — суета сует и томление духа, как говорил мудрец Екклезиаст. Эту цитату я отметила в какой-то книге из дядиной библиотеки, состоявшей в основном из юридической литературы.

В этом аморфном состоянии я некритично проглатывала любую критику в свой адрес, напиваясь кучей непереваренных мнений из самых разных источников.

В один из дней, когда отметка на термометре приблизилась к сорока градусам по Цельсию, дядя предложил мне позагорать на крыше сарая.

Освежаясь время от времени струей воды из шланга, который он просунул наверх, я легла на надувной матрац и, прикрыв глаза, уплыла в дрему.

Впереди широкой недвижной кроной раскинулась яблоня, на которой не шевелился ни один лист. Она тонула в отражающемся от алюминиевого покрытия крыши ослепительно-белом солнце. Это солнце лизало мне пятки, поплясывало на животе, давило, нащупав какую-то точку, на грудь. Прилетел и сел на ветку грач. А мне показалось — что ворон. И этот ворон — я. Я так же, как и вороны, питаюсь падалью — желаю людям пробуждающих их проблем, радуюсь несчастьям, ведущим за пределы обыденности. Я причиняю людям насилие этими мыслями и, значит, медленно убиваю их.

Я ни на что не имею права в этой жизни, раз я такова. Надо уступить ей, жизни, дорогу, отползти в сторону и просто лежать, лежать под деревом...

Кажется, я почти физически ощутила звук колыхнувшейся, отяжелевшей, клонящейся к земле ветки — ветки с тяжелым, налившимся соками плодом. Потом последовала вибрация внутри, и какая-то сила с энергией огромной концентрации, стронувшись с места, стала подниматься вверх. Гул этой похожей на целый космический корабль силы, по-видимому, имевшей какую-то структуру, потряс все мое существо, смял его, сдвинул к какой-то границе, побуждая двигаться дальше. Но я не смогла преодолеть границы, я не знала никаких способов это сделать и только мучительно страдала от пронзающих, заставлявших судорожно корчиться вибраций.

Это было ужасно: изнутри рвался вверх целый космический корабль, он уже оторвался от космодрома и затопил все внутреннее пространство клубами огня и дыма. Но его не пустили в небо! Границы не раздвинулись, как раздвигаются чресла роженицы, и, продолжая полыхать испепеляющим пламенем, этот гигантский плод — корабль, этот космических размеров плод — застрял где-то внутри связанным лилипутами Гулливером. Лилипутами же, напрягая до предела все душевные и физические силы, руководила я — из своего смятого, разбитого вдребезги состояния, из своего лежачего положения в углу невидимой границы с неведомо чем.

Пошатываясь, держась от напряжения за окаменевший живот, я спустилась с крыши и попросила градусник. Тут-то и выяснилось, что у меня температура. Вскоре в разных частях тела появились отеки, и «скорая помощь» доставила меня в больницу с диагнозом «аллергия от солнца».

Больница представляла собой комплекс одноэтажных зданий на небольшой тенистой территории, обсаженной липами и каштанами. За оградой его шла своим чередом жизнь старой улицы с возведенными в войну двухэтажками и располагалась детская площадка с качелями, откуда в палату просачивались гомон детворы

и шелестящий шумок позвякивающих велосипедов. Жизнь — шла! А я — умирала... Причем, почти не сомневалась, что умру, и, ужасаясь этому факту, старалась подавить в себе жгучую привязанность к этим простым и милым радостям милой земли за стеной больницы, как давила скованный в себе корабль Гулливера. Так было легче — надо отвернуться заранее от того, что так дорого, потому что покинуть все это — слишком ужасно. Я могу не справиться с этим ужасом и впасть в панику. А мать и так целыми днями плачет под окном, отлучаясь из больничного двора только на ночь. Она тревожно заглядывает в это доступное ей окно и видит меня все так же лежащей в поту. Постукивая, она показывает какую-то еду — кучу еды, которую наготовили тети. Но я не ем и больничную еду.

Доктора не могут понять, отчего у меня столько дней держится температура. Они провели уже два консилиума и продолжают колоть мне димедрол, лечя от солнечной аллергии. А димедрол еще более усиливает чувство нереальности моего смятого, куда-то отброшенного, прижатого к границе «я», порождая тревогу и судорожные попытки за что-то ухватиться. Сны состоят из кошмаров. Да я и не сплю. Провалившись в первые секунды в какое-то черное, отвратительно пахнущее, похожее на могилу болото, я кричу и как ошпаренная выскакиваю из сна. Прибежавшая дежурная медсестра обнаруживает меня сидящей с колотящимся сердцем в постели и на всякий случай предлагает, стоя вдалеке: «Может, еще димедрольчика?» А по лицу у меня катятся в темноте слезы. Мне так жаль себя, своей ускользающей жизни. И жаль мою бедную, остающуюся одну, не знающую, как подойти утром к больнице на подгибающихся от страха ногах, мать. Зачем она прожила жизнь? А тети зачем? А бабушка?.. Где черпает силы бабушка, чтобы вставать пятьдесят лет каждый день в шесть утра и идти на завод? Где у людей этот завод внутри? Какой-то он — механический. А я — так не смогла. И вот часы мои, забежав вперед и сбившись, останавливаются...

Но как все-таки мила даже такая убогая, не знающая счастья жизнь. И как бы мне хотелось в ней остаться. Я бы отдала не глядя всю свою задумчивость, все свое развитие — на то, чтобы просто сидеть, как бабушка, посреди двора на железной кровати. Просто — дышать, смотреть, пить, есть и не чувствовать этой острой тоски по чему-то и кому-то — кому-то далекому. Все далекое и изъяло меня из жизни. А почвы для этого исторгнутого из сада дерева не подстелило. Но как мучается в этом саду, из которого я исторгнута, каждое живое существо!.. Как всех жалко! Нельзя причинять им, невольно ранящим друг друга, вред даже мыслью!.. Каждая божья коровка, каждая былинка, каждая мелкая глупая курица, каждый цыпленок, мотылек, мышь или лягушка достойны жизни, и надо идти босиком, чтобы не задеть и былинки.

Но я не умерла.

В одно из утр надо мной склонились трое — незнакомый молодой доктор и медсестра с санитаркой. Переложив меня на носилки и сказав, подмигнув: «Поехали», они повезли меня через весь двор в другое помещение, где в похожей на операционную комнате с прожекторами доктор, сосредоточенно погружившись в работу, ввел мне в вену какую-то желтую жидкость.

Невидимые схватки внутри закончились.

Корабль-Гулливер растаял, как призрак, погружившись в мои внутренние воды, и я была спасена.

— Ну вот, — удовлетворенно сказал доктор, — температура сразу спала. Надо было давно ввести ей гаммоглобулин.

— А можно я в палату пойду пешком? — спросила я, тут же сев и пытаюсь нащупать ногой тапочки, которые прихватившая их санитарка тут же поставила на пол.

— Можно-можно. Дуй давай... — весело разрешил доктор.

И я рванула во двор, чувствуя необыкновенный аппетит.

— Ну, что там у тебя? Давай скорей!— сказала я, лукаво улыбаясь встретившей меня матери. И она тут же ошарашенно достала курятину, и я, присев с ней на какую-то лавочку под липой, тут же проглотила ее с помидором, к которому требовала побольше соли, а мать тревожно советовала есть ее покуда поменьше. А ведь все эти дни я зареклась наносить вред — даже курице!

Вынырнув нежданно-негаданно из ужаса, которым объято наше существование, снова на поверхность обыденной плоскости, я, как и большинство, опять впала в болезненное нечувствие, вписалась, правда, как всегда, боком да с краю, в зашоренное, прикрытое со всех сторон от неприглядной правды, болтающееся, подобно пленке на болоте, хаотичное, плохо сколоченное суденышко.

В этом унылом углу суденышке многим плылось так хорошо, что они и знать не ведали о Мировом океане. Что уж говорить о Космосе как Океане с покачивающейся на спинах китов Матерью-Землей!..

Я поступила, как писатель Пришвин, который так тонко проникся Природой, что прозрел в ней Мать, указав человеку место — ее соработника и защитника, развенчав его помыслы о себе как царе. А потом взял и случайно убил чайку, целясь в утку. И положив чайку перед собой, долго любовался ее оперением.

Любивший природу Пришвин так и не догадался выбросить охотничье ружье.

И под всеми его прекрасными, духом дышащими книгами легла со вздохом в их основание убиенная им чайка.

Я тоже продолжала судить людей, забывая про то, что все мы — страдальцы, и тем самым стреляла в них из арбалета огненной мысли, одна из стрел которого угодила даже в любимого мной Пришвина.

Восхитительно-прелестный, наполненный легким шумом цивилизованного дня, рафинированный изысканными интеллектуальными игрушками и подслащенный развлечениями, похожий на эстраду мир тихо летел в тартарары. И при этом — ничего не чувствовал!

А в основании его, как в часовом механизме, лежала маленькая деталька — чайка.

Опять я стала — плохой...

...Спортзал до отказа наполнен школьниками.

Для того чтобы поместить их всех, из кабинетов принесли все стулья. Все стулья вынесли из столовой, выставили, захлопнув за ними обитую кожей дверь, из учительской. Все бегут со стульями, схватив их по два и по три, некоторые торжественно несут их на голове. На выходе из школы нет никаких заградительных фигур. Скорее их надо бы поставить на входе.

Сегодня — премьера спектакля школьного драмкружка по сказке Сент-Экзюпери «Маленький Принц». Я не знаю, кто такой Экзюпери, но фамилия звучит красиво, и я настроена на какую-то тихо и взволнованно поднимающуюся к небу волну, кружащую, как самолет, который нарисован на афише. Драмкружок открыла год назад молодая женщина — актриса русского ТЮЗа. Я не пошла в него только потому, что очень волнуюсь на сцене, и из страха провалить спектакль ни за что не позволю себе участвовать в нем. А так — у меня неплохие актерские способности.

Из нашего класса в драмкружок ходит только Нелли Агапишвили — всеобщая любимица, староста и отличница, тоненькая, подвижная, обаятельная и привлекательная, вежливая, с утонченными манерами. Казалось бы, я должна ее любить. И я действительно подпадаю под обаяние ее ровного дружелюбия. Но — мне чего-то в ней не хватает. Чего? Наверное, бурь, выходящих за край. Ведущих к самому

краю — краю бездны. Принуждающих заглядывать в нее и идти потом дальше — по воздуху?..

Сегодня она играет главную роль. И наш класс гордо занял весь второй ряд в зрительном зале. Мы сидим за спинами всех наших учителей, рассеявшихся вместе с родителями участников спектакля в первом ряду.

И вот оно начинается... Синий занавес с звездами из золотистых блесток раздвигается под органную музыку, и я вижу самолет — настоящий кукурузник с двойными крыльями, пропеллером, шасси — только всего двухметровый. Рядом, обхватив руками колени, сидит Летчик — самый высокий мальчик из параллельного класса Миша Гусельников. Он грустен и задумчив... Кругом — только желтые пески, только солнце. И — совсем нет воды. Не поднимая головы, он медленно начинает повествование о том, как встретил однажды Маленького Принца.

Сцена погружается во тьму, и из ее глубины выплывает сверху лодочка, а из нее спрыгивает Маленький Принц... Летчик сразу встает, и они, подбежав друг к другу, берутся за руки.

— Они и в жизни влюблены друг в друга — Нелли и Миша, — слышу я сзади чей-то восхищенный шепот — в третьем ряду сидят одноклассники Миши.

А у меня в глазах — меркнет мир. И — тихо струится, заволакивая бездну, влажный, нежный свет. Он одновременно и белый, и синий, и золотой. И немного — розовый.

Это я, взявшись за руки с Маленьким Принцем, иду куда-то, как по воздуху. Лечу куда-то. Скатываюсь кубарем в рвы и, поднявшись, снова иду.

Это ко мне, мечущейся в температурном бреду со скованным внутри кораблем-Гулливером, подсаживается на край кровати полуглухая девочка со слуховым аппаратом и принимается уверять:

— Ничего, ты еще выздоровеешь. Ты, главное, не бойся. У нас доктора — волшебники. Может, ты хочешь пить? Принести тебе воды? А хочешь кефира?

Так вкусно предлагать кефир взрослые уже не умеют. Они — пустые, как те десять тысяч новых роз взамен той, первой, оставшейся на маленькой планетке — нашей главной планетке, откуда нельзя делать ни шагу. Покидая даже на время, ее нельзя оставлять. Надо всю дорогу устремлять к ней сердечный свет. И ловить — встречный.

А как же Маленький Лис, Маленький Лис, Маленький Лис?

Кто возьмет его за руку, напоит водой, подведет к самолету?.. Кто его приручит?

Кто его спасет, если все волшебники будут преданы лишь одной своей Розе?

Девочка со слуховым аппаратом, тоже лежащая в запорожской больнице, заикаясь, с трудом выговаривает слова, но при этом очень старается, помогая себе жестами, и неправильная, своеобразно артикулированная ее речь кажется речью инопланетянки. Другие дети иногда посмеиваются над ней, а она, выпалив в ответ что-то гневное, плачет. И дети принимаются утешать ее: лежащие в больнице дети беззлобны.

Их так много, что пришлось добавить кровати даже в коридор. «Ну можно ли болеть уже сызмальства! И откуда вас столько?» — сетует медсестра, привыкшая предлагать лекарство и воду привычно — стоя в будничном далеке. И я хочу к этим детям, я так хочу к этим детям, резвящимся, звонко смеющимся, лежащим в следующей за моим отсеком просторной палате. Справившись с Гулливером, я все-таки попаду туда — и тоже вольюсь в их вольные игры, подхватив так и ходящий в эфире оранжевыми волнами непринужденный смех.

Бродит между кроватями, а чаще просто стоит, засунув в рот палец, брошенная матерью малышка, которую привезли из дома малютки с какой-то почечной бо-

лезню. Она очень задумчива и готова принять на веру и выполнить любое приказание, которое она принимает за искреннюю просьбу. Заметив это, некоторые дети постарше прикалываются: «Катя, подними руки! И стой так!.. А теперь — опусти!.. Ну молодец, молодец... Дурочка!..» И Катя и поднимает, и стоит, и опускает — как по команде. Но по лицу ее чувствуется, что она, в общем-то, сбита с толку — вокруг столько бестолковщины, ведь это уже дети постарше.

Уловив момент, когда никто не увидит, я беру эту девочку на руки и быстро, горячо прижимаю к груди. Потом, опустив на пол, смотрю ей в глубокие серьезные глаза и ощущаю свое бессилие перед разводящей нас судьбой. Сейчас она повернется и уйдет. И я — повернусь и уйду. И мы вскоре побежим в разные стороны по переходящему в пустыню лугу, а если и встретимся, то уже — за горизонтом. Там, где кончается жизнь...

— Ты уходи, уходи, уходи... Иди к своей Розе, — говорю я, как Маленький Лис.

— Да куда я не уйду! — вдруг отвечает Маленький Принц. — Я вас всех забирю к нашей Розе.

Вернувшись домой после спектакля, я написала «Манифест предателя»:

«Манифест предателя

Когда я подхожу к дальнему с намерением побыть с ним более трех дней, то это означает, что я необратимо меняю течение его жизни и отвечаю за это. Это означает, что я ему ДОЛЖНА НАВЕКИ — ВЕЧНУЮ ЛЮБОВЬ.

Если же я не способна соответствовать этому своему кредо, то считаю себя предателем. И попрошу так меня и называть. Потому что, как и большинство людей, я чаще всего пребываю в шкуре предателя.

Но я призываю и других — присоединиться к моему добровольному выбору и считать себя предателями Любви — вплоть до того дня, пока мы не сумеем сделать свою любовь — Любовью».

3

После окончания восьмилетки нашего «А» класса не стало.

Тех, кто остался учиться дальше, разделили на две половины и присоединили к параллельным классам.

Мой первый сосед по парте Деточкин, Лали Киасашвили и Аппатима отправились в класс «Б». А я с несколькими другими одноклассниками оказалась в «В» классе.

Когда-то, в первые месяцы учебы, от нашего большого, в пятьдесят человек, первого «А» отделили группу учеников, отобранную активистами родительского комитета с молчаливого согласия Зои Михайловны, — из тех, кто «не очень». Не то что бы они были отстающие. Но — какие-то аутсайдеры, несколько портящие общую картину.

Многие из уходящих тогда плакали.

И вот мы снова воссоединились.

Куда подевался перспективный «А» класс?

Лучшая ученица, староста, любимица педагогов и мальчиков Нелли Агапишвили, выскочив замуж за такого же юнца, да к тому же, по словам учителей, охламо-на, которого нашла в летнем спортивном лагере, ушла из школы.

Оставшиеся, когда их делили, не повели и бровью.

На задних партах, недоверчиво прислушиваясь, присматриваясь к происходящему, сидят бывшие «ашисты», а отделенные некогда от них аутсайдеры преврати-

лись в красивых, умных девушек и парней — от них так и веет добродушием и непринужденностью. Как с нами, так и друг с другом они обращаются весело и с непритворной сердечностью. И с ними так легко!

Меня сразу же подхватила под руку и посадила рядом с собой за вторую парту в первом ряду Ия Пурцеладзе, моя приятельница, тоже живущая в нашем корпусе, в моем же подъезде, только на втором этаже. Мы с Ией и ее сестрой Региной, которая тоже учится в этом, теперь уже *нашем* классе, приятельствуем с детсадовских времен. Как и в детском саду, где я не выдержала больше двух месяцев из-за незнания грузинского языка, Ия страстно, иногда навязчиво опекает меня. И я этому, в общем-то, рада. Хоть порой и отчаянно сопротивляюсь.

— Маша, а ты идешь в буфет? Пошли уже — я тебя жду... Маша, а ты не забыла перчатки? Ничего, если забыла — возьмишь у Регины, у нее две пары... У кого лишняя ручка? Маша, держи!.. Ну где ты, Маша?.. Вот, черт, опять сбежала к своей Лариске.

Ия — инвалид от рождения, она хромает. Но при этом никому еще с детсадовских времен и в голову не приходило ее жалеть или, не дай бог, дразнить. Все знают, что она не даст себя в обиду.

Ее сестра Регина другая — та, хоть и одна из первых учениц, идущих на золотую медаль, и по сему случаю, тщательно штудирующая не без помощи репетиторов углубленную литературу по предметам, которые сдают в мединститут, держится куда скромней. От той не услышать лишнего слова, большую часть своих мнений она хранит про себя. И в копилке этих мнений тоже значится — почти бессловесное, как вздох — сетование на мою неблагодарность. Ведь я действительно не особенно ценю негласную опеку над собой сестер, которые, заманив меня под разными предложениями в дом, частенько угощают разными вкусными кушаньями, расспрашивая при этом — тихонько — про семью. Я коротко даю им понять, что родители мои теперь не живут вместе. Отец после того, как они с мамой вернулись из Тамбовской области, переехал жить в деревню, в пустовавший родительский дом, который обустроил с комфортом. Там ему лучше. А мы с мамой здесь. И нам тоже так лучше. Но они не в разводе. А отец — да, продолжает обеспечивать. А что мама?.. Ну, неправда, занимается она мной!.. Просто это я не хочу, чтобы мной занимались.

И вот — весна выпускного года. В чуть колышущиеся занавески, то и дело приподнимая их, подглядывает со двора ветерок. Ширится, просачиваясь в распахнутое за ними окно класса, пение прорезающих воздух стрижей. Урок истории нашего, теперь уже десятого «Б». Надежда Георгиевна — моя самая любимая учительница в школе — учительница-бессребреница. Говорят, что она уж точно не берет взятки даже в виде коробок конфет и ее еще надо уговаривать просто угоститься ими. А дома нет даже холодильника. Но Надежда Георгиевна по этому поводу не парится — ходит годами в одном костюме, картавит, закладывая руку за жакет, как Ильич, и вообще чем-то на него смахивает, всегда деятельна, всегда воодушевлена, да к тому же не без юмора. А историк она чудесный! Знает — все!.. А как рассказывает!..

— Надежда Георгиевна, а вы вот, как член партии, можете объяснить, почему нас всех столько обманывали? Даже вот Ленин, возможно, был всего лишь грибом.

Господи, если бы такой вопрос кто-нибудь задал в свое время в моем бывшем классе, я бы умерла от счастья. А теперь счастье настолько избыточно, что я по-прежнему молчу, не находя что сказать, но на сей раз оттого, что то, что думаю и я, высказывают другие. А сугубо оригинальные свои мысли я держу при себе, не считая их особо интересными.

Это спросил бывший Летчик из спектакля по Сент-Экзюпери — Миша Гусельников. После того как от него улетела Нелли, он перестал заниматься, хотя парень

он умнейший. Теперь он пускает бумажные самолетики на пару с классным шутком Сашей Почналовым и иногда, приобняв его, шепчет что-то в ухо, после чего Почналов опять выскакивает, как джинн из бутылки, с очередной неожиданностью.

— Миша, поаккуратнее с языком. Отсядь вообще от Почналова.

— Нет-нет, погодите... Вот лично вы с какого года в партии? А ведь и вы нас обманывали, уча по учебникам второй или третьей свежести, потому что партия обманывала вас. Точнее, вы как член партии — сами себя. Мир оказался значительно хуже, чем тот, к которому вы нас готовили.

Класс одобрительно шумит. Кое-кто аплодирует.

Надежда Георгиевна, прищурившись, смотрит куда-то поверх головы бывшего Летчика и, выждав паузу, во время которой волнение, улегшись, сменилось у кого жадным, а у кого — вяло-любопытным вниманием, негромко роняет:

— Дети!.. Если бы я готовила вас к этому миру, этот мир был бы еще хуже.

Класс некоторое время молчит. Потом — взрывается аплодисментами. Эти аплодисменты ощущаются буквально физически. Они — как шар, внутри которого растворяются все мои сомнения, и сердце, вспыхнув пламенем свечи, бьется бесстрашно и ровно.

— И все-таки, Надежда Георгиевна, а когда это началось — все это вранье, пропаганда? Я хочу проследить истоки. Вы так и не ответили: так с какого года вы в партии?

Но Надежда Георгиевна, вдруг отвернувшись, выходит в коридор, смущенно бросив через плечо:

— Посидите пока одни, ребята...

— И не ответит, — говорит шепотом Марианна Полякова, староста, любимица учителей, родителей и мальчиков. — Она — беспартийная.

Я по-прежнему смотрю политические передачи и читаю центральные газеты начиная с первой полосы. Но уже — осторожно, словно передо мной материалы вражеского государства, с которым надо держать ухо востро. Чуть зазеваешься — и тебя оккупирует, как и весь народ, какая-нибудь очередная группировка, дорвавшаяся до хлеба и власти. Это окупается общим торможением в мышлении. Теперь я подолгу «туплю», зависая над тем или иным абзацем, ибо от смысла прочитанного еще предстоит отделить всевозможные одежки. Сдергивая их одну за другой, можно обнаружить на дне мертвую чайку. Я очень боюсь этого. Я так боюсь опять разочароваться и больше никогда не поверить. Но сегодня такой ясный весенний день, скоро выпускной, и я верю, что мы так и останемся в раю. Ведь снимая, как бинты, слои неправды, мы всей страной пробиваемся к Правде. А Правда — это все.

И все бы было хорошо — очень хорошо, просто так хорошо, что — лучше и некуда, если бы я не знала, что все мы умрем.

В восьмом классе, в год смерти бабушки, это знание залило меня такой пронзительной печалью, что мне захотелось, чтобы во Вселенной появился Бог, который вдохнул бы в нее Живую Душу, создав ее из Любви. И, возможно, он там был, а мыслители-материалисты поспешили отмахнуться от него из каких-то своих соображений. Я стала искать в книгах по научному атеизму отрывки из Библии и других Священных Писаний и, сопоставляя их, вдумываться в их смысл. Но чем больше я вдумывалась, тем меньше мне хотелось, чтобы Бог был. Ведь в этих односторонних и предвзято подобранных цитатах Бог представал суровым и властным, то и дело чем-то грозящим, предающимся гневу, несмотря на заверения в любви, совсем не понимающим реальных нужд людей господином. Почти помещиком. Кото-

рый уверяет в своей заботе нагих, не знающих, где главу приклонить, крепостных крестьян, насылая на них время от времени голод и мор. Нет, такого Бога я принять не могла. А именно такой образ вырисовывался как из атеистической литературы, так и из некоторых брошюр о христианстве, которые я раздобыла у каких-то сектантов. Я это уже где-то слышала: для того, чтобы партия могла помочь народу, народ должен по-детски беспрекословно довериться ей, ведь партия — это слуга народа, выражающая его нужды и чаяния лучше него самого. Женщина должна по-женски беспрекословно довериться мужчине для того, чтобы он мог служить ей, воплощая ее заветные желания. А человек... Человек должен был отринуть перед Богом все свои чувства и мысли, свое ложное Эго на основе беспрекословного, некритичного послушания. Более того — человеку некуда было идти, кроме как к Богу, поскольку тот не оставил ему другого выхода, заперев в Предопределение. Если каждый волос на голове человека уже сосчитан и не может упасть с нее без высшей Воли, если весь путь от истока до старости предопределен, то какой смысл в том, чтобы его проходить?

Но больше всего меня угнетало деление на рай и ад. Ну как это так — Бог, взрослый человек, да к тому же мужчина мог заявить, что спасутся только праведники? Это даже как-то неудобно. Бог должен работать спасателем на переправе! Он должен быть Рыцарем, а не закомплексованным мужиком. Который к тому же прикрывается Сыном, посылая его на крестные муки.

В общем, желая отойти от атеизма, я тогда к нему пришла с еще более твердой верой в отсутствие Бога. Поскольку Бог в моем сознании ассоциировался только с абсолютным Благом, превышающим все блага сего мира. А сей умозрительный Бог был просто недорослем, а не Богом. И с таким Богом я неустанно боролась, выдвигая его, как раба, из собственной природы.

Я боролась с Богом... Но страх смерти был необорим. Он был сильнее и порой подавлял во мне всякое желание чувствовать, мыслить, жить. Успокоил меня тогда — на время — Лев Толстой. Сдавая в районную библиотеку «Забавную Библию» Лео Таксиля, над Богом которой я вдоволь нахохоталась, выписывая оттуда наиболее забавные цитаты, сквозь подступающие к горлу душные, пронзающие смертельным горем слезы — я увидела на столе библиотекаря двухтомник повестей и рассказов Льва Толстого.

Что-то потянуло меня к нему и уже к вечеру, после прочтения «Холстомера», «Хозяина и работника» и «Смерти Ивана Ильича», я смотрела на жизнь немного другими глазами. В ней появилось тихое, мудрое струение, скрытое, как пока что Тайна за некой накинутой на наш ум завесой. И эта Тайна обещала какую-то большую, сильную, полную неведомой кровью, то есть не красную, а прекрасную Жизнь. Но делать ее надо было уже сейчас. И то, что центр тяжести вращающего Землю действия опять переместился с Бога на человека, которому предстояло что-то делать самому, без оглядки на Бога как-то успокаивало. Мой страх смерти на время отошел.

4

Если стоять у доски и смотреть прямо перед собой, то как раз на линии взгляда, в среднем ряду, можно заметить девушку с немного отрешенным, мечтательным лицом. У нее короткие, чуть вьющиеся густые волосы цвета спелой ржи и большие, пронзительные, словно прожигающие насквозь, черные глаза.

Когда она останавливает обычно летающий где-то не здесь взгляд на чьем-либо лице, человеку становится неуютно.

Но — меня тянет к этому взгляду, как магнитом.

Это — та самая девочка со скрипкой, у которой я когда-то одалживала ролики.

Скрипки больше нет. Жанна ходит вместо музыкальной школы в наш театральный кружок и в любительский театр-студию при ТЮЗе. Она вместе со своей подругой Мариной Князьковой — исполнительницей роли так потрясшего меня в свое время Маленького Лиса — погрузила своих родителей и весь педсостав нашей школы в состояние священного транса, непрерывной фрустрации. Две лучшие ученицы с гуманитарным уклоном, умные, красивые, такие прежде послушные, и собираются променять университет на вертеп, маскирующийся под Государственный институт театра и кино. Все горестно пророчат им карьеру падших женщин. И всячески стараются пустить какую-нибудь кошку между ними и этой дурной, тоже наверняка падшей женщиной, скорее всего, истеричкой, неудавшейся актрисой с неудовлетворенными амбициями, которую по ошибке пригрели два года назад под крышей школы — руководительницей драмкружка. Но кошка, как ни бегаёт, ничем помешать не может. Жанна — просто кремень! И — чем сильнее на нее давят, тем тверже она становится. Из глаз ее так и сыплются искрами бессловесные стихи. И эти стихи, которые словно носятся в воздухе, и привлекают меня больше всего: зовут вдаль, наливают сердце птичьей невесомостью, вливают в него огонь. Они звонкие и сильные, похожие на реющее знамя и буланный клинок, и — одновременно — густое курчавое облако в синей глубине неба.

Жанна все время держит на парте сборник какого-нибудь поэта. Одалживая у нее книги, я впервые прочитала Цветаеву, Ахматову, Пастернака. Этих книг нет в продаже или в библиотеке, но у руководительницы драмкружка, этой вызывающей глухой ропот возмущения, когда она, гордо задрав голову, быстро и уверенно цокает на каблучках по школьному коридору, вся такая модная, размалеванная актриски погорелого театра, есть все. Это она приносит своим подопечным книги и рассказывает им о Серебряном веке и судьбах русских поэтов.

Учительница литературы Людмила Николаевна Дутова, не говоря ни слова, брезгливо морщится. Правда, и она однажды попросила Марину достать ей «Мастера и Маргариту» Булгакова. И Марина принесла не только этот роман, но и «Белую гвардию», и пьесу «Бег».

Как-то мы были всем классом на премьере в Грибоедовском русском театре. Недавно перенесшая тяжелую операцию старая актриса играла в тот вечер роль так жаждущей, несмотря на возраст, любви пожилой дамы, что, встав на колени перед собственным шарфиком, просила полюбить ее хотя бы его... Меня сцена растрогала, а Жанну рассердила. Позже она рассказала, что в жизни у старой актрисы похожая судьба. От нее регулярно сбегают, используя ее, мужчины, которым она оказывает благодеяния. И вот она дошла уже до того, что ищет любви у шарфика. А ведь это — пошлость. И вообще — только плохие актрисы играют самих себя.

Я стала тогда возражать что-то Жанне, но не смогла донести до нее своего настроения, видимо, моим аргументам — это было моей слабостью по жизни — не хватало железности.

Но когда я узнала о том, что Жанна верит в Бога, я железно решила переубедить ее. И выяснить заодно, как она может принимать за основу Вселенной такого плохого Бога.

Долго настраиваясь, чтобы преодолеть смущение, я под села перед последним уроком к Жанне и попросила ее задержаться, если она никуда не спешит, после уроков и обсудить со мной вопрос о происхождении Вселенной.

Жанна, где-то в это время витавшая, вежливо, с теплой улыбкой согласилась, хоть тема и не вызывала у нее энтузиазма.

— Только зачем же в школе. Пойдем во двор. Просто пойдем по дороге. Там лучше.

И мы пошли уже через час по дороге, и солнце смеялось над нами, а только что вырвавшиеся из почек узкие клейкие листочки дрожали на ветру, как ошпаренные.

Пот катился с меня градом, когда я, путаясь и сбиваясь, рассказывала про Бога и читала по тетради выписки из «Забавной Библии».

Жанна выслушала все это, не перебивая, задумчиво глядя мне в лицо смолисто-черными глазами, из которых тоже словно шел солнечный жар. А потом, немного помедлив, сказала:

— Знаешь что... Я, может, и не все поняла. Но я могу на это сказать, что не все можно познать умом, — вот так, как ты это пытаешься сделать. Есть вещи, которые не поддаются объяснению через здравый смысл. Вот мы с братом летом отдыхали в деревне и тоже решили испытать Бога. Мы нашли на кладбище столетнюю могилу и взяли с нее немного земли. А потом положили ее в мешочке под подушку. Нам сказали какие-то девицы, что если положить под голову землю со столетней могилы, то ночью явится дух покойника. И представь себе — он явился. Всю ночь кто-то колотил в нашу дверь, тряс ее изо всех сил, а за нею при этом никого не было. Мы были ни живы ни мертвы, когда подпирали дверь. Мы держали ее всю ночь, подпирая собственными телами. Так что я имею какой-то опыт и знаю, что есть вещи, в которые нужно просто верить.

И как это так получается? На мои, казалось бы, железные аргументы у Жанны нашелся такой могущественный аргумент, что я, смутившись, вынуждена была припомнить свое самой же для себя сформулированное правило о том, что я знаю только то, что я ничего не знаю.

5

Приближается день рождения Надежды Георгиевны. Марианна занята тем, что собирает деньги на подарок. Все обсуждают, что можно на них купить. Марианна предлагает стиральную машину. Ведь мы же выпускной класс и можем позволить себе раскошиться на королевский подарок. Но с нашей с Жанной точки зрения, стиральная машина — это скучно, да к тому же пахнет коллективной взяткой. Мне в этой ситуации больше всего не нравятся попытки выдать за заботу вполне прагматические мотивы, причем незаметно для себя самих.

— А вот захотелось ли бы вам дарить стиральную машину какой-нибудь другой учительнице, не будь она вашей классной руководительницей? То-то и оно — вами движет не забота, а зависимость.

— Жалко ее. Пусто у нее в доме, — твердит, словно не слышит — или и вправду не слышит? — Марианна.

— Автомобиль «Жигули», — насмешливо вставляет Дима Сафонов.

— Подумаешь, машина, — роняю я тоже насмешливо. — У нас вот есть «Жигули», но я в них сидела не больше пяти раз. Зачем, когда есть такие чудесные, звенящие голубые трамваи?.. Самый экологический чистый вид транспорта, между прочим.

На что Регина неожиданно возражает с проскальзывающей в голосе обидой:

— Не надо!.. У тебя, Маша, вечно те, кто имеют автомобили, оказываются плохими... А наш отец, между прочим, тоже имеет автомобиль.

— Ну, твоему автомобилю нужнее — он же у вас начальник экспедиции. А мой — только начальник партии, — тороплюсь я сгладить неловкость шуткой.

— А я, когда маленькая была, думала, что твой отец как начальник выше моего: ведь он руководит целой партией, — уже улыбается Регина.

И вот — день рождения.

Наш класс, явившись к Надежде Георгиевне домой без приглашения, все-таки вкатывает перевязанную лентами, раскрашенную, с нарисованными фломастерами цветами и шарами, расписанную от руки поздравительными текстами огромную коробку, внутри которой — стиральная машина.

— Входите, входите, ребята...

Надежда Георгиевна в некотором замешательстве и, увидев подарок, делает было протестующий жест. Мы вливаемся шумящим потоком в залу, где за накрытым столом уже сидят сестра Надежды Георгиевны, ее племянник, брат Марианны и две учительницы. Брат Марианны подмигивает. А на лицах учительниц скромно покачивается, как на колеблемой легким ветром глади пруда, картина «Не ждали». Я не вижу признаков нищеты, о которой все время твердили Ия с Марианной. Есть стол, стулья, книжный шкаф, диван, телевизор, шифоньер. Что еще надо? Нет только современных обоев. Ну, и фиг с ними.

Вдруг в комнату вбегают с мячиком в руке шуплая, но необычайно подвижная старушка и, подскочив к Надежде Георгиевне, не отрываясь от игры с мячиком, который она ведет по полу, капризно спрашивает:

— Мама, а мне уже можно съесть пирожное?

Шум моментально стихает. Никто не смеется.

— Пойдем в твою комнату.

Взяв старушку за плечи, Надежда Георгиевна быстренько уводит ее.

— Мама у Надежды Георгиевны в последнее время стала немного склерозная, — тихо поясняет Марианна с необычайной нежностью в голосе.

Весь оставшийся вечер я сижу на подоконнике, как ушибленная. Случай со старушкой расстроил меня до апатии.

6

Этим летом Лариса ездила с отцом в Москву и пошла по моей просьбе на могилу Высоцкого на Ваганьковском кладбище. Положив цветы от нас двоих, она сфотографировала для меня могилу.

На фото были видны холм, обелиск и печально застывшая сбоку Лариса с большим букетом георгинов. Лариса — уже восьмиклассница, она догнала и перегнала меня в росте, длинные светлые волосы ниспадают до пояса ровной блестящей рекой. У нее прямая осанка, уверенная, плавная и при этом размашистая походка. Мужчины оглядываются ей вслед, мальчики в благоговении ходят следом на почтительном расстоянии, готовые записаться хоть в пажи. Но в пажи их по-прежнему не берут.

Лариса нешуточно занята спортом: она ходит на пятиборье и ездит с командой на соревнования. Во дворе мы поэтому бываем теперь редко. Обычно мы встречаемся в центре города и отправляемся в какой-нибудь кинотеатр. Мы прямо-таки коллекционируем кинотеатры, взявшись обойти все, какие существуют в Тбилиси. Лариса любит французские и американские фильмы, а я — тоже французские и советские. Но мы чаще идем на любой сеанс, нам все равно, так как фильмы повсюду — чаще всего дурацкие. А еще мы ходим в Оперный театр на утренние спектакли. Мы пересмотрели весь репертуар этого театра. Бываем мы и в ТЮЗе, и в Театре имени Грибоедова.

А еще Лариса подарила мне книгу статей и интервью Василия Шукшина «Нрав-

ственность есть правда», случайно оказавшуюся в ее домашней библиотеке, так как я, прочитав стихи Высоцкого на смерть Шукшина, так прониклась его творчеством, что читаю и перечитываю, выискивая в библиотеках редкие книги, которых почти никогда нет на месте, все, что Шукшин когда-либо написал. Тем более что сидящий у администрации в печенках драмкружок поставил по его сказке «До третьих петухов» оглушительно сильный, потрясший всю школу, феерично саркастический и в то же время щемяще-трогательный, лиро-философический спектакль. Долго потом ходили вслед за Жанной младшие школьники и с тоской повторяли: «А ты мне ребеночка сделаешь?» И спрашивали это же друг у друга, пожимая плечами и разводя руками, прочерчивая ими в воздухе какой-то круг. Тем самым они копировали Жанну в роли Дочки Бабы Яги, которая во время одной ставшей теперь коронной — сцены спектакля подошла к стоявшему к ней спиной, у края выдвинутой прямо в зал сцены Иванушке и предложила, полыхая смолисто-черными глазами-углями: «А ты мне ребеночка сделаешь?».

И вот — как гром среди ясного неба! — прекрасный, будоражащий землю гром, вслед за которым прольется светлой водой уносящая все наносное, напоенная огнем вода. И наконец опять зазеленеет трава, и, быть может, даже проклянутся сквозь асфальт чудом выжившие, приткнувшиеся по краям дорог полевые цветы.

Этот гром — спектакль по песням и стихам Владимира Высоцкого, премьеру которого готовит к нашему выпускному драмкружок. Эту затею дирекция почему-то встретила с нескрываемым ужасом, львиную долю которого она, однако, пока держит в себе. И я не могу понять, в чем дело, пока мне не попадает в руки с парты Жанны и Марины распечатка со стихами на смерть Высоцкого известных поэтов и актеров.

— Это ты еще того, что снял «Ракрус», не видела, — многозначительно говорит Марина. — Сходи в «Ракрус» — это такой студенчески-профессорский клуб при Институте физики, они тоже большие поклонники Владимира Семеновича. У них как раз завтра премьера в здании Нового университета, что в конце Важа Пшавела. Они подготовили документальный слайд-спектакль о всех убиенных, невинно пострадавших на Руси от властей.

Иду. Бегу. Лечу!.. Нет, сначала мечусь, ища Ларису. Но не найдя, еду сама. Нахожу университет, вхожу в битком набитый студентами и не только зал, погружаюсь в темноту, вижу кровь на экране, слышу песни, стихи, которые поют и читают, выходя один за другим на сцену, какие-то люди в галстуках.

Это длится три часа. Оттуда я уйду другим человеком. И приведу сюда в следующий раз Ларису. И посмотрю этот спектакль, придя потом снова одна, трижды.

Я пойду после первого раза, приехав туда на троллейбусе, вниз по извилистой, вымощенной булыжником дорожке лежащего в ущелье в районе Ваке детского парка «Мзиури». Здесь похоронен основавший его, недавно умерший от болезни сердца совсем еще не старым мой любимый грузинский писатель Нодар Думбадзе. И надо бы постоять на взгорье у его одинокой могилы, но я не люблю могил, я просто иду в простор тенистого парка и сажусь вдали от всех на безлюдную лавочку.

В фантазии моей появляются один за другим, вырисовываясь из серебристого тумана, фигуры писателей. Они заполняют небо, а я стою на земле, спешившись с коня, и смотрю вверх, боясь взглянуть вниз — в бездну, к краю которой я подошла так близко, что уже сыплется вниз с оглушительным шумом не камни — обломки скалы. Бездна змеится головой Медузы горгоны. А вверху — над лебединым станом писателей и поэтов — ведет по борозде рабочую лошадку в простой белой ру-

бахе Лев Толстой с чуть колышущейся на ветру бородой. Я понимаю, что это редкая удача — увидеть их всех вот так вот, воочию. И надо бы успеть спросить о самом главном. А что сейчас для меня самое главное? Самого главного — так много! Все — главное!

Ага... Вот, пожалуй, я и нащупала вопрос:

— Как же не потеряться мне в жизни, где нет самого главного? Знать только то, что я ничего не знаю, — слишком зыбкая основа.

Лев Толстой, не отрываясь от борозды, дает жестом какое-то указание в сторону и прямо над бездной, среди сине-фиолетового сияния от золотых шлемов, появляются трое — все они на синих конях. Это Есенин, Маяковский и Цветаева. Пройдя по воздуху в самую бездну и покачиваясь в нем тонким станом, Марина Ивановна читает:

Христос и Бог! Я жажду чуда
Теперь, сейчас, в начале дня!
О, дай мне умереть, покуда
Вся жизнь как книга для меня.

Ты мудрый, Ты не скажешь строго:
«Терпи, еще не кончен срок».
Ты сам мне подал — слишком много!
Я жажду сразу — всех дорог!

Всего хочу: с душой цыгана
Идти под песни на разбой,
За всех страдать под звук органа
И амазонкой мчаться в бой;

Гадать по звездам в черной башне,
Вести детей вперед, сквозь тень...
Чтоб был легендой — день вчерашний,
Чтоб был безумьем — каждый день!

Люблю и крест, и шелк, и каски,
Моя душа — мгновений след...
Ты дал мне детство — лучше сказки
И дай мне смерть — в семнадцать лет!

— Так что же — пришла пора умереть? — спрашиваю я недоверчиво, чувствуя рвущийся изнутри сквозь смятение восторг.

— Жизнь — это место, где жить нельзя. Но ты люби не жизнь, а мечту. А мечтай всегда с опережением, так, чтобы жизни оставалось лишь одно — догонять. И тогда когда-нибудь и жизнь станет человеком. А человек — таким, каким его задумал Бог, но не осуществили родители. А если ты поступишь наоборот и станешь любить жизнь и человека такими, какие они есть, эта жизнь станет еще невыносимей.

— Но что-то эта стратегия не оправдалась, если судить по вашей собственной жизни.

— Ты думаешь?..

— Да. Ведь вы попали в тупик. Поэзия привела вас к разочарованию в поэзии.

— Поэзия никогда не разочаровывает. Разочаровывает жизнь... Но ты по-своему права: поэзия привела нас к разочарованию в поэзии: жизнь такая, какая есть, кончилась, и мы оказались у края бездны. А крыльев таких, чтобы ее перелететь, не отрасли.

— А кто отрасли?.. Так что же — лучше с самого начала отбросить подальше все эти поэтические бредни?

Мой вопрос, провиснув уныло тянущимся над лижущей мои ступни змеящейся бездной канатом, медленно тает. И тают в моем воображении, так и не дав ответа, фигуры всадников.

Но я все равно рада этой мимолетной встрече. Пока что я понимаю одно: враги народа в образе сумасшедших всех мастей, которые управляют государством, в то время как все остальные не могут или воздерживаются, как то верно подметил Лев Толстой, — просчитались. Великая русская литература, на которой они нас воспитывали, думая завязать тем самым глаза, оказалась такой бомбой замедленного действия под всей этой Системой, что только держись!

7

Вижу впереди спину вышагивающего странной, замедленной, как у астронавтов на Луне, походкой Антона с бутылками. В районе, где он живет, есть аптека, куда мать иногда посылает меня за лекарствами, и я пару раз уже видела его в очереди, где сдают пустые бутылки. Я, конечно, делаю вид, что не вижу его. Но его точеный профиль кажется мне самым совершенством — в нем есть что-то чистое, пронзительное, загадочное. Я бы с удовольствием познакомилась с ним, но, кажется, мне никогда на это не решиться. К тому же Антон подпускает к себе только Гию Шайшмелашвили, второго, после Миши Гусельникова, интеллектуала в классе. Гия раз или два в неделю без лишних слов опускает свой чемоданчик-дипломат на парту рядом с Антоном, и они с ним тихо продолжают какой-то неторопливый, как видно, с незапамятных времен длящийся разговор. Девушку же и парня разделяет столько условностей, что, боюсь, Антону не пробраться сквозь их бурелом.

И вдруг Ия с Региной приглашают меня навестить вместе с ними Антона.

Меня как током пронзает, и я, тщательно скрывая волнение, с безразличным видом соглашаюсь. Оказывается, у мамы Антона, с которой они живут только вдвоем, обнаружилась неизлечимая болезнь, и она от отчаяния за будущего сына пришла в школу и о чем-то долго говорила с Надеждой Георгиевной. После чего к Антону засобирались девочки.

Купив конфеты и печенье, мы подходим к старой хрущевке, невесть как затесавшейся среди современных корпусов, и, преодолев не без эксцессов барьер из сидящих в подъезде на корточках подростков и молодых людей, звоним в деревянную дверь.

Открывает нам маленькая, жмущаяся к углу женщина в очках, с лицом жалостливым, морщинистым и необычайно кротким.

— Проходите, проходите, девочки... Здравствуй, Иечка, здравствуй, Региночка, здравствуй, Жанночка. А вас как зовут? Машенька, значит. Идите прямо...

— Ох, не верится мне в ее болезнь. Она уже как-то была неизлечимо больна, когда приглашала нас в прошлый раз к своему Антону. Года три уж прошло, — успевает шепнуть мне Ия.

Но как только мы входим в залу, Ия преображается. Обернувшись к маме Антона, она радушно и вместе с тем решительно предлагает:

— Алла Викторовна, а хотите, я вам погадаю? Пойдемте на кухню... Не волнуйтесь, не съедят тут без вас вашего Антона.

— Нашего Антона, — многозначительно поправляет Жанна.

Жанна с Региной почти одновременно опускаются на диван. Между ними мог бы поместиться целый Антон. Но место остается пусто.

Я неторопливо прохаживаюсь.

Вдруг в комнату влетает Антон. В руках его брюки. С неожиданной проворностью он хватается откуда-то ножницы и принимается резать ими штанины. На брючной ткани обозначается полоса, потом другая... Все молчат. Жанна и Регина, словно онемев, ошарашенно смотрят во все глаза на непонятное действие. Антон же отрешен и сосредоточен.

— Мама, забери это, — выкрикивает он тонким, визгливым голосом и бросает брюки на пол.

Жанна и Регина вскакивают.

Из коридора выплывает белой луной испуганное лицо Аллы Викторовны, а за ним, как проломившийся сквозь чашу лось, вбегает Ия.

— Антон, что с тобой, я не понимаю?! Можно быть таким эгоистом?! — сердито вопрошает она.

Антон проходит мимо всех, как сквозь стену, и запирается в ванной.

Мы быстренько уходим, натянуто обмениваясь ободряющими улыбками с разводящей руки Аллой Викторовной.

Я готова грызть землю от невыразимой жалости. И иду, как пьяная. В то время как другие девочки, напротив, стали подчеркнуто-трезвыми. Они идут в полном молчании и думают о чем-то своем.

— Подождите, девочки, — доносится вслед.

Алла Викторовна, догнав нас, пытается вернуть нам конфеты и печенье. Мы возмущенно отказываемся. Тогда она, взяв под руку Жанну, отводит ее в сторону и, плача, рассказывает какую-то историю.

После Жанна вкратце перескажет ее и нам. А история такова — Антон влюбился. Антон, который никогда ни с кем, кроме Гии, не разговаривал, но прочитал все тома собрания сочинений Достоевского, влюбился в обычную, краснощекую, в меру красивую, но необычайно бойкую девочку из соседнего дома, которая зашла как-то по делу к его маме и поинтересовалась у Антона, что он нашел в писателе, который, как ей известно, сильно всех достал. На что Антон разразился очень содержательным монологом.

Упитанной, краснощекой девочке стало интересно проверить такого оголтелого литературоведа на «вшивость». И, привстав на цыпочки и потянувшись к Антону, она поцеловала его в щеку.

Дело было сделано. Антон влюбился. А краснощекая девочка исчезла. Видимо, мама Антона решила срочно предложить сыну взамен одной девочки — целых четыре. И — призвала всех нас.

Услышав все это, я вдруг ощутила неприязнь к этой краснощекой девочке и злость на Антона. Словно Антон предал что-то, что еще не началось. И в то же время в груди вскипела, опрокидывая этот достаточно сильный порыв, волна жалости к Антону.

За ней шла, неистово терзая саму себя, и вовсе вся какая-то мутная, темная волна сомнений в необходимости вмешиваться в судьбу Антона. Венчала же этот гудящий, как рой в улее, штормом грозящий всплеск — мысль о том, что «всяк человек — ложь», как говорилось во врезавшейся мне откуда-то в память цитате из Библии. Таким изменчивым, легко колеблемым на ветру человеком была в данной ситуации я

сама. Куда подевалась моя мнимая добросердечность? Мое сердце пожалело для бедного Антона какого-то единственного испытанного им в жизни поцелуя.

Нет, я Антона не достойна — таков был окончательный, повергший меня в уныние вердикт моего сознания.

— Маша, зайди сегодня ко мне! — просит Ия, когда мы с ней входим после уроков в подъезд.

— Мы с Ларисой сегодня в кино идем.

— Все равно — зайди. Зайди после кино. У меня к тебе дело.

В тот день мы с Ларисой поехали в кинотеатр «Руставели», но он оказался на ремонте, и мы зашли в кафе-трамвай, спустившись в район Старого Тбилиси. Перед этим я, проходя мимо возвышающегося здесь с широко расставленными локтями бездарного памятника какому-то общественному деятелю, сунула ему под мышку свернутую в рулон газету. Лариса смеется... Мы садимся в трамвай — это действительно настоящий трамвай начала века, один из первых, а может, и действительно первый, появившийся в начале двадцатого века в Тифлисе, и к нам подходит официант.

— Дайте нам, пожалуйста, пломбир с шоколадом, — вежливо произносит Лариса.

Лариса принимается рассказывать про то, о чем я слышать не могу. Про свой грядущий отъезд, о котором она просит никому не говорить.

— Это папа не хочет, чтобы кто-то знал заранее. Сглаза боится... Устал он уже здесь. Хочет поскорее домой — в Севастополь. Вчера мы с ним снимали антресолы, сворачивали антенну.

Страшнее разлук для меня — только смерть. А это уезжает Лариса! У меня такая тяжесть на сердце, что я не могу разомкнуть рта. Скулы мои сжаты, к горлу между тем подкатывает комок. Я хочу взять Ларису за локоть и держаться, держаться за него, не отрываясь. Ее рука — как продолжение моей. Я боюсь, что расплачусь.

— Я бы и не уезжала, мне здесь больше нравится. Но не останусь же я тут одна. Да и к институту пора начинать готовиться, все-таки восьмой класс уже. Мы с папой решили, что после школы я поеду в Ленинград поступать на факультет океанологии. Таких факультетов очень мало. А в Севастополе есть подготовительное отделение, откуда потом направляют в Питер.

Да, надо мужаться. Я и сама понимаю, что мы сейчас с Ларисой — как два оленя на узкой горной тропе. Если упремся друг в друга лбами и не разойдемся, дороги не будет никому. А дороге нашей настала пора превратиться в две дороги, пусть и в чем-то параллельные.

Из трамвая мы переселяемся при посредничестве троллейбуса в небольшой кинотеатрик на метро «Двадцать шесть комиссаров». Там идет фильм «Крик павлина». В зрительном зале, кроме нас, сидят еще только два человека. Эта какая-то пара, жмущаяся на задних сиденьях.

Мы же сидим в первом ряду и истерически хохочем над абсолютно бредовым содержанием фильма, хаотичные, не связанные друг с другом эпизоды которого склеены только время от времени появляющимся на экране павлином, который оглушительно кричит, подобно стае раскачивающихся на деревьях обезьян. Я вытираю слезы, настоящие слезы, но это — неважно...

Потом я все-таки захожу к Ие. Так бывает со мной всегда: я говорю Ие «нет», но — ноги сами приносят меня к ней. Там мы садимся в лоджии за уже накрытый стол, и Ия спрашивает:

— Ну что — куда ты будешь поступать? Что там с твоим юридическим?

— С юридическим больше ничего. Как-то я охладела к профессии юриста. Скорее всего, я возьму тайм-аут — не буду в этом году никуда поступать, да я и не готовилась. Надо сначала получше определиться с выбором.

— Смешная ты, Маша... Ты же с первых классов определялась. И — так не определилась.

Ну да ладно... А я на бухгалтерские курсы пойду. Но это в сентябре, если будем живы. А летом я на операцию ложусь в ортопедическую клинику Гудушаури, мы уже договорились о сроках. Буду ремонтировать свои ноги... Маша, ты придешь ко мне в больницу?

— Да куда же я денусь...

— Маша, а вдруг я умру?

Эти слова Ия произносит хитро, словно испытывая меня.

— Да иди ты!.. Ничего такого не будет!

— Ладно, Маша, — миролюбиво соглашается Ия, — а как там твое выпускное платье? Шьете? Если хочешь, я отдам тебе свое. А себе возьму у Регины — у нее их два.

— Да будет, будет у меня платье! Но хоть бы его не было — не люблю я эти вечера. Зачем, я не понимаю, устраивать из выпускного какую-то показуху.

— Маша, а давай я тебе погадаю, — говорит Ия и опять с хитринкой в голосе и глазах.

— Ты же знаешь, что я не гадаю. Не верю я в это. И потом — предопределения не существует.

— Ну, пожалуйста, Маша, а то я всем гадаю, а тебе так ни разу и не погадала. Мы просто погадаем. Играючи. Ты представь, что это такая игра.

— Ну, хорошо. Но только — один раз.

— Сейчас по-быстрому сварим кофе.

После, взглянув на дно моей чашки, Ия, помолчав, скептически произносит:

— Гм... Ну надо же... Никогда не видела такой чашки.

— Да что там?..

— Да так — ничего...

— Нет, ты уж давай говори.

— Да плохо у тебя все. Впереди тебе не светит никакого счастья — ни личного, ни общественного. Ты будешь жить и мучиться, очень сильно мучиться, все время болеть. Все разведутся, а ты так и останешься здесь одна. И у тебя не будет ни мужа, ни детей. Хотя под конец жизни ты, кажется, родишь и станешь матерью-одиночкой. А жить ты будешь недолго — сорок или пятьдесят с лишним лет. Если не раньше... Но это ничего — твой Высоцкий тоже прожил недолго.

— Врешь! — вскакиваю я, побледнев. Губы мои трясутся, рука хватается за грудь. В глазах моих — слезы, готовые пролиться всей копившейся во мне за годы и годы влагой.

— Не веришь — можешь сама посмотреть в чашку.

— Господи, что же теперь делать!

Во мне — столько сил! А им впереди — стена. А за той стены — обрыв. Нет-нет, лучше прямо сейчас прыгнуть с обрыва!..

— Ну вот что, Маша, — говорит Ия, внимательно взглядевшись в меня, — Я пошутила. Я решила наказать тебя за твой скепсис. Так что конец света для тебя не меняется. А теперь — живи!

— Я тебе не верю!

— Клянусь Региной.

— Дура!

Я выбегаю из квартиры как ошпаренная.

И тут сталкиваюсь грудью с поднимающейся по лестнице чем-то опечаленной Региной.

— Антон отравился, — говорит Регина.

В тело мое словно ударяет наехавшая на него машина, из него я, выскочив, как из улитки, приподнимаюсь, глядя на происходящее сверху и сбоку, а потом падаю камнем вниз. Мы с Антоном летим, как два парашютиста в свободном полете, в пропасть. Скрип тормозов, и мир, схлопываясь, отъезжает. Я сажусь на ступеньку. Я в яме. Антон, спаси меня, дай поскорее руку! Я никогда не обижу больше ни одного живого существа на Земле, не потревожу ни одной былинки. Ты только останься! Жить мы будем долго-долго — целую секунду. Но мы наполним ее таким ослепительным, спрессованным в одну мгновенную точку-звезду счастьем, что только держись! Мы будем светить — всем. И всегда будем щедры, снисходительны и правдивы. И мы будем любить не только друг друга, мы друг друга не запрем в этой пока еще узкой-узкой, как на рентгеновском снимке, костной клетке в груди.

— Не насовсем отравился, — доплывает до моего сознания, восстанавливая его бег, флегматичный голос Регины, — врачи его откачали. Но он уехал в Россию — к родственникам. Его мать решила увезти его от греха подальше. Сейчас она должна срочно продать квартиру.

В тот же месяц у меня умер отец.

В последние два года он, потеряв должность начальника партии из-за того, что его не выбрали на эту должность тайным голосованием при переходе предприятия на хозрасчет и самоуправление (администрация попросту протащила, манипулируя голосами сотрудников, кого-то своего), перешел на внештатную работу и переехал в родовое гнездо — пустовавший после смерти родителей дом в маленьком городке Западной Грузии. Там он ухаживал за садом и разводил кур, тем и жил, вдобавок неплохо зарабатывая вычерчиванием топографических карт, плату за что добросовестно отсылал нам.

В оставшееся время он писал стихи.

Да-да, мой отец писал стихи. Я узнала это только в последние два года. Оказалось, он писал их и в юности, но потом бросил. И вот ближе к старости, оставшись в уединении, снова потянулся к бумаге. Он написал поэму размером с «Витязя в тигровой шкуре» про то, откуда пошел род Кикнадзе. Но не только это. Писал он и о природе, и о дружбе, и о любви. И особенно много — о Советском Союзе и надвигающейся на него катастрофе. В патриотических стихах — их было больше всего — он отстаивал необходимость сохранения социалистического способа хозяйства и размышлял о линии партии, которую, по его мнению, необходимо было переменить.

Я не читала этих стихов, потому что не знала грузинского языка и еще потому, что просто не могла — меня брала оторопь из какого-то сонного равнодушия. Я не испытывала больше злости на отца. Но и чувств к нему тоже совершенно не было.

Он заболел раком желудка. Но почувствовав первые признаки недомогания, не стал обращаться к врачам, так как привык к железному здоровью. А после — стало уже поздно.

Узнав про диагноз, он продолжал жить в деревне, борясь со слабостью до последнего. Но никому про это не рассказывал.

В конце мая его неожиданно привезли, уже лежачего, желтого, исхудалого, по-

старейшего сразу на двадцать лет, соседи по деревне, которые ехали на своей машине в Тбилиси.

Наша квартира погружена в молчание и темноту. Здесь, за занавешенными окнами, на узкой койке в лоджии, в пропитанном лекарствами спертым воздухе, который не разбавляется даже регулярным проветриванием, умирает мой отец — жертва оговоров мамы и моего бессердечия. Умирает молча, как и жил. Изредка заглядывающие родственники едва сдерживают осуждение, которое сквозит в каждом их движении. Они считают, что это мать во всем виновата. Хотя кое у кого из них есть на сей счет и несколько иное мнение.

Мама молчит и суетливо носится с мисками, тарелками, тазами, шприцами. Она добросовестно делает все, что надо. Но чувствуется, что и у нее нет к отцу чувств. И он уходит из этого мира — совершенно одиноким, осознавая, что нас с ним связывает только чувство долга. То самое пустое без любви чувство долга, которое я больше всего не принимала в других людях.

Но странное у меня ощущение... Будто от отца отделяется вместе с тающим днем ото дня телом, которое уже на вид не больше, чем у ребенка, только сморщенное и совсем желтое, какая-то долго давившая на него тяжесть. Он страшно измучен. Так измучен, что уже дошел от боли и страданий до почти полного телесного бесчувствия. Но сквозь лик его проступает какое-то нездешнее спокойствие, которое ощущается буквально физически. Такое чувство, будто в нем просыпается его упущенная спокойная и одновременно бодрая юность. Помолодевший, лежит он в более-менее свободные от приступов минуты и смотрит с терпеливым вниманием за окно. Кажется, в нем умирает старик и воскресает мальчик. Еще немного — и стена отчуждения из наносного возраста, или, говоря правильнее, возрастания в гордыне рухнет, и мы снова будем вместе, как в моем раннем детстве, когда я попросила его надуть пробегающую киску, а он, рассмеявшись, взял меня на руки. Но не так-то просто преодолеть свою собственную стену мне, здоровой. Кажется, эта стена стала совсем бетонной — в ней слои презрения к отцу мешаются со слоями вины, а все вместе закапывает душу, делая ее ищущей нечувствия. Я, желавшая ему столько лет смерти, даже не захожу в комнату, так как не выношу вида страданий и должна давить в себе перманентную истерику. Истерию же я из страха за собственную шкуру, проглядывая сквозь смерть отца и свою смерть.

Уходит он тихо, просто перестав дышать незадолго до полуночи. Мы понимаем это не сразу.

Знаю — сейчас потекут дни отгораживающей от голого ужаса перед неприглядно лежащим восковым телом суеты. Все будут носиться, заполняя какие-то бланки, куда-то ездить, что-то выбивать. И я, подсуетившись, тоже буду что-то жевать, хватая пробегом разные вкусности с красиво сервированного стола. А покойник будет стоять рядом со своим телом где-то там и, вероятно, снисходительно усмехаться. Сам был таким!

— А ты знаешь, мне сегодня ночью приснился дядя Саша. Он стоял на втором этаже в окне своего деревенского дома, весь седой и в кепке. А ведь дядя Саша не был седым. Но только я так подумала, как он снял шляпу и приветливо помахал мне ею. И вижу — он уже опять черноволосый, — это рассказала мне Ия. Теперь уже никогда не узнать, что в этом от правды, а что — от вымысла.

И я куда-то пошла по дороге. Кругом растрескивался на две половины мир — на плохую половину. И — хорошую. Раздваивалась на две стороны дорога — на плохую дорогу. И — хорошую дорогу. Как правостороннее и левостороннее движение, две дороги шли параллельно друг другу, но направления их были противоположны.

Я знала, что я очень, очень плохая. И в то же время наряду с презрением к себе

изнутри рвался какой-то восторг перед общим безумием бытия — на фоне распахнутости, раскрытости перед полупрозрачными контурами зданий и предметов, природы и людей. Отовсюду наплывали на меня радиоволнами чьи-то позывные, которыми был пронизан эфир. Этот восторг и граничил с безумием. Временами у меня даже вырывался истерический смех. И в то же время печаль растекалась слезами по лицу — печаль о той жгучей, отчаянной пустоте, из которой, казалось — одной пустоты! — и состоит мое сердце.

Кто я? Никто. Я ничего не могу.

Мне припомнилась одна встреча в пионерлагере, где я отдыхала, кажется, классе в четвертом. Поток выдался ничем не примечательный. Но где-то в его середине я познакомилась с девочкой, которая поразила меня уже потом, год или два спустя. Чем? Я долго гадала — *зем*, придумывая те или иные объяснения, а понять смогла только теперь.

Девочку звали Света. И она пыталась рассказать мне о своей тоске среди мира. Ее не цепляло ничто преходящее. Но я как-то не стремилась к таким разговорам. И Света не стала вдаваться в подробности. Ничего я тогда не поняла, да и не трудилась понять. Я только смутно догадывалась, что должен найтись кто-то, кто поможет справиться этой необычной девочке с ее многочисленными трудностями, но то, что этот кто-то — это, например, я, никак не смогла догадаться. Но от нее веяло чем-то очень большим и благородным, не разменянным на те мелочи и игрушки, которыми люди по привычке заполняют свой день, чтобы не видеть времени. «У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет ее, как может», — вспомнилась мне цитата из статьи про Сартра в «Литературной газете». А Света не хотела ничем. Да и, по-видимому, не могла, не умела. И это ее Ничто было больше, чем Что-то.

Я преклоняюсь перед ее Ничто, из которого только и может появиться Все.

Главное только — не зазеваться, не застояться в этом Ничто.

Мне так хочется встретить ее. Эта встреча со Светой — как встреча с обратной стороной Себя. Ведь я в некотором роде тоже Светлана. Мое паспортное имя отнюдь не Мария, а Натела, что переводится с грузинского языка как Светлана.

А пока что я на одном дыхании пишу у себя в блокноте, присев на бордюр тротуара, неотправленное письмо:

«Ну, здравствуй, Светлана! Так и стоит у меня перед глазами картина: ты удаляешься с тяжелым, большим не по росту чемоданом к кассам автовокзала на набережной Куры, а я спокойно отворачиваюсь и бегу вслед за мамой, так как спешу окунуться в свой по-детски насыщенный, привычный тбилисский быт, так и не догадавшись помочь тебе с твоим чемоданом! Ты кажешься мне такой взрослой, далекой. А мне не хочется особо интересоваться взрослыми вещами. Правда, я и тогда чувствовала твое присутствие как что-то огромное, к чему смутно хочется тянуться, и по-своему нуждалась в тебе. Но тогда, в лагере, другие, более обычные и веселые дети как-то заслоняли тебя. И вот — уже через год-два — я стала старше и вдруг увидела тебя... И очень пожалела о том, что тогда, в лагере, происходило — что я не сумела ответить тебе ни на одну попытку заговорить со мной о чем-то большем, чем то, о чем говорят другие дети, что была так беспечна, что не умела внутренне, а не только внешне поддержать тебя. И — самое печальное — я потеряла твой адрес, так как особо и не старалась его сохранить: я-то думала, что он мне никогда не понадобится. В общем, ты была первым необычным, глубоким человеком в моей жизни, понимавшим меня лучше, чем я сама тогда себя понимала. А значит, и первым моим другом. А все первое не забывается. Я, конечно, на годы забывала тебя, но сохраняла в глубине души ощущение чего-то удивительного от той своей поездки в лагерь. Время от времени это ощущение просачивалось в сознание, и образ твой то и дело выплывал из памяти. И

я всегда хотела разыскать тебя. Обязательно спрашивала, если встречала кого-то из Рустави, не знают ли они Светлану с княжеской фамилией, которую я точно не помню. В общем, я хочу знать, где ты, как ты? Чем ты жила эти годы? Это так удивительно — узнать о том, как мы изменились! Я даже не знаю, прочтешь ли ты когда-нибудь это письмо и жива ли ты вообще. И буду ли жива я. Как жаль!»

Перед всеми я в чем-то виновата. А ведь собиралась быть хорошей. Не на это ли противоречие намекал мой дядя, когда давал понять, что для того, чтобы стать плохой, надо начать что-то делать?.. Так что же — отказаться от действий?

И тут перед моим мысленным взором появился всадник. Это был Мальчик со Шпагой из романа Владислава Крапивина. Но я сразу поняла, что он — на самом деле Христос. Или кто-то, раскрывший в себе Христа.

Он с улыбкой сказал:

— В этой жизни — можно все. Только, пожалуйста, будь благородной. Это больше чем смирение, больше чем простая снисходительность. Не слушай ты этого своего дядюшку — он у тебя подустал. Береги честь смолоду. Не подражай. И хорошее найдется само собой. И — проложит себе дорогу. Не захотел быть жующим куриц лисом и — пожалуйста — встретил Маленького Принца. Отпустил его и — стал человеком. Перестал убивать людей и зверей делом, словом и помышлением — и глядишь, станешь сыном Бога. А быть сыном Бога — значит **быть!**

— Надо же, а я думала, что ты старый и брюзгливый.

— В голове у вас у всех такой сыр-бор!.. Понимаешь, вы растете, а я — умаляюсь. Я — это вы. Когда-то я был грозным Зевсом, потом — справедливым Иеговой. А до того — дарящим духовную Радость Кришной. Потом, когда настала Кали Юга и все стало карикатурным и карликовым, я стал для кого-то — Мальчишем-Кибальчишем. Но все это — только грани. А какими мы станем — еще не открылось. Мы — то, с чем позволили себе согласиться, пусть даже в своей детской неискренности. И все же никогда не лишай себя, как и других, права на ошибку.

— Так где же основа? Где критерий Истины?

— Он — в Пустоте твоего сердца, когда она станет всеобъемлющей. Я — море, способное наполнить только всеобъемлющее Сердце. А пока — до свидания. Умалюсь и дальше!

— Господь, подожди!..

— Помни: мы хотим видеть мир таким, каковы — сами. Но до себя еще надо дорасти, раз росли не в ту сторону. Но если ты не хочешь смотреть не в ту сторону, просто обопрись на меня и иди. Секрет прост. Честь имею!..

Улетел. На его месте остался желтый одуванчик. А до того одуванчик был седой.

Потом появилась целая поляна желтых одуванчиков, на которую я вышла из обступающих меня корабельных сосен. На этой поляне стояла избушка, толкнув дверь в которую я увидела аккуратно висящее на спинке возвышающегося среди березовой горницы кресла-трона свое выпускное платье.

Шел 1985 год от Рождества Христова. До крушения Советского Союза оставалось меньше семи лет.

Эпилог

Надо ли говорить, что в то время, как все потеряли Советский Союз, я обрела его?

Но человек — хлипкая основа. И я еще не раз поддамся общему порыву, уносящему меня в сторону от знакомого внутри Источника. А страну мою по-прежнему

несет, как потерявший курс, попавший в водоворот вихря воздушный шар, куда-то в сторону, уже очень и очень далеко в сторону. И многие из нас сидят на одиноких островах, куда упали, выпали или выпрыгнули на ходу. И смотрят в отчаянии вверх, надеясь, что терпящий бедствие шар как-нибудь справится сам с собой, а потом вернется за нами. И — не знают, как соединить те острова в материки.

Но Таинственный остров — совсем близко. Он — внутри. И все вокруг можно устроить заново: построить дом, вырастить сына, посадить дерево.

Где-то летят в этом шаре, сидят на островах или обустривают Таинственный остров и люди, среди которых я провела детство. Про одних я ничего с тех пор не знаю, про других знаю слишком мало: налетевшая буря разбросала нас, как семена, по всей планете. К примеру, я знаю, что Олег Гольдштейн, отсидев в юности срок за драку, впоследствии погиб в Израиле во время теракта. Аппатима с сестрами живет в Греции и водит русских туристов по православным храмам и монастырям, с которыми связана узами веры. Лариса Раевская стала мастером киношных дел: несмотря на образование инженера-океанолога, она стала тележурналистом и работает диктором и ведущей на Севастопольском ТВ. Кроме того, она лауреат нескольких кинопремий за снятые ею в качестве режиссера видеофильмы об Отечественной войне.

Мы еще можем сделать шаг и поставить ногу на Родную Землю из того промежутка, в котором болтаемся. Это не так уж и сложно... Как тогда, в моем детстве, когда я шла по дороге, будто раненная в живот, и пригибалась к земле, силясь удержать изо всех сил то, что давно созрело, — свой Корабль. Это — наш Ноев ковчег. В него я положу свой детский роман о Советском Союзе, добавлю пота и крови и, обрубив канаты, которыми опутали его лилипуты, отпущу, забрав на борт всех-всех, всю эту плывущую в мареве из грез, летящую вокруг Солнца девочку-Землю.

Думаю, в этой божественной Круговерти для нас всегда найдутся какое-нибудь живое и увлекательное Дело и какая-нибудь милая сердцу, чистая и радостная Игра!

Елена ШОСТАК

* * *

Вдруг очутиться в Озерках
С продрогшей розою в руках,
По светофору перейти,
Прийти к тебе, сказать: «Прости».

«Прости, что долго я не шла,
За это время прожила
Я сотни жизней, может быть,
Но не смогла тебя забыть».

Теперь ты женщина и мать,
Но мне приятно обнимать
Твой по-девичьи тонкий стан
И проходить по тем местам,
Где отзвучал наш юный шаг.
Пусть в нашей жизни будет так, —

Пусть будет так, как суждено.
Ты помахала мне в окно
Из кухни дома-корабля,
И закружилась Земля.

* * *

И в вечности умеря шаг:
Уже не нужно торопиться...
Там тимофеевка на спицы
Накручивается. И так...

Мы пропустили весь январь,
Все праздники его и даты.
Вечерних фонарей янтарь
Венеты увезли куда-то.

Там будут строить из него
Волшебные дворцы и храмы.
А мы? Расклеим скоро рамы
И впустим ночи волшебство.

Елена Леонидовна Шостак — автор сборников стихов «Светом вечерним» (СПб., 2008), «Весеннее солнце у входа» (СПб.: Русь, 2006), «Мы идем от лужи к луже» (СПб.: Русь, 2006). Стихи в журналах «Звезда», «Новый берег». Детские стихи — в монографии Ольги Машталь «Программа развития способностей ребенка» (СПб.: НиТ, 2007).

Какой-то новый слух открытый.
А в чутком ухе, как в дупле,
Останется, как лист забытый,
Как звук, не отданный метле,

Какой-то чуть заметный шорох,
Почти забытая зимой
Ночная бабочка на шторах
С прозрачной радужной каймой.

* * *

Февраль, и оттепель, и сыро,
И влажный воздух тяжелит.
В снегу капель пробил дыры.
А сердце? Чутьочку болит.

Февраль, наверное, особый,
И что с ним делать, с февралем, —
Он весь: от певческого зоба
До рук, что наскоро, углем,

Спеша, подчеркивая вены,
Нарисовала я вчера, —
Он чуден. Необыкновенный!
Он начинается с утра,

И даже — с ночи. Сердце сжалось,
А сверху шапкой снеговой
Упало то, что залежалось,
Как две руки за головой.

Увы, сердечники глотают
И корвалол, и коринфар,
А под ногами — тает, тает
И отражает вспышки фар.

И весь асфальт покрыт ветрянкой
Бегущих тормозных огней,
И тополь, с гордою осанкой,
Слуги старинного верней.

* * *

И. Г.

Вослед безумью моему
Все конницы пускаю.
Я счастлива и потому
Так много допускаю.

Я допускаю в жизни то,

НЕВА 12'2013

Что не допустит каждый;
И в мокром стареньком пальто
Явлюсь к тебе однажды.

И ветра дерзкого порыв
В лицо ударит снова;
Мое безумье — как обрыв
Над хмурой зыбью слова.

Над этой зыбью ветер строг,
Деревья тянут длани.
И я хочу — к тебе дорог,
К тебе — хочу желаний.

* * *

Ты будешь юной, очень юной,
Улыбчивой и непростой.
Я на тебя июнем дуну,
Цветастой праздничной верстой.

Увидишь выводок шмелиный,
Шутя посмотришь на стрижей
И, руки перепачкав глиной,
Построишь десять этажей.

А может быть, на гладь морскую,
Задумчивая, поглядишь.
Я по тебе всегда тоскую,
Когда ты тихая сидишь.

* * *

За окнами темно, темно.
Тебе ли плечи золотит
Во тьме горящее окно?
Тебе ли тополь шелестит?

Тебя ли полночь приведет
К моим дверям, к моим дверям?
Мой уличный фонарь найдет:
Ночным я верю фонарям.

Их свет по-прежнему не строг,
Они отчаянно-желты,
Они на мой ночной порог
Легли. как лисие хвосты.

Легли, как чудо из чудес;

Легли, как сказочная кладь.
Пока не убежали в лес,
Возьми рукою их погладь.

* * *

Мне сродни сентябри.
Может, лето не жалею?
Сколько хочешь — смотри.
Зачарую, избалую.

Во все очи гляди:
На меня ли, на тополи.
И черту проведи,
Как дороженьку во поле.

И пока — не пестро,
Листья в ноги не бросились, —
Ты постой у метро
И подумай об осени.

Эта осень — твоя,
От куста огнепалого;
У нее есть края,
Как у килика малого.

Поднеси, отхлебни,
В две руки, как задумано.
Эти первые дни —
Словно «Бабочки» Шумана.

* * *

Ветер с солнцем вперемешку,
Я люблю твою усмешку —
На обветренных губах,
Глянец солнечный — на лбах.

Ветер с солнцем вперемешку,
Мы с тобой не будем мешкать,
Схватим дивный эпизод.
Неостывший час, как зод,

Мы с тобою слепим, скрутим,
Будем жить междуминутьем,
Междучасьем пролетим, —
Ветер, милый побратим.

Смейся-смейся над делами,

Листья стали зеркалами,
Все колеблется в окне.
Ну какое дело мне

До мороки, до заботы.
Милый ветер из субботы,
Ветер праздничный, цветной,
Двор открытый, проходной,

Три-четыре старых лужи
И бессонница к тому же,
Та, что душу бередит:
На скамейке посидит,

Мирно птицам булку скрошит, —
Ветер ей виски ерошит, —
Ветер солнечный, незлой,
С незапахнутой полой.

* * *

Романтика — стоит в дверях
И разговаривает строго.
Романтика — в морях, в морях,
А море — где-то у порога.

Неважно, что это: листва
Иль рокот царственного Понта, —
Романтика — жива, жива
Под крышей старенького зонта.

В песке — сандали у нее,
Дыра — на стареньком носочке.
Романтика — твердит свое
И никогда не ставит точки.

* * *

Тридцать градусов выше нуля,
И недвижно стоят тополя.
От жары все притихло кругом.
Только дети и сердце — бегом.

Этот бег не унять, не унять,
Эти плечи мне нужно обнять,
Обхватить и в объятиях сжать,
Значит, сердцу бежать и бежать.

Что же, сердце, беги и беги!

Ты упрямее детской ноги.
Во дворе — голоса ребятни,
И не делится лето на дни.

Лето — цельный аршин и кусок;
Тянет лето балетный носок.
Тихо пух тополиный лежит.
И секундная стрелка дрожит, —

Не проходит черты круговой.
В это лето — уйду с головой.
Летний зной, летний зной, летний зной.
Станет меньше печалью одной.

* * *

Сирень, ты похожа на плечи
Девчонки, играющей пьесу.
С сиренью становится легче,
С сиренью рождается «если».

С листа и чуть-чуть завираясь,
Срывая, как звуки, соцветья,
Сирени играют, стараясь,
Сирени играют в столетья.

Сирени дожди обрывают,
Как детские пальчики, просто.
Их солнечный луч нагревает,
Сиреням — костюм не по росту.

Он загодя куплен, как платье,
Как платье, — шутя и на вырост.
Сирени стирают, как ластик,
Печаль, из которой ты вырос.

Павел ВЯЛКОВ

НЕСТОР

Рассказ

Посвящается девятистолетнему юбилею первой русской летописи

На дворе истории стоял 1113 год от Рождества Христа, или 6621-й от сотворения мира. Заканчивалась шестая неделя великого поста и двадцатый год царствования на великокняжеском киевском престоле внука князя Ярослава Мудрого, великого князя Святополка Изяславича. Время было тревожным и как всегда смутным. С одной стороны Руси грозили лихие половецкие набеги, с другой — дурные княжеские усобицы, с третьей — ростовщики, голод и недовольство черного люда правлением бояр и князей верховных. Роптали все. Но власти их как всегда не слышали. Они жили для себя, слушали и слышали лишь одних себя и терпеть не могли, когда кто-то лез в их сокровенные семейные дела, тем более уличал их в неправде. В общем, было все как всегда...

* * *

Воскресенье, 29 марта 1113 года. Вышгород, Киевское княжество.

В шестнадцати верстах от стольного града Киев верх по Днепру на высоком холме располагалась прекрасно укрепленная резиденция великого киевского князя город-крепость Вышгород. Городишко служил форпостом Киева, прикрывая его с севера и одновременно являясь местом переправы через Днепр в сторону Чернигова. Многочисленные деревянные церкви и терема делали этот небольшой населенный пункт сказочным, словно сошедшим откуда-то с картинок старинных былин или народных сказок.

В упомянутый нами выше день чуть свет ни заря во дворец великого князя в Вышгороде явился скромный чернец из Печерского монастыря, что под Киевом. На вид ему было приблизительно под шестьдесят, но выглядел он гораздо старше своих истонченных лет. Седые длинные волосы и борода придавали иноку благочестивый вид, а взгляд говорил о переживаемом глубоком мистическом опыте. В глазах его светилась мудрая тишина и умиротворение. Звали этого монаха Нестор, и к своей груди он трепетно прижимал принесенную из Печер книгу в темном кожаном переплете.

— У меня был уговор со светлейшим великим князем встретиться поутру сегодня, на вербное воскресенье в его светлице... — Войдя в сени, поклонился он дежурившему там дружиннику.

Тот с почтением проводил его в великокняжескую приемную.

— Ты что, чернец, какой уговор! Такая рань! — протяжно зевнул дежуривший в его приемной подьячий. — Князь еще почивать изволит! Он никогда так рано не

Павел Леонидович Вялков родился в 1966 году в Астрахани. Выпускник исторического факультета Астраханского государственного университета. Преподаватель, профессор, доктор философских наук. Живет в Астрахани.

встает... А ежели был с ним у тебя уговор о встрече, то сидай на лавку и жди, пока он пробудится.

Монах смиренно присел на указанное ему место и положил принесенную с собой рукопись себе на колени.

Подьячий нагло лгал, поскольку великий князь в ту ночь даже и не думал ложиться спать. Еще с вечера к нему пришел какой-то странный посетитель, лица которого дежурный не сумел рассмотреть из-за длинного капюшона на его голове, и всю ночь князь держал с ним секретный совет. О чем они говорили, подьячий тоже не ведал, так как из-за плотно закрытой двери не было слышно ни единого звука.

Посетитель, а точнее, посетительница, пришла к князю по очень важному, я бы даже сказал, деликатному, но совершенно не государственному делу. И князь принял ее в столь неурочный час лишь потому, что очень хорошо ее знал. Настолько хорошо, что не мог ни при каких обстоятельствах отказать ей в аудиенции.

— Великий князь! — обратилась женщина, после того как Святополк соизволил ее принять. — У нас проблема... У нас с тобой большая проблема...

— Что такое? — не на шутку всполошился князь, целуя свою собеседницу в ее «сахарные уста». — Что случилось? Неужели муж о нас с тобой прознал?

— Нет, но думаю, скоро обо всем догадается! — отвечала женщина, снимая дорожный плащ. — Дорогой князь, — как-то отстраненно-холодно и вместе с тем торжественно объявила она ему, — я поздравляю тебя! Я от тебя понесла...

У князя опустились руки и от волнения подкосились ноги.

«Вот ведь угораздило на старости лет! — с досадой подумал он про себя. — Не может быть!» — Окинул недоверчивым взором свою собеседницу Святополк. Но Рогнеда (так звали жену киевского посадника Даньслава) была серьезна и взволнованна. — Ты уверена?

— Я уже не молода, — продолжала Рогнеда, — а муж мой и вовсе стар... Древнее тебя будет... Кто поверит мне, что это он отец моего будущего ребенка?

Теперь уже великий князь озабоченно нахмурил брови. Ситуация поворачивалась к нему весьма неблагоприятной стороной. Киевский посадник боярин Даньслава по прозвищу Ноздрюч славился своим суровым нравом и часто выражал мнения тех киян, которые были недовольны правлением великого князя Святополка. Такого только тронь — не оберешься проблем. А тут тебе такое дело! Но что случилось, то случилось. Написанное пером, трудно вырубить топором.

— Давай рассудим все трезво и чинно! — попытался взять себя в руки великий князь. — Если эта история всплывет наружу, будет грандиозный политический скандал. Мои враги скажут, что я нарушил десятую заповедь, а твой муж может даже поднять бунт, ибо в Киеве масса тех, кто недоволен моим правлением и с радостью его поддержат... Пострадают многие. Дело надо разрешить по любому и желательно полюбовно...

— Я против физического насилия над мужем... — заявила о некоторых принципиальных моментах обсуждаемой проблемы Рогнеда. — Он ни в чем не виноват и этого греха я на душу брать не желаю... не могу и не хочу...

— Хорошо... Будем искать более мягкие способы решения этой ситуации... — согласился с ее требованием князь, понятия не имея как это «по-мягкому» можно было ее разрулить.

До самого утра любовники ломали себе головы над тем, как им с наименьшими потерями выпутаться из этой скверной ситуации, и в конце концов князь сделал для себя неожиданный и неутешительный вывод:

«И чего такого я в ней тогда нашел? Баба как баба! С рабыней-наложницей то же самое можно было бы сделать без особых морок! А вот боярская жинка уже совершенно иной калибр... Уже другой политический расклад! Уже как во времена моего

прадеда Владимира Ярилы не побалуешь». — Он с восхищением посмотрел на вековые стропила потолочных балок, под которыми его прадед здесь устраивал разгульные шумные языческие игрища.

Великий князь имел в виду, что еще каких-нибудь сто лет тому назад его великий прадед именно здесь, в Вышгороде, размещал свой небольшой (всего лишь на каких-то триста с небольшим мест!) гарем, традиции которого его правнуки пытались безуспешно восстановить... Не вышло — времена уже оказались не те.

* * *

После ухода таинственного посетителя великий князь срочно призвал к себе в светлицу своего воеводу — тысяцкого Путяту и вышеградского городского голову, вельможу Тудора.

— Князь занят важными государственными делами! — сообщил монаху подьячий, после того как Путята скрылся за дверьми его покоев. — Призвал для совета свою ближнюю думу...

И действительно в княжеском тереме все забурлило, задвигалось. Забегали слуги, побежали куда-то посыльные. Проснувшиеся в гриднице дружинники начали поспешно чистить оружие и приводить в порядок доспехи.

— Уж, не половцы ли вновь нарушили мир? — С тревогой спросил у подьячего монах.

— Кто его знает? — Пожал тот плечами. — Большая политика — удел великих людей, а наше дело маленькое...

В свои шестьдесят с небольшим великий князь все еще отличался богатырским здоровьем и по-прежнему привечал красивых бабенок. Святополк был высокого роста, сухопар, имел черные прямые волосы и бороду. Свое любимое занятие — чтение книг — он унаследовал от своего деда Ярослава Мудрого. Помимо этого «плюса» (тяги к знаниям), он имел также и значительные «минусы»: отличался скупостью, жестокостью, подозрительностью и сребролюбием... Именно за сумму всех этих его княжеских «достоинств» его и не любили киевляне, которые считали, что он их (киян) постоянно обижает и обирает.

— Бояре! — обратился князь к своим главным советчикам, тряс о спинку кресла своим больным хребтом. — У нас проблемы. Не буду вдаваться в детали, но с посадником киевским нужно что-то срочно делать...

«Куда на этот раз занесла нелегкая Даньслава?» — не на шутки озаботился Путята, вспоминая прежние свои с ним бытовые и политические стычки.

«Опять Ноздрюч чем-то не угодил ему!» — в сердцах подумал по себя Тудор.

— Мы должны предупредить его действия и обезопасить наши позиции, — поставил перед своими советчиками задачу князь. — Какие будут на этот счет предложения?

— Предлагаю проверенный дедовский метод: подослать к нему наемного убийцу или отравить на пиру... — с ходу выдал Путята, привыкший как воевода действовать открыто и прямолинейно — в лоб.

— Слишком топорно, и все подозрения сразу же падают на нас... — с ходу отверг силовое решение этого вопроса князь. — Здесь надо что-то более тонкое, более изящное, хитроумное, так чтобы и мы остались в стороне, и противник наш был бы весь в дерьме... Я не ставлю задачу физического устранения оппонента. Мне надо, чтобы он исчез на какое-то время из Киева... Вот и все...

— Может быть, тогда посадить его в застенки?

— Основания? Нужен стопудовый повод, который бы не возмутил киевскую чернь, которая будет явно стоять за него...

— Тогда давайте отправим его послом в Византию...

— ...Или повесим на него вину за спекуляцию с солью...
— ...Или уличим его в тайном сговоре с врагом...
— Мне бы хотелось иметь более детальные проработки всех этих проектов... — начал Святополк прикидывать в уме все «за» и «против» озвученных его собеседниками предложений. — К вечеру этот вопрос мы должны окончательно решить и запустить в дело. Поэтому ты, Путята, возьмешь на себя разработку его поездки в Византию, а ты, Тудор, — его аферу с солью... Половецкий след у нас тоже имеет шанс на успех. Даю вам два часа, чтобы детально разобрать свою ситуацию и доложить мне... Вы моя ближайшая Дума, Вам, господа бояре, и думать думу темную...

Информация уже и тогда играла немаловажную роль в политических хитро-сплетениях великокняжеского двора. Поэтому «думцы» послали в разные концы княжеских владений, и даже за пределы оных, гонцов, чтобы получить недостающие важные сведения о своем противнике и измыслить о нем, как выразилось их начальство, «думу темную» (значит, секретную, ведомую только им — узкому кругу лиц, составляющих великокняжеское правительство).

* * *

Путята суетливо выбежал из покоев князя и увидел сидящего на лавке Нестора.
— А, это ты! — узнав его, ответил на его смиренный поклон своим вниманием тысяцкий. — Князь зело занят. Жди... Вот с делами государственными немного разберемся и примем...

Чернец вновь покорно опустился на лавку и погрузился в свое молитвенное созерцание, которое унесло его в братский монастырь, в родные пещеры, где в это самое время братия служила заутреннюю литургию. Ждать, вооружившись молитвой, можно долго, практически бесконечно, ибо неинтересной беседы с Богом не бывает.

Воевода поспешно разослал во все концы княжества гонцов с важными и спешными поручениями и снова исчез за дубовыми дверями думной палаты великого князя. Для томившихся в его приемной посетителей время вновь потянулось в их томительном ожидании. Казалось, что ему не будет конца и края. Ожидавшие ощущали это не только мерой усталости своих нервов, но и скоростью онемения своей «пятой точки», которая с каждой минутой превращалась в материю, похожую на вещество самой скамьи, на которой они сидели.

В светлице же великого князя все бурлило и непрерывно двигалось. И вот, когда отведенное для разработки проекта время истекло, каждый из его участников представил на княжеский суд свой план и свою калькуляцию расходов на его осуществление. Самым затратным оказалось посольство в Византию.

— Сколько?! Сколько?! — подивился выведенной цифре великий князь. — Да ты что! Ошалел!

— Иначе никак! — начал защищать свой проект воевода. — Я связался с греческими купцами, которые зимуют здесь у нас в Киеве, и выяснил всю текущую в Царьграде обстановку... Прикинул, подсчитал, и вот что вышло в итоге... Тысяча гривен (меньше никак нельзя) на подарок царю! Еще тысяча (меньше можно, но не нужно) на подарки его нужным для нас вельможам. Триста на дорогу. Двести на прокорм. Минус — обратный путь (дорога в один конец). Итого: три тысячи гривен...

— Как три? Постой, постой... — князь прикинул в уме соответствующие математические действия. — Две пятьсот...

— Все так, но надо заложить еще отступные великому князю, то есть вам (триста гривен), сто — мне, и сто ему... — Путята кивнул в сторону Тудора.

— А он в деле? — осторожно поинтересовался у него Святополк.

— Он в курсе этой истории, значит в деле...

— Так... Ладно... — начал что-то высчитывать в уме князь. — А что у тебя, Тудор выходит?

— Так, у меня... — начал тот, доставая из кармана длинный свиток пергамента, весь испещренный какими-то хитроумными вычислениями. — Надо дать по гривне сплетникам, чтобы разнесли слух об имеющемся сговоре на цену соли с хазарскими купцами. Затем по двадцать гривен судьям, то есть ему, — он кивнул на Путьяну, — и мне, чтобы осудить виновных и десять гривен на то, чтобы спойть и поднять черный люд на разграбление жидовского квартала в Киеве... Соляная мафия изобличена, опорочена, осуждена и наказана... Все довольны... Итого: на все про все всего лишь триста гривен...

— Гм... У тебя самый экономичный проект... — похвалил его великий князь, заглядывая в свои вычисления. — У меня получается гораздо дороже... — Святополк отнял от предложенных триста необозначенную докладчиком сумму, вышли неплохие дивиденды. — Итак, — подвел он итоги их тайного совещания, — останавливаемся на том варианте, который будет нам по карману... — И он скомкал и выбросил свои собственные математические расчеты.

— Да, но в любом случае для всего этого нам потребуется немалая сумма, а казна у нас пуста... — покачал головой Тудор.

— Как пуста?! У нас же был золотой запас!

— Ты, государь, видать, запомятовал, что часть денег пришлось отдать в качестве дани половцам, а другую часть ты велел послать своей дочери Предславе в Венгрию.

Князь задумался и решил пойти проверенным путем.

— Зови жиды Иосифа... — велел он вышеградскому голове Тудору. — Пускай раскошелится...

— Но он опять потребует неподъемные проценты...

— Да хрен бы с ним! Лишь бы деньги нам сейчас дал...

Тудор отправился за ростовщиком и в приемной натолкнулся на Нестора.

«Как ты не вовремя, старик!» — успела промелькнуть у него мысль. — Старец Нестор! — обратился он с почтением к нему. — Князь знает, что ты его здесь ждешь, но неотложные государственные дела мешают ему прийти и заключить тебя в свои объятия... Жди. Он скоро уже должен освободиться...

Инок безропотно вновь присел на свою нагретую скамью и погрузился в благочестивые молитвы. Суета земная, даже если она суета кремлевская, была ему вся по боку, то есть мимо его души, ушей и глаз.

Посланные боярами гонцы с важным видом, без очереди, проходили мимо приемной на доклад к великому князю и с таким же значительным видом выбегали вновь, да так что сверкали их стертые пятки. Затем стольники подали князю завтрак — кашу, рыбу, квас. Затем в сенях появился староста жидовского квартала Киева хазарский еврей Иосиф, и его тоже стражи пропустили вне очереди и тихо затворили за ним двери.

* * *

Вслед за ним в приемную вошла великая княгиня Елена Тугоркановна, в прошлом половецкая княжна. Уже немолодая, но все еще остающаяся привлекательной степная красавица всем своим видом являла окружающим благочестие верховной власти. Из-под сизой шубы на ней виднелось красное платье, а голова была покрыта белым покрывалом. В одной руке она держала букет вербы, в другой — Псалтырь.

Инок встал и поклонился ей до земли. Та ответила ему тем же и прошла к великому князю.

— Я за тобой! — объявила она мужу. — Дети и домочадцы уже тебя ждут...

— Куда? — не понял ее намека Святополк.

— Как куда? Мы же собрались идти в церковь на службу.

— Совсем запамятовал с этими делами! — вспомнил князь. — Ты ступай, я, как освобожусь, сразу же приду...

Княгиня «окрестила» Иосифа своим презрительным взглядом и вышла вон.

— Похоже, что твоя жена, о, великий князь, меня недолюбливает! — измерив на себе испепеляющий взгляд княгини, признался Святополку ростовщик.

— Она считает, что Бог жадных не любит... — усмехнулся ему в ответ тот. — Вот потому она нас с тобой и недолюбливает...

— Какие мы с тобою жадные? — хитро подивился гость. — Мы не жадные... Мы — экономные...

Князь свысока взглянул на своего собеседника и в который раз убедился в правильности мысли о том, что, не разори сто лет назад его прадед Хазарию, она давно бы их самих пустила по ветру по миру...

— Иосиф! — обратился князь к своему гостю, стараясь быть предельно вежливым и деликатным. — Ты знаешь, как я к тебе и к твоим соплеменникам отношусь! Поэтому обращаюсь с просьбой одолжить мне три сотни гривен под выгодный процент...

Ростовщик покорно выслушал просьбы русских властей и услужливо улыбнулся:

— Какой процент?! Вы у меня постоянный клиент! Деньги будут завтра утром... — заискивающе поклонился он великому князю. — Сегодня у вас великий праздник... Пачкать свои руки презренным металлом в такой день не хорошо...

— А с каких это пор вы, иудеи, начали печься о христианском благочестии?! — усмехнулся ему на это Святополк.

— С тех самых, когда земли своей обетованной лишились и платим дань звонкой монетой земным царям, которые владеют своей... — отвечал вкрадчиво ростовщик.

— Что ж вы, скряги, тогда такой процент безбожный дерете?!

— Это своего рода компенсация за цыганский наш образ жизни... — хитро улыбнулся жидовин.

«Н-да... — подумал о ситуации великий князь, когда затворились за покинувшим его с поклоном ростовщиком двери. — Вот она политика... Взять деньги у человека, чтобы потом на эти же его деньги против него бунт учинить...»

Его ближайшие бояре, словно поняв его тягостные мысли, тоже выразили всяческое презрение политике, сделавшей из них двуличных людей.

«Мы ведем себя хуже уличных девок!» — подумал Тудор.

«Эх, напиться бы сейчас и какую-нибудь войнушку заварить!» — высказался (правда, тоже про себя) и воевода Путята.

— Что нам доносят с киевского подола? — поинтересовался у своих советчиков Святополк. — Как кияне меня почитают?

— Доносы на этот счет самые разные. Но в целом ничего хорошего! — предостерег князя Тудор. — Болтают, что князь наш, дескать, большой пакостник, обижающий как больших мужей, так и люд мелкий. Люди градские им давно уже недовольны и ропщут на него. Нам бы это роптание их поддержать, да им по нашим недругам и вдарить... А то эти баламуты собираются двory все наши разграбить и даже на монастырскую утварь поглядывают...

— Смутьяны выявлены?

— Что их там выявлять? Весь Киев в смуте пребывает... Того гляди рванет...

— Н-да... Неблагодарный ныне у нас народ пошел! — покачал головой Святополк. — Ну, так, где ж нам другой-то взять?! Пора нам, бояре, на службу идти... — Князь нехотя поднялся с места. — И так задержали дела государственные...

О доносах князь слышал каждый день. И каждый день в них было одно и то же. Он давно привык к негативной информации о себе, поэтому перестал воспринимать ее всерьез и своевременно реагировать на нее.

«Ну, и что? — рассуждал он сам с собой. — Столько лет меня все хают и ничего... Обойдется как-нибудь все и на этот раз... Мне не привыкать! А им — тем более...»

Выходя из светлицы, князь встретился глазами с Нестором.

— А, это ты! Ждешь! Подожди еще немного. Я на службу! Ты со мной, али как?

Монах улыбнулся и смиренно последовал за ним в стоящую поблизости домашнюю каменную церковь святых Бориса и Глеба.

Церковь была полна придворного народа. Соборный поп в зеленых одеяниях вел праздничную службу — двенадцатым праздником входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) завершалась шестая неделя великого поста и наступала Страстная и Великая седмица. За литургией читалось евангельское зачало о грядущем втором пришествии Христовом и Страшном суде. Был последний день, когда за трапезой разрешалось вкушать рыбу, елей и вино.

Но даже здесь в храме земные заботы не покидали великого князя. Он то и дело перебрасывался словами со своими ближайшими боярами и отправлял с какими-то неотложными поручениями своих посыльных слуг. Княгиня несколько раз сурово взирала на своего непутевого мужа, но тот лишь отмахивался от нее и ворчал, чтобы она не лезла в дела его большой политики. Ее черные степные очи готовы были испепелить все грехи, гнездящиеся в порочной душе ее супруга. Но тот их слишком глубоко прятал, чтобы сделать их жертвами ее сурового благочестия. Князь явно путал личную жизнь с государственными делами, точнее — просто не видел между ними никакой разницы. Поэтому жил политикой все двадцать четыре часа в сутки и ни на секунду не мог избавиться от этого тяжелого земного груза.

Его жена, княгиня Елена, так не считала. Она ратовала за благочестие, которого так не хватало ее венценосному супругу. Она была дочерью половецкого хана Тугоркана, от которого унаследовала кипучую степную кровь, которую сумела передать и своим детям — Брячиславу, Изяславу и Марии. С мужем у нее отношения были весьма натянутыми. Случилось так, что уже через два года после их свадьбы в мае 1096 года ее отец опрометчиво осадил Переяславль и был разбит своим же собственным зятем. В той битве вместе с ним пал и его сын. Потерять в один день отца и брата для княгини было весьма тяжело. Она непрестанно корила за это своего жестокого мужа. Единственным для нее утешением было то, что Святополк нашел на поле сражения труп своего тестя и похоронил его «на могиле» поблизости от Берестова. В русском фольклоре и летописях имя ее отца хана Тугоркана стало синонимом злейшего врага Руси. В былины он вошел под именем Тугарина или Тугарина Змеевича. Поэтому многие жители Киева сгоряча называли великую княгиню *змеюкой подколодной*, памятуя, чьей дочерью она была, есть и будет во веки вечные.

«Даже церковь не охолодит его патологическую тягу к политике... — подумал Нестор, отмаливая грехи мира сего. — Преступная суетность... В церкви душа должна с Богом разговаривать, а не плотские грехи умножать... Ведь стояние молящихся с ветвями вербы и зажженными свечами является нашим воспоминанием торжественного входа Царя Славы на вольные страдания. Мы как бы невидимо встречаем грядущего Господа и приветствуем Его, как победителя смерти... А он, смертный, — еще раз взглянул он украдкой на князя, — сам же себя суетой своих дел к бездне ада толкает...»

Князь был настолько возбужден обсуждаемой проблемой, что с трудом смог

дождаться окончания службы. По существовавшему уже в то время славянскому поверью, если съесть почку освященной вербы или ягоду можжевельника, то можно уберечь себя от болезней на целый год. Верили, что необходимо несколько раз ударить пучком вербы каждого члена своей семьи по голове, приговаривая: «Не я б'ю, вярба б'е, няхай здароўе живе». Поэтому в этот праздничный день все обменивались не традиционным рукопожатием, а похлестывали встречных веточками вербы и желали крепкого здоровья на весь год.

Святополк ели-еле дождался того момента, когда жена выполнит над ним этот дедовский обряд, после чего поспешил удалиться в окружении своих советников вершить свои государственные дела. Княгиня же после церкви отправилась с домочадцами на могилу своего родителя хана Тугоркана, чтобы оставить там веточку вербы с пожеланиями вечного ему покоя...

* * *

Уже ближе к полудню в великокняжеский терем пожаловал ладожский посадник Павел в дорогой собольей шубе.

— Доложи великому князю о моем прибытии... — потребовал он, грузно переступая через порог его приемной.

— Не велено беспокоить... — однозначно отвечал тот. — Вон, чернец из Печёр его с самого утра дожидается... Садись рядом и жди...

Посадник устало опустился на лавку рядом с Нестором и вытянул во всю длину свои уставшие ноги.

— Трех лошадей загнал, пока сюда добрался...

— По делу какому, али просто так к великому князю пожаловал? — поинтересовался у посадника подьячий.

— Конечно, по делу! Разве просто так из такой дали сюда притащиться.

— А что за дело?

— Да напасть у нас в Ладогe вышла с этими тучами... — вкратце изложил суть своего вопроса посадник. — Спасу никакого нет! Тучи великие в наш край в последнее время зачастили. Не ведаем, что с ними и делать... — Все находящиеся возле него люди притихли, внимательно ловя каждое слово рассказчика.

Посадник заметил это и, придав себе еще более важный вид, начал излагать свой рассказ, больше похожий на какую-то заморскую сказку:

— Нашла как-то раз на нашу землю туча великая, громы и молния принесла... А после нее отыскивают дети наши шарики стеклянные, и маленькие и крупные, проверченные, а другие подле Волхова собирают, которые выплескивает вода. Набрали их более ста, и все различные. В другой раз спустилась еще более черная туча, и из той тучи выпали без числа молоденькие белки, будто только что родившиеся. Думали, что дохлые, а они ожили и в леса наши поскакали... А в другой раз была другая туча, и из нее выпали олени маленькие, которые тоже *теперьга* живут и плодятся в наших лесах... Один из таких оленей упал давеча на голову моему свояку и насмерть его зашиб... — закончил свое печальное повествование ладожский посадник Павел. — Все ладожане у меня в свидетелях по этому смертоубийству проходят...

— А что ты к великому князю-то приехал?

— Да вот, хочу от него указ добиться, чтобы больше из тех туч олени на голову честным людям не падали... — простодушно отвечал Павел. — А то и вовсе без мужей именитых земля наша останется...

— А что святые отцы думают по этому случаю? — поинтересовался у инокa подьячий.

— Знамения сии бывают неспроста.

— А ты в своей ученой книжке об них что пишешь? Вот десятого дня на небе само Солнце во мрак погружалось и что? Что сие значит?

— Небесные знамения это повод нам, смертным, задуматься о наших земных делах... Я о них написал, как они есть... — Чернец раскрыл свою рукопись на последней странице и вслух почел. — «В год 6621 (1113). Явилось знаменье на солнце в 1 час дня. Было видно всем людям: осталось от солнца мало, вроде как месяц вниз рогами, марта в 19 день, а луны — в 29. Это бывают знаменья не к добру; бывают знаменья с солнцем или с луною, или со звездами не по всей земле, но если в какой стране будет знаменье, та его и видит, а другая не видит». Это последняя запись в моей книге... На этих двух небесных знамениях я и решил поставить много-точие...

— Что? Больше не будешь писать?

— Найдутся те, кто продолжат... А я все... Отписал свое... Пора и на покой к Богу собираться...

* * *

Выслушивая доклады своих бояр о проделанной ими работе, Святополк неожиданно посетила одна каверзная мысль:

— Чего суетимся? Было бы проще и намного дешевле саму боярину Рогнеду как блудницу удавить! А я сучусь! Хлопочу за нее... Видать, действительно приворожила она меня, стерва! Взяла за живое...

— Великий государь! — обратился к нему с поклоном управляющий его именем Данила. — Ты ж еще с вечера намеревался в баньку сходить, свою спину веничком подлечить...

— Ах, да! Я и совсем позамятовал! — вспомнил Святополк. — И то верно! Хребет, зараза, ноет! Мочи уже никакой нет! Что ж, пошли, сходим в баньку... Квасу и мяты веди подать...

В сенях князь увидел все еще смиренно сидящего на лавке инок Печерского монастыря и поспешно поворотил назад, поскольку в приемную вновь вошла великая княгиня Елена, вернувшаяся с могилы своего родителя.

— Принесла же ее нелегкая! — в сердцах буркнул Святополк, косо поглядывая на свою княгиню.

— Мне мои половцы донесли, — сообщила она ему с легким степным акцентом, — что под Киевом появились печенегы — «черные клобуки», которых нанял князь Мономах для своей личной охраны... Эти берендеи неспроста здесь шастают и что-то вынюхивают. Твои враги что-то против тебя явно замышляют...

— Ой, я тя прошу! — поморщился Святополк, а про себя добавил. «Еще мне не хватало эти бабские байки выслушивать от жены! Одна сорока принесла на хвосте сплетню, другая разнесла ее по свету...»

— Зря не веришь! Мои степняки тебя еще ни разу не обманывали... Откажись от своей дури политической! — продолжала настаивать на своем жена. — Она тебя до добра не доведет. Народ в Киеве уже волнуется против твоих ростовщиков в жиновском квартале. Не доводи дело до греха, до кровопролития...

— О чем ты? — попытался улыбнуться ей в ответ Святополк. — Я вовсе не собираюсь проливать ничью кровь...

— Подумай о детях! — взмолилась женщина, чуть было не кидаясь перед ним на колени. — Они ведь еще совсем малы... Или тебе крови моего отца мало? — с укоризной бросила она ему в лицо. — Если ты не желаешь никому зла, — продолжала наступать на мужа княгиня Елена, — то тогда зачем тебе все эти спекуляции с солью?

— Женщина! В делах политики и торговли баба должна находиться позади оглобли! — потерял терпение князь. — И вообще, я в баню собрался! Ты со мной? Нет! Ну, я тогда пошел один...

Выходя из светлицы, князь, в который уже раз, встретился глазами с Нестором.

— Ты все еще здесь! Сейчас вернусь...

И он вальяжно и чинно прошествовал мимо него туда, куда и сегодня обычно посылают тех, кто всем безмерно надоел...

* * *

— Не твой нынче день, святой отец! — печально вздохнула великая княгиня, покидая покои своего венценосного мужа. — Сегодня вообще не наш день. Все валится из рук... Не удивлюсь, если увижу сегодня бесхозно валяющуюся на полу царскую корону...

— Твои бы слова, да Богу в уши... — поклонился ей вослед инок.

Нестор вспомнил свой случайный разговор с великой княгиней, которая как-то раз, поинтересовавшись, как идет работа над его летописью, высказала откровенно свое о ней мнение:

— Политика недостойна того, чтобы быть отдана на суд будущим векам... Ее необходимо судить здесь и сегодня. А вы, летописцы, должны писать историю любви, а не историю греха... Твоя же летопись — это хроника земных грехов...

«Она права... — подумалось Нестору. — Тысячу раз права... Любовь — это самое главное чудо нашего дольного мира. Чем были бы мы без нее? Да, ничем! Мы все из нее вышли, живем в ней и с ней уйдем...»

Нестор вдруг понял, что в его труде нет практически ничего, что свидетельствовало бы о любви. И хотя он с любовью писал историю Руси, но при этом ему почему-то всегда не хватало времени и места, чтобы описать любовь самой Руси.

— О том, что собой представляет тот или иной народ, мы можем судить по тому, как он любит — Бога, Родину, Мать, жену... Великая княгиня беззаветно любит своего мужа... Любит так, что готова простить ему любой проступок, любое грубое слово... И эта любовь, быть может, является единственным оправданием всей их жизни...

* * *

Нестор послушно сидел уже целый день, и про него все благополучно забыли. Его даже не покормили и не напоили. И вот когда уже наступил вечер, старец поднялся с места и скромно подошел к подъячему:

— Мне бы по малой нужде выйти... — тихо попросился он у него на двор.

— Отхожее место для челяди за баней находится... — кивнул ему куда-то неопределенно головой тот.

Нестор вышел, бережно прижимая к груди свое бессмертное творение, с которым не мог расстаться ни на минуту, поэтому так с ним все время и таскался. Указанное заведение находилось на отшибе, возле дровяного сарая. Я полагаю, что за прошедшую тысячу лет это специализированное сооружение претерпело самые минимальные конструктивные изменения и по-прежнему украшает собой многие российские огороды и подворья. Но нас в меньшей степени интересует то, что там делал Нестор. Гораздо любопытнее оказалось то, что он там вскоре услышал. С внешней стороны этого строения подошли двое неизвестных. То, что их было двое, Нестор понял по скрипящему под их сапогами снегу. Но они подошли к этому строению не за тем, что и инок, а чтобы пройти затем в сарай с дровами.

— Все наши уже собрались? — спросил некто у своего собеседника.

— Ждем только Прокопия из Белгорода, а остальные все в сборе, — отвечал ему второй, — Вас дожидаются...

Нестор прильнул к щели между досок и увидел две высокие фигуры в длинных бобровых шубах и медвежьих шапках. В одном из них он узнал переяславского тысяцкого Станислава, другой был ему незнаком, видать прибыл откуда-то со стороны.

«Что это бояре Мономаха делают тут под самим носом у великого князя? — задал сам себе вопрос летописец. — И зачем они хоронятся в дровянике, а не в княжеском тереме? Заговор! — мелькнула у него обескураживающая догадка. — Бояре замышляют против великого князя заговор!»

Ноги сами понесли его к дровяному амбару, в стене которого тоже было немало щелей, для того, чтобы специально подслушивать о подобных политических катаклизмах. Себе на беду заговорщики выставили охранение уже после того, как Нестор зашел в свою деревянную будку. Поэтому он оказался незамеченным внутри оцепленного ими пространства.

В вышеупомянутом сеннике Нестор увидел ряд знакомых ему лиц из высших политических кругов тогдашней Руси. В центре был киевский посадник Даньслава Ноздрюч, которого окружали его сотники, недовольные политикой великого князя. На помощь киевскому посаднику прибыли посадники Переяславля и Белгорода Ратибор и Прокопий. Первый привел с собой своего тысяцкого Станислава и два десятка «черных клобуков». Последние как раз и составили охрану этого тайного совещания заговорщиков.

— Все, решено! Зовем на великокняжеский престол Владимира Мономаха. — сделал первое важное политическое заявление Ноздрюч. — Хватит терпеть произвол Святополка. Его сегодня же аккуратно изолируем в Вышгороде и предъявляем ему ультиматум: или он отказывается от власти, или мы его сажаем под замок в темницу.

Заговорщики дружно закивали головами, одобряя это его предложение.

— С нами княжеские мужи Нажир и Мирослав, а также боярин двоюродного брата Мономаха, Новгород-северского князя Олега Святославича... — представил всем участников их тайного сборища посадник Киева. — Часть дружинников уже на нашей стороне. Боярство киевское тоже против Святополка настроено... Даже сам митрополит Нифонт от него отвернулся. А это значит, — боярин трижды перекрестился, — Бог на нашей стороне! Как стемнеет, пойдем и возьмем Святополка в его же собственной светлице... Всех его ростовщиков в прорубь, двory его бояр отдадим на разграбление черни! Пусть горят они ясным пламенем в напоминание всем жадным и лживым...

— Повесим жида Иосифа на Жидовских воротах Киева! — прозвучал впервые в истории Руси призыв к еврейскому погрому.

— Не допустим Святославичей до великого княжения! — призывали другие. — Отдадим власть Мономаху! Давыд и Олег Святославичи с тмутараканскими жидами заодно!

— Завтра же в Софийском соборе призовем Владимира нами княжить... — выражали общее настроение третьи.

«Вот оно что! — вслух подумал Нестор, впервые воочию увидев то, о чем он так много писал в своем труде: о княжеских и боярских заговорах и предательствах. — Да... Такого в „Повести“ не напишешь... Власти не разрешат... А Богу они и без моего летописания ведомы».

Если бы заговорщики тогда знали, что именно в это самое время великий князь парится у них под боком в бане, то они, возможно бы, и не стали тянуть время и сразу

же взяли его чистеньким в мыльне. Но этого они не ведали, поэтому продолжали обсуждать детали своего заговора, дожидаясь наступления сумерек. Им хорошо было известно, что подобные дела при дневном свете никогда не делаются.

Услышанное повергло инока в самый настоящий шок. Ему как невольному свидетелю готовящегося преступления стало все ясно, и он решил вернуться в терем. Продолжая прижимать к себе свой драгоценный груз — труд всей его жизни, — Нестор завернул за угол и нос к носу столкнулся с печенежской охраной. Те, увидев перед собой инока, решили, что он свой, поскольку шел со стороны охраняемого ими дровяника и, второпях снимая свои черные бараньи шапки, попросили у него благословения. Не догадываясь о том, что это дозор заговорщиков, Нестор благословил их и спокойно взобрался на крыльцо великокняжеского терема. Так, к удивлению мирно, завершилась эта история, которая при ином стечении обстоятельств, могла бы закончиться и не столь удачно для печерского чернеца.

«Новообращенные всегда более рьяны в своей вере, чем урожденные... — подумалось иноку после его встречи с печенегами. — Печенегов мы победили не мечом, а словом... Так надобно и половцев в вере нашей утвердить, тогда и саблями махать за наше общее дело они будут...»

Перед летописцем остро встал моральный вопрос: предупреждать о грозящей опасности великого князя или промолчать? Чью сторону выбрать? И он решил до конца держаться стороны временных лет, то есть быть наблюдателем исторических событий, а не их участником.

«В конце концов, — убеждал он самого себя, — я не участник политических действий, а всего лишь их наблюдатель... Мои знакомые находятся как с этой, так и с той стороны. Отдав кому-либо из них предпочтение, я нарушу принцип нейтралитета... У каждого из них своя правда, но Истина одна. Поразмыслию еще над этим... Если жизни великого князя ничего не будет угрожать, промолчу. Если таковая опасность нависнет — расскажу... Никогда против совести не шел... И сейчас, когда осталось дней моих земных щепоть, тем более портить ее не буду...»

* * *

Парясь в бане со своими ближайшими боярами, великий князь Святополк продолжал обсуждать с ними сложившуюся политическую ситуацию, планируя провести в ближайшее время несколько убедительных акций по обезвреживанию своих потенциально опасных противников. Ему и в голову не могло прийти, что буквально в несколько шагах от него из того самого дровяного амбара, откуда его истопник брал для бани поленья, его заклятые недруги уже пришли за ним самим. Действительно: человек всего лишь предполагает, и порой весьма неудачно...

— Как лучше арестовать посадника? — обсуждал вслух проблему Святополк. — В его тереме, или в бане? В тереме полно челяди, будет много шума, а в бане... — князь посмотрел на свое намыленное плечо и усмехнулся: — В бане скользко, он будет весь в мыле, еще чего гляди, ненароком выскользнет...

Путята и Тудор дружно рассмеялись.

— Да, в бане его будет несподручно брать. Пусть уж лучше ополоснется... Возьмем чистенького, аки младенца... — пообещал воевода, размахивая березовым веничком.

Для пущей убедительности думцы решили приписать посаднику еще пару преступлений, дабы, оправдавшись в одном, он не смог бы оправдаться в другом. Такие приемы большой политики в ходу и сейчас. И в наши дни многие политики, когда хотят протиснуться к власти нечестным путем, вешают друг на друга столько злых «собак» и столько дохлых «кошек», что политика превращается в самый настоящий паноптикум или в террариум «верных друзей».

— Жаль, что лед все еще на Днепре стоит! — посетовал Тудор. — А то можно было бы сразу в ладью посадить, да в Византию отправить...

— Да... А возле порогов устроить ему кораблекрушение... — продолжил его мысль Путята. — Подослать печенегов и велеть им из его головы изготовить чашу для пиров...

— Не надежно все это! — поморщился великий князь. — Надо бы действовать наверняка...

— Тогда, может быть, ему все-таки припать более серьезную политическую статью? — предложил еще один вариант Путята.

— Какую?

— Измену! В прошлом лете он вел переговоры с половецким ханом Буняком...

— Да, но вел он их от моего имени и по моему поручению... — возразил ему на это Святополк.

— Все так, но мы не знаем, о чем именно они там договорились... — продолжал отстаивать свое предложение боярин. — Может быть, он одно слово говорил от твоего имени и за тебя, а два других — от своего имени и для себя?! Ты свечу при этом их разговоре держал? Нет! Так что теперь мы можем напести вокруг этой истории столько небылиц, что всякая правда окажется кривдой...

— Все это так... Дело нужно как следует обмозговать. Может, и из него что-нибудь путевое выйдет...

— А еще можно его в колдовстве обвинить! Бабы рассказывали, что его жинка часто к ведуньям бегают... — рассказал Тудор, не замечая, как у его князя от этих слов все лицо передернулось от непроизвольного тика. — Припишем Даньславу связи с языческими волхвами, в жизнь от них не отмоется...

— С волхвами нам лучше не связываться... — попытался остудить его интерес к этой теме князь, ища как бы перевести его внимание на что-то другое. — А что там старец Нестор говорил по поводу солнечных и лунных затмений? — вдруг вспомнил Святополк полученный от подьячего донос на чернеца.

— Говорил, что в той стране, на небе которой произойдет в один месяц солнечное и лунное затмение, надо ждать беды для верховной власти...

— Солнечное затмение было десять дней назад, — почесал себе бороду князь, — а вот про лунное... я что-то и не припомню...

— Он говорит, что оно будто бы будет сегодня вечером...

«Н-да... — с ухмылкой подумал Святополк. — Поживем, увидим...»

* * *

Через два с лишним часа великий князь разморенным вышел из бани и, откушав квасу, двинулся к себе в светлицу. Уже смеркалось. В приемной по-прежнему смиренно сидел и дожидался своего часа Нестор. На его измученном постом лице были видны все терзавшие его тогда тревожные мысли. Его дух просто не находил себе места, хотя внешне его тело пребывало в безмятежном спокойствии.

«Вот упрямый старик! — мелькнула у великого князя мыслишка. — Измором решил меня взять... Ладно... Побеседую с ним накоротке, по душам... Проблему с женой посадника я, кажется, урегулировал, можно теперь и с ним немного пообщаться...» — Как здоровье, отче? — обратился он к нему, подсаживаясь рядом с ним на лавку. — Что слышно нового в ваших святых пещерах?

Находившиеся в той же комнате люди почтено расступились, образовав вокруг них полукруг.

— Книгу обещанную принес. На днях завершил многолетний труд... — отвечал ему постник, протягивая свою тяжелую рукопись на пергаменте. — Всей обителью

старались: кто пергамент делал, кто чернила, а кто обложку точил. Извини, княже, что без картинок, некому рисовать, да и времени совсем мало осталось...

— Да, без картинок, это плохо... Оставь... — вытирая полотенцем выступившую у него на лбу испарину, велел князь. — Будет время, как-нибудь взгляну... Не досуг ноне, извини...

— Суетная у тебя жизнь, княже, — сказал, что думал, инок. — День у тебя в приемной просидел, словно в древнем Вавилоне побывал... Суете ты поклоняешься и суетой живешь! Оттого ты из-за этой суеты правды не видишь и с кривдой дружбу водишь...

— Э.., старик! А как же без кривды на троне высоком выжить? Не об этом ли ты в своей книжонке пишешь?! — с укоризной бросил чернецу великий князь. — Да, сучусь! Да, возни вокруг меня полно... Всем чего-то от меня надо... Ты думаешь, у меня дум в голове мало. Вот на днях получил грамоту от дочери нашей Предславы, королевы Хорватии. Пишет, что с мужем ее проблемы вышли: пьет окаянный, а дела политические забросил. Все ей приходится одной решать... Совета просит... А как ей тут присоветуешь, коли у самих дел невпроворот... О таком в твоей книге вряд ли написано...

— Книга не для тебя писана, а для Господа... Тебе — читать, Ему — судить!

— А что ты там пишешь про меня? — поинтересовался князь, косясь на принесенную ему рукопись. — Сколько пасквилей вы там обо мне понапридумывали?

— Не «придумали», а «припомнили»... — аккуратно поправил князя инок. — Это вы грехи свои прежние забыть пытаетесь, потому что они вам мешают новые совершать... А наш долг — прошлое помнить. Помнить и напоминать, дабы другие не повторяли ошибок минувшей старины.

— С мертвыми не поспоришь! А ты попробуй с живыми прийти к тому, где правда, а где кривда в наших делах и умах засела?

— Да, ты прав... О живых всегда писать труднее, чем о мертвых... Поэтому повесть и называется «Временных лет». Смерть переводит нас всех в прошедшее время. Мы с тобою, княже, как раз и стоим на грани такого временного перехода...

— Мне всегда было интересно узнать, что напишешь ты про меня, когда я умру?

— С чего ты взял, что об этом буду писать я? Я тебе не судья...

— ...Но и не помощник...

— О какой помощи ты говоришь? Разве ты в ней нуждаешься?

— Я нуждаюсь в том, чтобы сюда, — князь постучал указательным пальцем по переплету книги, — не попало ничего лишнего. Моим сыновьям править после меня на Руси, и я бы хотел, чтобы у них не было проблем с моим именем... Чтобы им не было стыдно за меня, а мертвые сраму не имут...

«Святым он все равно никогда не станет, — глядя на князя, размышлял Нестор. — Ничто так не ускоряет дорогу в ад, как объявленная на земле еще при жизни мнимая святость...» — А вслух произнес:

— Проблемы вы сами, князь, себе и всем нам создаете... Вместо того, чтобы мир ладить, войны распяете и смуты плетете... Оттого неустрой и беспорядок на Руси выходит великий. Оттого и голова у вас, мужей именитых болит, что дурна и порядка царского в себе не имеет...

— Вот ты уже и судить о нас начал! А говорил, что не судья! Да что ты можешь видеть, сидя в своих пещерах? Я с вершины своего престола и то многих вещей не вижу, а ты из своего склепа пытаешься рассуждать о делах великих и давно минувших... О подлинной сущности верховной власти можно судить только с вершин самой власти. Вам, червям, копошащимся возле ножек престола, знать этого не дано... — В словах князя сквозила явная нотка высокомерия. — И вообще, многое из того, что ты там написал, измыслил старец Ян.

— Старец Ян был добрым человеком, — поспешил вступиться за своего почившего брата-схимника Нестор, — всю жизнь борющийся со злом и ложью. Он — «альфа», я ж — «омега» этого труда... Я, недостойный, всего лишь выполнил его заветы...

— Я тоже выполняю заветы своих предков... — поспешил заявить в свое оправдание Святополк. — И они знали, что нельзя возлюбить всех своих ближних, ибо ближними у них были все их подданные... Вот о чем мне говорит мое прошлое... мои дорогие предки... Этого ни в одной книге не написано... Да и как об этом напишешь, когда самая главная книга запрещает это делать?

«Эта книга — о бездне прошлого... — думал про себя летописец, слушая разумные политические речи своего князя. — Прошлое — это черная дыра времени, в которую мы все безвозвратно уходим, когда приходит свой срок. И каждый час нашей жизни есть шаг в эту неизбежность».

— Ты знаешь, что произойдет в скором времени у нас в Киеве и почему я нахожусь здесь, в Вусегарде? — откровенно и вместе с тем загадочно спросил князь своего собеседника. — Не знаешь... А мне вот не надо быть летописцем или прорицателем, чтобы это знать! А произойдет вот что... Голодный и доведенный до отчаяния киевский люд подыметесь, возьмется за топоры да вилы и устроит погром в «жидовском» квартале Киева, истребив всех ростовщиков и спекулянтов солью... Крови будет немерено, потому что злоба лютая в народе нашем созрела...

— Так что же ты ничего не делаешь? — содрогнулось переживанием сердце чернеца.

— А зачем?! — цинично взглянул на него Святополк. — Я же этим жидам тоже много, ох как много, задолжал... После любой грозы воздух всегда бывает свежее и здоровее, чем до нее... И над Киевом пронесется такая очищающая его от хазарского ига гроза...

«Не того мы в „Повести“ называли Святополком Окаянным! — подумал про себя Нестор. — Ой, не того...»

— Ты пойми, старик, большая политика правды не любит...

Инок нескромно заглянул в глаза своего собеседника и ему подумалось: «Шило правды в мешке сплетни не утаить...»

— ...Большая политика, — закончил свою мысль великий князь, — любит красивую ложь...

— Нас рассудит время... — решил все-таки ему на этот раз перечить инок. — Правда времени не боится, ложь от времени — бежит...

— Эх, голубиная душа! — услышав его слова, посетовал ладожский посадник.

— Скажи мне, философ, зачем мы вообще живем?

— Чтобы испытать свой дух на прочность... В каждом человеке должна быть своя вертикаль, по которой его обыденное и примитивное «Я» восходит к совершенству... У многих это восхождение заканчивается весьма печально...

— На меня намекаешь, отче? — обреченно покачал головой князь.

— На тебя, родимый, на тебя... — откровенно признался ему тот. — А может, — неожиданно предложил ему Нестор, — тебе, великий княже, уйти на покой... Хватит, намаялся в суете земной жизни! Последуй примеру своего зятя Понкратия/Николая. В отличие от вас всех, он с миром живет в обители...

— Ну да... — ухмыльнулся Святополк. — Как он три года пробыть в поварне, три года быть монастырским привратником, прислуживать братии при трапезе, чтобы в итоге заслужить отдельную келью и стать вечным постником... Выносить ночные горшки не по мне... Нет, старик, нам с тобою не по пути... Возвращайся в свои пещеры и Бог с тобой... — Князь поднялся и направился к дверям в своей светлицы.

— Маешься ты, князь, шибко маешься. Давеча видел, как ты молишься в церк-

ви — словно в наказание она тебе дана! — Святополк смущенно поморщил нос. — Человек должен телом стремиться к иконе, а духом — в икону. А ты духом в каком-то блюде застрял, и выбираться из него не хочешь...

Князь на секунду даже покраснел. «Неужто стыдом прошибло?» — успел подумать про себя Нестор.

Но пробить панцирную защиту княжеской совести ему так тогда и не удалось. Святополк остался при своем. Нестор молча перекрестил уходящего в суету князя и вновь прижал к себе свою книгу, на тот момент все еще пока в единственном экземпляре (случись что с этой рукописью тогда, и история Руси была бы ныне совсем иной). В церкви в это время как раз начали читать Священное Писание, свидетельствующее о наступлении Страстной, или Великой, седмицы.

* * *

Не успел великий князь скрыться за широкой дверью своей светлицы, как в его приемную ворвалась буйная толпа бояр во главе с киевским посадником.

— Нам к князю по неотложному делу! — объявил посадник дежурившим в приемной ратникам и самочинно прошел со всей своею свитой в княжеские покои.

«Началось... — подумалось Нестору, и тут же другая его мысль поправила предыдущую. — А может быть, для кого-то и завершилось...»

И действительно, тогда на его глазах завершилось двадцатилетнее правление великого князя Святополка Изяславича, и началось десятилетнее правление великого князя Владимира Мономаха. Но в тот момент мало кто из присутствующих об этом еще догадывался. Еще меньше было тех, кто это понимал в полной мере.

За дверьми послышались громкие голоса спорщиков, забегали слуги, всполошились домохозяева. Ратники заспорили, на чьей им быть стороне, и склонились на сторону посадника, потому что великий князь задолжал им за службу за последние полгода и якобы вообще не собирался за нее ничего им платить.

Когда Нестор наконец решился заглянуть в светлицу, то увидел сидящего за дубовым столом князя Святополка в окружении его политических противников. Тысяцкий Путята был связан, а вышеградский городской голова Тудор, похоже, перешел на сторону победителей и участвовал в составлении послания, которое заговорщики намеревались отправить в Переяславль к Владимиру Мономаху.

— Все равно у вас ничего из этой затеи не выйдет, — пытался их вразумить Святополк. — Мои сторонники вас всех сейчас, как кутят слепых, передавят...

— Это уже не твоя забота, князь! — лишил его права слова посадник Даньслав Ноздрюч. — Теперь мы решает, что да как...

Сочиненное ими послание начиналось словами: **«Пойди, князь, на стол отчий и дедов»**, а завершалось грозным предупреждением: **«Если же не пойдешь, то знай, что много зла произойдет, это не только Путятин двор или сотских, но и евреев пограбят, а еще нападут на невестку твою, и на бояр, и на монастыри, и будешь ты ответ держать, князь, если разграбят и монастыри»**.

От услышанной новости Святополк приуныл и уже не столь оптимистично смотрел в свое будущее. Окончательно добил его ультиматум, который предъявили ему заговорщики:

— У тебя, князь, два варианта: или ты добровольно уходишь, и мы тебе помогаем постричься в монахи, или второе: сядишься в темницу на хлеб и воду и ждешь суда нового великого князя, надеясь на его милость, на которую, сам понимаешь, у тебя будет мало надежд...

Уйти в монахи было самым лучшим решением всей этой ситуации. Но идти в монастырь после резкого разговора с Нестором и каждый день смотреть в его

честные глаза Святополку было во сто раз хуже, чем взойти на плаху. И он молчал, растерянно хлопая глазами. Для него это падение с вершин политического Олимпа было полной неожиданностью.

— Хорошо... — понял его молчание как отказ от монашества Ноздрюч. — Будешь ждать суда нового великого князя... — Он трижды хлопнул в ладоши, и стоявшие в дверях печенеги набросили князю на голову какой-то ковер и, как попавшуюся в сети дичь, поволокли вон из светлицы.

По пути бояре начали предъявлять свергнутому властелину обвинения одно хлеще другого: корыстолюбие, жадность, ростовщичество, клевета, тайные убийства и т. д., и т. п. Кто-то даже с досады и себе в удовольствие пнул ковер сапогом, попав в какую-то мягкую княжескую конечность. «Ковер» от боли и обиды взвыл.

— В бане его пока заприте, а там решим, в какой острог его определить! — приказал печенегам посадник.

— Уже порешили! — увидев, что кого-то выносят в завернутом ковре, решил ладожский посадник и в страхе трижды перекрестился.

В этот час, когда на небе проходило лунное затмение, власть в Киевском княжестве на время перешла боярской аристократии, которая по-своему решила судьбу своей власти, на время изъяв ее из одних княжеских рук для того, чтобы затем передать в другие, более надежные руки. Да это, в сущности, был самый настоящий военный переворот. Но на удивление бескровный (если не считать разбитого носа тысяцкого Путяты) и с далеко идущими политическими последствиями. Не соверши они тогда это политическое злодейство, и у великокняжеской династии Рюриковичей могло быть совершенно другое лицо: другие персонажи находились бы тогда на престоле, и история могла бы пойти по совершенно иному сценарию.

У каждого из участников этого переворота был свой личный мотив в нем участвовать. Каждый имел свою личную обиду на великого князя Святополка. Но все это были все-таки частные случаи, сводившиеся к киевскому посаднику. Даньслав фактически вслепую использовал своих единомышленников по заговору, считав, что им не обязательно знать пикантные подробности его семейных проблем. А те, должно быть, не в малой степени удивились бы, узнав, что причиной этого государственного переворота стала измена его жены с великим князем. И все высокие политические интересы, и тонкие стратегические расчеты оказались ничем в сравнении с задетым боярским самолюбием.

— Отпразднуем Пасху и через неделю начнем в Киеве народное восстание, — объявил своим соучастникам по заговору посадник. — Пусть князя видят гнев народа и то, как мы можем жертвовать кое-кем из своих, — он презрительно бросил взгляд на связанного Путяту, — во имя наших общих целей...

«Вот он уже и во временных летах... — подумал Нестор о Святополке, поглядывая на свою книгу. — Был в настоящем, и вот уже в прошлом... Время и впрямь быстротечно... — Он выглянул в оконце и увидел выплывшую из-за облаков Луну. — Тьма сошла с лунного лика... И на земле свершилось то, что предвещали небеса... Значит, так тому и быть!» — перекрестился инок.

Зло пожрало тогда самое себя, но добра от этого в мире не прибавилось.

Эпилог

Князь Святополк просидел в остроге на хлебе и воде две недели. Ему разрешили при себе иметь только Библию. Воспользовавшись неграмотностью приставленных к нему печенежских стражей, Нестор принес ему свою рукопись под названием «Повесть временных лет». Именно там, в застенках, князь и познакомился с историей своего Отечества, коим столько времени пытался управлять спустя рукава.

«Эх, прав был Нестор! — сетовал князь, перевернув последний лист его творения. — Страна у нас богата, да вот только порядка в ней нет... Именно поэтому сюда и будет постоянно лезть всякая нечисть, советовать нам же, как нами править... Такую страну, как наша, можно еще хоть тысячу лет безбоязненно грабить... — В глазах его блеснул алчный свет сребролюбца. — Занятное, однако, чтиво! — тут же похвалил он книгу. — Читается на одном дыхании, словно как заморский рыцарский роман... Может кусок хлеба заменить, и глотком свежей воды стать...»

Великому князю припомнились слова его отца, который когда-то, еще в далекой теперь уже юности, пророчески сказал ему: «Сынок! Живи всегда своим умом. Слушай людей умных и добрых и не верь умным и злым».

«Какие все же подлецы отечеством нашим управляли! — покачал головой бывший великий князь. — И чего только ты не сделаешь ради власти... И чего только власть не сделает с тобой...»

На пятый день злые люди и вовсе перестали кормить и поить своего несчастного узника, а на четырнадцатые сутки его голодовки всем объявили, что великий князь скончался от старческой болезни. Как и планировалось, в Киеве прошли погромы хазарских ростовщиков, а заодно были разграблены дворы тех бояр, которые спекулировали солью. Зерна народного гнева упали и взошли на подготовленной самим же Святополком благодатной почве всеобщих к нему гнева и ненависти. Власть получила по заслугам, а саму власть получили те, кто больше всего ее тогда хотел...

— Какое облегчение миру пережить очередного сильного мира сего... — перекрестились тогда во многих монастырях Руси Святой.

* * *

P. S. Когда после погребения великого князя в церкви святого Михаила его вдова, выполняя последнюю волю усопшего, вернула эту рукопись автору, Нестор увидел, что на многих ее страницах черными чернилами были вымараны целые предложения и даже абзацы.

«Не устоял... — догадался о цензуре иннок. — Поддался искушению... Не смог принять правду, какой она есть... Задумал Богу в глаза втереться...»

Летописец взял в руки свое убогонькое перо и, обмакнув его кончик в коричневые чернила, сделал последнюю на тот день летописную запись:

«После этого знаменья приспел праздник Пасхи, и праздновали его; а после праздника разболелся князь. А скончался благоверный князь Михаил, которого звали Святополком, месяца апреля в 16 день за Вышгородом, привезли его в ладье в Киев, и привели в надлежащий вид тело его, и возложили на сани. И плакали по нему бояре и дружина его вся; отпев над ним полагающиеся песни, похоронили в церкви святого Михаила, которую он сам построил. Княгиня же (жена) его щедро разделила богатство его по монастырям, и попам, и убогим, так что дивились люди, ибо такой щедрой милостыни никто не может сотворить»...

«Вот она любовь земная... — подумалось Нестору. — Любовь — это когда впервые в жизни и на всю жизнь... Любовь — это вечность сегодняшнего дня... „Все пройдет, — вспомнил он слова апостола Павла, — но только любовь останется...“»

Геннадий МОРОЗОВ

СИРЕНЬ

Когда ветвей ночные тени
Отликовали, улеглись —
О белой вспомнил я сирени...
Сирень, пахучая, приснись.
Как я хочу, чтоб ночью этой
Ты мне увиделась во сне,
Как сноп таинственного света,
Что так горел в моем окне!
Свет полуночный, серебристый,
Как я любил его лучи,
Что источал тот куст росистый,
Мерцающий в сырой ночи.
Как это близко! Как далеко!
Да разве скажешь: «Все в былом!»
Вон пруд горит лиловым оком,
Идет весна на перелом.
И отблеск молнии ветвится,
Искрится воздух грозовой.
И куст сиреневый клубится
Над молодеющей водой.

НОЧНЫЕ ТЕНИ

Я вышел на улицу... Воздух
Ударил порывом сырым.
То было в Касимове... Звезды,
Мерцающая, роились над ним.
У жердочной шаткой ограды
Той зябкой апрельской порой
Тянуло то влагой из сада,
То горькой вишневой корой.
А там, со своей верхотуры,
В сарайной глухой темноте
Клохтала и токала куры
О том, как тепло в тесноте.
И все эти запахи, звуки
Таились, но... лишь до поры.

Геннадий Сергеевич Морозов родился в 1941 году в г. Касимове Рязанской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал в геологических экспедициях в Карелии и Якутии. Поэт, переводчик, детский писатель. Автор нескольких поэтических книг. Член СП. Живет в г. Касимове.

Я помню, как дрогнули руки,
Коснувшись древесной коры,
Шершавой, прожилистой, клейкой,
Припахивающей медком...
Чернела сырая скамейка,
С краев пообросшая мхом.
Лиловые гроздья сирени,
Клонясь, припадали к стене.
И двигались трепетно тени
От мокрой сирени ко мне.
«Эй, тени! Я видел вас где-то!»
Метнулись они... и ушли.
И полосы лунного света
Меж ними и мной пролегли.
Казалось, что тени — нетленны...
И я замирал в тишине
В тот миг, когда эхо Вселенной,
Как обруч, катилось ко мне.

* * *

Глебу Горбовскому

В любой мороз, пургу и стужу,
Средь шумных улиц и в тиши —
Какая страсть рвалась наружу
Из нашей страждущей души!
Прощайте, звонкие денечки!
Душа уставшая, мужай!
В стихах все трепетнее строчки,
Но где он, щедрый урожай?
Уже волос коснулась просесть,
И стали сдержаннее мы.
И нашу пасмурную осень
Теснит дыхание зимы.
Нелепей нашей нету доли...
Мы — пили! Да! Но — не спились!
Слабеют нервы, дух и воля.
Взываю мысленно: держись!
Нет, нет, не стрекот брэнной славы —
Тебе дороже тишина...
Тебя когда-то когтем ржавым
Свирепо цапнула война.
Те наши годы, друг мой, святы,
Как тих и свят рассветный час.
И свет холодного заката
Все чаще сплачивает нас.

* * *

Владимиру Кострову

Читаю поэта Кострова...
Какое прозрачное слово!
Чистейшая акварель,
Которой не знал я досель.
Как падают капли упруго
В строке его! Луг и округа
Заливистым звоном полны —
Хмелен Переславль от весны!
Тот город Костровым воспет,
Сынок он его и поэт.
Над городом тем облака,
Лучась и качаясь слегка,
Клубясь, уплывают по сини
В мой провинциальный Касимов.
Провинцию любит Костров,
Как поле — порывы ветров,
Летающие наугад
Сквозь навесной листопад.
Провинция — это стезя...
В провинции я родился.
Тоскую и рвусь на природу,
Как птица к небесному своду.
Владимир Костров мне как брат,
Как с бором роднящийся сад.
И я одного лишь хочу,
Чтоб солнышко нам по лучу,
Рязанцу и костромичу,
Вручило... Блеснуло... И — ладно!
И заалело... закатно.

* * *

Прощай, зима! Буранные порывы
Закончились... Умолк метельный свист.
И с замираньем тайным и счастливым
Я жду тебя, зеленый первый лист.
И слыша зов бесцельного скитанья,
Томлюсь, брожу, покинув отчий кров.
И все мои случайные свиданья
Печалит мгла апрельских вечеров.
И хоть в реке мутны и пенны воды
И вязки непросохшие поля,
Но я люблю такое время года,
Когда мягка и зыбиста земля.
Когда погода теплая обманна,
А я беспечен, молод, одинок,
Когда в наплывах лунного тумана

Полупрозрачный ежится лесок.
И в эти просветленные мгновенья,
Как ни отрадно веянье весны,
Но нет во мне бывшего удивленья
И нет предощущенья новизны.
Привычна для меня твоя улыбка.
Привычен взгляда сумеречный свет...
...Когда все так привычно, а не зыбко,
То и в любви таинственности нет.

ЗВУКИ ЛЕТА

...А погода пасмурна, сыра.
Травы и листья — оттрепетали.
Резкие, остудные ветра
Обдувают мертвенные дали.
Но хочу тепло я уберечь
В деревенском домике печальном...
Угасает старенькая печь,
Астры на столе горят прощально.
До свиданья, летние деньки!
Как же быстро вы похолодели
Под веселый, легкий плеск реки,
Под шуршанье лиственной метели.
И под небом сумрачным вот-вот
Глушь дохнет трясинностью болотной.
А на оскудевший огород
Шумно брызнет дождичек кислотный.
Вздвогнув, почернеют деревья,
Зябкость их предсмертная обвеет,
А сухая желтая листва
Съежится... И тут же помертвеет.
И пускай не видно синевы,
Пусть мой день сложился бестолково,
Но сквозь шорох умершей травы
Слышу зовы голоса живого.
Что за голос? Даст ли он ответ
На вопрос: «Ужель отликовали
Звуки лета, вызвавшие свет,
Озаривший мертвенные дали?!»

Елена ТЮГАЕВА

ВСЕМОГУЩИЙ ПОЕЗД

Рассказ

Если бы богов не было, человек выдумал бы их. Что можно противопоставить этой аксиоме? Набор избитых истин из традиционных и нетрадиционных религий, основанных на домыслах, догадках, гипотезах. Никто из живущих сейчас и живших прежде не видел богов. Нет ни единого материального доказательства их существования. Следовательно, единственный бог во Вселенной — сам человек. Он создает в своем воображении дворцы, сады, войны, сокровища, эпидемии, концлагеря, художественные образы, знаки, мелодии. Человеческое сознание всеобъемлюще и всеильно. Парадокс в том, что человек труслив, и больше всего он боится порождений собственного разума. Выберите любое из человеческих изобретений и сделайте его богом, идолом, которого будут бояться и которому по причине страха станут молиться. Это логично: человек создает богов в своем воображении — боится их — молится им. Компьютер? Нет, компьютер слишком изыщен и мал, он не годится на роль божества. Самолет? Возможно. Он в небе, а человек испокон веков помещал своих богов в облака. Но самолет недостаточно грозен. Другое дело — поезд. Он обладает всеми качествами бога: великий, могучий, страшный. Является из ниоткуда и уходит в никуда. Может покарать и забрать жизнь, а может доставить тебя в неведомые и прекрасные края. Культ Всемогущего Поезда — единственная логичная религия нашего времени.

Е. Каршеев. Культ поезда как способ модернизации религии

Поезд приближается в сумерках и несет с собой возбуждение, радость, страх. Гудки, расплывчатый голос диспетчера: «Поезд Москва–Одесса будет отправляться в девятнадцать ноль семь со второго пути», а затем грозный рокот. Свет сигнальных фонарей отбрасывает радужные блики в вечерний туман.

Катя всегда возвращается домой в сумерках. Ей встречаются один за другим два поезда дальнего следования и одна электричка. Путь девушки проходит через лесополосу вдоль железной дороги. Здесь совершенно безопасно, если кто и встретится, то свои, друзья Кати и Коршуна. Любимое место сбора молодежи — пригорок чуть ниже станции. Ребята сидят там допоздна. Трудно сказать, где Кате нравится больше — на пригорке или в квартире у Коршуна.

Елена Владимировна Тюгаева родилась в 1969 году в городе Ленинабаде Таджикской ССР. Окончила исторический факультет Калужского государственного университета. Публиковалась в журналах «Волга», «Урал», «Аврора», «Золотая Ока», «Наша улица», «Топос», «Траектория творчества», «Художественная литература». Живет в городе Медынь Калужской области.

В квартире они бывают вдвоем, почти не разговаривают, Коршун обнимает Катю и целует. Все остальные действия не слишком нравятся девушке, потому что сопряжены с оскорблением ее стыдливости и брезгливости, что, впрочем, она тщательно скрывает от возлюбленного. Иногда ей даже приходится маскировать боль от особо причудливых ритуалов тантры. Катя терпит, потому что знает: любимый во всех отношениях лучше ее, красивее, умнее, талантливее.

— Внешняя красота — это иллюзия, — говорит Коршун, — думающая личность не следует установленным канонам, а ниспровергает их и создает свои критерии.

Он очень умный. Целыми днями читает. Не признает никаких искусственных способов стимуляции нервной системы: алкоголя, курения, наркотиков.

— Только умственная деятельность и секс — нормальные способы получения удовольствия. Все остальное выдуманно человеком для ухода от действительности.

Катя полгода больна тяжелой формой любви к нему, со всеми ее тягостными симптомами: лихорадочной дрожью, грезами наяву, сладостной болью в сердце и рабской покорностью. Она готова терпеть и тантру, и возвращения домой в одиночестве, ведь провожать девушку до дома — тоже условность, которую следует отринуть.

Когда Коршун и Катя встречаются на станции, стыда и боли нет, но невозможно уединиться. Ребята окружают Коршуна, и его прекрасный гибкий голос звучит для них, не для Кати.

— Пойдем, я тебя провожу, — говорит Коршун после встреч на станции, — я ужасно устал, общение с людьми забирает колоссальное количество энергии.

Они идут вдвоем в весенних влажных сумерках, навстречу летящим поездам, приветствуют их ритуальными поклонами, приложив обе руки к сердцу, у подъезда Коршун целует и обнимает Катю, и это лучшие минуты жизни.

...Парижские улицы весной пахнут особенно остро. Прогретая солнцем, разлагается вся дрянь, выброшенная из окон в сточные канавы. Но аромат первой зелени для супа и фиалок, продающихся на каждом углу, перебивает зловоние старого города. Из дверей харчевни доносятся звон расстроенной лютни и смех девок. Я иду узкими улицами, в полумраке от нависающих верхних этажей, ловко уворачиваясь от вылитых сверху помоев. Никакого дела у меня нет, я просто брожу, созерцаю мир: резные ставни, причудливые вывески, играющих детей, калек у церкви Сен Жермен, разодетых купчих. Мне даже лень срезать кошельки, которые сами смотрят на меня. У меня есть немного денег, зачем бродяге больше...

— Здравствуйте, Игорь Иванович, — бормочет соседская девчонка Катя, и Игорь понимает, что пора сворачивать направо. Иначе он так и будет идти вдоль рельсов, ушедший в свои фантазии, дурацкие фантазии, как говорит Лена.

Соседская Катя встречается Игорю Томилину каждый день. Дважды в неделю, когда он идет в вечерний колледж, они встречаются лицом к лицу. В остальные дни, кроме выходных, возвращаясь из дневного колледжа, Игорь видит Катину спину. Иногда он пытается представить, о чем думает такая девица. Одета, как многие из его студенток: короткая курточка, черные джинсы в обтяжку, заправленные в узкие сапоги с блестящими украшениями. Распущенные по спине русые волосы. Куда и откуда она ходит одна? Катя учится в торгово-экономическом, где Игорь не преподает... Она не интересна ему ни внешне, ни внутренне, обычное серое лицо, каких сотни. Единственное, что вызывает симпатию Томилину — Катя любит гулять вдоль железной дороги. В отрочестве, когда мир Игоря был гораздо шире, он часами бродил по улицам, паркам, перелескам, шагал вдоль рельсов, пытаясь повторить путь поезда. Он бродил и думал о пятнадцатом веке, о парижских улицах и

дымных харчевнях, о смехе проституток и запахе дешевого жаркого из костей и жил. Он всерьез верил (какое курьезное мышление у подростков), что в прошлой жизни был Франсуа Вийоном, королем поэтов, вором, бродягой, разбойником...

Поезд способен прийти в сны, он мчит сквозь них, уверенно и стремительно. Алла пробуждается в тревожном состоянии, словно приснившиеся грохот и вибрации разворошили ее мозг. В голове сразу просыпается множество мыслей: написать Маше, загрузить фотографии Виталика, проголосовать за всех друзей в новом интернет-конкурсе... Поезд еще шумит вдали, и Алла понимает, что он не приснился, а ехал, как обычно, мимо спящих домов пригорода.

— Господи, когда мы уже переедем отсюда! — восклицает Алла.

Из кухни падает желтая полоска света. Алла выходит и видит Катю, пьющую кофе за кухонным столом. В левой руке у Кати маленькая книжечка, Катя читает и жует, ужасный завтрак — два сухих крекера, тертая морковка, черный кофе.

— Опять, о господи! — Алла распахивает холодильник.

— Мам, не гоношись, я уже опаздываю!

— Ты скоро будешь падать в голодные обмороки! Ты анемию заработаешь своими диетами!

— Все, я побежала!

Дочь выскакивает из-за стола, взлетают перед глазами у Аллы прямые русые волосы. Девка совсем некрасивая, и внешностью, и поступками, и мыслями. Алла берет книжечку, которую Катя бросила на столе — самодельная, напечатанная на принтере, на желтой обложке — имя автора: *Е. Каршеев*, и название: «Культ поезда как способ модернизации религии».

— Еще того лучше, с сектантами связалась, что ли?

Алла включает одновременно электрический чайник и компьютер, ставит на плиту сковородку. Тридцать два сообщения, успевает отметить Алла, и бежит разбить на сковородку яйца. Некоторые из сообщений отправлены глубокой ночью, одно из них — из Австралии. Алла читает сообщения одновременно с завтраком. Гудит поезд, и призрачный голос вещает: «...осква-Брянск... равляется... оль пять ...мого пути...»

— Мама! — возникший за спиной Виталик трет кулаками глаза. — Брянский поезд прошел, мы опять в сад опоздали.

Одевание сына и поход с ним до детского сада пролетают вне сознания Аллы. На обратном пути она заходит в магазин, что-то покупает, но мысли ее далеко. Она сочиняет то письмо Маше, то текст новой песни, которую должна записать сегодня. В лифте на нее очень странно смотрит мужик с девятого этажа. Алле это не льстит, она знает, что давно никому не интересна, кроме мужа, привыкшего к ней, и поклонников из других городов и стран, которые видели ее только на фото с хорошей обработкой. Дома она понимает причину внимания чужого мужика. Из-под пальто висит подол цветастой ночной рубашки, волосы не причесаны после сна. Вид сумасшедшей или тяжелобольной.

— Да наплевать мне на вас на всех, — говорит Алла отражению в зеркале, — плебей, мешане.

Она возвращается к компьютеру, печатает подряд три куплета песни, подключает микрофон, запускает программу записи звука. Редкий случай — песня записывается сразу, Алла сегодня в голосе. Конечно, проклятые гудки поездов слышны на заднем плане, но совсем слабо.

Поезда бегут. Колеса стучат. Алла запивает ненависть к поездам пивом. Песня готова. Можно выкладывать в Интернет.

— Послушай, Женя, насколько это глубоко. Жаль, что у тебя еще нет достаточного уровня знания французского, чтобы я мог прочесть тебе Вийона в оригинале. Ни одному переводчику пока не удалось передать горечь, отчаяние и озорство Вийона, его взгляд на жизнь как бы сквозь эту самую жизнь...

Я знаю летопись далеких лет,
Я знаю, сколько крох в сухой краюхе,
Я знаю, что у принца на обед,
Я знаю, богачи в тепле и в сухе,
Я знаю, что они бывают глухи,
Я знаю, нет им дела до тебя,
Я знаю все затрешины, все плюхи,
Я знаю все, но только не себя...

— Игорь Иванович, а может, вы мне по дороге объясните *Le Subjonctif et L'Indicatif*?

— Так ведь нам не по дороге...

Черноволосая кудрявая дева настойчива. Она берет преподавателя под руку и говорит:

— А я вас провожу. Или ваша жена заревнует?

Игорь смеется, смущенный и растроганный. Девушки из колледжей все время норовят пофлиртовать с ним. О боже, он совсем не из той категории мужчин, которые привыкли к обожанию. Никогда не был красавцем и никогда не умел строить любовных отношений. Лена часто говорит подругам насмешливо: «Я полюбила его от жалости. У имени „Елена“ такая карма. Мы любим тех, кого жалко — сырых да убогих». Ему грустно от Лениного черного юмора и от того, что Женя предпочла бессмертным стихам скучные правила грамматики.

Весенний ветер ворошит макушки деревьев, едва позелененные не слишком теплым апрелем, и сразу аромат молодой листвы и почек разносится над землей, смешивается с железнодорожными миазмами: горячего железа, пыли, масла.

— Вы каждый день тут ходите? — перебивает бойкая Женя преподавателя, разъяряющего *l'indicatif*.

— Да. Я живу в том доме цвета беж, сразу за станцией.

— Видели, как пацаны поездам молятся?

— Молятся? Где? Зачем?

Женя увлекает Томилина по тропинке, чуть в сторону от насыпной дороги. Скоро они оказываются на открытом месте, это невысокий откос, открывающий живописную панораму: нежно-зеленые поля, белые и серые частные домики, лиловое небо и серебряные нити рельсов. На пригорке у самых путей сидит группа подростков и молодежи, обычная посиделка, как у них называется — «тусовка». Некоторые отхлебывают напитки из алюминиевых банок. Но тут с грохотом и резким ветром проносится поезд, и Томилин с Женей видят потрясающее зрелище: все как один молодые люди вскакивают с мест и кланяются поезду, прикладывая руки к сердцу. Хором выкрикивают что-то. И вновь спокойно рассаживаются на пригорке, пьют из банок, переговариваются.

— Странно, — говорит Томилин, — никогда о таком не слышал. Культ поезда? Абсурд какой-то.

Женя не успевает ответить. Мчится еще один поезд, и толпа на пригорке вскакивает, кланяется, кричит... Зрелище напоминает Томилину документальные кадры — то ли о гитлерюгенде, то ли о фанатах группы «Битлз»... Он берет Женю за руку и ведет назад, к дороге.

— Надеюсь, их учение не агрессивно? — спрашивает Игорь.

Женя пожимает плечами:

— Не знаю. Вроде они ни на кого не нападают. Но «гуру» ихний точно чокнутый. Он в нашем колледже учился, его поперли за прогулы. Егор Каршеев, погоняла Коршун. Красавчик офигительный, но, говорят, на учете в психушке.

— Не помню. Наверное, он был не во французской группе.

Катины волосы вносят в квартиру запахи молодой листвы, разогретых рельсов, влажного леса. Стук колес отдается в ее ушах, или это шумят поезда за окном. С ними смешиваются два разнородных звуковых фона. Из детской доносится веселая мультяшная болтовня, из спальни — невнятная музыка, блюз или джаз. Катя открывает двери и видит Виталика с пачкой чипсов перед телевизором и мать в ночной рубашке за компьютером.

— Отдай, отдай, мне мама купила! — кричит Виталик, когда Катя вырывает у него пачку.

— Мама тебе весь желудок испортит этой гадостью, — говорит Катя, — опять последним из садика забрала? Она совсем умом тронулась от своего компьютера!

Мать не реагирует на крики и грохот, который дочь нарочно производит, вытаскивая из шкафов посуду.

— Я сейчас сварю тебе пюре, — говорит Катя, — и этой компьютерной наркоманке тоже... мам, ты будешь пюре? Мама!!!

Алла поднимает глаза от монитора, и Кате вдруг делается страшно. Заплывшие жиром и покрасневшие глаза матери несут то же выражение, что и прекрасные синие глаза Коршуна. «Она смотрит сквозь меня, — подумала Катя, — и ее зрачки светятся изнутри...»

— Игорь, давай поговорим серьезно. У меня появилась хорошая вакансия. Понимаешь, действительно хорошая и очень тебе подходящая.

— Плохо представляю, Лен, какая работа может подойти мне в редакции женского журнала.

Лена мгновенно вскипает яростью, и это поразительно красит ее: румянец разливается по бледному от природы лицу, эмалевые глаза мечут искры.

— Черт возьми, Томилин, сколько раз можно повторять, что мой журнал — не женский, а популярный. Популярный, тебе известно значение этого слова, лингвист хренов? У меня есть материалы для всех. Для женщин, для детей. И для мужчин тоже: спорт, автомобили, техника...

— Лена, я не разбираюсь ни в спорте, ни в автомобилях.

— Я лучше тебя знаю, что ты понимаешь, что нет. Я предлагаю тебе страницу культуры.

— Вы даже о культуре пишете?

— Пока не писали. Но наши продажи растут. У нас уже тридцать тысяч подписчиков. Нам нужно повышать уровень.

— Я должен буду выбирать из Интернета сплетни о личной жизни звезд?

Лена вздыхает. Снобизм и отрешенность Игоря от жизни возрастают с годами. Он и в молодости смотрел на мир свысока, со всезнающей усмешкой философа. Когда-то ей нравились его полеты над суетой. Сейчас начинают раздражать.

— Нет. Я предлагаю тебе писать очерки о популярных художниках, режиссерах, писателях. Никакой попсы и никакого авангарда. Найди золотую середину, ты сумеешь.

Игорь не хочет озвучивать то, что Лена отлично знает. Он не может жить, если не будет слышать французской речи, пусть даже искаженной в устах студентов колледжа туризма, он умрет от тоски, не читая вслух Бодлера, Гюго, Рембо и, ко-

нечно, Вийона. Несколько минут оба молчат, слушая грохот поезда вдалеке, сдерживают гнев и раздражение.

— Хорошо, — отзывается наконец Игорь, — я напишу пробную статью. Если тебе понравится...

— Благословляю, Белый, — тихо говорит Коршун, кладя руку на голову однокурсника Кати Артема, которого все зовут Белым. Даже Катя не знает, кличка это или фамилия. Во всяком случае, волосы у Артема никак не белокурые, они серые, сливающиеся с сумерками. Шурик, прижимавший ухо к земле, махает рукой:

— Идет!

Белый спрыгивает с насыпи вниз, переступает рельс и ложится вниз лицом на шпалы. Все в напряжении ждут на краю насыпи. Шурик деловито наводит видеоглазок мобильного телефона.

Поезд летит, сотрясая землю. Ветер бросает Катины волосы в лицо Коршуну. Коршун отодвигает Катю назад властным движением, и та рада подчиниться. Она всегда с трудом скрывает, что боится ритуала. Сейчас поезд налетит на Белого и на несколько страшных минут закроет его своей жуткой тушей. Мы будем ждать кошмара — крови, ошметков, а увидим живого, ошалевшего, скованного шоком и безумной радостью человека.

Ликующие крики заставляют Катю открыть глаза. Белого уже втаскивают наверх, хлопают по плечам, обнимают. Коршун торжественно прикрепляет на ветровку героя черный с золотом значок с изображением поезда и большой буквой П. Это значит «посвященный», Коршун заказывает такие значки в особой мастерской и далеко не каждому, кто осмелился лечь под поезд, дарит их. Сам Коршун совершает ритуал едва не каждую неделю, но не носит значка.

— Посвящение показывает, насколько человек проникся сутью божества. Стал одновременно бесстрашным и боящимся тайн жизни и смерти. У тебя получилось, Белый.

У Белого получается даже отказаться от банки пива, которую протягивают ему друзья. Он подражает Коршуну: не пьет, не курит, пытается читать эзотерические книги. «До этих книг у него мозг не дорос», — говорит Коршун Кате наедине.

— Кто завтра? — спрашивают ребята.

Коршун обводит взглядом лица. Некоторые, особенно Катя, смотрят в кусты, на рельсы, на горизонт, куда угодно, лишь бы не поймать избирающий взгляд Коршуна. Возлюбленный глядит ей в лицо и думает: указать ли на нее? Грубый крик спасает Катю.

— А ну пошли отсюда, сволочи, твари паскудные! Сколько раз вам сказано было, чтоб не ходили сюда!

Ребята бегут прочь от пригорка, одна Катя остается смело перед стрелочником, которого боится гораздо меньше, чем поезда или Коршуна.

— И что? Что ты мне сделаешь, дед? Ударишь? Ну, давай рискни здоровьем!

Пожилой стрелочник в отчаянии смотрит на хлипкую и наглую.

— Сейчас позвоню куда надо, в КПЗ будешь ночевать, бессовестная.

— За что? Здесь нет запрещающего знака. Это территория общая. Мы просто гуляем.

— Видел я, что вы творите, гады ненормальные. Вам башку поездом отрежет, а я в тюрьму сяду.

— Каждый хозяин своей жизни.

Коршун спокойно берет Катю за руку. Оказывается, он не убежал, просто стоял сзади.

— Пойдем отсюда. Не стоит метать бисер перед свиньями.

Иногда поезда способны успокаивать своим мерным стуком, давать ощущение свободы и уверенности в жизни. Поезд идет, значит, мир не умер, там, за окнами, значит, время течет, как всегда. И всегда будет течь время, и всегда будет пульсировать жизнь, и всегда будут стучать колеса поездов.

Е. Каршеев. Культ поезда как способ модернизации религии

Алла счастлива. Золотой кубок за победу в номинации «Песни о любви» и почти сотня поздравлений от друзей. Надо выложить ссылку в социальные сети, чтобы целые сообщества радовались вместе с нею... По аське приходит сообщение от Маши, она поздравляет и сообщает, что третий час подряд играет в «Ферму» и слушает песню Аллы.

— Мама, — говорит за спиной голос Кати, какой-то печальный, сплюснутый, как у старушки.

— А? — отвечает Алла, не оборачиваясь.

— Мама, ты опять кормила Виталика магазинными пельменями?

— Я купила самые дорогие, — Алла продолжает печатать ответы поздравителям.

— Завтра отец приедет с вахты, ты тоже ему пельменей наваришь?

Молчание. Стук клавиш. Гудок поезда вдалеке. По щекам Кати скользят две отчаянные слезы.

— Мама, ты можешь меня выслушать?

— Ну, что такое? — Алла оборачивается, и на минуту ей становится страшно за дочь. Слишком большое и несчастное лицо у Кати.

— Мама, у тебя компьютерная зависимость, это хуже наркомании, ты понимаешь? Посмотри, на кого ты похожа. Сто двадцать килограмм веса, башка две недели не мыта...

— Ты мне будешь морали читать? — тотчас срывается на крик Алла. — Троечница убогая! Интеллект на уровне канализации! Я творчеством занимаюсь, слышишь ты, debilка! Я золотой кубок получила, меня друзья поздравляют, а от семьи ни грамма понимания!

— Какое творчество, твои песенки самодельные, ни рифмы, ни смысла? И кубок такой же — нарисованный, и друзья, которых ты сроду не видела...

Алла с ненавистью закатывает дочери оплеуху, Катя с наслаждением рыдает и кричит: «Жирная сволочь! Все папе расскажу!»

Прибежавший на шум Виталик плачет и цепляется то за мать, то за сестру. Катя грозит разбить материн компьютер, напустить ей вирусов, написать письмо в полицию, чтобы Виталика забрали от такой мамы в детдом. Ей давно надо было откричаться, вылить, выбросить накопленную внутри тоску. Самый подходящий объект — мать, она больше всех заслужила.

Рокот поезда — как шум моря, как свист ветра, как песня дождя. Он заставляет думать о том, что спрятано за скучными силуэтами панельных домов, за фонарями и серым небом. Рокот поезда — как будто дыхание большого, всезнающего и всемогущего существа. Мы не видим его, но оно есть. Оно наблюдает за людьми и думает о них всегда, даже когда они его не вспоминают.

Е. Каршеев. Культ поезда как способ модернизации религии

Игорь наблюдает с откоса. Сегодня на пригорке особенно много парней и девчонок. Все стоят кучкой, а один командует. Похоже, это Егор Каршеев, о котором говорила Жена. Высокий, стройный, весь в черном. Ветер шевелит его длинные

светлые волосы. Они светятся как ангельский нимб. Игорь слышит возбужденные голоса, но не разбирает слов. Каршеев указывает рукой в толпу. Выскакивает девчонка, соседская Катя, закрывает лицо руками, шагает к насыпи, замирает, бежит назад, в толпу. Выходит из толпы вторая девушка, светловолосая и стройная, как Каршеев. Пару минут заминки, потом гуру кладет руку на голову светловолосой. Та спрыгивает с насыпи и ложится вниз лицом между рельсов.

— О господи, вот идиоты! — бормочет Игорь.

С угрожающим воем мчится поезд. Все как один юноши и девушки прижимают руки к сердцу и кланяются. Долго-долго, как кажется Игорю, поезд гремит над светловолосой девушкой. Потом ей помогают взобраться на насыпь. Гуру целует ее и что-то вручает.

— Настоящая секта. Ритуалы, иерархия, знаки отличия, — говорит сам себе Томили, но соседская Катя сбивает его мысли. Она бежит вверх по откосу, громко плача. «Выгнали за отказ от ритуала?» — думает Игорь.

Катя останавливается почти рядом с ним, не видя, не слыша, вытаскивает мобильник, нажимает кнопки. Тщетно ждет Катя. Никому не нужен ее звонок. Толпа на пригорке слушает гуру, который, обняв одной рукой светловолосую героиню, что-то говорит. Проповедь или молитва, понимает Игорь.

Поезда притягивают к себе людей. Мы невольно провожаем взглядом любой поезд, мы задумываемся, куда он движется, и завидуем слегка тем людям, которые едут в неведомые земли с неизвестными нам целями. Вокзалы и станции собирают множество людей: провожающих, встречающих, мечтающих, бесцельно бродящих, бездомных. Вокруг поездов сконцентрирована огромная энергия, хаотически разбросанные частицы самых разных душ, мыслей, желаний. Важно уметь впитывать эту энергию.

Е. Каршеев. Культ поезда как способ модернизации религии

Катя выходит из спальни и видит в кухне свет. Мать жарит котлеты — в такую рань! И душ принять успела, на голове — полотенце. Ждет отца. Не совсем потеряла разум, это радует. А остальное — не очень. Катя бормочет: «Доброе утро», входит в ванную, осторожно достает из кармана палочку, обмотанную особой ватой. Какой смысл покупать третью по счету палочку, когда ты знала правду две недели назад? Природу не обманешь, она не выдумывает ложных богов, как люди, она честно бросает в слабость, тошноту, зеленую обморочную тоску. Ты получила то, что хотела, говорит природа. А что скажут люди — Коршун, родители, друзья, Катя не хочет знать. Это будет в сто раз страшнее и противнее тошноты.

— Мама! — говорит Катя, присаживаясь на край табурета.

— Что, малыш? — добрым голосом отвечает Алла. — Чего так рано поднялась? Сегодня ж суббота.

— Мам, я тебе хотела рассказать...

Но тут пиликает из гостиной самый ненавидимый Катей (после гудка поезда, конечно) звук на свете, мерзкая пищалка компьютерной аськи. Мать бросается туда, щелкает клавишами, возвращается, а Кати нет уже. Ушла спать, думает Алла и, перевернув котлеты, идет принять новый мессидж.

— Посмотри, как оформлен их сайт, — Игорь водит указателем мышки по иконкам, голос его непривычно возбужден. — И дизайн, и навигация — все продумано до тонкости. Я нарочно зашел на сайты нескольких конфессий. Ни один в подметки не годится «Детям Поезда».

Лена смотрит из-за плеча на красивый черный фон с красным пламенем в центре. Из пламени летит поезд в ореоле искр. Все надписи сделаны светящимися алыми буквами. Цвета ночи и крови, они всегда притягательны для юных. И портрет гуру — невысказанного красавчика с сапфировыми глазами, такая внешность, безусловно, привлекает девушек (естественный голос пола) и юношей (желание быть похожим).

— Смотри, и гостевая книга, и форум — все битком забито постами. Здесь видеофайлы — как они молятся, как ложатся под поезда... А вот — «Если вы хотите присоединиться к “Детям Поезда”, пишите нам, и мы пришлем вам нагрудный жетон и методические материалы».

Лене радостно от того, что ее супруг не-от-мира-сего заинтересован, увлечен, более того, он собирает этот материал о странном культе для ее журнала. И тонкую грусть испытывает Лена, потому что никогда не пустит подобного эпатажа и андеграунда в свой приличный журнал для нормальных взрослых людей. На стыке радости и грусти рождается нежность, Лену томит желание много раз поцеловать Игоря в затылок, как делала она в студенческие годы. Он не взрослеет. До сих пор бросается на все странно-романтическое, причудливое и бесшабашное.

— Что скажешь? — спрашивает Игорь. — Будет твоим читателям интересен такой материал?

Лене надо выбрать правильные слова. Она улыбается и говорит, что у Игоря всегда было чутье на нестандартное. Он умеет вытаскивать из ноосферы эмоции, которые скоро захватят все человечество.

— Но боюсь, для популярного журнала — это слишком горячая тема. Понимаешь, это все равно что читать «Божественную комедию» Данте в старшей группе детского сада.

Игорь угасает мгновенно, как фитиль свечки, прижатый мокрыми пальцами.

— Спасибо за честность, — говорит он, отворачиваясь, и выходит из Интернета, не сохраняя вкладок, не глядя больше на жену. Идет в прихожую и одевается.

— Ты куда? — испуганно спрашивает Лена.

Игорь не пьет, не курит, он тихий домосед, а на часах — почти полночь.

— Я хочу подышать свежим воздухом, — отвечает Игорь и по-прежнему не смотрит на Лену.

Ночные поезда — таинственны и загадочны, как мысли во сне. Они проносятся без остановок, на минуту прорезая темноту красным огнем своих безжалостных глаз. Умереть под поездом — мучительно или сладко? Успеешь ли почувствовать ужас, боль, холод смерти, или шок от приближения божества преодолет все остальное?

Е. Каршеев. Культ поезда как способ модернизации религии

Катя смотрит время в мобильнике. Ноль-ноль десять, а поезд на Киев идет в ноль-ноль пятнадцать. Пора. Положив мобильник у подножия пригорка, девушка мелкими шагами идет к рельсам. На насыпи она останавливается, бежит назад, нажимает на мобильнике две кнопки — «1» и «вызов». Гудки сливаются с голосом из вокзальных динамиков: «...езд на Киев ...дет ...правляться ...оль-ноль ...надцать ...первого ...ути». Гудки смолкают. Вызов сброшен. Катя еще раз нажимает «1» и «вызов». Механическая девушка сообщает: «Телефон абонента выключен или находится вне...»

Катя бросает мобильник и мчится к рельсам. Быстрее, быстрее, чтобы машинист не успел остановить поезд. Она прыгает вниз и ложится не между рельсов, как

трусливые Дети Поезда. Она кладет голову на гладкий металл с гордостью Марии Антуанетты. Утром ты увидишь силу и милость своего бога, проклятый Коршун.

Какой-то шум опережает грохот поезда, невидимая сила хватает Катю за волосы, тянет ее вверх, девушка упирается, но от боли вынуждена подчиниться, ее волокут по острым камешкам насыпи, горячий ветер от поезда бьет ей в спину.

— Какого черта! — кричит Катя человеку, который крепко держит ее, прижимая к себе.

Поезд умчался, смерть миновала, а рокот колес вдалеке напоминает о бесконечности жизни и безграничности мира. Катя не думает об этом, но ощущает всем телом, и от обилия чувств ее трясет, знобит, корчит. Она рыдает, а Игорь молча глядит ее по спине.

Потом они идут вдоль путей, в неизвестную темноту, где изредка мелькают крошечные огоньки фонарей.

— Зачем вы это сделали? — слабым, но уже не отчаянным голосом говорит Катя. — У меня нет выхода. Мой парень бросил меня, потому что я не хочу молиться поездам. У отца в голове только работа и деньги, а мать крезанулась на компьютере. Я никому не нужна, понимаете?

— Я сам пришел туда, если не с целью лечь под поезд, то в очень сильном стрессе.

— Вас жена бросила? — спрашивает Катя.

Она вдруг вспоминает, что отец рассказывал о Томилине. Жена у него — пробивная баба, свой бизнес, а мужик — никчемный, работает каким-то учительшкой, даже машину водить не умеет.

— Нет. Она меня никогда не бросит — из жалости. Это я должен ее бросить. А я не умею. Я не могу принимать решений, вечно иду сбоку от жизни. Вот как мы сейчас идем вдоль рельсов. Они нас ведут, а мы тащимся бесцельно...

— Коршун сказал бы: «Произнеси сорок раз мантру: Всемогущий Поезд, веди меня верным путем, — и тебе полегчает!»

— Хитрая сволочь твой Коршун.

— Ага. Но у меня ведь будет от него ребенок.

— Ребенок? Но это же здорово.

Игорь сумбурно рассказывает, как они с Леной много лет тщетно хотели ребенка, как Лена, чтобы забыться, основала журнал, потом перескакивает на свою работу, студентов, французских поэтов...

...Я ночью бодр, а сплю я только днем,
Я по земле с опаскою ступаю,
Не ведам, а туману доверяю.
Глухой меня услышит и поймет,
Я знаю, что польни горше мед,
Но как понять, где правда, где причуда?
А сколько истин? Потерял им счет...

Несущийся навстречу поезд топит в своем грохоте глуховатый голос Игоря, подбрасывает ветром Катини волосы. «А ведь прохладно», — перебивает сам себя Игорь, снимает куртку и набрасывает ее на плечи Кати.

Лев АННИНСКИЙ

РАЗУМ И СМЫСЛ.

Читая публицистику Льва Толстого

I. СТЕНА МЕЖ БЕЗДНАМИ

Я не могу даже разобрать — вижу ли я что-нибудь там, внизу, в той бездонной пропасти, над которой я вишу и куда меня тянет... Что же делать, что же делать? — спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу...

Лев Толстой. Исповедь, послесловие

Запомнив со студенческих лет, что публицистика Толстого — это «кричащие противоречия», я к этим крикам не прислушивался, пока один издательский комментарий не задел меня кричащей аналогией.

В 1882 году «Исповедь» была набрана в «Русской мысли», направлена в духовную цензуру и — запрещена к печати. Результат оказался в кричащем противоречии с замыслом запретителей: по рукам пошел такой поток гектографированных и литографированных «пиратских» копий, который во много раз превысил трехтысячный тираж «Русской мысли». Разумнее было бы власти тихо издать «Исповедь» этим легальным тиражом, чем превращать ее в мученицу, владеющую умами.

Век спустя ситуация повторилась с Солженицыным: его тексты в печать не пропускались, но в самиздатских и тамиздатских копиях проглатывались так бешено, как не снилось никаким легальным издателям.

В конце концов все было издано, все встало на полки по стенам бесконечных книгохранилищ. Бери и читай!

Беру «Исповедь» и читаю. Сегодняшними глазами. Бездны все те же.
Но начну со стен.

Тычок пальцем

(Действующие лица нижеследующего фрагмента — братья Толстого Сергей — «С.» — и Николай — «старший брат».)

«Мне рассказывал С., умный и правдивый человек, как он перестал верить. Лет двадцати шести уже, он раз на ночлеге во время охоты, по старой, с детства приня-

Лев Александрович Аннинский родился в 1934 году в Ростове-на-Дону. Советский и российский литературный критик, литературовед. Окончил филологический факультет МГУ. Лев Аннинский — автор и ведущий циклов передач «Серебро и чернь», «Медные трубы», «Засадный полк», «Мальчики державы», «Охота на Льва», передачи «Я жил. Я звался Геркулес» на телеканале «Культура». Является членом Союза российских писателей, ПЕН-клуба, членом жюри литературной премии «Ясная Поляна». Живет и работает в Москве.

той привычке, стал вечером на молитву. Старший брат, бывший с ним на охоте, лежал на сене и смотрел на него. Когда С. кончил и стал ложиться, брат его сказал ему: „А ты еще все делаешь это?“ И больше ничего они не сказали друг другу. И С. перестал с этого дня становиться на молитву и ходить в церковь. И вот тридцать лет не молится, не причащается и не ходит в церковь. И не потому, чтобы он знал убеждения своего брата и присоединился бы к ним, не потому, чтоб он решил что-нибудь в своей душе, а только потому, что слово это, сказанное братом, было как толчок пальцем в стену, которая готова была упасть от собственной тяжести; слово это было указанием на то, что там, где он думал, что есть вера, давно уже пустое место, и что потому слова, которые он говорит, и кресты, и поклоны, которые он кладет во время стояния на молитве, суть вполне бессмысленные действия. Сознав их бессмысленность, он не мог продолжать их» («Исп.», I).

Вам это ничего не напоминает?

Ну, как же: диалог задержанного Владимира Ульянова с полицейским:

— Чего вы бунтуете, молодой человек? Перед вами стена.

— Стена, да гнилая: ткни, и развалится.

Что-то магически неотвратимое в этой декорации. В лоб не возьмешь: стоит неколебимо. И вдруг исчезает, как в бездне. А может, она и маячит в бездне? И растворяется в свой загадочный миг. Как в 1917 году: великая Империя исчезла в три дня — оттого, шутили остряки, что писатели не могли решить, кто пишет лучше. Кто лучше пальцем ткнет.

А в 1991-м — не так же ли загадочно развалилась великая Советская Держава, всесильная победительница фашизма? Что с ней случилось? Небось американские спецслужбы добились своего вредительскими заговорами? Ах, если бы... Американские спецслужбы, конечно, старались и вредили, как могли, но ничего не добились. И не добились бы, идя в упор на стены нашей крепости.

А мы сами взяли и ткнули пальцем — там, в Беловежье, в славянском средоточии Руси. Казах Назарбаев повернул самолет, спасаясь от такого позора. А нам — хоть бы что. Для нас это пустое место, меж безднами, только ткни пальцем...

Что-то иррационально непредсказуемое в наших всеотзывчивых душах. Вздохнет бездна... сверху или снизу... и останется только след стены — место для исповеди...

Смысл совершенствования

«Я с шестнадцати лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я перестал верить в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в бога, или, скорее, я не отрицал бога, по какого бога, я бы не мог сказать; не отрицал я и Христа и его учение, но в чем было его учение, я тоже не мог бы сказать.

Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя — то, что, кроме животных инстинктов, двигало моею жизнью,— единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно,— я учился всему, чему мог и на что наталкивала меня жизнь; я старался совершенствовать свою волю — составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изоощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И все это я счи-

тал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собою или перед богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других» («Исп.», II).

Быть важнее и богаче других — это, конечно, замечательное попадание в наш теперешний психоз. Но важнее, на мой взгляд, другое: глубинное вопрошание о совершенстве. Мы теперь неустанно все совершенствуем; систему образования, академическую науку, культурную политику, промышленную обработку сырья, ценообразование. Индустрия развлечений совершенствуется сама собой. Но что за сверхзадача? Спросить бы у Станиславского, да где уж. Мы помним, что надо учиться, но не очень понимаем чему. Мы зовем друг друга совершенствоваться, но в цель совершенствования не вникаем. Жить лучше? Конечно. Веселее? Пожалуй. Выиграть очередные спортивные соревнования? Обязательно. А потом? Выиграть следующие спортивные соревнования? И так далее?

В войну было страшнее и проще: надо было выиграть войну. Надо было совершенствовать боевую технику. Надо было научиться стратегии и тактике боя. Иначе смерть.

Толстой, совершенствуясь как автор, стал великим писателем именно на военной теме: «Война и мир», а изначально — «Севастопольские рассказы», «Казачьи», и, конечно, «Хаджи-Мурат» и «Кавказский пленник»... Там и спрашивать о смысле не надо было, смысл — избавление от гибели.

А теперь? Грозит гибель? Вроде нет. Но тревога не отпускает. Чувствуется, что мир переживает переходное состояние, но куда оно ведет? И чего ждать? Где мы, страна, народ, окажемся, когда новое состояние мира определится, и мы ли это будем? Геополитические перемены таят ощущение бездны: верхней (разверзаются небеса катастрофами), нижней (недра планеты трясутся в ярости).

Что же нам совершенствоваться? Умение катать мячик по травке под вопли фанатов?

Инстинкт совершенствования работает. Разум цепенеет.

Куда несет!

«Я поехал за границу. Жизнь в Европе и сближение мое с передовыми и учеными европейскими людьми утвердило меня еще больше в той вере совершенствования вообще, которой я жил, потому что ту же самую веру я нашел и у них. Вера эта приняла во мне ту обычную форму, которую она имеет у большинства образованных людей нашего времени. Вера эта — выражалась словом «прогресс». Тогда мне казалось, что этим словом выражается что-то. Я не понимал еще того, что, мучимый, как всякий живой человек, вопросами, как мне лучше жить, я, отвечая: жить сообразно с прогрессом, — говорю совершенно то же, что скажет человек, несомый в лодке по волнам и по ветру, на главный и единственный для него вопрос: “Куда держаться?” — если он, не отвечая на вопрос, скажет: “Нас несет куда-то”» («Исп.», III).

Надо ж было нашей поэзии пережить еще век — проклятый век мировых войн — чтобы отчеканить метафору в строках:

«Мы только крылья. Мы не птицы. Не мы несем, а нас несет».

Ах, прогресс... Это и вправду успокоительное суждение, помогающее в ситуации,

когда чувствуешь необходимость учить других, но не понимаешь, чему именно. «Прогресс» — это то, в чем никто не сомневается, это то, что мы вроде бы несем сами, а не то, что нас несет.

Поехал за границу еще раз — убедиться, что люди там по-прежнему живут, соображаясь с прогрессом. Как на грех, пошел посмотреть смертную казнь. Когда увидел, как голова отделилась от тела, и то и другое согласно стукнуло в ящике, — вдруг понял, что это никакой не прогресс, хотя казнили наверное преступника и по законному решению суда, — никакие теории не объяснят того, что же, видя этот прогресс, ты чувствуешь своим сердцем.

Сердцем, а не умом? Какой смысл всего, что происходит? Зачем все это?

Зачем?

«Пока я не знаю — зачем, я не могу ничего делать...

Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня — не желания, но привычки желаний прежних в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это — обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была то, что жизнь есть бессмыслица.

Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидел, что впереди ничего нет, кроме гибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья и настоящих страданий и настоящей смерти — полного уничтожения» («Исп.», IV).

Как хотите — тут в исповеди великого писателя меня что-то начинает заклинивать. Повествовательные излишества. Волшебницу какую-то позвал на помощь, хотя говорить с ней не о чем. Мысль крутится на месте, повторяя одно и то же. Заглянул в пропасть, потом еще раз заглянул в пропасть. Пьяные минуты зовет в помощь трезвым, но и от тех, и от этих отшатывается. Куда? Все туда же — в бессмыслицу, в гибель, которая сторожит существование. Никак не решится спросить у существования смысл. Да надо ведь угадать, как это спросить и у какого существования: у того ли, что живет вслепую, или у того, что умирает, глядя в пропасть?

Душа в отчаянии замирает, как перед разбегом и прыжком.

Прыжок в бессмыслицу

«Но, может быть, я просмотрел что-нибудь, не понял чего-нибудь? — говорил я себе. — Не может же быть, чтобы это состояние отчаяния было свойственно людям». И я искал объяснения на мои вопросы во всех тех знаниях, которые приобрели люди... Искал, как ищет погибающий человек спасенья, — и ничего не нашел...

Я убедился, что все те, которые так же, как и я, искали в знании, точно так же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что привело меня в отчаяние — бессмыслица жизни, — есть единственное несомненное знание, доступное человеку» («Исп.», V).

Знание, доступное разуму, не дает ответа на вопрос о смысле существования; разум дает лишь отрицание ответа: смысл — это бессмыслица, и нечего задавать дальше такие вопросы. Однако какая-то непонятная сила заставляет человека биться в эту стену.

Зачем?

«Вопрос мой — тот, который в пятьдесят лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, — тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том: “Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, — что выйдет из всей моей жизни”

Иначе выраженный, вопрос будет такой: «Зачем мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?» Еще иначе выразить вопрос можно так: „Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?»» («Исп.», V).

В этом кружении около бессмыслицы художественно-образующим ритмом является повтор, и именно — повтор призрака смерти: в облике ли самоубийства, мысль о коем преследует человека от юности до зрелости, в облике ли зрелого отказа от самоубийственных грез. Сама неотступность этой темы значит едва ли не больше, чем ее безответность. В этой неотступности не таится ли более важная истина, чем в безответности? Как от этого наваждения избавиться?

Ни переда, ни зада!

«Я строже отнесся к определению этого закона; и мне ясно стало, что законов бесконечного развития не может быть; ясно стало, что сказать: в бесконечном пространстве и времени все развивается, совершенствуется, усложняется, дифференцируется, — это значит ничего не сказать. Все это — слова без значения, ибо в бесконечном нет ни сложного, ни простого, ни переда, ни зада, ни лучше, ни хуже» («Исп.», V).

Похоже не окрик. Не ищи там ничего — там ничего нет!

Но зачем заходить к истине с заду, когда есть перед — опытные науки, доказавшие свою вменяемость на протяжении практически внятной истории человечества!

Что если зайти спереди?

Чепуха, и еще раз чепуха?

«Задача опытной науки есть причинная последовательность материальных явлений. Стоит опытной науке ввести вопрос о конечной причине, и получается чепуха. Задача умозрительной науки есть сознание беспричинной сущности жизни. Стоит ввести исследование причинных явлений, как явления социальные, исторические, и получается чепуха» («Исп.», V).

Повтор «чепухи» напоминает повтор «смерти» в рассуждениях о метафизике. Но попробуем доразобраться с физикой.

Физика ответа не знает, как и метафизика

«Опытная наука тогда только дает положительное знание и являет величие человеческого ума, когда она не вводит в свои исследования конечной причины. И наоборот, умозрительная наука — тогда только наука и являет величие челове-

ского ума, когда она устраняет совершенно вопросы о последовательности причинных явлений и рассматривает человека только по отношению к конечной причине. Такова в этой области наука, составляющая полюс этой полусферы,— метафизика, или умозрительная философия. Наука эта ясно ставит вопрос: что такое я и весь мир? и зачем я и зачем весь мир? И с тех пор как она есть, она отвечает всегда одинаково. Идеями ли, субстанцией ли, духом ли, волею ли называет философ сущность жизни, находящуюся во мне и во всем существующем, философ говорит одно, что эта сущность есть и что я есть та же сущность; но зачем она, он не знает и не отвечает, если он точный мыслитель. Я спрашиваю: Зачем быть этой сущности? Что выйдет из того, что она есть и будет?.. И философия не только не отвечает, а сама только это и спрашивает. И если она — истинная философия, то вся ее работа только в том и состоит, чтоб ясно поставить этот вопрос. И если она твердо держится своей задачи, то она и не может отвечать иначе на вопрос: „что такое я и весь мир?“ — „все и ничто“; а на вопрос: „зачем существует мир и зачем существую я?“ — „не знаю“» («Исп.», V).

Сущность — есть, и, значит, Я есмь. Но какова сущность и что такое Я — тут ответы таятся в безднах. Или в стенах, возводимых наперекор безднам.

Что же получается? Конкретные науки, даже если они не занимаются чепухой, не дают ответа на вопрос о смысле существования.

Но и метафизические усилия к ответу не приводят. Если не считать ответом запрет на дальнейшие вопрошания.

То есть ни с переда, ни с зада общий смысл неощутим, и понятие общей нравственной картины мира бессмысленно.

Но ведь без такой общей картины, без идеального образа человеческой жизни, без непререкаемого «светлого будущего» ни одна эпоха не обходилась. Ни в древности, ни в средневековье, ни в Возрождении, ни в Просвещении. Ни в эпоху Толстого. «Американская мечта»! Да тот же «прогресс», будь он неладен. А коммунизм, призрак которого принялся бродить по Европе как раз в пору, когда Толстой стал ездить туда в поисках истины! А нацизм, будь он трижды неладен, который вот-вот должен был оглушить человечество очередной программой всемирного устройства — уже не на классовой, а на расовой основе!

Чем объяснить демонстративную глухоту Толстого к миражам общечеловеческого устройства?

Чутьем, батенька, чутьем! Интуитивным предчувствием катастрофы, которой грозит обернуться очередная «мечта человечества». Подставить на ее место очередную «чепуху»? Лучше уж служить безропотно и честно, как капитан Тушин. Или сохранять, как Платон Каратаев, крестьянскую народную праведность.

Что же до миражной истины о смысле жизни всего человечества, то ехать за нею можно куда получится, да ведь дальше Астапова не доедешь.

До истины не добраться, но хоть знать, что она есть.

Бывают ли в истории человечества прямые ответы на эти ускользающие вопросы?

Прямые ответы — четыре варианта

«Вот те прямые ответы, которые дает мудрость человеческая, когда она отвечает на вопрос жизни.

“Жизнь тела есть зло и ложь. И потому уничтожение — этой жизни тела есть благо, и мы должны желать его”, — говорит Сократ.

“Жизнь есть то, чего не должно бы быть,— зло, и переход в ничто есть единственное благо жизни”,— говорит Шопенгауэр.

“Все в мире — и глупость и мудрость, и богатство и нищета, и веселье и горе — все суета и пустяки. Человек умрет, и ничего не останется. И это глупо”,— говорит Соломон.

“Жить с сознанием неизбежности страданий, ослабления, старости и смерти нельзя — надо освободить себя от жизни, от всякой возможности жизни”,— говорит Будда («Исп.», VI).

Говорят — приблизительно одно и то же, но общее впечатление от речей такое, словно не в них дело: история человечества мощными потоками идет вперед (или по спирали? По кругу?), и зависит это не от мудрости мудрецов, а от того запредельного смысла существования, о котором лучше не спрашивать. Один мудрец царствует, имея «семьсот жен и триста наложниц», и строит храм на века, другой проводит дни свои в кабинетном одиночестве, всю жизнь пишет и правит одну свою главную книгу и ложится под могильный камень, на котором — ни слова благодарности потомков, одно только имя. Третий, младенцем — едва встав на ноги, «провозглашает себя существом, превосходящим людей и богов». А четвертый обретаётся в базарном гаме и кончает жизнь по приговору базарных собеседников (потомки которых два с половиной тысячелетия спустя не знают, как расплатиться с текущими долгами).

Так что к осознанию мудрости мира и бренности бытия каждый приходит своим непредсказуемым путем.

Но тогда — что доказывают некрофильские откровения мудрецов, кроме того, что мудрость в принципе существует, но в чем она — лучше не спрашивать?

И почему Толстой, сознавая неуловимость истины и бессмысленность существования, так неутомимо очерчивает их границы?

Тут, конечно, сказывается стиль мышления. Толстой вообще мыслит понятиями определенными, в его текстах точно зафиксированные явления и понятия сцепляются и расцепляются именно как завершённые (в отличие от Достоевского, где они перетекают одно в другое)¹. У Толстого все должно быть определено. Даже неопределимое. Вот он и ходит по кругу, неустанно определяя, где что. Где перед, где зад. То есть где стены, а где бездны.

И еще что-то. И еще кто-то...

«Жизнь моя есть какая-то кем-то сыгранная надо мной глупая и злая шутка. Несмотря на то, что я не признавал никакого «кого-то», который бы меня сотворил, эта форма представления, что кто-то надо мной подшутил зло и глупо, произведя меня на свет, была самая естественная мне форма представления.

Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь потешается, глядя на меня, как я целые 30–40 лет жил, жил учась, развиваясь, возрастая телом и духом, и как я теперь, совсем окрепнув умом, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся она,— как я дурак дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет. «А ему смешно...» («Исп.», IV).

¹ Блестящий сравнительный анализ в статье Игоря Волгина «Толстой и Достоевский: разногласия в стиле» (см.: Альманах ТТ: текст и традиция, СПб., 2013).

«Ему»-то, может быть, и смешно. Но еще больше причин смеяться у историков русской литературы и общественной мысли, когда они оборачиваются на то, как приходили к безверию, богоборчеству, а то и к атеистической одержимости отпрыски тех семейств, где религиозное воспитание было самым естественным и сердечно принятым изначальным базисом жизни. Чем истовее верил такой отпрыск, тем более опасным был тот возраст, в котором он неизбежно осознавал себя «критически мыслящей личностью». Для второй половины XIX века — времени оформления и самоосознания разночинской интеллигенции — это было настолько привычно, что вызывало улыбку, если не смех. Самые крутые свободолюбцы выходили из семей священников. Ровесник Толстого Чернышевский — достаточно красноречивый пример. Или Добролюбов.

У Толстого поворот от религиозности к вольнолюбию не столь сценичен: в шестнадцать лет перестает становиться на молитву, ходить в церковь и говеть. Но еще верит. Во что верит — объяснить не может. Но ведь нужно же рано или поздно объяснить словами, назвать, определить то ощущение смысла существования, о котором нельзя ничего сказать, кроме того, что оно — есть.

Разум имеет имя: Разум.

То, что вне Разума, имени как бы не имеет. И обозначается обиняками. Сознание жизни. Голос сердца. Умозрение. Сущность. Беспричинность. Что-то...

Бога нет? Но что-то есть. Если человек живет, то он во что-нибудь верит! Без веры нельзя жить. Где жизнь, там и вера.

Вера! После полного круга исканий слово в конце концов возвращается.

Держась православия...

«Несмотря на сомнения и страдания, я еще держался православия. Но явились вопросы жизни, которые надо было разрешить, и тут разрешение этих вопросов церковью — противное самым основам той веры, которою я жил,— окончательно заставило меня отречься от возможности общения с православием. Вопросы эти были, во-первых, отношение церкви православной к другим церквям — к католицизму и к так называемым раскольникам. В это время, вследствие моего интереса к вере, я сближался с верующими разных исповеданий: католиками, протестантами, старообрядцами, молоканами и др. И много я встречал из них людей нравственно высоких и истинно верующих. Я желал быть братом этих людей. И что же? То учение, которое обещало мне соединить всех единою верою и любовью, это самое учение в лице своих лучших представителей сказало мне, что это все люди, находящиеся во лжи, что то, что дает им силу жизни, есть искушение дьявола и что мы одни в обладании единой возможной истины. И я увидел, что всех, не исповедующих одинаково с нами веру, православные считают еретиками, точь-в-точь так же, как католики и другие считают православие еретичеством; я увидел, что ко всем, не исповедующим внешними символами и словами свою веру так же, как православие,— православие, хотя и пытается скрыть это, относится враждебно...» («Исп.», XV).

Когда враждебность к другой религии пытаются скрыть, это все-таки лучше, чем когда эту враждебность открыто разворачивают, как пушку. Да в такой мирный контекст и вписаться легче исповеднику-интеллектуалу. Толстой, как всегда, исходит не из контекста, а из собственных нравственных побуждений. Но в контекст — так или иначе — вписывается. И тогда, и теперь.

В каждом случае контекст явно неоднозначен. С одной стороны — это все более

захватывающая интеллектуалов мечта о некоем неделимом человечестве, в котором сольются вместе все нации и исповедания. Экуменический окрас проступает в ручьях, которые Пушкин видел впадающими в русское море. А там и в море всемирное, как верили мечтатели пушкинского века. В русском интеллектуальном климате это объединительное течение мысли простирается и на век Толстого, и на весь наступавший XX. От Владимира Соловьева к Александру Меню — если говорить о мыслителях религиозного толка (которым за этот экуменизм иногда доставалось от более ортодоксальных коллег). Но всечеловеческий пафос выше конфессиональных границ. Толстой — при всей независимости его позиции — воспринимается в этом контексте совершенно естественно и органично.

Да контекст-то всемирно-исторический меняется совсем не в том направлении, как мечталось интеллектуалам-эсперантистам и шолоховскому Макару Нагульнову. История завела туда, куда Макар и в мыслях телят не гонял. На земле, опустошенной мировыми войнами, отдышалось не единое человечество, а расколотое на два враждебных лагеря, и следом — на пестроту общностей, готовых разодраться уже не по политическим и социальным швам, а по религиозно-исповедным. Причем если мыслители разных исповеданий по-прежнему пытаются сгладить границы верований и обезопасить их контакты, выискивая в священных текстах перекликающиеся мотивы, — непримиримость обнаруживается не в верхней бездне, а в нижней — в народных массах, неготовых мирно притираться друг к другу религиозными боками. Ислам и иудейство отгораживаются стенами и враждуют так смертельно, как и вообразить нельзя было во времена Агари и Измаила. Северная Африка залита кровью: сводят счеты христиане и мусульмане. Горят предместья Парижа, захваченные исламскими переселенцами. По всей Европе какой-нибудь платок-хиджаб становится вымпелом яростных схваток. Террор сопровождается несущимися со всех сторон воплями о Всевышнем.

В этом новом контексте чутье Толстого начинает срабатывать уже иначе, чем полтора века назад. Одно дело — когда где-то там сунниты развязывают узлы с шиитами, и другое — когда внутри отечественного православия начинают зудеть вековые язвы и грозят разойтись едва залеченные швы.

Как быть?

Как хотите

«Нельзя ли... выше понимать учение, так, чтобы с высоты учения исчезали бы различия, как они исчезают для истинно верующего? Нельзя ли идти дальше по тому пути, по которому мы идем с старообрядцами? Они утверждали, что крест, аллилуйя и хождение вокруг алтаря у нас другие. Мы сказали: вы верите в Никейский символ, в семь таинств, и мы верим. Давайте же держаться этого, а в остальном делайте, как хотите. Мы соединились с ними тем, что поставили существенное в вере выше несущественного. Теперь с католиками нельзя ли сказать: вы верите в то-то и то-то, в главное, а по отношению к filioque и папе делайте, как хотите» («Исп.», XV).

Да хотят-то люди вовсе не того, что в Символе, а того, что в крови. В исторической памяти. В инстинктах народов, безуспешно притирающихся друг к другу в нынешнем религиозном раздразе.

Безуспешно? Или все-таки успешно — если учитывать бездны, содрогающиеся под нами и над нами?

Во всяком случае, призыв Толстого: понимать учение выше, держась главных

истин и оставляя частности ритуалов на усмотрение верующих, — далеко не абсурден. Трезво прикинув нынешнюю ситуацию, я склонен считать этот призыв практичным, а может, даже и спасительным.

Толстой поставил в своей «Исповеди» оптимистическую точку. Высказал надежду, что его сочинение будет напечатано. Если не теперь, то когда-нибудь. Если не в России, то где-нибудь.

Сочинение напечатали. За границей. В России почти четверть века оно было запрещено.

Набравшись терпения, Толстой приписал к «Исповеди» краткое послесловие, где рассказал, какой он видел сон. Тот самый: сон про сон. Сверху бездна и снизу бездна. И просыпаться страшно, и спать опасно. Висишь над пропастью: вот-вот соскользнешь. От ужаса теряешь опору и медленно скользишь — все ниже и ниже — по стене...

Простите. У Толстого не «по стене».

У Толстого: «по спине».

Тоже хорошо.

Руки виноваты, а спина отвечает. Душа согрешила, а спина виновата. Была бы спина, найдется и вина.

Истина далека. Даль поближе.

II. ПОЛЬЗА И ВРЕД ТОЛКОВАНИЯ

Я не толковать хочу учение Христа, а только одного хотел бы: запретить толковать его.

Лев Толстой. В чем моя вера?

При слове «запретить» у современного человека обостряется глубоко запрятанная готовность обмануть запретителя.

Да и весь духовный облик Толстого — бесстрашного в независимости и независимого в бесстрашии — настолько не вяжется ни с какими запретами, что не вдруг поймешь, что же он имеет в виду, помяная «запрет» в начале своего трактата.

Вот несколько более полное разъяснение.

Все люди?

«Я не толковать хочу учение Христа, я хочу только рассказать, как я понял то, что есть самого простого, ясного, понятного и несомненного, обращенного ко всем людям в учении Христа, и как то, что я понял, перевернуло мою душу и дало мне спокойствие и счастье» («В чем моя вера», вступление).

Насчет спокойствия оставим вопрос открытым — его вряд ли суждено обрести писателю, уже создавшему великий роман века (и тысячелетия, если еще одно тысячелетие суждено русским) и впавшему после этого в переворачивающий душу кризис.

Счастье тоже оставим взвешивать психологам, которые объяснят, почему человек, проживший жизнь меж любящих людей, оставил семейные стены и бежал от этого счастья, чтобы умереть на случайном полустанке.

Что же тогда сокрыто в этом смятении?

А надежда почувствовать в учении Христа не арену для умственных упражнений его элитарных толкователей, а что-то такое простое, ясное, понятное и несом-

ненное, что будет обращено ко «всем людям». Задача почти иллюзорная — в предчувствии страшного века, который станет раскалывать человечество на такие ненавидящие друг друга социальные и национальные воинства, что понятие «все люди» дурной шуткой покажется этим самым «всем людям», не говоря уже о высокоумных толкователях.

Толкователи разводят людей в разнославия даже в пределах одной религии, а задача в том, чтобы спасти единство. Единство народа, страны, культуры — при таких частоколах толкований, что их прямо-таки хочется запретить.

Без этого — ни счастья, ни спокойствия.

Все церкви?

«Все христианские церкви всегда признавали, что все люди, неравные по своей учености и уму, — умные и глупые, — равны перед Богом, что всем доступна Божеская истина. Христос сказал даже, что воля Бога в том, что немудрым открывается то, что скрыто от мудрых» («В чем моя вера», вступление).

Это же абрис Истины, с замечательным мужеством очерченный Толстым в «Исповеди»! Разуму доступен именно абрис, ему, Разуму, открываются лишь загадки и закономерности мира физического, материального, рационально обозримого, опытно подтверждаемого. Смысл же бытия — в другом измерении, вернее, он в неизмеримости. Смысл Разуму непосилен, а посилен чему-то сверх Разума... инстинкту жизни, чутью сердца, умозрению... Вере, наконец. И ответ тут возможен только символически-номинальный: Смысл в существовании *есть*, но *в зем* он — тайна, которую каждое существо раскрывает своей жизнью и смертью. И чем мудреней умничанье, тем оно дальше от ответа. Не Истина в ответе, а отблеск, проблеск, отсвет ее, постигаемый верой. У каждого ответ таинственно свой, хотя вопрос — всеобщий. Ответы могут сливаться в общий хор, но это хор неответов, а Смысл у каждого — тайна его судьбы.

Так как же можно говорить: в чем вера, если это МОЯ вера?

И при чем тут «все христианские церкви»?

Арена толкований...

Поверить этому?

«Правила, даваемые церковью о вере в догматы, о соблюдении таинств, постов, молитв, мне были не нужны; а правил, основанных на христианских истинах, не было. Мало того, церковные правила ослабляли, иногда прямо уничтожали то христианское настроение, которое одно давало смысл моей жизни. Смущало меня больше всего то, что все зло людское — осуждение частных людей, осуждение целых народов, осуждение других вер и вытекавшие из таких осуждений: казни, войны, все это оправдывалось церковью. Учение Христа о смирении, неосуждении, прощении обид, о самоотвержении и любви на словах возвеличивалось церковью, и вместе с тем одобрялось на деле то, что было несовместимо с этим учением.

Неужели учение Христа было таково, что противоречия эти должны были существовать? Я не мог поверить этому» («В чем моя вера», I).

В это действительно трудно поверить — если сращивать уровни бытия, изначально и окончательно несводимые. Как свести в одной вере казни, войны, запре-

дельное насилие, возникающее в жизни народов, мучительно борющихся за существование, — и «христианское настроение», возникающее из ирреального Смысла? Если свести, то придется признать, что все посты, молитвы, догматы и прочие каноны вырабатываются церковными толкователями Христа именно с целью как-то воздействовать на невменяемую природу человека, ввести ее в рамки, и это разумно, а смирение, прощение и любовь придется оставить на небесах, откуда и ниспосылаются эти радости нам Вседержителем, или Его Сыном, или Духом Святым. Несоединимо!

А если уровни бытия — это действительно уровни единого бытия, мучительно и трагически обреченного — *быть*, то надо отдавать себе отчет в том, что один уровень — земной, то есть звериный (борьба за существование, за место под солнцем и т. д.), и укрощается он (или не укрощается) Разумом, а другой уровень — «небесный», и остается он там, на небесах, посылая вниз нам, зверью, отсветы непостижимой Истины.

То и это не совместить, не примирить и не объяснить — зло людское и смысл моей жизни, то есть суть моей веры. Это разные уровни, но это уровни единого бытия. Иначе — абсурд.

И тогда не объяснить разумно разницу между такими жестами, как непротивление злу насилием и подставление другой щеки (а подставить другую щеку — не насилие ли над своим инстинктом самосохранения?). Где вообще предел такого непротивления?

Предел непротivления

«Он говорит: „Не противьтесь злу; и, делая так, вперед знайте, что могут найтись люди, которые, ударив вас по одной щеке и не встретив отпора, ударят и по другой; отняв рубаху, отнимут и кафтан; воспользовавшись вашей работой, заставят еще работать; будут брать без отдачи... И вот если это так будет, то вы все-таки не противьтесь злу. Тем, которые будут вас бить и обижать, все-таки делайте добро...“» («В чем моя вера»).

Казуистика, из которой пытается выпутаться мой Разум вслед за Толстым, иногда идет по кругу; последний кафтан, вслед за последней рубахой оказавшийся в числе трофеев, на самом деле не последний, а как бы предпоследний... Сколько же щек должен иметь человек, если надо каждый раз подставлять «другую», по которой тебя ударят?

А вдруг не ударят? — тут для меня на мгновение Толстой приоткрывает Истину (как известно, в полной мере непостижимую). Вдруг в сознании и душе того, кто на тебя замахнулся, произойдет что-то такое, что он сменит гнев на милость, да еще и свою щеку подставит для продолжения мордобоя, а мордобой как раз и кончится?

Для этого мир должен стать другим. Исполненным добра и любви.

А как сделать, чтобы это произошло?

А никак. Это сделает Всевышний. Когда сочтет нужным. А мы должны ждать, когда это случится, и в ожидании — отвечать добром на зло. Не противиться злу насилием. И мечтать о том счастливом времени, когда насилие станет ненужным.

Мечты, мечты...

«Учение Христа о непротivлении злу — мечта! А то, что жизнь людей, в душу которых вложена жалость и любовь друг к другу, проходила и теперь проходит для

одних в устройстве костров, кнутов, колесований, плетей, рванья ноздрей, пыток, кандалов, каторг, виселиц, расстреливаний, одиночных заключений, острогов для женщин и детей, в устройстве побоищ десятками тысяч на войне, в устройстве периодических революций и пугачевщин, а жизнь других — в том, чтобы исполнять все эти ужасы, а третьих — в том, чтобы избегать этих страданий и оплачивать за них, — такая жизнь не мечта?..

...Стоит понять учение Христа, чтобы понять, что мир, не тот, который дан Богом для радости человека, а тот мир, который учрежден людьми для гибели их, есть мечта, и мечта самая дикая, ужасная, бред сумасшедшего, от которого стоит только раз проснуться, чтобы уже никогда не возвращаться к этому страшному сновидению» («В чем моя вера», IV).

Есть от чего прийти в замешательство: и там мечта, и тут мечта. Непротивление злу — мечта. И зло, которому надо бы оказать сопротивление, — оно тоже мечта. Мечта — о гибели, самая дикая и ужасная, бред сумасшествия. И люди, устраивающие побоища десятками тысяч на войне (не дожил Лев Николаевич до десятков миллионов), устраивающие периодические революции и пугачевщины (до «репетиции» 1905 года дожил, а пугачевщина и так жила в сознании рядом с казачеством), — люди, несущие другим людям гибель, в самом деле мечтают о гибели? А может, о переустройстве мира? О новом порядке? О всеобщем счастье? О праве высших особей быть высшими? Кто там на памяти?.. Немцы? Турки? Дикари?

Немцы, турки, дикари

«Придут неприятели: немцы, турки, дикари, и, если вы не будете воевать, они перебьют вас? Неправда! Если бы было общество христиан, не делающих никому зла и отдающих весь излишек своего труда другим людям, никакие неприятели — ни немцы, ни турки, ни дикие — не стали бы убивать или мучить таких людей. Они брали бы себе все то, что и так отдавали бы эти люди, для которых нет различия между русским, немцем, турком или дикарем. Если же христиане находятся среди общества нехристианского, защищающего себя войною, и христианин призывается к участию в войне, то тут-то и является для христианина возможность помочь людям, не знающим истины. Христианин для того только и знает истину, чтобы свидетельствовать о ней перед теми, которые не знают ее» («В чем моя вера», XII).

Интересен подбор неприятелей. Дикари здесь — явный литературный штамп. В следующем трактате — в «Царстве Божиим...» — таких «дикарей» будет побольше. Но в принципе никаких дикарей среди противников (или сторонников) Толстой не видел. С дикарями дела не имел (если не считать наскока каких-то тульских черносотенцев в 1908 году, о чем тогдашняя пресса написала заметку «Лев Толстой и дикари»). В толстовском перечне публицистическая функция «дикаря» может быть понята разве что в контексте пары Запад–Восток, где русские должны играть роль «дикарей», которых пытаются цивилизовать западные благодетели, а русские, обернувшись к востоку, должны в свой черед цивилизовать тамошних азиатов.

Так вот, никогда Толстой таких «дикарей» не признавал, дальше башкир на наш восток не заезжал, а залетал — душой и Разумом — стараясь освоить восточные религии. Собеседниками христиан оказывались мудрецы буддизма, ислама, короче говоря, Толстому важна была духовная культура Востока — и никаких дикарей.

С турками вопрос вроде бы несколько более реальный: в Крымской войне Толстой поучаствовал, «Севастопольские рассказы» написал, турок среди неприятелей имел (собственно, с турок дело и началось, французы и англичане влезли в Крым потом, да еще «непонятно откуда взявшаяся Сардиния»). Турки скорее деталь воинской биографии юнкера (который позднее в шутку называл себя дикарем), чем реально мыслимый неприятель.

Немцы?

Приходят незваными гостями в Ясную Поляну в 1941 году. Бои — за Шекино и Крапивну. В Ясной чуть тише: ни больших боев, ни расстрелов, ни виселиц, ни душегубок. Книжки из неприкосновенной толстовской библиотеки немецкие офицеры берут и с немецкой же аккуратностью возвращают на место. Это мне рассказывал Георгий Владимов, собиравший материал для биографии Гудериана. Очень трогательно. Бесчинства оккупантов — вполне в рамках тогдашней дикой практики². Пришлось-таки вышибать вежливых гостей — полным набором «противления злу насилием». Хотя зло тут вроде бы по щекам не хлестало. Оно ж числилось за христианским ведомством! Различия между папством и лютеранством этой христианской приписанности не мешали. Мешали толкования целей. А под ней — роковая вражда, сталкивающая народы.

Это — немцы, далекие родичи всех российских Толстых. Да тут и близкие: жена Толстого — немка.

Чем связаны эти скопления людей, идущих уничтожать друг друга?

Толстой говорит: обманом.

Сплоченность этой массы — сцепление обманом

«Люди, связанные друг с другом обманом, составляют из себя как бы сплоченную массу. Сплоченность этой массы и есть зло мира. Вся разумная деятельность человечества направлена на разрушение этого сцепления обмана.

Все революции суть попытки насильственного разбивания этой массы. Людям представляется, что если они разобьют эту массу, то она перестанет быть массой, и они бьют по ней; но, стараясь разбить ее, они только куют ее...» («В чем моя вера», XII).

Потрясающее место. Рука великого писателя, бесстрашие великого мыслителя. Хотят разбить, расколоть сплотившуюся массу, а в результате ее куют. Если есть что-то общее между революционной лавой и правильным строем, то эта вот инстинктивная сцепленность людей, спасающихся от гибельного одиночества. Участники бунтовского шествия и солдаты марширующей армии — это те же самые люди, которых эпоха развела то ли обманом, то ли правдой, а правда у каждого своя.

Из воспоминаний Сергея Эфрона: в 1917 году подростки подбирают на улицах брошенное юнкерами оружие; гимназисты несут его в классы, ученики реальных училищ — на чердаки. И те и другие по ходу дел сплываются в отряды: те, что сидят по классам — в белые, те, что на чердаках — в красные. Потом под белыми и

² Свидетельство историков: «Немцы устроили в доме великого писателя казарму. Жгли, уничтожали книги, мебель, картины. В спальне открыли казино, в одной из комнат — сапожную мастерскую. Оккупанты расхищали все, что попадалось под руку. При отступлении подожгли усадьбу». Факт, ставший широко известным: рядом с могилой Толстого гитлеровцы хоронили своих. Кошунство? Или они решили, что это кладбище?

красными знаменами из этих раскованных и перекованных масс сплываются армии, идущие уничтожать друг друга.

И вот вопрос, который возникает к финалу этих раздумий: человек в этой откованной массе исчезает как личность? Или каким-то чудом сохраняет себя? Какой-то внутренней силой... при обмане сцепления...

При обмане сцепления?

«...Но сколько бы они ни ковали ее, сцепление частиц не уничтожится, пока внутренняя сила не сообщится частицам массы и не заставит их отделяться от нее.

Сила сцепления людей есть ложь, обман. Сила, освобождающая каждую частицу людского сцепления, есть истина. Истина же передается людям только делами истины. Только дела истины, внося свет в сознание каждого человека, разрушают сцепление обмана, отрывают одного за другим людей от массы, связанной между собою сцеплением обмана.

И вот уже 1800 лет делается это дело.

С тех пор, как заповеди Христа поставлены перед человечеством, началась эта работа, и не кончится она до тех пор, пока не будет исполнено все, как и сказал это Христос» («В чем моя вера», XII).

Она вообще никогда не кончится. И делается это дело не 1800 лет новой эры, а столько, сколько существует человечество, хотя далеко не всегда Разум помогает ему упорядочить происходящее, Смысл же всегда маячит загадочно. И будет маячить, наблюдая, как Разум решает практические задачи, мостит пути и выковывает идущие по этим путям колонны. Во главе колонн — вожди и смутьяны, фюреры и генсеки, дуче и каудильо, а также самозабвенные идеологи, толкующие так и эдак священные тексты.

Фюреров XX века Толстой не дождался. Идеологов — хватало, они работали вовсю и даже использовали Толстого как зеркало. Он же был больше занят тем, как толкуют учение Христа церковные деятели. Тогда это казалось существенным. Теперь тоже, но по другой причине.

В свете конца света

«В наше время жизнь мира идет своим ходом, совершенно независимо от учения церкви. Учение это осталось так далеко назад, что люди мира не слышат уже голосов учителей церкви. Да и слушать нечего, потому что церковь только дает объяснения того устройства жизни, из которого уже вырос мир и которого или уже вовсе нет, или которое неудержимо разрушается» («В чем моя вера», XII).

В наше время жизнь своим ходом показывает, как неудержимо разрушаются очередные ее устройства. Не спокойное счастье брезжит на горизонте, а напряженное соперничество готовых к бою устройств, которые упорно совершенствуются. Хотя страх глобальной катастрофы удерживает человечество от финальных экспериментов вроде атомной войны.

Разум делает, что может, но Смысл существования граничит с бессмыслицей: толкования Истины множатся, сцепляются, сливаются и снова множатся.

Не только христиане ищут свои ответы в этой безответности, но и безнадежно разделенные разноверцы: магометане, иудеи, буддисты, конфуцианцы, даосисты и другие расщепленные и сцепленные в мировых религиях люди, — но и внутри этих доктрин множатся и множатся толкования.

Да еще и подключаются к бледнолицым краснолицые, чернолицые, желтолицые участники общей драмы бытия, и далеко не в роли «дикарей».

Конца этому не видно, конца и не будет... если это не будет конец света для человечества с его неопознанными конечными Смыслами и бессмысленными победами Разума.

Как сохранить себя нам, русским, в этой мировой драме бытия? Чем держаться? Чему довериться? Во что верить?

Выбор небольшой — отсюда нынешнее стремление наших людей к церкви, многократно ими же проклятой: хотя бы вокруг нее — сплотиться. Не потерять единства, не распасться, не исчезнуть. В свете этой задачи темные места и еще более затемняющие их толкования давно почивших авгуров не так уж и важны. Их можно стерпеть, забыть, простить, понять. Говорю это как нераскаянный православный атеист советского разлива, не мыслящий себя вне России. И вне родной массы, в которую я вкован.

Человек, вкованный в массу, как правило, понимает, что ему из нее не вырваться. И шагает, сознавая законы строя, законы бунта и ту цену, которую он заплатит, если вырвется из строя или из бунта.

Что ему остается — шагая в строю или ломая строй в случае общего очередного безумия?

Помнить, во что он все-таки верит.

Итог

«Я верю в учение Христа и вот в чем моя вера.

Я верю, что благо мое возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа.

Я верю, что исполнение этого учения возможно, легко и радостно» («В чем моя вера», XII).

Все люди никогда не удержатся в рамках одного объединяющего их всех учения. Это невозможно из-за непосильной разницы условий жизни. *Возможно* лишь сосуществование, острое соприкосновение, мудрое соотнесение разных вер, возникающих из разного жизненного опыта.

Легко и радостно бывает только в перемежку с тяжелым и горьким.

Чтобы это выдерживать, нужна в базисе вера — простая, ясная и твердая.

Имея такую веру, можно не опасаться толкований.

III. ОТ ВАС ДО НАС

Царство Божие внутри вас...

Эпиграф из Евангелия от Луки к первоначальной редакции трактата, окончательно названного Толстым: «Царство Божие внутри нас»

Четвертому не бывать?

«Три жизнепонимания... Первое — личное, или животное, второе — общественное, или языческое, и третье — всемирное, или Божеское.

По первому жизнепониманию жизнь человека заключается в одной его личности; цель его жизни — в удовлетворении воли этой личности. По второму жизнепо-

ниманию жизнь человека заключается не в одной его личности, а в совокупности и последовательности личностей; в племени, семье, роде, государстве; цель жизни заключается в удовлетворении воли этой совокупности личностей. По третьему жизнепониманию жизнь человека заключается и не в своей личности и не в совокупности и последовательности личностей, а в начале и источнике жизни — в Боге» («Царство...», IV).

В русской философии XX века устоялось следующее словоупотребление применительно к этим трем уровням. Первое, «животное» — *особь*. Второе, «общественное» — *индивид*. И третье, высшее — через контакт с окончательным Смыслом — *лигность*. Это надо иметь в виду, встречая категорию личности у Толстого. В принципе триада работает. Четвертого не требуется.

Смысл жизни

«Как отдельный человек не может жить, не имея известного представления о смысле своей жизни, и всегда, хотя часто и бессознательно, соображает свои поступки с этим придаваемым им своей жизни смыслом, так точно и совокупности людей, живущих в одинаковых условиях — народы, не могут не иметь представления о смысле их совокупной жизни и вытекающей из нее деятельности. И как отдельный человек, вступая в новый возраст, неизбежно изменяет свое понимание жизни, и взрослый человек видит смысл ее в ином, чем ребенок, так точно и совокупность людей, народа, неизбежно, соответственно возрасту своему, изменяет свое понимание жизни и вытекающую из этого понимания деятельность» («Царство...»).

Так все-таки: есть ли ответ на вопрос о смысле существования?

Есть. И нет.

В этой невыносимости — замечательное прозрение Толстого, автора «Исповеди» и примыкающих к ней работ.

Нет конкретного ответа о смысле.

Так зачем задавать такой вопрос?

Именно затем, чтобы задавать его. Чтобы задаваться им. Безответно и неустанно. Чтобы знать: смысл есть.

А в чем он — это открывается ходом жизни. И фактом смерти. Трагическим опытом существования. Верой в этот сокрытый и открывающийся смысл.

В чем вера?

В осознании сокровения.

Разуму это не поддается. Поддается чувству жизни помимо Разума, часто бессознательно. Меняется в зависимости от опыта, часто по ходу взросления особи (личности, говорит Толстой), по ходу судьбы общности, общины, общества, совокупности людей, живущих вместе (народа, говорит Толстой).

Возраст народа — такое же обоснование смысла его жизни, как возраст индивида.

У него — как у меня.

У вас — как у нас.

И притом не у кого спросить?

«Различие в этом отношении отдельного человека от всего человечества состоит в том, что, тогда как отдельный человек в определении свойственного тому новому периоду жизни, в который он вступает, понимания жизни и вытекающей из

него деятельности пользуется указаниями прежде живших его людей, переживших уже тот возраст, в который он вступает, человечество не может иметь этих указаний, потому что оно все подвигается по не исследованному еще пути и не у кого спросить, как надо понимать жизнь и действовать в тех новых условиях, в которые оно вступает и в которых еще никто никогда не жил».

Ну уж и не жил! И спросить не у кого...

Да вся история человечества, сопровождаемая преданием, потом писанием, потом изданиями, — это же сплошной справочник, «учебник жизни»!

Как это «нет указаний»? Да всякая новая доктрина (марксизм и нацизм — это уж на ближней памяти) сплошные указания: кому верить, во что верить, как верить, как не верить.

Народы учатся друг у друга, иногда от противного — изучая врагов своих. Но даже когда копируют, любя, — смысл копии оказывается неподвижным.

Мы думали, что строим Третий Рим. Оказалось — «пятый угол» в «расчетверенном» войнами человечестве.

Формации, агломерации, федерации — это все хорошо для расчетов Разума. Путь личности — изумление. Путь народа — неведомое. Смысл пути — тайна.

И потому религия...

«И потому религия, во-первых, не есть, как это думает наука, явление, когда-то сопутствовавшее развитию человечества, но потом пережитое им, а есть всегда присущее жизни человечества явление, и в наше время столь же неизбежно присущее человечеству, как и во всякое другое время. Во-вторых, религия всегда есть определение деятельности будущего, а не прошедшего, и потому очевидно, что исследование прошедших явлений ни в каком случае не может захватить сущности религии» («Царство...»).

И потому очередной вековой припадок атеистического неверия сменился у нас теперь очередным припаданием к религии. Понять бы только, где у этого головокружительного ритма истории прошлое, а где будущее. Если будущее — это хорошо забытое прошлое, так о смысле этого прошлого лучше не спрашивать, ибо смысл изначально и окончательно неведом.

И потому религия, во-первых, есть опиум, необходимый любому народу во все эпохи, как в прошлом, так и в будущем, а во-вторых, это фантастическое отражение тех земных сил, которые в головах людей принимают формы небесных... Простите, но это уже марксизм. Особенно полезный при осознании опиума, когда эти силы, сыграв земные роли, возвращаются опять на небеса.

Иная, чем прежняя

«Сущность всякого религиозного учения — не в желании символического выражения сил природы, не в страхе перед ними, не в потребности к чудесному и не во внешних формах ее проявления, как это думают люди науки. Сущность религии в свойстве людей пророчески предвидеть и указывать тот путь жизни, по которому должно идти человечество, в ином, чем прежде, определении смысла жизни, из которого вытекает и иная, чем прежняя, вся будущая деятельность человечества» («Царство...»).

Предвидеть? Допустим. Указывать? Что-то страшновато. Путь жизни, по которому должно идти человечество, — иной, чем указывало прежде определе-

ние смысла жизни? Да смысл во всякую эпоху открывается но-новому. И если из иного понимания вытекает иная, чем прежняя, вся будущая деятельность человечества, — так только бы жизнь не вытекла вон из этого очередного понимания.

А так — будем готовы ко всему.

Провидцы и коноводы

«Свойство провидения того пути, по которому должно идти человечество, в большей или меньшей степени обще всем людям; но всегда во все времена были люди, в которых это свойство проявлялось с особенной силой, и люди эти ясно и точно выражали то, что смутно чувствовали все люди, и устанавливали новое понимание жизни, из которого вытекала иная, чем прежняя, деятельность, на многие сотни и тысячи лет» («Царство...»).

Что из чего вытекает, не угадать. Мой вопрос в другом: почему праведники и провидцы, признанные всем человечеством, так несхожи в своих учениях? Конфуций и Будда, Христос и Мохаммед признаны всем человечеством, но не потому, что указали путь всему человечеству, а потому, что указали путь тем, которые за ними пошли. То есть эти провидцы угадали то, к чему эти их последователи были готовы, хотя и не сознавали этого? А осознали — провидцы и праведники.

А миллионы людей в разных концах земли (и на разных стадиях самосознания) готовы бывают иногда к несовместимо разному пониманию смысла существования (и стиля жизни).

И кроме праведных вероучителей, случаются во главе этих миллионов коноводы совсем другого толка. Особенно если пути смутны и если смута толкает к горячке, скачке, стычке. Бисмарк сказал о таких вождях, что это всадники, которые вскакивают на лошадей истории и держатся, пока могут. А потом слетают под копыта. Такие коноводы тоже ведь чувствуют за собой дыхание миллионов! Хотя поначалу иногда сидят тихо в каком-нибудь Разливе. В какой-нибудь пивной. И пишут. «Государство и революцию». «Мою борьбу».

Интересно, а Бонапарт, дергающийся внутри кареты и воображающий, что он ею управляет, — он ведь тоже пролагает пути, если за ним идет пол-Европы? Так дело в том, куда и как идут народы, сосуществующие или соперничающие на земных путях под общими небесами. И смутно чувствуют смысл существования (и соперничества), — пока эту смуту не прояснит своими ударами судьба. А уж фельдфебели, капралы, сапожниковы дети и прочие фюреры, дуче и генсеки возникают в ответ на чаяния миллионов — как следствие трагических народных судеб.

Иногда и с хоруговьями в руках.

Возвращаемся к пройденному. Бог троицу любит

«Таких пониманий жизни мы знаем три: два уже пережитых человечеством, и третье, которое мы теперь переживаем в христианстве. Пониманий таких три, и только три, не потому, что мы произвольно соединили различные жизнепонимания в эти три, а потому, что поступки всех людей имеют всегда в основе одно из этих трех жизнепониманий, потому что иначе, как только этими тремя способами, мы не можем понимать жизнь...» («Царство...»).

Почему только в христианстве? А в буддизме нет? А в иудаизме? А в исламе... Но не будем уходить от сути: оценим то тройственное жизнепонимание, которое было

обещано в начале трактата. И которое русские философы XX века разработали по схеме: особь — индивид — личность. Но примем толстовскую терминологию.

Вся история

«Три жизнепонимания: первое — личное, или животное, второе — общественное, или языческое, и третье — всемирное, или Божеское.

По первому жизнепониманию жизнь человека заключается в одной его личности; цель его жизни — в удовлетворении воли этой личности. По второму жизнепониманию жизнь человека заключается не в одной его личности, а в совокупности и последовательности личностей; в племени, семье, роде, государстве; цель жизни заключается в удовлетворении воли этой совокупности личностей. По третьему жизнепониманию жизнь человека заключается и не в своей личности и не в совокупности и последовательности личностей, а в начале и источнике жизни — в Боге.

Эти три жизнепонимания служат основой всех существовавших и существующих религий.

Дикарь признает жизнь только в себе, в своих личных желаниях. Благо его жизни сосредоточено в нем одном. Высшее благо для него есть наиполнейшее удовлетворение его похоти. Двигатель его жизни есть личное наслаждение. Религия его состоит в умилостивлении божества к своей личности и в поклонении воображаемым личностям богов, живущим только для личных целей.

Человек языческий, общественный признает жизнь уже не в одном себе, но в совокупности личностей — в племени, семье, роде, государстве, и жертвует для этих совокупностей своим личным благом. Двигатель его жизни есть слава. Религия его состоит в возвеличении глав союзов: родоначальников, предков, государей и в поклонении богам — исключительным покровителям его семьи, его рода, народа, государства.

Человек божеского жизнепонимания признает жизнь уже не в своей личности и не в совокупности личностей (в семье, роде, народе, отечестве или государстве), а в источнике вечной, неумирающей жизни — в Боге; и для исполнения воли Бога жертвует и своим личным, и семейным, и общественным благом. Двигатель его жизни есть любовь. И религия его есть поклонение делом и истиной началу всего — Богу.

Вся жизнь историческая человечества есть не что иное, как постепенный переход от жизнепонимания личного, животного к жизнепониманию общественному и от жизнепонимания общественного к жизнепониманию божескому. Вся история древних народов, продолжавшаяся тысячелетия и заканчивающаяся историей Рима, есть история замены животного, личного жизнепонимания общественным и государственным. Вся история со времени императорского Рима и появления христианства есть, переживаемая нами и теперь, история замены государственного жизнепонимания божеским...» («Царство...»).

«Вся история» загадочна уже тем, что хочет выпасть из разумных границ. А может, напротив, хочет в такие границы вписаться, иначе она не «вся».

«Дикарь», помянутый Толстым для обозначения личных похотей особи, говорит скорее о минувшей эпохе великих открытий и колониальных империй, чем о продолжающейся теперь реальности. Было время, когда белолицее человечество объявило себя исторически ответственным на многоцветном фоне отсталых племен, рас и народов. Аборигены обеих Америк, Австралии, Африки, Океании и т. д. остались как бы на низшей (или на средней) ступени трехмерного развития, откуда следовало их всечеловечески поднять.

С развалом колониальной системы и утверждением глобальной экономики, с

мгновенным перебросом капиталов и инноваций туда, где их можно внедрить, эта трехступенная лестница не исчезла. Но переменяла масштабы. Она продолжает действовать в пределах любой отдельно взятой общности, этнической или социальной. Но мировой баланс подравнивает всех участников мировой истории в смысле материальных и интеллектуальных возможностей.

К примеру, у американского аборигена, живущего среди топей Амазонки или среди фермерских полей и дорог в Соединенных Штатах, есть сегодня экономическая и технологическая возможность подняться до среднецивилизационного уровня жизни. И если он от этого уклоняется, то либо по диктату неизменных пока что природных условий, либо — что важнее! — потому что хочет, чтобы внуки и правнуки обрели покой там, где лежат деды и прадеды.

То есть в каждом региональном случае толстовская трехступенная лестница работает, и внутри этноса или социума особь подымается до роли индивида в системе, а потом взлетает до Божества.

Теперь вопрос стоит так: до *своего* Божества? Или до некоего общечеловеческого Вседержителя, с которым соизмерима «вся история»?

Можно ли представить сегодня, что все мировые религии сольются в нечто неразлично общее?

Оно конечно, выдающиеся умы и религиозные гении только и делают, что призывают к такому единству и увещевают их быть терпимыми к инаковерующим. Но коноводы и всадники знают другое: они чувствуют, что массы не очень-то поддаются этим увещаниям. А движимые инстинктом выживания отстаивают границы своих верований и бьются насмерть из-за спорных территорий. А спорной территорией может оказаться что угодно. Какое-нибудь норвежское озеро, облюбованное иммигрантами с юга. Парижский пригород, захваченный гастарбайтерами. А уж там пиши пропало: христиане и мусульмане дерутся на улицах Каира и жгут храмы друг друга там, где когда-то Нил собирал вместе племена и народы.

«Вся история» укладывается, по Толстому, в границы тысячелетнего перехода от непонимания животного к общественному, а потом к божескому. То есть, как он думает, к христианскому.

А вдруг не только к христианскому?

А если «вся история» на этом не кончится?

А если она все-таки кончится, то какого смертного эпилога надо ждать от ее конца?

Не нынче, так завтра

«Мы все призваны к участию в убийстве, которое неизбежно, не нынче, так завтра должно совершиться...» («Царство...»).

Как?! И это пишется в 1890-е годы! В конце века, спасшего страну от непобедимого дотолле агрессора! Века, который из невменяемого проклятого будущего будет сочтен мирно-созидательным! Века, от которого еще пять лет до русско-японской войны, а потом еще десять — до мировой!

Поразительно все-таки чутье Толстого. Да если бы ему самому сказать, какое будущее он предчувствует, — как бы он отреагировал, чисто человечески?

Как?!

«Как! Мы все христиане, не только исповедуем любовь друг к другу, но действительно живем одной общей жизнью, одними ударами бьется пульс нашей

жизни, мы помогаем друг другу, учимся друг у друга, все больше и больше, ко взаимной радости, любовно сближаемся друг с другом! В этом сближении — смысл всей жизни, и завтра какой-нибудь ошалелый глава правительства скажет какую-нибудь глупость, другой ответит такой же, и я пойду, сам подвергаясь убийству, убивать людей, не только мне ничего не сделавших, но которых я люблю. И это не отдаленная случайность, а это то самое, к чему мы все готовимся, и есть не только вероятное, но неизбежное событие.

Достаточно ясно сознать это для того, чтобы сойти с ума или застрелиться...» («Царство...»).

Ни сойти с ума, ни застрелиться человек толстовского закала не согласен. Он идет воевать в Севастополь, а потом памятью и душой — в Бородино.

В чем же смысл существования?

Ответ 1812 года: отбиться от гибели.

Ответ 1941 года: отбиться от гибели.

Ответ 2013 года: непонятно, зачем живем. Наестся? Напиться? Натусоваться? Продать из-под себя нефть и газ?

Или это неизбежно: смысл существования проступает из тьмы при смертельной угрозе существованию?

Если так, то Толстой — вестник божий. «Война и мир» — книга против французов, начатая с французской речи и вернувшая народу ударом его же дубины ощущение смысла жизни. Потом, с этой книгой в сердце, в 1941 год, мы отступали в «Войну и мир», отбиваясь от немцев, когда-то давших России род Толстых! Неисповедимы пути истории. Неисповедим Смысл. Неисповедимы пути к Смыслу.

Приплыть к тому месту, к которому хочешь

«Нельзя требовать слишком многого», говорят обыкновенно люди, обсуждая требования христианского учения...

Но говорить так — все равно, что говорить человеку, переплывающему быструю реку и направляющему свой ход против течения, что нельзя переплыть реку, направляясь против течения, что для того, чтобы переплыть ее, надо плыть по тому направлению, по которому он хочет идти.

Учение Христа тем отличается от прежних учений, что оно руководит людьми не внешними правилами, а внутренним сознанием возможности достижения божеского совершенства. И в душе человека находятся не умеренные правила справедливости и филантропии, а идеал полного, бесконечного божеского совершенства. Только стремление к этому совершенству отклоняет направление жизни человека от животного состояния к божескому настолько, насколько это возможно в этой жизни.

Для того, чтобы пристать к тому месту, к которому хочешь, надо всеми силами направлять ход гораздо выше...» («Царство...»).

Что-то душа петляет... Не знает, куда причалить?

Да не причалить она хочет, а уплыть в бесконечность. А коли причалит, так что на причале найдет? Какой Смысл ей очертится? Спасение от гибели? Жизнь вечная? Что это за плавание без берегов? За что зацепиться? За человечество, в котором обретаются все эти особи, индивиды, нации, народы, общности, общества?

Человечество?!

Человечество? Где предел человечества? Где оно кончается или начинается?

Кончается ли человечество дикарем, идиотом, алкоголиком, сумасшедшим включительно? Если мы проведем черту, отделяющую человечество, так, что исключим низших представителей человеческого рода, то где мы проведем черту? Исключим ли мы негров, как их исключают американцы, и индийцев, как их исключают некоторые англичане, и евреев, как их исключают некоторые? Если же мы захватим всех людей без исключения, то почему же мы захватим одних только людей, а не высших животных, из которых многие выше низших представителей человеческого рода?

Человечество мы не знаем, как внешний предмет, не знаем пределов его. Человечество есть фикция, и его нельзя любить. Действительно, очень выгодно бы было, если бы люди могли любить человечество, как они любят семью; было бы очень выгодно, как про это толкуют коммунисты, заменить соревновательное направление деятельности людской общинным или индивидуальное универсальным, чтобы каждый для всех и все для одного, да только нет для этого никаких мотивов.

Необходимость расширения области любви несомненна; но вместе с тем эта самая необходимость расширения ее в действительности уничтожает возможность любви и доказывает недостаточность любви личной, человеческой.

И вот тут-то проповедники позитивистического, коммунистического, социального братства на помощь этой оказавшейся несостоятельной человеческой любви предлагают христианскую любовь, но только в ее последствиях, но не в ее основах: они предлагают любовь к одному человечеству без любви к Богу.

Отмежевание от коммунистов здесь куда интереснее эпитафии эфемерному человечеству. Коммунистам, правда, не пришлось в истории очищать себя от «низших» представителей, вроде негров, индейцев или евреев, коммунисты, напротив, старались привлечь их на свою сторону, а драться насмерть коммунистам пришлось с такими «высшими» сверхчеловеками, как нацисты. Но это уже в пост-толстовскую эпоху. И вот что Толстой уловил безошибочно — безбожие коммунистов, которым в их борьбе за все человечество сподручнее было обходиться вовсе без бога, чем вести с ним бесконечные тяжбы. Особенно важно: эта безбожная любовь к человечеству, которую коммунисты решили возглавить, была попыткой обнять всех. На практике это не получалось: в пылу борьбы коммунисты чаще выбирали принцип «Кто не с нами, тот против нас», предпочитая его принципу «Кто не против нас, тот с нами», но мечту осчастливить *всех* Толстой почувствовал остро. Ибо необходимость *расширения области любви* была для него несомненна. Вопрос только в том, как это практически осуществить в человечестве. И куда денутся все эти, которые мешают.

Все эти олигархи...

«Большинство богатых людей точно так же в наше время составляются уже не из самых утонченных и образованных людей общества, как это было прежде, а или из грубых собирателей богатств, занятых только обогащением себя, большею частью нечестными средствами, или из вырождающихся наследников этих собирателей, не только не играющих выдающейся роли в обществе, но подвергающихся в большинстве случаев всеобщему презрению...»

Особенно хороши в этой роли *наследники*, как правило, не прямые и даже не косвенные, а внуки и правнуки тех революционеров, которые в эпоху кровавых

разборок перебили наследников законных. И пересели с коней, на которых надо было держаться верхом, в автомобили, над которыми надо держать соответствующие знаки красные или зеленые в зависимости от цвета налетевшей эпохи.

Все эти посланные...

«Но приходит время и придет, когда станет всем совершенно ясно, что они ни на что не нужны, а только мешают людям, и люди, которым они мешают, скажут им ласково и кротко: “Не мешайте нам, пожалуйста”. И все эти посланные и посылающие должны будут последовать этому доброму совету, т. е. перестать, подбоченясь, ездить между людьми, мешая им, а слезши с своих коньков и снявши с себя свои наряды, послушать то, что говорят люди, и, присоединясь к ним, приняться со всеми вместе за настоящую человеческую работу...»

С коня крутого начальника надо было стаскивать силой, из «мерседеса» его можно попросить «добрым советом»... Времена меняются? Или меняются только цвета государственных знамен и цветы государственных гербов? Иногда так непредсказуемо меняются, что хочется оставить в неприкосновенности что-нибудь символическое... вроде его величества на троне... Толстой и это предчувствует.

Все эти венценосные...

«Когда же все это совсем и всем делается вполне ясным, естественно будет людям спросить себя: “Да зачем же нам кормить и содержать всех этих королей, императоров, президентов и членов разных палат и министерств, ежели от всех их свиданий и разговоров ничего не выходит? Не лучше ли, как говорил какой-то шутник, сделать королеву из гуттаперчи?”»

Шутник отлично чувствовал долю истины в этой шутке. Перебрав нынешние правящие дома, можно найти и королеву, и короля, и наследника, верой и правдой служащих дому и делу, то есть прикрывающих и обеляющих своим условным авторитетом дела меняющихся практических воротил, за которыми стоят голосующие за них массы. А этом случае не так важно, из чего монарх: из гуттаперчи, из силикона или из авиационного бензина, — а то важно, что его терпят массы, любят массы, боготворят массы, чувствующие, что они реальная сила, а он — да пусть же избранник божий... без какой народной силы ни один избранник долго не удержится. Ни на троне, ни на иконе, ни в бронированном «мерседесе», ни на гуттаперчевом коне.

А люди?

«Как ни странно и ни противоречиво это кажется, все люди нашего времени ненавидят тот самый порядок вещей, который они сами же поддерживают».

Поразительно точное суждение. Именно потому, что по логике Разума — предельно противоречивое. И не только для «нашего времени». А уж для *нашего*, то есть послетолстовского, — настолько абсурдное, что Разуму тут вообще делать нечего. Не поймешь, добрые или злые люди держат строй в государстве (держат друг друга за горло), — они меняются ролями в зависимости от ситуации. Меняются ролями палачи и жертвы, вожди и бунтари. В вождях оказывается человек, который в другой ситуации сидел бы тихо и малевал свои пейзажики, но двинулись миры, и за таким художником, подталкивая и вдохновляя его, движется народ:

немцы, веками затиснутые в леса Северной Европы, подчиняясь сокровенному жребию судьбы, валом валят на восток, к Уралу, уничтожая все, что мешает этому расширению жизненного пространства — lebensraum.

А все, что мешает, готово лечь миллионами жертв, препятствуя этому «дрангу нах Остен», и эти народы тоже находят себе вождя, имя которого ассоциируют с Родиной.

По миновании эпохи любовь к этим вождям переходит в ненависть. Сначала у немцев, а теперь и у нас.

Круг, вроде бы разомкнутый для Высшего Смысла, замыкается.

Замкнутый круг

«Круг замкнут, и вырваться из него силой нет никакой возможности. Если некоторые люди утверждают, что освобождение от насилия или хотя бы ослабление его может произойти вследствие того, что угнетенные люди, свергнув силою угнетающее правительство, заменят его новым, таким, при котором уже не будет нужно такого насилия и порабощения людей, и некоторые люди пытаются делать это, то эти люди только обманывают себя и других и этим не улучшают, а только ухудшают положение людей. Деятельность этих людей только усиливает деспотизм правительств. Попытки освобождения этих людей дают только удобный предлог правительствам для усиления своей власти и вызывают усиление ее...»

Опять «правительства»! Да не в них же дело! Дело в людях! В массах людей!

А где границы этой дурной бесконечности?

Самое время еще раз оглянуться на мнимость, называемую человечеством, — на эфемерность, где «эти люди» и «те люди» насилуют и спасают друг друга.

И те, и эти...

«„Злые будут властвовать над добрыми и насиловать их“. Да ведь другого никогда ничего не было и не может быть. Так всегда было с начала мира и так это до сих пор. Злые всегда властвуют над добрыми и всегда насилуют их. Каин насилывал Авеля, хитрый Иаков властвовал над доверчивым Исавом, обманувший его Лаван над Иаковым, Каиафа и Пилат властвовали над Христом, римские императоры властвовали над Сенеками, Эпиктетами и добрыми римлянами, жившими в их время, Иоанн IV с своими опричниками, пьяный сифилитик Петр со своими шутами, блудница Екатерина со своими любовниками властвовали над трудолюбивыми религиозными русскими людьми своего времени и насилывали их. Вильгельм властвует над немцами. Стамбулов над болгарами, русские чиновники над русским народом. Немцы властвовали над итальянцами, теперь властвуют над венгерцами и славянами; турки властвовали и властвуют над славянами и греками; англичане властвуют над индейцами, монголы над китайцами...»

То есть все над всеми всегда и везде...

Так к чему готовиться?

Ко всему.

И как это выдержать?

Вот тут-то и находит Толстой точку, в которой можно если не повернуть события, роковой ход которых неотвратим, то хотя смягчить его.

Это — та самая апелляция ко всем, та надежда докричаться до *наибольшего* чис-

ла людей, — то *расширение области любви*, которое я счел бы лейтмотивом довольно противоречивой, иногда и честно запутанной, но пронзительно искренней толстовской исповеди-проповеди.

От вас до нас

«Положение кажется безвыходным. И оно было бы таковым, если бы человеку, а потому и ВСЕМ людям, не была дана возможность иного, высшего понимания жизни, сразу освобождающего его от ВСЕХ тех уз, которые, казалось, неразрывно связывали его...»

«Христианское учение есть указание человеку на то, что сущность его души есть любовь, что благо его получается не оттого, что он будет любить того-то и того-то, а оттого, что он будет любить начало ВСЕГО — Бога, которого он сознает в себе любовью, и потому будет любить ВСЕХ и ВСЕ» (IV).

«Теперь не одно меньшинство людей, всегда понимавших христианство внутренним путем, признает его в его истинном значении, но и ВСЕ то огромное большинство людей, кажущееся по своей общественной жизни столь далеко отстоящим от христианства...»

Дойти до ВСЕХ — не менее титаническая работа, чем ощупать такую неошутимую мнимость, как «все человечество».

Но почувствовать, как спасительное мироучение захватывает тебя самого, — это уже великое откровение личности.

От ощущения, описанного в Евангелии от Луки, когда Иисус говорит фарисеям, отвечая на их вопрос о том, как «приметить» приход Царства Божия: «И не скажут: “вот оно здесь” или “вот, там”. Ибо вот, Царство Божие внутри вас...» — Лев Толстой проникается ощущением, меняющим название его исповеди: «Царство Божие внутри нас...»

Значит ли это, что судьба перестанет испытывать нас?

«Придет время и приходит уже, когда христианские основы жизни равенства, братства людей, общности имуществ, непротивления злу насильем — сделаются столь же естественными и простыми, какими теперь нам кажутся основы жизни семейной, общественной, государственной...» («Царство...», V).

«...Когда наступит этот час...»

Никогда.

IV. СОРВАННОЕ МОЛЧАНИЕ

Холодные ноги

«Беру в руки газету, в заголовке: 7 смертных казней...»

Этих людей, мужей, отцов, сыновей, таких же, как они, мы одеваем в саваны, надеваем на них колпаки и под охраной из них же взятых обманутых солдат мы взводим на возвышение под виселицу, надеваем по очереди на них петли, выталкиваем из-под ног скамейки, и они один за другим затягивают своей тяжестью на шее петли, задыхаются, корчатся и, за три минуты полные жизни, данной им богом, застывают

в мертвой неподвижности, и доктор ходит и щупает им ноги — холодны ли они. И это делается не над одним, не нечаянно, не над каким-нибудь извергом, а над *двадцатью* обманутыми мужиками, кормильцами нашими. А те, кто главные виновники и попустители этих ужасных преступлений всех законов божеских и человеческих — г-н Столыпин говорит бесчеловечные, глупые, чтоб не сказать отвратительные, спокойные речи, старательно придуманные глупости о Финляндии, и [в] думе господ Гучковы и Милюковы вызывают друг друга на дуэль, и самый глупый и бесчеловечнейший из всех г-н Романов, называемый Николай второй, смотрит казачью сотню и за что-то благодарит...» («Не могу молчать», рукопись).

Самый глупый, называемый Николай второй, — действительно несчастнейший из российских государей, изначально обреченный Иов. Но тот, кто знает его конец и конец его семьи и династии, — вряд ли примет такую победоносно-пренебрежительную интонацию.

Непросто и со Столыпиным. Дела его взвесили историки век спустя, когда в Москве готовились ставить ему памятник. Все взвесили, но так и не докопались, кто же его «заказал»: действовал ли убийца Богров во славу честной революции или во славу подлой власти, казнившей исполнителя через неделю после убийства.

В чем Толстой безукоризнен — так это в описании подробностей казни. Чувствуется рука гениального писателя. Умолкнувший было Разум пробует холодеющую ногу. Простых крестьян казнят, ставших солдатами кормильцев наших.

Сегодня они кормильцы и защитники, завтра — бунтари и преступники... в зависимости от ситуации.

А ситуация накаляется — докрасна.

Старая песня

«Нельзя, нельзя так жить. Ведь все эти творимые ужасы, ведь оправдание их — это я с своей просторной комнатой, с своим богатым обедом, со своей лошастью. Ведь мне говорят, что все это делается, между прочим, и для меня, для того, чтобы я мог жить спокойно и со всеми удобствами жизни. Для меня, для обеспечения моей жизни все эти высылки людей из места в место, для меня эти сотни тысяч голодных, блуждающих по России рабочих, для меня эти сотни тысяч несчастных, сидящих, как сельди в бочонке, и мрущих от тифа в недостающих для всех крепостях и тюрьмах. Для меня эти полицейские шпионы, доносы, подкупы, для меня эти убивающие городские, получающие награды за убийства, для меня закапывание десятков, сотен расстреливаемых. Для меня эти ужасные виселицы и работа трудно добываемых, но теперь уже не так гнушающихся этим делом людей — палачей. Не хочу, не могу я пользоваться всем этим...» («Не могу молчать», рукопись).

Это толстовское «для меня», несколько декоративное — при всей его искренности, — давно провоцирует читателей и почитателей великого исповедника. И просторная комната (где написаны великие книги), и ежедневный обед (неслыханная роскошь для россиянина), и даже лошадь (любимый Делир, которого в конце концов похоронят около хозяина) — вся эта калькуляция так и просится в сценический диалог. Каковой и навязывают Толстому собеседники, поздравляя с 80-летием: «Ваше сиятельство! Вы призываете все раздать? Так начните с себя!».

Софья Андреевна стоит на балконе яснополянского дома, держась за спинку кресла, в котором сидит прихворнувший юбиляр.

Он отшучивается, кивая на жену:

— Я все отдал вот ей.

Обходится дело смехом.

Десять лет спустя — имение национализировано советской властью, вдова великого писателя оставлена там в роли жилички-хранительницы. Она говорит дочери:

— Как был прав папá, когда хотел это раздать! Все равно все отняли.

Предел: частное извержение из общего течения

«Знаю я, что все люди — люди, все мы слабы, все мы заблуждаемся и что нельзя одному человеку судить другого. Так я думал, чувствовал и долго боролся с тем чувством негодования и отвращения, которое возбуждали и возбуждают во мне все эти председатели военных судов, Щегловитые, Столыпины и Николаи. Но я не хочу больше бороться с этим чувством. Не хочу, во 1-ых, потому, что дела этих людей дошли теперь до того предела, при котором не осуждение, а обличение людей, довольных своей порочностью, гадостью, окруженных людьми, восхваляющими их за их гадость, необходимо и для них самих и для той толпы людей, которая не разбирая подчиняется общему течению. Не хочу бороться, во 2-ых (откровенно признаюсь в этом), потому, что надеюсь, что мое обличение их вызовет желательное мне извержение меня тем или иным путем из того круга людей, среди которого я живу, или вообще из круга живых людей. Жить так и спокойно смотреть на это для меня стало совершенно невозможно...» («Не могу молчать», рукопись).

А раньше было возможно?

Из двух причин перемены более или менее ясна вторая: личное извержение Льва Толстого из круга людей, среди которых он живет. И вообще из круга живых людей. Через два года все это состоится: бегство из дома, из ближнего круга, а потом и из круга живых — не по самоубийственной, впрочем, воле а по все той же логике бегства. В чем и заключается исход дела.

Заход же — первая причина для бегства — как раз то чувство предела, до которого доходит порочность общего режима властей и подданных — общее течение жизни.

Общее течение не разбирает верхних и нижних: верхи не хотят — низы не могут (можно обернуть: верхи не могут, потому что низы не хотят, что, на мой взгляд, реальнее). Вот это *общее течение, подходящее к пределу*, остро чувствует Толстой, в 1908 году до *предела* остается еще целое десятилетие, но почти все — уже без Толстого.

Разум и Смысл 1908 года

«Это ужасно, но ужаснее всего то, что делается это не по увлечению, чувству, заглушающему ум, как это делается в драке, на войне, в грабеже даже, а, напротив, по требованию ума, расчета, заглушающего чувство. Этим-то особенно ужасны эти дела. Ужасны тем, что ничто так ярко, как все эти дела, совершаемые от судьбы до палача, людьми, которые не хотят их делать, ничто так ярко и явно не показывает всю губительность деспотизма для душ человеческих, власти одних людей над другими...» («Не могу молчать», I).

То есть ужасно не насилие в естестве драки или разбоя, а насилие в порядке юридического разбора.

А драка откуда?

А она, драка, уже висит над Европой в 1908 году. Австро-Венгрия отхватывает у турок Боснию и Герцеговину, Сербия перехватывает эти куски у Австро-Венгрии. Этот круговой разбой — по уму делается?

Вроде так. По уму планируются войны, по расчету расставляются дивизии, и даже новые заводы планируются — с учетом возможных аннексий... И это все (если вспомнить диспозиции, продуманные Толстым в «Исповеди») — именно под силу Разуму.

Но что скрыто за этими практическими делами? Какая первоизданная драка? Какие безумие, подотчетное лишь Высшему Началу?

Об этом Разум молчит. Но и Высшее Начало молчит. Оно, Высшее Начало, отвечает: Смысл — есть. Но в чем он, Смысл, — откроется по ходу судьбы. А до того — молчание...

Так ведь молчать нету сил, когда предчувствуешь катастрофу..

А финны?

«...И в то время как все это делается годами по всей России, главные виновники этих дел, те, по распоряжению которых это делается, те, кто мог бы остановить эти дела, — главные виновники этих дел в полной уверенности того, что эти дела — дела полезные и даже необходимые, — или придумывают и говорят речи о том, как надо мешать финляндцам жить так, как хотят этого финляндцы, а непременно заставить их жить так, как хотят этого несколько человек русских, или издают приказы о том, как в „армейских гусарских полках обшлага рукавов и воротники доломанов должны быть по цвету последних, а ментики, кому таковые присвоены, без выпушки вокруг рукавов над мехом“. Да, это ужасно!» («Не могу молчать», I).

Ладно, оставим ментики и выпушки армейским умникам, но с чего финны-то («финляндцы») без конца цепляют наш Разум на его дистанциях? Опять смутная интуиция? Она о чем молчит?

Смысл откроется через тридцать лет. В ходе отчаянно-безжалостной Зимней войны. Выборг надо было отхватить у финнов, чтобы от Ленинграда отодвинуть их артбатареи. Их? Или уже и немцев? Так не за образом жизни финнов надо было следить в 1908 году, а за образом жизни немцев?

А финны как жили в 1908 году, так и живут в 2013-м как хотят.

Палач за пятнадцать целковых

«В Орле в прошлых месяцах, как и везде, понадобился палач, и тотчас же нашелся человек, который согласился исполнять это дело, срядившись с заведующим правительственными убийствами за 50 рублей с человека. Но, узнав уже после того, как он срядился в цене, о том, что в других местах платят дороже, добровольный палач во время совершения казни, надев на убиваемого саван-мешок, вместо того чтобы вести его на помост, остановился и, подойдя к начальнику, сказал: „Прибавьте, ваше превосходительство, четвертной билет, а то не стану“. Ему прибавили, и он исполнил.

Следующая казнь предстояла пятерым. Накануне казни к распорядителю прави-

тельственных убийств пришел неизвестный человек, желающий переговорить по тайному делу. Распорядитель вышел. Неизвестный человек сказал:

„Надюсь какой-то с вас три четвертных взял за одного. Нынче, слышно, пятеро назначены. Прикажите всех за мной оставить, я по пятнадцати целковых возьму, и, будьте покойны, сделаю, как должно“» («Не могу молчать», II).

Если исходить из экономической заинтересованности, которую Россия вернула себе в результате ликвидации Советской власти, то все теперь делается «как должно», — только платят не четвертными и целковыми дореволюционного образца, а нынешними российскими рублями (скорее, тысячами). Всякий труд вознаграждается, всякий урон компенсируется. По разумному счету.

Я знаю, лучше ли было эпоху назад, когда люди шли в палачи не за деньги, а за страх и за совесть. За страх, что тебя самого по ходу классовой борьбы поставят к стенке, а еще страшнее — за совесть, слившуюся с убежденностью масс, для которых великая цель оправдывает любые средства, и ты в это веришь, потому что средство — ты сам.

Иначе где бы найти такое количество добровольных исполнителей, чтобы угробить такое количество врагов. В ГУЛАГе или в гестапо — это уж кто куда попадет.

Я не знаю, что лучше. Страшнее — тогда. Мерзостнее — теперь.

Эпоху не выбирают.

Разуму тут делать нечего.

О погоде

«О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и говорят теперь, как прежде говорили о погоде. Дети играют в повешение. Почти дети, гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как прежде шли на охоту. Перебить крупных землевладельцев для того, чтобы завладеть их землями, представляется теперь многим людям самым верным разрешением земельного вопроса...» («Не могу молчать», II).

Земельный вопрос оставляю в стороне. Достаточно проехать вдоль непаханных (брошенных) полей или увидеть фермерскую постройку, сожженную соседями (из зависти), чтобы оставить этот вопрос тем поколениям, которые станут в будущем обрабатывать (или отстаивать?) оставшуюся им часть суши (теперь 12-й, а не 6-й).

А вот о погоде — самое время задуматься. Дети не просто слышат разговоры о казнях, убийствах и бомбах — как о погоде; они не только играют в повешение — они снимают это для Интернета и хвастаются записью; станут в будущем обрабатываться соседями из зависти, когда игра становится реальностью, запись делается чем-то рекламы самоутверждения.

Страшно подумать о том, что жизнь человеческая больше не имеет никакой цены — не только в глазах террористов, но вообще в глазах массы людей, и не только у нас, но во всем мире.

Во всем мире средний житель переходного возраста и состояния может взять ствол (у родителей из шкафа), выйти на улицу (в школу, в офис, в магазин) и начать стрелять знакомых и незнакомых встречных — «просто так».

На суде такой наш «стрелок» не только не чувствует вины и раскаяния, но — красуется! Что он там говорит (или кричит), можно не слушать, потому что он сам не различает, где врет или говорит правду. Но сквозь прутья решетки он смотрит на людей с таким победоносно-веселым видом, что наверное пострелял бы еще, если бы полиция не помешала.

Вот такая особь вырвана сегодня из уличной толпы.

В толпе — еще безнадежнее. Идут протестовать. Против чего — неважно, потом выяснится. Или не выяснится. На лицах — «болотное» выражение: хоть чем-то заполнить существование, изначально и окончательно лишенное смысла.

Это уже не ненастье. Это «погода», климат.

Причина совершающегося?

«Причина совершающегося никак не в материальных событиях, а все дело в духовном настроении народа, которое изменялось и которое никакими усилиями нельзя вернуть к прежнему состоянию, — так же нельзя вернуть, как нельзя взрослого сделать опять ребенком. Общественное раздражение или спокойствие никак не может зависеть от того, что будет жив или повешен Петров или что Иванов будет жить не в Тамбове, а в Нерчинске, на каторге. Общественное раздражение или спокойствие может зависеть только от того, как не только Петров или Иванов, но все огромное большинство людей будет смотреть на свое положение, от того, как большинство это будет относиться к власти, к земельной собственности, к проповедуемой вере, — от того, в чем большинство это будет полагать добро и в чем зло. Сила событий никак не в материальных условиях жизни, а в духовном настроении народа. Если бы вы убили и замучили хотя бы и десятую часть всего русского народа, духовное состояние остальных не станет таким, какого вы желаете. Так что все, что вы делаете теперь, с вашими обысками, шпионствами, изгнаниями, тюрьмами, каторгами, виселицами — все это не только не приводит народ в то состояние, в которое вы хотите привести его, а, напротив, увеличивает раздражение и уничтожает всякую возможность успокоения...» («Не могу молчать», III).

Успокоения не будет — не из-за ошибок Столыпина или Николая Второго. Его не будет из-за того, что в настроениях «огромного большинства людей», а проще сказать: в состоянии народа (среди других народов) — что-то меняется по каким-то высшим, непостижимым для Разума законам. И даже не по законам (законы как раз подотчетны Разуму), а по мистике жизни, динамике ее роста и увядания, неотменяемой, как рост ребенка и бессилие старца. Или как сосуществование и соперничество народов, как столкновения масс, свершающиеся по причине, ведомой Всевышнему. Сказано: Смысл сокрыт, хотя он и есть. Иванов и Петров — такие же невольники очередного поворота в трагедии бытия, как Николай или Вильгельм. Ничего нельзя предотвратить. Но — приготовиться ко всему. И — возопить от сознания фатальности надвигающихся перемен.

Кто виноват больше?

«Вы говорите, что совершаемые революционерами злодеяния ужасны... Вы говорите: “Начали не мы, а революционеры, а ужасные злодеяния революционеров могут быть подавлены только твердыми (вы так называете ваши злодеяния), твердыми мерами правительства”. Я не спорю и прибавлю к этому еще и то, что дела их, кроме того, что ужасны, еще так же глупы и так же бьют мимо цели, как и ваши дела. Но как ни ужасны и ни глупы их дела: все эти бомбы и подкопы, и все эти отвратительные убийства и грабежи денег, все эти дела далеко не достигают преступности и глупости дел, совершаемых вами» («Не могу молчать», IV).

Еще не достигают, но потом достигнут?

Кто больше угробил людей: Столыпин с его «галстуками» или террористы, которых он покарал, — характерная арифметика тех лет (да и последующих — кажется, цифры с обеих сторон оказались близки, что меня почему-то успокоило).

Но позиция Толстого не так проста: для него в этом сравнении *обе стороны хуже*.

Но если так, то какой смысл гадать, какая *еще* хуже? Обе ведь делают то же самое?

То же самое?

«Они делают только то же самое, что и вы: вы держите шпионов, обманываете, распространяете ложь в печати, и они делают то же; вы отбираете собственность людей посредством всякого рода насилия и по-своему распоряжаетесь ею, и они делают то же самое; вы казните тех, кого считаете вредными, — они делают то же. Все, что вы только можете привести в свое оправдание, они точно так же приведут в свое, не говоря уже о том, что вы делаете много такого дурного, чего они не делают: растрату народных богатств, приготовления к войнам и самые войны, покорение и угнетение чужих народностей и многое другое» («Не могу молчать», IV).

Растрата народных богатств и прочие стратегические дела станут возможны, когда революционеры дорвутся наконец до власти, чтобы делать «то же самое». Пока что они тихо грабят инкассаторов и громко раздувают уличные бунты.

Чем же они «лучше» правительственных усмирителей, к которым Толстой обращает свои обвинения?

Четыре обстоятельства

«Если есть разница между вами и ими, то никак не в вашу, а в их пользу. Смягчающие для них обстоятельства, во-первых, в том, что их злодеяния совершаются при условии большей личной опасности, чем та, которой вы подвергаетесь, а риск, опасность оправдывают многое в глазах увлекающейся молодежи. Во-вторых, в том, что они в огромном большинстве — совсем молодые люди, которым свойственно заблуждаться, вы же — большей частью люди зрелые, старые, которым свойственно разумное спокойствие и снисхождение к заблуждающимся. В-третьих, смягчающие обстоятельства в их пользу еще в том, что как ни гадки их убийства, они все-таки не так холодно-систематически жестоки, как ваши Шлиссельбурги, каторги, виселицы, расстрелы. Четвертое смягчающее вину обстоятельство для революционеров в том, что все они совершенно определенно отвергают всякое религиозное учение, считают, что цель оправдывает средства, и потому поступают совершенно последовательно, убивая одного или нескольких для воображаемого блага многих. Тогда как вы, правительственные люди, начиная от низших палачей и до высших распорядителей их, вы все стоите за религию, за христианство, ни в каком случае несовместимое с совершаемыми вами делами» («Не могу молчать», IV).

Комментирую все четыре по порядку.

1. Личная опасность бунтарей и безопасность карателей? Все в мире относительно, особенно когда бунтари и каратели меняются ролями. В 1908 году до тотальной смены ролей еще далеко. Но уже не поймешь, кто угробил Столыпина.

2. Молодые бунтари, победив, состарятся и до конца жизни будут красоваться на плакатах советской власти как святые геронтократии. Но в 1908 году до этого тоже невообразимо далеко.

3. Пылкая бессистемность бунта привлекательнее холодной последовательности карательной системы? Тогда с чего же главный бунтарь одержим идеей системности? То есть: овладеть государственной системой, саму бунташную энергию обратить в систему, встав во главе масс. Идея, овладевшая массой, становится материальной силой...

4. Бунтари отвергают религию? Каратели ее профанируют? Правильно. Ни те, ни другие ни во что не ставят нравственность? Да. Одни искренне, другие фарисейски... Где решение вопроса? Там же, в трудах главного бунтаря: нравственно то, что способствует нашей победе!

В пересчете на эпоху мировых, гражданских и революционных войн, на которые заряжается XX век: нравственно то, что помогает нам одолеть врагов... А враги — кругом.

Какой Смысл во всем этом? Я думаю, в выборе глобального пути — между нацизмом с его абсолютной категоричностью и социализмом с его относительной терпимостью: мучительный выбор сделало в ходе XX века человечество — то самое, которое, по Толстому, есть химера и мнимость.

А мы получили то, чего хотели.

Перемен хотим, перемен...

«Так что если есть разница между вами и ими, то только в том, что вы хотите, чтобы все оставалось, как было и есть, а они хотят перемены...» («Не могу молчать», IV).

Перемены неизбежны и неотвратимы, иногда подступают незаметно и осознаются задним числом. Можно их хотеть или не хотеть — История идет напролом, меняя Смыслы. Момент смены Смыслов, скорее всего, таинствен, хотя смена лозунгов, гимнов, флагов и разумных объяснений происходящего демонстративна, а то и истерична. К стенке, к стенке! В ходе этой истерии оказывается, что шатающаяся масса людей уже сбилась в армии под те или иные знамена, и перемены уже свершились.

Так что можно пересчитывать галстуки.

Смысл в свершившемся есть. Но откроется он тогда, когда будет оплачен миллионами жертв.

Сорванное молчание

«Знаю я, что все люди — люди, что все мы слабы, что все мы заблуждаемся и что нельзя одному человеку судить другого. Я долго боролся с тем чувством, которое возбуждали и возбуждают во мне виновники этих страшных преступлений, и тем больше, чем выше по общественной лестнице стоят эти люди. Но я не могу и не хочу больше бороться с этим чувством.

А не могу и не хочу, во-первых, потому, что людям этим, не видящим всей своей преступности, необходимо обличение, необходимо и для них самих, и для той толпы людей, которая под влиянием внешнего почета и восхваления этих людей одобряет их ужасные дела и даже старается подражать им. Во-вторых, не могу и не хочу больше бороться потому, что (откровенно признаюсь в этом) надеюсь, что мое обличение этих людей вызовет желательное мне извержение меня тем или иным путем из того круга людей, среди которого я живу и в котором я не могу не чувствовать себя участником совершаемых вокруг меня преступлений.

А сознавая это, я не могу долее переносить этого, не могу и должен освободиться от этого мучительного положения.

Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду.
Люди-братья! Опомнитесь, одумайтесь, поймите, что вы делаете. Вспомните, кто вы...» («Не могу молчать», VII).

* * *

«Исповедь» написана — после «Войны и мира», когда вопрос о Смысле был решен войной 1812 года. И все, что в России перевернулось, вроде бы стало укладываться.

«В чем моя вера» — после «Анны Карениной», когда угробили царя-реформатора, и Смысл стал отделяться от Разума, — так что Всевышний взял отмщение и воздаяние на себя.

«Царство Божие...» — в ситуации, когда поиски Смысла зашли в смертельный тупик и вопрос встал о Воскресении.

И наконец, крик 1908 года...

...Круг идей — тот же, что и в прежних публицистических работах Толстого. Зашкаливает — интонация. Срыв голоса из молчания — в крик. В крик отчаяния.

Календарный XX век вот-вот перевалит на второе десятилетие.

Настоящий XX век наступит через шесть лет.

Уже без Льва Толстого.

Феликс ЛУРЬЕ

ОКАЯННЫЙ ПАСКВИЛЬ*

Обаяние личности Пушкина не может быть объяснено одним лишь поэтическим даром, благородством души, романтической эпохой юности, блистательным кругом друзей, семьей, трагической кончиной. Есть еще нечто другое, неуловимое, чего никому объяснить не удалось. И сегодня мы продолжаем обращаться к подробностям его жизни, к уточняющим мелочам, надеясь глубже проникнуть в замыслы поэта, постигнуть результаты труда, приблизиться к разгадке феномена гения.

«Нельзя написать „голую“ биографию Пушкина, — размышляет В. Ф. Ходасевич, — не связанную с историей и смыслом его творчества, — так же, как это творчество непостижимо, нерасшифровываемо вне связи с биографией... Писания Пушкина соблазнительно сопоставлять с его личной жизнью и исследовать в свете этой жизни, их глубоко личная чуть ли не „дневниковая“ природа лишь в этом случае довольно обнаруживается и позволяет их, наконец, прочитать в подлинном смысле»¹.

В молодые годы П. Е. Щеголев (1877–1931), выдающийся историк и филолог, увлекся музыкой поэзии Пушкина, его личностью. Едва закончив университет, Павел Елисеевич в 1903 году опубликовал первую посвященную ему статью². Теснейшую связь жизни и творчества поэта Щеголев обнаружил задолго до Ходасевича. Всю жизнь пушкинская тема не отпускала Павла Елисеевича. Его вклад в пушкинистику огромен.

Самый крупный, самый значительный труд его жизни — «Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы» увидел свет в 1916 году³. В нем автор впервые опубликовал важнейшие документы, запечатлевшие последний год жизни Александра Сергеевича. Щеголеву удалось иначе высветить события, приведшие к его трагической кончине. Пушкинисты называют это исследование непревзойденным. Непревзойденным оно оказалось и для автора. Ничего подобного Павел Елисеевич не создал ни до него, ни после. Мастерство, с каким он выполнил этот труд, и сегодня вызывает восхищение.

* Глава из книги о П. Е. Щеголеве «Пушкинист поневоле».

Феликс Моисеевич Лурье — публицист, историк, библиограф, автор и составитель более 150 статей, а также 43 книг и альбомов. Сын известного историка революционного движения М. Л. Лурье, член Союза писателей Санкт-Петербурга и Русского ПЕН-центра, первый лауреат премии «Северная Пальмира» в номинации «Публицистика» (1995).

¹ Цит. по: Букалов А. М. Пушкинская Африка. СПб., 2006. С. 133.

² См.: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. VIII. Кн. 4. С. 375–378.

³ См.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы // Пушкин и его современники. Вып. XV–XVII. Пг., 1916. Годом позже вышло второе издание; третье исправленное и дополненное издание увидело свет в 1928 году. В 1936 году М. А. Цявловский выпустил сокращенный вариант. Мы пользуемся четвертым изданием, вышедшим в 1987 году. Впервые Щеголев обратился к теме гибели Пушкина в 1905 году («Дуэль Пушкина с Дантесом» // Исторический вестник. 1905, № 3. С. 944–972; № 4. С. 196–211.

«После известного труда П. Е. Щеголева о последних днях жизни Пушкина, — пишет А. С. Поляков, — работы, в которой многого не прибавишь, так сильно насыщена она материалом, и где методы строго научного исследования сочетались с глубоким психологическим анализом и блестящим, увлекательным изложением, на долю других остались второстепенного значения факты и эпизоды, не известные исследователю „по независящим от него обстоятельствам“»⁴. Пушкинисты, современники Щеголева ожидали от него научной биографии поэта. Они полагали, что никто другой такой силы и значения, как «Дуэль», биографии Пушкина не напишет. Архивные материалы щеголевских фондов свидетельствуют о том, что Павел Елисеевич писать ее не предполагал. Он лучше других понимал, какой это труд, понимал, что не в его возрасте следует за него приниматься. Такая биография не написана до сих пор. Ждем.

В «Дуэли» Щеголев впервые проанализировал текст анонимного пасквиля и связанных с ним событий, ускоривших развязку драмы, разрывавшей душу Александра Сергеевича в последний год его жизни. Автор пытался обнаружить гнусного сочинителя пасквиля, его инициатора, предать анафеме память о нем, хотя бы так отомстить за гибель величайшего нашего поэта.

Приступая к работе, Щеголев намеревался выполнить строгое академическое исследование, призванное обогатить русское литературоведение. Сюжет, его разработка, анализ архивных материалов, превосходный язык сделали «Дуэль» одним из популярнейших произведений. И через сто лет оно продолжает интересовать широкий круг читателя. После кончины Павла Елисеевича обнаружили документы, уточняющие ход событий последних месяцев жизни Александра Сергеевича, но к истории анонимного пасквиля ничего принципиально нового не прибавилось, кроме экспертизы графологов, опровергнувшей авторство князя П. В. Долгорукова, ошибочно установленное Щеголевым. Очень важное уточнение принадлежит пушкинисту С. А. Абрамович. Она доказала, что неожиданная для жены Александра Сергеевича Натальи Николаевны, в девичестве Гончаровой (1812–1863), встреча с Дантесом у И. Г. Полетики произошла 2 ноября 1836 года, а не в конце января 1837 года⁵, что позволило многое объяснить по-новому. Абрамович показала, что ничего другого, кроме симпатии императора в отношении жены поэта, не существовало, что мерзкие альковные сплетни начали распространяться в 1844 году.

Читатель щеголевского исследования делается свидетелем событий и соучастником виртуозно выполненного анализа документов, использованных автором. Комментарии обширны и чрезвычайно интересны. Например, письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину о последних днях жизни его сына занимает 13,5 страниц, комментарий же к нему — 21,5 страниц. Комментарии к текстам позволяют обнаружить скрытые побудители свершившегося, углубиться в понимание его значения в общей картине происшедшего.

Драматизм описываемых в книге событий, энергичное повествование, превосходный язык не отпускают читателя. Мы узнаем о горестях и невзгодах, обступивших Александра Сергеевича со всех сторон. Жена гения не очень образованная провинциалка, любит балы и скучает на «говорильных» вечерах у Карамзиных. Растут долги, доходов с имений не хватает, от издания «Современника» одни убытки, работа над «Историей Петра» идет туго, отчего тяготит получаемое жалование царева историографа. Кроме своего семейства, две женины сестры-невесты

⁴ Поляков А. С. О смерти Пушкина (по новым данным). Пг., 1922. С. 5.

⁵ См.: Абрамович С. Л. Предыстория последней дуэли Пушкина. Январь 1836 – январь 1837. СПб., 1994. С. 54–64.

и карточные долги легкомысленного брата Лёвушки. Н. И. Павлицев, муж сестры, изводит просьбами о продажах и разделах имений. В июле 1836 года, вскоре после родов, Наталья Николаевна умоляет брата Дмитрия помочь ей: «Я тебе откровенно признаюсь, что мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю как вести дом, голова у меня кругом идет»⁶. В первых числах сентября 1836 года, несмотря на прибавление семейства, Александр Сергеевич ищет квартиру подешевле. Император требует от камер-юнкера Пушкина не пропускать ни одного бала, и поэт Пушкин принужден делать над собой усилие. Стройная, ослепительно красивая жена, тринадцатую годами моложе и на полголовы выше мужа, желает танцевать. Находиться рядом с ней втиснутым в камер-юнкерский мундир мучительно неуютно и уже не до танцев. Отсутствие времени из-за пустых его трат раздражает, раздражение — не лучший друг муз. Как только удается высвободиться из придворных развлечений, вспыхивает вдохновение, но приходит оно все реже и реже. Около Натальи Николаевны постоянно вертятся сальный, вкрадчиво нашептывающий нидерландский посланник и его приемный сын, самодовольно ухмыляющийся кавалергард Дантес. Она сначала не желает, потом не умеет от них избавиться. Отъезд в деревню решает многое, но что делать с «Современником», как поддерживать литературные связи? Как оказалось, и ехать некуда. Продолжает набирать силу скандал с министром народного просвещения С. С. Уваровым, в чьем подчинении цензура. В феврале 1836 года по пустяковым причинам Пушкин инициировал ссоры с С. С. Хлюстиным, князем Н. Г. Репниным и В. А. Соллогубом. Слава Богу, барьера избежать удалось. Нервы не отпускают. Обстоятельства победили гения.

На двадцатипятилетие лица 19 октября 1836 года собралось одиннадцать одноклассников. Пушкин начал читать:

Была пора, наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался...

Дальше читать не мог, разрыдался... «Собрались в половине пятого, разошлись в половине десятого»⁷. До появления на свет окаянного пасквиля оставалось шестнадцать дней.

Утром 4 ноября 1836 года в доме княгини Волконской на набережной реки Мойки, близ Конюшенного моста, где в бельэтаже А. С. Пушкин с семьей снимал квартиру, появился письмоносец городской почты, доставивший пакет с анонимным пасквилом. Приведем его перевод с французского:

«Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего Ордена Рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра Ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали господина Александра Пушкина коадьютором великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом Ордена.

Непременный секретарь Граф И. Борх»⁸.

⁶ Обнинская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. Неизданные письма Н. Н. Пушкиной, Е. Н. и А. Н. Гончаровых. М., 1975. С. 175.

⁷ Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 4. М., 1999. С. 515.

⁸ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. М., 1987. С. 368, далее ссылки только на это издание. Кoadьютер — в католической церкви помощник епископа, впавшего в физическую или духовную дряхлость. Супруга Д. Л. Нарышкина была многолетней любовницей Александра I. О Иосифе Борхе см.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 378. Его жена жила с кучером, а он с фореитором (А. С. Пушкин); см.: Щеголев П. Е. Пушкин

Тотчас по прочтении пасквиля произошло объяснение Александра Сергеевича с женой. Наталья Николаевна «рассказала о преследованиях, которым она подвергалась в последние недели, показала мужу письма Дантеса к ней, и, возможно, Геккерна»⁹. Вечером по городской почте Александр Сергеевич отправил Дантесу вызов¹⁰. Поводом послужил не «диплом рогоносца», а откровения Натальи Николаевны. Она рассказала о подстроенной 2 ноября И. Г. Полетикой ее встрече с Дантесом. Содержание признания Натальи Николаевны мужу мы можем почерпнуть из записи П. И. Бартенева беседы с княгиней В. Ф. Вяземской. К ней жена Александра Сергеевича приехала, выбравшись из дома Полетики «вся впопыхах и с негодованием рассказала, как ей удалось избежать настойчивого преследования Дантеса: «Мадам N (И. Г. Полетика. — Ф. Л.) по настоянию Геккерна (Жорж Дантес. — Ф. Л.) пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому. Пушкина рассказала княгине Вяземской и мужу, что, когда она осталась с глазу на глаз с Геккерном (Жорж Дантес. — Ф. Л.), тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний; она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. К счастью, ничего не подозревавшая дочь хозяйки явилась в комнату, и гостя бросилась к ней»¹¹. Александр Сергеевич, потрясенный рассказом жены, не колеблясь встал на ее защиту. Он решил жестоко отомстить обидчикам и начал с кавалергарда. Но дуэль не состоялась. Дантес вдруг сделался женихом, затем мужем старшей сестры Натальи Николаевны Екатерины Гончаровой (1809–1843).

Одновременно с Пушкиным такие же пакеты получили еще шесть человек: княгиня Вера Федоровна Вяземская (1790–1886), ее муж князь Петр Андреевич (1792–1878), семейство покойного историка Н. М. Карамзина, граф Михаил Юрьевич Виельгорский (1788–1856), граф Владимир Александрович Соллогуб (1813–1882), Елизавета Михайловна Хитрово (1783–1839) и Климентий Осипович Россет (1811–1866)¹². Сохранился один полный экземпляр М. Ю. Виельгорского¹³ и неполный, вероятнее всего, находившийся в распоряжении Пушкина¹⁴.

Приведем описание пакета, полученного М. Ю. Виельгорским и впервые исследованного пушкинистом А. С. Поляковым:

и Николай I. Последнее свидание в 1836 году // Из жизни и творчества Пушкина. Т. 2. М.: Л., 1931. С. 141. В пасквили нет ни слова ни о Дантесе, ни о Наталье Николаевне. Возможно, Пушкин не получил пасквиля, а ознакомился с его содержанием по полученному Е. М. Хитрово. Получение Пушкиным пакета нигде не зафиксировано, кроме неотправленного письма А. Х. Бенкендорфу (см. ниже). Но из него не следует, что один из трех пасквилей, указанных в письме, получен Пушкиным по почте.

⁹ Летопись жизни и творчества Пушкина. Т. 4. С. 524.

¹⁰ Там же. С. 525.

¹¹ Цит. по: *Витале С., Старк В.* Черная речка. До и после — к истории дуэли Пушкина. С. 164. После усыновления Геккерном Дантеса он получил фамилию и титул приемного отца. Позже обнаружилось, что усыновление не имело юридической силы.

¹² Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 4. С. 523–524. Г. М. Седова выражает сомнения в получении пасквиля Пушкиным и Карамзиными. См.: *Седова Г. М.* Ему было за что умирать у Черной речки. СПб., 2012. С. 509–510. Действительно, прямые доказательства отсутствуют.

¹³ Этот экземпляр за день до дуэли Соллогуб видел у Пушкина, вероятнее всего, он его не уничтожил. Возможно, именно этот экземпляр в 1901 году поступил в лицей из Департамента полиции. Лишь в письме П. А. Вяземского вел. кн. Михаилу Павловичу имеется не вполне четкое указание о получении Пушкиным пасквиля по городской почте; см.: *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. С. 222.

¹⁴ См.: *Модзалевский Б. Л.* Пушкин. Л., 1929. С. 374.

«Письмо имеет два адреса. На отдельной обложке, играющей роль конверта, печатными буквами стояло: „Графу Михайле Юриевичу Виельгорскому. На Михайловской площади, дом Графа Кутузова“. На оборотной стороне диплома было написано как правильно выразился Соллогуб, „кривым лакейским почерком“ — „Александру Сергеичу Пушкину“. Любопытна деталь: слово „Александру“ переделано из написания „Александр“». Диплом, как и адрес обложки, воспроизведен печатными буквами. Письмо и обложка заклеены красным сургучом. Печать, по определению Геккерена „довольно странная“, имеет следующий вид: в середине — стропила, в которых помещено прописное А, с левой стороны раскрытый циркуль, с правой пингвин щиплет куст, прикрепленный к решетке. Все это имеет основанием подобие пера. Наверху изображение двух капель или пламенеющих языков с „оком“ внутри»¹⁵. Этот экземпляр пасквиля написан на большом листе бумаги, сложенном пополам, с 1836 года по 1918-й хранился в секретном фонде архива III отделения, затем — Департамента полиции. Наружный конверт второго экземпляра пасквиля утрачен. Поэтому его адресат неизвестен. Вероятнее всего, это один из трех экземпляров, находившихся у Пушкина. Текст аналогичен с первым. Надпись на внутреннем конверте та же. Печати и сургуч везде одинаковые. Из-за небрежности изготовителей конверт заляпан сургучом, но надпись на нем читается легко. Этот экземпляр в 1910 году поступил из Департамента полиции в Лицейское общество. Оба экземпляра с 1918 года хранятся в Пушкинском Доме.

И сегодня нет уверенности в том, что нам известны все получатели пакетов с «дипломами рогоносца». Нидерландский посол при русском дворе барон Луи Борхард де Бевервард Геккерн (1791–1884) видел анонимное письмо у министра иностранных дел графа К. В. Нессельроде (см. ниже). Чьим экземпляром владел министр? Пакет с пасквилом держал в руках император Николай I, не мог не ознакомиться с ним. Какие-то лица распространяли копии. С чьих подлинников? Пушкинский Дом располагает двенадцатью списками пасквиля¹⁶. Ответов на эти вопросы нет.

М. И. Яшин полагает, что Мих. Ю. Виельгорский передал полученный им пакет главноуправляющему III отделением генерал-адъютанту графу А. Х. Бенкендорфу до 9 ноября, в этот день Александр Христофорович показал пасквилю императору¹⁷. Э. Герштейн утверждает, что Николай I ознакомился с текстом пасквиля лишь после смерти Пушкина и понял, что в нем содержится намек на него¹⁸. Документального подтверждения этим версиям нет. Нам представляется предположение Яшина правдоподобнее. Виельгорский мог передать «диплом рогоносца» Николаю Павловичу сам. О близких отношениях Романовых и Виельгорских хорошо известно. Камер-фурьерский журнал фиксировал вовсе не все. Отсутствие записи в журнале не есть документальное отрицание события. Прогуливаясь, император мог посетить Михаила Юрьевича, жившего на Михайловской площади. Камер-фурьеры не всегда сопровождали суверенов во время прогулок. Они могли желать посетить кого-нибудь тайком, так бывало.

Император, превосходно обо всем осведомленный, знал и о содержании подлого пасквиля, и о вызовах, отправленных Пушкиным Дантесу, затем Геккерну, мог многое предупредить, предотвратить. Не предотвратил. Умысла в этом не было.

¹⁵ Поляков А. С. О смерти Пушкина. С. 13. Специалисты утверждают, что на правой стороне печати изображен пеликан.

¹⁶ См.: Бюллетень Рукописного отдела Пушкинского Дома. VIII. М.; Л., 1959. С. 6.

¹⁷ См.: Яшин М. И. Хроника преддвуэльных дней // Звезда. 1963, № 9. С. 167.

¹⁸ См.: Герштейн Э. Г. Вокруг гибели Пушкина // Новый мир. 1962, № 2. С. 212–226.

Косвенное подтверждение предположения Яшина известно. 15 ноября Наталья Николаевна танцевала в Аничковом дворце. Александр Сергеевич на балу не был из-за траура по усопшей матушке. В этот день Наталья Николаевна удостоилась разговора с императором. 4 апреля 1848 года однокашник Пушкина лицеист барон М. А. Корф записал в дневнике воспоминание Николая I об этом разговоре:

«Под конец его (Пушкина) жизни, встречаясь часто с его женой, которую я искренно любил и теперь люблю как очень добрую женщину, я раз как-то разговорился с нею о комеражах, которым ее красота подвергает ее в обществе; я советовал ей быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию сколько для нее самой, столько и для счастья мужа при известной его ревности. Она, видно, рассказала это мужу, потому что, увидясь где-то со мной, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. — Разве ты и мог ожидать от меня иного? — спросил я его. — Не только мог, государь, но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моей женой. — Через три дня потом был его последний дуэль»¹⁹.

Все известные нам получатели пасквиля — друзья Пушкина, члены тесного кружка, встречавшегося в гостеприимном доме вдовы историка Н. М. Карамзина. Исключение составляла дочь фельдмаршала князя М. И. Кутузова Е. М. Хитрово. «Весь Петербург» знал о ее многолетнем обожании Пушкина. «Возможно, это и послужило поводом для того, чтобы ее замешать в эту историю»²⁰. С февраля 1836 года у Карамзиных постоянно бывал кавалергардский поручик Жорж Дантес (1812–1895), приемный сын барона Геккерна, будущий убийца Пушкина. Он дружил с братьями Карамзиными, сыновьями покойного историка. Пушкинисты полагают, что пасквиля Дантес не получал. Как же бесился Пушкин, встречая Дантеса у Карамзиных!

Читая Щеголева, других авторов не следует забывать, что окружение Пушкина, друзья относились к нему как к равному, видели в нем прежде всего посетителя тех же салонов, тех же балов. Они знали ему цену, восхищались им, но обращались с ним как с равным. Иначе и не могло быть. Гоголь сумел себя поставить выше всех, желал этого. О нем не отыскивается столь теплых воспоминаний, как о Пушкине. Многие из последних месяцев жизни Александр Сергеевич держал в себе, близкие не догадывались, какие вулканы извергаются в его душе. Примерно через две недели после дуэли о некоторых событиях рассказала Наталья Николаевна, и они осознали происшедшее. Даже ближайшие его друзья князь П. А. Вяземский, Василий Андреевич Жуковский (1783–1852), люди почти равных с ним дарований, не понимали, что происходит вокруг Пушкина, не понимали его, прозрели, но слишком поздно, всю жизнь корили себя за глухоту, недостаточную чуткость. В последний год жизни Александра Сергеевича Вяземский, любивший его, отпускал в его адрес непростительные шутки. После помолвки Дантеса с Екатериной Гончаровой в ноябре 1836 года он сказал, что Пушкин «выглядит обиженным за жену, так как Дантес больше за ней не ухаживает»²¹. Петр Андреевич видел бешенство в поступках друга, осуждал его, не замечая причин. Дочь Карамзина, умная, образованная Софья, сочувствовала Дантесу и осуждала поведение Пушкина. Близкие видели, что он своим поведением ломает светские традиции, а ему было не до светскости. И еще почему-то они не понимали, что его нервная система устроена иначе: тоньше, чувствительнее.

С. Л. Абрамович, анализируя документы, обнаруженные после кончины Щеголева, пишет:

¹⁹ Яшин М. И. Хроника преддуэльных дней. С. 167. Камераж — сплетня, пересуд.

²⁰ Абрамович С. Л. Предыстория последней дуэли Пушкина. С. 67.

²¹ Цит. по: Абрамович С. Л. Предыстория последней дуэли Пушкина. С. 194.

«Разительное сходство перечня имен постоянных посетителей карамзинского салона со списком лиц, получивших анонимные письма, бросается в глаза. Такое совпадение не может быть случайным. Трудно себе представить, чтобы кому-то не связанному с указанным карамзинским кружком пришло в голову разослать пасквиль всем этим лицам, и *только* им. Если бы дело было затеяно кем-то из великосветских шалунов или одним из могущественных врагов поэта, круг адресатов несомненно был бы иным»²².

Знали ли посетители карамзинского кружка, Дантес, Геккерн, другие лица, впоследствии подозревавшиеся в изготовлении пасквиля, адреса лицейских и литературных друзей Пушкина? Разумеется, нет — подтверждение того, что искать надобно вблизи Александра Сергеевича, среди друзей семейства Карамзиных.

Не так много лиц знало о том, кто постоянно посещает тесный карамзинский кружок, еще меньшее число знало их почтовые адреса. Весьма ограниченный круг был осведомлен о занимаемой Пушкиным должности историографа, назначенного повелением императора Николая I. Изготовителя гнусного пасквиля следует искать среди близко стоявших около Пушкина, совсем близко, хорошо знавших о нем, о событиях, происходивших вокруг него. Если пасквилянт из круга поэта, то мог отправить пакет с «дипломом рогоносца» самому себе — простейший род алиби, если желал публичного скандала, то отчего отправил его одним лишь друзьям поэта? Они-то молчали. Вяземские решили получение окаянного пакета скрыть от всех. В письме князя Петра Андреевича великому князю Михаилу Павловичу от 14 февраля 1837 года читаем: «4 ноября прошлого года моя жена вошла ко мне в кабинет с запечатанной запиской, адресованной Пушкину, которую она только что получила в двойном конверте по городской почте. Она заподозрила в ту же минуту, что здесь крылось что-нибудь оскорбительное для Пушкина. Разделяя ее подозрение и воспользовавшись правом дружбы, которая связывала меня с ним, я решил распечатать конверт и нашел в нем диплом, здесь прилагаемый (№ 1). Первым моим движением было бросить бумагу в огонь, и мы с женой дали друг другу слово сохранить все это в тайне. Вскоре мы узнали, что тайна эта далеко не была тайной для многих лиц, получивших подобные письма, и даже Пушкин не только сам получил такое же, но и два других подобных, переданных ему друзьями, не знавшими их содержания и поставленными в такое же положение, как и мы»²³.

Из комментариев к письму следует, что Вяземский отправил копию пасквиля великому князю Михаилу Павловичу с этим письмом (№ 1). Как-то неловко отправлять копию члену императорской фамилии. Вера Федоровна боготворила Пушкина, ничего удивительного, что она, получив пакет, заподозрила неладное.

Карамзины в письмах близким начали упоминать о пасквиле лишь через месяц²⁴. Документального подтверждения получения ими анонимного письма нет. Возможно, изготовитель пасквиля предполагал распространить большее число экземпляров, и что-то ему помешало, но слухи по городу расползлись тотчас. Вслед за ними начали циркулировать копии пасквиля.

Первым попытку поиска гнусного анонима предпринял Пушкин лично. Не располагая весомыми доказательствами, он обвинил нидерландского посланника в изготовлении пасквиля. Александр Сергеевич не сомневался в своей правоте, зная о том, что Геккерн сводничал и угрожал Наталье Николаевне в случае, если она не сделается более податливой в отношении его приемного сына. Наглый, избалован-

²² Там же. С. 67–68. Курсив автора цитаты.

²³ См.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 222.

²⁴ См.: Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 годов. М.; Л., 1960.

ный Дантес не желал скрывать ухаживаний за Натальей Николаевной, а ей льстили знаки внимания красавца гвардейского офицера, молодого, стройного, рослого француза. Почти весь 1836 год Петербург наблюдал за кокетством замужней женщины, матери трех, затем четырех детей. Приведем отрывок из записи Бартенева воспоминаний княгини Вяземской:

«Н. Н. Пушкина бывала очень часто у Вяземских, и всякий раз, как она приезжала, являлся и Геккерен (Дантес. — *Ф. Л.*), про которого уже знали, да и он сам не скрывал, что Пушкина очень ему нравится. Сберегая честь своего дома, княгиня напрямик объявила нахалу французу, что она просит его свои ухаживания за женой Пушкина производить где-нибудь в другом доме. Через несколько времени он опять приезжает вечером и не отходит от Натальи Николаевны. Тогда княгиня сказала ему, что ей остается одно — приказать швейцару, коль скоро у подъезда их будет несколько карет, не принимать г-на Геккерена. После этого он прекратил свои посещения, и свидания его с Пушкиной происходили уже у Карамзиных»²⁵.

7 апреля 1837 года князь П. А. Вяземский писал дочери своего друга А. Я. Булгакова, княгине О. А. Долгоруковой: «Одним словом, бедный Пушкин был, прежде всего, жертвою (будь сказано между нами) бестактности своей жены и ее неумения вести себя, жертвою своего положения в обществе, которое, льстя его тщеславию, временами раздражало его, — жертвою своего пламенного и вспыльчивого характера, недоброжелательства салонов и, в особенности, жертвою жестокой судьбы, которая привязалась к нему, как к своей добыче, и направляла всю эту несчастную историю. Достоверно лишь то, что меньше всего виноват был сам Пушкин»²⁶.

Светская дама, жена австрийского посланника, внучка фельдмаршала М. И. Кутузова графиня Д. Ф. Фикельмон в день смерти Пушкина сделала в своем дневнике следующую запись: «Александр Пушкин, вопреки мнению всех своих друзей, пять лет назад женился на Натали Гончаровой, совсем юной, без состояния и восхитительно красивой. С очень поэтической внешностью, но заурядным умом и характером, она с самого начала заняла в свете место, подобающее такой бесспорной красавице. Многие несли к ее ногам дань своего поклонения, но она любила мужа и казалась счастливой в своей семейной жизни»²⁷.

М. К. Мердер (1815–1870), дочь воспитателя наследника престола, 5 февраля 1836 года записала в своем дневнике: «Пробыв на балу не более получаса, мы направились к выходу: барон (Дантес. — *Ф. Л.*) танцевал мазурку с г-жою Пушкиной. Как счастливы они казались в эту минуту»²⁸.

Продолжим чтение дневников графини Долли Фикельмон: «Одна из сестер мадам Пушкиной имела несчастье страстно увлечься им (Дантесом. — *Ф. Л.*), и, быть может, безрассудство сердца заставило ее забыть о том, какие последствия это может иметь для ее сестры; сия молодая особа постоянно искала повода для встреч с Дантесом.

Наконец, все мы видели, как приближается и нарастает эта зловещая буря! Тщеславие ли мадам Пушкиной было польщено и возбуждено, или же Дантес действительно взволновал и смутил ее сердце, но так случилось, что она была совершенно не в силах ни отвечать на проявления этой необузданной любви, ни пресекать их. Вскоре Дантес, забывая всякую деликатность благоразумного человека,

²⁵ Русский архив. 1888. Т. II. С. 308. Опубликовано при жизни В. Ф. Вяземской.

²⁶ Красный архив. 1929. Т. 33. С. 231.

²⁷ Фикельмон Долли. Дневник. 1829–1837. М., 2009. С. 354–355.

²⁸ Мердер М. К. Листки из дневника // Русская старина. 1900, № 8. С. 383. Цит. по: Седова Г. М. Ему было за что умирать у Черной речки. С. 474. Автор книги не уверена в достоверности приведенной цитаты.

нарушая светские приличия, стал выказывать ей на глазах всего общества знаки восхищения, совершенно недопустимые по отношению к замужней женщине.

При этом казалось, что она страдает и трепещет под его взглядами, но она явно потеряла всякую способность обуздать этого мужчину, а он был исполнен решительности довести ее до крайности»²⁹.

Записи графини Фикельмон интересны тем, что они запечатлели разговоры посетителей светских салонов. Но вот, что странно, она не обмолвилась ни единым словом о пасквиле, полученном ее матушкой Е. М. Хитрово, жившей у нее в доме австрийского посланника.

Наталья Николаевна не пресекла возникший флирт и не без помощи нидерландского посланника оказалась в такой ситуации, когда поставить на место барона Геккерна и его приемного сына она не сумела, а ухаживания становились все настойчивее и наглее. Даже после сватовства к Екатерине Николаевне Дантес продолжал проявлять к Наталье Николаевне более «афишированное внимание», «чем это было принято в обществе»³⁰. Дуэль сделалась неизбежной.

Пушкин не отделял Геккерна от Дантеса. Приемный сын избежал первого вызова благодаря принудительной женитьбе на нелюбимой женщине. Как показалось Пушкину, месть в отношении его свершилась. Пришла очередь отца. Из признаний жены Александру Сергеевичу стало известно о попытках пакостника-дипломата сводничать. 14 ноября 1836 года, в день официального объявления бракосочетания Дантеса и Гончаровой, Пушкин сказал В. Ф. Вяземской: «Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы узнаете, как станут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит этого человека в грязь...»³¹ Ровно через неделю Александр Сергеевич написал два письма: нидерландскому посланнику барону Геккерну и шефу корпуса жандармов, главноуправляющему III отделением Собственной его императорского величества канцелярии графу А. Х. Бенкендорфу. 21 ноября случайно совпало с недельным сроком, обещанным Пушкиным Вяземской. Вероятнее всего, около 17 ноября состоялся визит нидерландского посланника на Мойку, в дом княгини Волконской. Он передал Наталье Николаевне поразительную записку от Дантеса. О ее содержании мы узнаем из письма от 1 марта 1837 года перепугавшегося случившимся Геккерна русскому министру иностранных дел. Оказывается, по его требованию Дантес написал жене Пушкина, «что отказывается от каких бы то ни было видов на нее». Эти рыцари чести сочинили записку для того, чтобы жена могла «доказать мужу и родне, что никогда не забывала вполне своих обязанностей»³². В этот день Пушкин сел за письмо Геккерну, оконченное 21 ноября. В цитируемом тексте еще много шедевров воспитанности и такта. Не пора ли усомниться в умственных способностях сей парочки? Как же взбесила Александра Сергеевича Дантесова утешительная записка! Оказывается, этот мерзавец имел виды на его жену. Как тут соблюдать светские приличия, ожидавшиеся от него окружающими. Письма, написанные 21 ноября, вполне запечатлели душевное состояние и замыслы автора. Приведем их целиком:

«Барон,

Прежде всего позвольте мне подвести итог всему тому, что произошло недавно. — Поведение вашего сына было мне полностью известно уже давно и не могло быть для меня безразличным; но так как оно не выходило из границ светских при-

²⁹ Фикельмон Долли. Дневник. С. 355.

³⁰ Цит. по: Абрамовиц С. Л. Предыстория последней дуэли Пушкина. С. 42.

³¹ Цит. по: Летопись жизни и творчества Пушкина. Т. 4. С. 532.

³² Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 271.

личный и так как я притом знал, *насколько* в этом отношении жена моя заслуживает мое доверие и мое уважение, я довольствовался ролью наблюдателя, с тем чтобы вмешаться, когда сочту это своевременным. Я хорошо знал, что красивая внешность, несчастная страсть и двухлетнее постоянство всегда в конце концов производят некоторое впечатление на сердце молодой женщины и что тогда муж, если только он не дурак, совершенно естественно делается поверенным своей жены и господином ее поведения. Признаюсь вам, я был не совсем спокоен. Случай, который во всякое другое время был бы мне крайне неприятен. Весьма кстати вывел меня из затруднения: я получил анонимные письма. Я увидел, что время пришло, и воспользовался этим. Остальное вы знаете: я заставил вашего сына играть роль столь гротескную и жалкую, что моя жена, удивленная такой пошлостью, не могла удержаться от смеха, и то чувство, которое, быть может, и вызывала в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в отвращении самом спокойном и вполне заслуженном.

Но вы, барон, — вы мне позволите заметить, что ваша роль во всей этой истории была не очень прилична. Вы, представитель коронованной особы, вы *отечески* сводничали вашему незаконнорожденному или так называемому сыну; всем поведением этого юнца руководили вы. Это вы диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и нелепости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о вашем сыне, а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома из-за лекарств, вы говорили, бесчестный вы человек, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: верните мне моего сына. Это еще не все.

Вы видите, что я об этом хорошо осведомлен, но погодите, это не все: я говорил вам, что дело осложнилось. Вернемся к анонимным письмам. Вы хорошо догадываетесь, что они вас интересуют.

2 ноября вы от вашего сына узнали новость, которая доставила вам много удовольствия. Он вам сказал, что я в бешенстве, что моя жена боится... что она теряет голову. Вы решили нанести удар, который казался окончательным. Вами было составлено анонимное письмо.

Я получил три экземпляра из десятка, который был разослан. Письмо это было сфабриковано с такой неосторожностью, что с первого взгляда я напал на следы автора. Я больше об этом не беспокоился и был уверен, что найду пройдоху. В самом деле, после менее чем трехдневных розысков я уже знал положительно, как мне поступить.

Если дипломатия есть лишь искусство узнавать, что делается у других, и расстраивать их планы, вы отдадите мне справедливость и признаете, что были побиты по всем пунктам.

Теперь я подхожу к цели моего письма: может быть, вы хотите знать, что помешало мне до сих пор обесчестить вас в глазах нашего и вашего двора. Я вам скажу это.

Я, как видите, добр, бесхитроستن, но сердце мое чувствительно. Дуэли мне уже недостаточно, и каков бы ни был ее исход, я не сочту себя достаточно отмщенным ни смертью вашего сына, ни его женитьбой, которая совсем походила бы на веселый фарс (что, впрочем, меня весьма мало смущает), ни, наконец, письмом, которое я имею честь писать вам и которого копию сохраняю для моего личного употребления. Я хочу, чтобы вы дали себе труд и сами нашли основания, которые были бы достаточны для того, чтобы побудить меня не плюнуть вам в лицо и чтобы уничтожить самый след этого жалкого дела, из которого мне легко будет сделать отличную главу в моей истории рогносцев.

Имею честь быть, барон, ваш нижайший и покорнейший слуга

А. Пушкин»³³.

Вечером 21 ноября на Мойке в квартире Пушкина появился начинающий литератора, граф В. А. Соллогуб. Вот что он пишет об этом визите:

«Он (А. С. Пушкин. — Ф. Л.) запер дверь [кабинета] и сказал: „Я прочитаю вам мое письмо к старику Гекерну. С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте“.

Тут он прочитал мне всем известное письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти? Я промолчал невольно, и так как это было в субботу (приемный день кн. Одоевского), то поехал к кн. Одоевскому. Там я нашел Жуковского и рассказал ему про то, что слышал. Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма. Действительно, это ему удалось: через несколько дней он объявил мне у Карамзиных, что дело он уладил и письмо послано не будет»³⁴.

Письмо А. Х. Бенкендорфу:

«Граф!

Считаю себя вправе и даже обязанным сообщить Вашему сиятельству о том, что недавно произошло в моем семействе. Утром 4 ноября я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и чести моей жены. По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата. Я занялся розысками. Я узнал, что семь или восемь человек получили в один и тот же день по экземпляру того же письма, запечатанного и адресованного на мое имя под двойным конвертом. Большинство лиц, получивших письма, подозревая гнусность, их ко мне переслали.

В общем, все были возмущены таким подлым и беспричинным оскорблением; но, твердя, что поведение моей жены было безупречно, говорили, что поводом к этой низости было настойчивое ухаживание за нею г-на Дантеса.

Мне не подобало видеть, чтобы имя моей жены было в данном случае связано с чьим бы то ни было именем. Я поручил сказать это г-ну Дантесу. Барон Геккерен приехал ко мне и принял вызов от имени г-на Дантеса, прося у меня отсрочки на две недели.

Оказывается, что в этот промежуток времени, г-н Дантес влюбился в мою свояченицу, мадемуазель Гончарову, и сделал ей предложение. Узнав об этом из толков в обществе, я поручил просить г-на д-Аршиака (секунданта г-на Дантеса), чтобы мой вызов рассматривался как не имевший место. Тем временем я убедился, что анонимное письмо исходило от г-на Геккерена, о чем считаю своим долгом довести до сведения правительства и общества.

Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю.

Во всяком случае надеюсь, граф, что это письмо служит доказательством уважения и доверия, которые я к вам питаю.

³³ Пушкин А. С. Письма последних лет. Л., 1969. С. 162–165. Это письмо Пушкин писал с 17 по 21 ноября.

³⁴ Соллогуб В. А. Воспоминания. М.; Л., 1931. С. 370.

С этими чувствами имею честь быть, граф, Ваш нижайший и покорнейший слуга

А. Пушкин»³⁵.

Письмо это также отправлено не было. Автор понимал, что доказательств причастности Геккерна к изготовлению пасквиля нет, что серьезного обвинения он предъявить не может. Против предположений, изложенных Пушкиным в этом письме, имеются серьезные возражения, о них позже. И еще. Как известно, 23 ноября Александра Сергеевича принял император. Если Пушкин был извещен о приглашении в Аничков дворец 21 или 22 ноября посетившим его В. А. Жуковским, инициатором этого приглашения, то становится очевидным нецелесообразность отправки письма Бенкендорфу. Александр Сергеевич не сомневался, что шеф жандармов тотчас ознакомил бы с текстом письма Николая I, для этого он его и писал. Разумеется, такое развитие событий могло иметь место в случае, если приятель Пушкина В. А. Соллогуб через тридцать лет кое-что подзабыл или присочинил для своей роли в этом сюжете³⁶.

Вслед за Пушкиным поисками изготовителей «диплома рога носца» занялось III отделение Собственной его императорского величества канцелярии. При усердии его чиновников можно было отыскать мелочную лавку («приемное место» городской почты) по ее номеру «58», написанному приемщиком на внешнем конверте. «Сиделец» в лавке получал для отправки примерно 2–4 «закрты» (пакета) в день и вполне мог запомнить отправителя или посыльного³⁷. Случалось, когда начальство требовало, жандармы бегали по «приемным местам», подобрав полы шинелей, и находили отправителей³⁸. Не потребовало. Один из получателей пасквиля офицер Генерального штаба К. О. Россет, друг семьи Пушкиных, «ничем не занятый» А. И. Тургенев (1784–1845), близкий друг Александра Сергеевича библиограф С. А. Соболевский (1803–1870), каждый, кто как умел, хоть что-то пытался сделать, но не жандармы.

«В военно-следственную комиссию, — пишет Щеголев, — производившую дело о дуэли, ни один экземпляр [пасквиля] не был доставлен. Друзья, сняв копии, уничтожили подлинные экземпляры презренного и гнусного диплома. Приятель Пушкина С. А. Соболевский в 1862 году „обращался в Петербурге ко многим лицам, которые в свое время получили циркулярное письмо, но не нашли его нигде в подлиннике, так как эти лица его уничтожили“. „Если подлинник и находится где-нибудь, — пишет Соболевский, — только у господ, мне незнакомых, или, вернее всего, в III отделении“. Хотя по справке, данной III отделением в 1863 году, в его архивах не находилось пасквиля, но в действительности экземпляр пасквиля, полученный графом Виельгорским, в III отделении был, хранился в секретном досье и только в 1917 году стал достоянием исследователей. Еще раньше другой экземп-

³⁵ Пушкин А. С. Письма последних лет. С. 165–167. Это письмо было обнаружено 11 февраля 1837 года при составлении описи бумаг покойного поэта. До 1972 года оно находилось среди бумаг секретаря Бенкендорфа П. И. Миллера. См.: Эйдельман Н. Я. Десять автографов Пушкина из архива П. И. Миллера // Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки им. В. И. Ленина. Вып. 33. С. 280–320.

³⁶ Воспоминания графа В. А. Соллогуба. Гоголь, Пушкин, Лермонтов. Новые сведения о предсмертном поединке Пушкина. Читано в Обществе любителей российской словесности. М., 1866. С. 57–58. См. также: Соллогуб В. А. Воспоминания. С. 370.

³⁷ См.: Быт пушкинского Петербурга. Опыт энциклопедического словаря. П–Я. СПб., 2005. С. 197–199.

³⁸ См.: Огонек. 1987, № 6. С. 20.

ляр пасквиля оказался в музее Александровского лицея, куда был доставлен после 1910 года»³⁹.

7 февраля 1837 года в кабинете покойного Александра Сергеевича В. А. Жуковский и ближайшее к А. Х. Бенкендорфу лицо, жандармский генерал Л. В. Дубельт приступили к просмотру и изъятию рукописей поэта. Накануне Жуковскому передали следующее предписание управляющего III отделением:

«Бумаги, могущие повредить памяти Пушкина, должны быть доставлены ко мне для просмотра. Мера сия принимается отнюдь не в намерении вредить покойному в каком бы то ни было случае, но единственно по весьма справедливой необходимости, чтобы ничего не было скрыто от наблюдения правительства, бдительность коего должна быть обращена на всевозможные предметы. По прочтении этих бумаг, ежели таковые найдутся, они будут немедленно преданы огню в Вашем присутствии»⁴⁰.

Из описей бумаг, находившихся в кабинете покойного, весьма затруднительно выявить пасквиль. Не все изымавшееся и возвращенное записывалось⁴¹. Разборкой и описанием пушкинских рукописей Жуковский и Дубельт занимались около двух недель по несколько часов в день. Внимательно прочитывать и регистрировать все сохранявшееся Александром Сергеевичем, включая неразборчивые черновики, не представлялось возможным. Что-то мог утаить Жуковский, часть рукописей после изъятия неизвестными путями попала в чужие руки⁴².

Многие современники событий вслед за Пушкиным обвиняли Геккерн в появлении пасквиля, и не только современники. А. А. Ахматова, изучавшая жизнь и литературный труд своего кумира, автором «диплома роконосца» называет нидерландского посланника. Она утверждает, что рассылкой мерзкого пакета одним лишь друзьям Александра Сергеевича тонкий дипломат вынуждает их склонить ревнивого мужа отправить жену в деревню, друзья сделаются «увещевателями», невольными соучастниками хитроумного плана Геккерн⁴³. Таким образом ему удастся разлучить Дантеса с Натальей Николаевной. Слишком мудрено и неправдоподобно. Если Геккерн желал разлучить из ревности приемного сына с женщиной, то отчего он всеми силами способствовал его браку с сестрой Натальи Николаевны. Других попыток предотвратить дуэль не предпринимал. Возможно, Анна Андреевна почерпнула эту свою мысль из записи П. В. Анненкова беседы с К. К. Данзасом (1801–1870), однокашником Пушкина и секундантом его последней дуэли: «Геккерн был педераст, ревновал Дантеса и поэтому хотел поссорить его с семейством Пушкина. Отсюда письмо анонимное и его сводничество»⁴⁴. Запутался. Размышления некоторых пушкинистов о нередких случаях жестокой мести отвергнутых мужчин не есть доказательство их страстной любви к избранным ими дамам.

Начало вторжения Ахматовой в пушкинистику положено дружбой со Щеголевым. Многие годы она была своим человеком в его доме, беседовала с Павлом Елисеевичем о Пушкине, далеко не во всем с ним соглашалась. Анна Андреевна первая обратила внимание на то, что Дантеса можно назвать влюбленным в Наталью Николаевну с зимы по осень 1836 года⁴⁵. В это же время наш страстный ры-

³⁹ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 367. От кого в 1901 году поступил и чей экземпляр пасквиля в Александровский лицей, достоверно выяснить не удалось.

⁴⁰ Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки им. В. И. Ленина. Вып. 33. С. 309.

⁴¹ См.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 276–334.

⁴² См.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. С. 320–334.

⁴³ Ахматова А. А. О Пушкине. Л., 1977. С. 127.

⁴⁴ Модзалевский Б. Л. Пушкин. С. 341.

⁴⁵ См.: Ахматова А. А. О Пушкине. С. 114.

царь флиртовал и с другими барышнями. Его салонная красивость и «казарменная галантность», умение носить мундир и плясать кадрили пленяли светских барышень. Летом 1836 года он предполагал свататься к княжне М. Н. Барятинской, и не только к ней⁴⁶. Наталья Николаевна ему нравилась, он желал склонить ее к измене мужу, злился, что теряет время, подговаривал приемного отца нашептывать ей о его страсти к ней, угрожать в случае отказа, пытался овладеть ей, через десять дней сватался к ее сестре.

Дантесу важнее была карьера, а не любовь к женщине. С ранней осени 1836 года в нем росло раздраженное самолюбие. Оно руководило его поступками в отношении Натальи Николаевны. Брак с Е. Н. Гончаровой позволил избежать дуэли, смертельной для продолжения службы в России. И ухаживание за женой Пушкина Геккерн допустил ради карьеры приемного сына — так, ему казалось, не будут бросаться в глаза их противоестественные отношения, нежелательные для карьеры. Заигрались, флирт, затем домогательства имели неожиданные для них последствия. Все это убедительно показала А. А. Ахматова в своей книге. Поведение Геккерна и Дантеса свидетельствует о чем угодно, но не о любви. Читайте их пошлые письма, в них есть все⁴⁷. Читайте письма Геккерна, пытавшегося оправдать себя, и Дантеса, арестованного после дуэли⁴⁸. Ни ложь, ни клевета не послужили для него препятствием. «Голландский дипломат барон Геккерн не был ни Талейраном, ни Меттернихом» (А. А. Ахматова). Заменой ума и талантов барону Геккерну служило мастерство интриги. Его петербургская деятельность соткана из интриг, интрига была смыслом его существования, его смертельным орудием. Расставленных им капканов Пушкину избежать не удалось.

Чиновник Министерства иностранных дел Н. М. Смирнов (1808–1870), близкий к кругу Пушкина, иначе объясняет побудительные мотивы Геккерна:

«Любовь Дантеса к Пушкиной ему не нравилась. Геккерн имел честолюбивые виды и хотел женить своего приемного сына на богатой невесте. Он был человек злой, эгоист, которому все средства казались позволительными для достижения своей цели, известный всему Петербургу злым языком, перессоривший уже многих, презираемый теми, которые его проникли. Весьма правдоподобно, что он был виновником сих писем с целью поссорить Дантеса с Пушкиным и, отвлекши его от продолжения знакомства с Натальей Николаевной, исцелить его от любви и женить на другой. Сколь ни гнусен был сей расчет, Геккерн был способен составить его»⁴⁹.

Секретарь шефа жандармов графа А. Х. Бенкендорфа, пользовавшегося абсолютным доверием и особым расположением императора, П. И. Миллер (1813–1885), лицеист шестого курса, страстный поклонник Пушкина, зная мнение властей и даже трона, выражает непоколебимую уверенность в авторстве нидерландского посланника: «Пушкин боялся пуще смерти быть рогатым, — пишет Миллер, — а потому можно легко представить себе, как он был взбешен, получа эти пасквили. Он полагал с достоверностью, что они были написаны самим голландским посланником бароном Геккерном, который, помогая таким образом Дантесу в этой интриге и в прочих его мерзостях, конечно, не мог быть ему отцом и, конечно, только из желания подслужиться сыну своего короля принял личное участие в этом постыдном для них обоих деле»⁵⁰.

⁴⁶ См.: *Абрамович С. Л.* Предыстория последней дуэли Пушкина. С. 45–52.

⁴⁷ См.: *Витале С., Старк В.* Черная речка. До и после. К истории дуэли Пушкина. СПб., 2000.

⁴⁸ См.: *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. С. 268–277.

⁴⁹ Пушкин в воспоминаниях современников. В 2 т. СПб., 1998. Т. 2. С. 274.

⁵⁰ *Эйдельман Н. Я.* Десять автографов Пушкина из архива П. И. Миллера // Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки им. В. И. Ленина. Вып. 33. С. 316.

Непонятно причем тут сын нидерландского короля Вильгельм, принц Оранский (1792–1849), с 1840 года король Нидерландов Вильгельм II, женатый на Анне Павловне, сестре Николая I. Чем и в чем Геккерн мог ему помочь?

Николай Михайлович Смирнов, муж А. О. Россет, близкий к карамзинскому кружку, характеризовавшийся современниками человеком правдивым, образованным, автор «Памятных записок», изданных П. И. Бартеневым, не ссылаясь на источник, сообщает, что в Зимнем дворце были уверены в причастности Геккерна к пасквилью. «Последствия доказали, — пишет Смирнов, — что государь в этом не сомневался и, говорят, что полиция имела неоспоримые доказательства»⁵¹. Разумеется, доказательства эти для нас остались тайною. Не следует забывать, что в первой половине XIX века криминалистика была более легкомысленна и доверчива, чем сегодня. Если Смирнов под доказательствами понимал высылку нидерландского посланника из России, то ее фактическая причина заключалась в недовольстве Николая I тем, что Геккерн «в официальных депешах своему правительству позволяет себе излагать частные разговоры с царем о семейных делах Анны Павловны»⁵².

«Я должен сделать тебе, мой дорогой, один упрек, так как не желаю ничего таить против тебя, — писал Вильгельм Оранский Николаю I 11 ноября 1836 года, — как же это случилось, мой друг, что ты мог говорить о *моих домашних делах с Геккерном* как с посланником или в любом другом качестве? Он изложил все это в официальной депеше, которую я читал, и мне горько видеть, что ты находишь меня виноватым и полагаешь, будто я совсем не иду навстречу желаниям твоей сестры.

До сей поры я надеялся, что мои семейные обстоятельства не осудит, по крайней мере, никто из близких Анны, которые знают голую правду. Я заверяю тебя, что все это задело меня за сердце, равно как и фраза Александрины, сообщенная Геккерном: спросив, *сколько времени еще может продлиться бесконечное пребывание наших войск на бельгийской границе, она сказала, что известно, будто это делается теперь только для удовлетворения моих военных наклонностей...*»⁵³

Пасквиль и гибель Пушкина — лишь повод. Высылая Геккерна, Николай I обвинил его в сводничестве и авторстве анонимных писем. В последней аудиенции ему было отказано⁵⁴. Суд над Дантесом закончился 19 февраля 1837 года, 18 марта Николай I утвердил приговор, на другой день его выслали из Петербурга. Кавалергардский поручик Дантес был ближе и понятнее нашему императору, чем сочинитель Пушкин. Лишь после прочтения пасквиля с намеками на его персону Николай Павлович отвернулся от Дантеса и, судя по всему, сделал определенное внушение его начальству. С середины ноября 1836 года Дантес получил столько взысканий, сколько не имел за три года службы⁵⁵.

Князь Христиан Людвиг Фридрих Генрих Гогенлоэ-Лангенбург-Крихберг (1788–1859), вюртембергский посланник в Петербурге, писал о своем нидерландском коллеге: «Об его отъезде никто не жалеет, несмотря на то, что он прожил в Петербурге около тринадцати лет и в течение долгого времени пользовался заметным отличием со стороны двора, пользуясь покровительством графини Нессельроде; в городе к барону Геккерну относились хуже уже в течение нескольких лет, и многие избегали знакомства с ним»⁵⁶.

⁵¹ Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 274.

⁵² Левкович Я. Л. Примечания // Шеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 547.

⁵³ Эйдельман Н. Я. Нидерландские материалы о дуэли и смерти Пушкина // Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки им. В. И. Ленина. Вып. 35. М., 1974. С. 199. Курсив публикатора.

⁵⁴ См.: Шеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 397.

⁵⁵ Яшин М. И. Хроника преддуэльных дней. С. 172.

⁵⁶ Цит. по: Шеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 327.

Предоставим слово самому Николаю I, 3 февраля 1837 года он написал великому князю Михаилу Павловичу:

«Это происшествие возбудило тьму толков, наибольшую частью самых глупых, из коих одно порицание Геккерна справедливо и заслуженно; он точно вел себя как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривая жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью, и все это тогда открылось, когда после первого вызова на дуэль Дантеса Пушкиным Дантес вдруг посватался к сестре Пушкиной; тогда же Пушкина открыла мужу всю гнусность поведения обоих, быв во всем совершенно невинна»⁵⁷.

Как правило, о бароне Геккерне мы слышим резко отрицательные отзывы, мы верим им, потому что нам известны его поступки. Приведем характеристику ему, оставленную потомкам французским дипломатом Теодором Марией Мельхиором Жозефом де Лагрене (1800–1862), находившимся в Петербурге в 1823–1825 и 1828–1834 годах:

«Лично я далек от мысли, что г-н Геккерн так опасен, как о нем говорят: из-за несчастной привычки отпускать иронические и язвительные реплики он нажил себе великое число врагов, которые, по всей вероятности, платят ему за насмешки клеветой. Я долгое время находился с этим посланником в сношениях весьма тесных и мог убедиться в наличии у него душевной теплоты и возвышенных чувств, кои кажутся мне несовместимыми с пороками, ему приписываемыми. Как бы там ни было, невозможно отказать нидерландскому посланнику ни в отменном такте, ни в на редкость изощренной наблюдательности, ни в совершенно особенном умении знать обо всем больше своих собратьев»⁵⁸.

Летом 1837 года великий князь Михаил Павлович поправлял здоровье в Баден-Бадене. На этот курорт слетался не только «весь Петербург», но и именитые обыватели Западной Европы. Князь В. Ф. Одоевский (1804–1869), писатель, литературный и музыкальный критик, приятель Пушкина, хорошо знавший великого князя, записал в своем дневнике:

«Встретивши Дантеса (убившего Пушкина) в Бадене, который, как богатый человек и барон, весело прогуливался с шляпой набекрень, Михаил Павлович три дня был расстроен. Когда графиня Соллогуб-мать, которую он очень любил, спросила у него о причине его расстройства — он отвечал: „Кого я видел? Дантеса!“ — „Воспоминание о Пушкине вас встревожило?“ — „О нет! туда ему и дорога!“ — „Так что же?“ — „Да сам Дантес! бедный! — подумайте, ведь он солдат“.

Ведь это было в нем — не притворство; но таков был склад его идей»⁵⁹.

Хотелось бы обратить внимание читателя на следующее обстоятельство. Даже самый отчаянный, ослепленный злобой пакостник, невоздержанный и мстительный, знает, что тайное не всегда остается тайным. Нидерландский посланник при русском дворе барон Геккерн превосходно понимал, что при сложившихся обстоятельствах подозрение падает прежде всего на него и его приемного сына Жоржа Дантеса, понимал, чем закончится его карьера, будь доказана их с сыном причастность к изготовлению пасквиля. Стоила ли осуществленная месть или что угодно другое риска быть с позором изгнанным из страны? Знал ли Геккерн почтовые ад-

⁵⁷ Цит. по: Ахматова А. А. Пушкин. С. 253.

⁵⁸ Седова Г. М. Ему было за что умирать у Черной речки. С. 465.

⁵⁹ Цит. по: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 380. Дневник не опубликован; Соллогуб-мать — графиня С. И. Соллогуб (1791–1854), мать В. А. и Л. А. Соллогубов.

реса всех получателей пасквиля, кто такие Нарышкин и Борх, был ли Пушкин историографом? Может, и знал, но не адреса. И тем не менее Геккерн автором анонимного письма называли многие. Уж очень хотелось видеть его в этой роли. Серьезными доказательствами никто не располагал.

Изучая текст анонимного пасквиля, известные пушкинисты А. С. Поляков и Б. В. Томашевский убедительно доказали, что его изготовлением занимался не иностранец⁶⁰, но автором текста иностранец мог быть. Поляков делает свой вывод на основании анализа текстов, Томашевский — на основании графологического анализа. Томашевский утверждает также, что все тексты написаны одной рукой. И вот его заключение: «Возможно, что оригинал скопирован с иностранного образца. Но писала его несомненно русская рука».

Приведем еще одно косвенное подтверждение непричастности нидерландского посланника и его приемного сына к появлению подметного письма — записка Геккерн Дантесу. А. С. Поляков полагает, что 7 ноября 1836 года вечером записка эта была отправлена с нарочным Дантесу, находившемуся в полку на дежурстве⁶¹.

«Если ты хочешь говорить об анонимном письме, я тебе скажу, что оно было запечатано красным сургучом, сургуча мало и запечатано плохо. Печать довольно странная; сколько я помню, на одной печати имеется посредине следующей формы „А“ со многими эмблемами вокруг „А“. Я не мог различить точно эти эмблемы, потому что, я повторяю, оно было плохо запечатано. Мне кажется, однако, что там были знамена, пушки, но я в этом не уверен. Мне кажется, так припоминаю, что это было с нескольких сторон, но я в этом также не уверен. Ради Бога, будь разумен и за этими подробностями отсылай смело ко мне, потому что граф Нессельроде показал мне письмо, которое написано на бумаге такого же формата, как и эта записка»⁶².

А. С. Поляков, первый исследовавший и опубликовавший эту записку, сообщает, что бумага форматом и качеством отличается от использованной для анонимного пасквиля. Бумага пасквиля плотная, хорошего качества, без водяных знаков. Известная нам бумага, употреблявшаяся Геккерном и Дантесом, тоньше и имеет водяные знаки⁶³. Вряд ли аноним стал бы использовать ту же бумагу, какой регулярно пользовался, — улика. Цитируемую записку Геккерн мог написать позже, с целью оправдания, но не мог сочинить, что видел у Нессельроде оригинал пасквиля. Чей экземпляр? В последних числах января 1837 года нидерландский посланник передал приведенную выше записку министру иностранных дел К. В. Нессельроде (1780–1862) вместе с другими оправдательными документами. В 1840 году Нессельроде писал: «Геккерн на все способен: это человек без чести и совести; он вообще не имеет право на уважение и не терпим в нашем обществе»⁶⁴.

Судя по тексту записки, Дантесу потребовалось описание красной сургучной печати — по ней легко и надежно определяется участник изготовления пасквиля, куда надежней, чем по почерку, разумеется, если изготовитель пользовался своей печатью. За прошедшие почти два столетия владелец печати не обнаружен. Печать эта производит странное впечатление. Обычно владельческие печатки изготовли-

⁶⁰ См.: Поляков А. С. О смерти Пушкина. С. 16; Томашевский Б. В. Мог ли иностранец написать анонимный пасквиль на Пушкина (опыт графологического анализа) // Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. СПб., 1924. С. 131–133.

⁶¹ См.: Поляков А. С. О смерти Пушкина. С. 20.

⁶² Поляков А. С. О смерти Пушкина. С. 17–18.

⁶³ См.: Поляков А. С. О смерти Пушкина. С. 15.

⁶⁴ Ахматова А. А. Пушкин. С. 114.

вались из полудрагоценных и даже драгоценных камней или металла профессиональными резчиками по эскизам художников с учетом требований заказчиков. Владелец желал иметь изящную печать с некоей символикой, отображающей его занятия, интересы, принадлежность к фамилии, клану, государству и др. Сохранившиеся оттиски в сургуче на пакете, полученном графом М. Ю. Виельгорским, меценатом, музыкантом, масоном высокого ранга⁶⁵, и на двух внутренних конвертах наводят на мысль о том, что печатка изготовлена кустарно, любителем, слабо художественно одаренным. Ни композиции, ни изящества, ни техники в ней не обнаруживается. Внимательное рассмотрение оттиска показывает, что материал печатки, возможно, дерево, и она изготовлена только лишь для ее использования в затеянной анонимами мерзости и дальнейшего уничтожения как важнейшей улики. Упаси Боже, если бы печатка была владельческой и оказалась в руках полиции или кого-нибудь из друзей Пушкина. Более простого и убедительного доказательства участия владельца в изготовлении «диплома рогоносца» не сыскать.

Первым в XX веке на масонскую символику печатки обратил внимание П. Е. Рейнбот (1855–1934), лицеист, секретарь Пушкинского Лицейского общества. Он утверждает, что изготовители пасквиля использовали «„малую“ печать какой-либо масонской ложи», принадлежавшую ее секретарю, «на что указывает [гусиное] перо под жертвенником»; жертвенник — буква «П», возможно, не жертвенник, а сообщает нам о том, что ложу следует искать в Пскове; буква «А» — ложа в честь Александра I. Рейнбот насчитал не менее пяти лож, у которых могла оказаться подобная печатка⁶⁶. Как известно, С. Л. Пушкин и А. С. Пушкин были масонами, масонскую символику знали. М. Ю. Виельгорский с привлечением масонского братства мог без труда обнаружить владельца печатки. Наверное, уже тогда понимали, что эта печатка не владельческая, что использование владельческой печатки равносильно указанию имени под анонимным текстом. Разумеется, и по бумаге искать анонимов бесполезно. Не следует забывать, что 1 августа 1822 года все тайные общества в России, включая масонские ложи, были запрещены. Поэтому даже если эта печатка не поддельная и принадлежала секретарю масонской ложи, то через четырнадцать лет после ее роспуска определение прежнего обладателя ничего существенного к нашим знаниям не прибавит.

В. А. Соллогуб вспоминает об одной из встреч в начале декабря 1836 года с аташе французского посольства виконтом О. д'Аршиаком (1811–1847), будущим секундантом Дантеса: «Он рассказал мне, что венское общество целую зиму забавлялось рассылкою подобных мистификаций. Тут находился тоже печатный образец диплома, посланного Пушкину. Таким образом, гнусный шутник, причинивший его смерть, не выдумал даже своей шутки, а получил образец от какого-то члена дипломатического корпуса и списал»⁶⁷.

Соллогуб мог этот эпизод придумать или изложить в искаженном виде, его «Воспоминания» опубликованы через сорок лет после смерти д'Аршиака. Но нечто подобное встречается в мемуарах А. О. Смирновой-Россет:

«Медом отправился в Вену и написал Николаю [мужу Смирновой], что, вероятно, знаменитый напечатанный циркуляр был сделан в Вене. Фикельмонт послал ему экземпляр, и кажется, что печатала их венская типография. Верная Элиза волнуется, отыскивая автора этой гадости, и была поражена тем, что программа одно-

⁶⁵ См.: Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000. Энциклопедический словарь. М., 2001; Премудрость Астреи. Памятники масонства XVIII – первой трети XIX века в собрании Эрмитажа. Каталог выставки. СПб., 2013. С. 408.

⁶⁶ ПД. Ф. 665. Оп. 2. Д. 7. Л. 2.

⁶⁷ Соллогуб В. А. Воспоминания. С. 371.

го венского концерта имеет тот же тип. Там есть даже ошибки, которых в Париже не сделали бы, и, кроме того, это тип, уже вышедший из моды во Франции»⁶⁸.

Медем — граф Павел Иванович (1800–1854), русский посол в Лондоне, Штутгарте и Вене; Фикельмонт — граф Шарль Луи Фикельмон (1779–1857), австрийский посланник в Петербурге, муж Дарьи Федоровны, урожденной Тизенгаузен (1804–1863); Элиза — Е. М. Хитрово, мать Д. Ф. Фикельмон. Почему-то в самом солидном издании мемуаров Смирновой этот сюжет отсутствует⁶⁹.

Ю. М. Лотман пишет, что эпидемия анонимных пасквилей в конце XVIII — начале XIX века охватила Францию и не только ее, образовалось даже «Общество мистификаторов». В 1867 году в Париже вышла книга с описанием изготовления «Патента рогоносца»⁷⁰. Анонимные рассылки, обидные и безобидные розыгрыши, дипломы рогоносца далеко не единичны. В упомянутой книге имеется текст, мало чем отличающийся от полученного Пушкиным.

Просвещенная Европа придумала забавное развлечение, отчего бы России не последовать ее примеру. Князь А. В. Трубецкой (1813–1889), живший с Дантесом в одной избе летом 1836 года во время учений, в 1887 году надиктовал историку В. А. Бильбасову «Рассказ об отношениях Пушкина к Дантесу». Приведем из него извлечение: «В то время несколько шалунов из молодежи — между прочим Урусов, Опочкин и Строганов, мой cousin — стали рассылать анонимные письма по мужам-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин. В другое время он не обратил бы внимание на подобную шутку и, во всяком случае, отнесся бы к ней, как к шутке, быть может, заклеил бы ее эпиграммой»⁷¹.

Семидесятичетырехлетний генерал вспоминал о событиях пятидесятилетней давности, многое забыл, многое напутал. «Шалуны из молодежи» в 1836 году были уже вовсе не юнцами, а двадцативосьмилетними мужчинами. Возможно, шалостями они и грешили, но значительно раньше и к Пушкину отношения не имели. Впрочем, кто знает, что может случиться после бокала шампанского. В балбесах гвардейских, армейских и статских столица недостатка не испытывала.

Приведем емкую характеристику происшедшего до 4 ноября 1836 года, сформулированную Александром Н. Карамзиным (1815–1888), дружившим с Дантесом до начала ноября 1836 года (его письмо от 13 марта 1837 года к брату):

«Дантес был пустым мальчишкой, когда приехал сюда, забавный тем, что отсутствие образования сочеталось в нем с природным умом, а в общем — совершенным ничтожеством как в нравственном, так и в умственном отношении. Если бы он таким и оставался, он был бы добрым малым, и больше ничего; я бы не краснел, как краснею теперь оттого, что был с ним в дружбе, — но его усыновил Геккерн, по причинам, до сих пор еще совершенно неизвестным обществу (которое мстит за это, строя предположения). Геккерн, будучи умным человеком и утонченнейшим развратником, какие только бывали под солнцем, без труда овладел совершенно умом и душой Дантеса, у которого первого было много меньше, нежели у Геккерна, а второй не было, может быть, и вовсе. Эти два человека, не знаю, с какими дьявольскими намерениями, стали преследовать госпожу Пушкину с таким упорством и настойчивостью, что, пользуясь недалекостью ума этой женщины и ужасной глупостью ее сестры Екатерины, в один год достигли того, что почти свели ее с ума и повредили ее репутации во всеобщем мнении. Дантес в то время был болен

⁶⁸ Цит. по: Поляков А. С. О смерти Пушкина. С. 80.

⁶⁹ См.: Смирнова-Россет А. О. Дневники. Воспоминания. М., 1999.

⁷⁰ Лотман Ю. М. О дуэли Пушкина без «тайн» и «загадок» // Абрамович С. Л. Предыстория последней дуэли Пушкина. С. 334.

⁷¹ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 356.

грудью и худел на глазах. Старик Геккерн сказал госпоже Пушкиной, что он умирает из-за нее, заклинал ее спасти его сына, потом стал грозить мстостью; два дня спустя появились анонимные письма. (Если Геккерн — автор этих писем, то это с его стороны была бы жестокая и непонятная нелепость, тем не менее люди, которые должны об этом кое-что знать, говорят, что теперь почти доказано, что это именно он!)»⁷². Не слишком ли мягко характеризуются поступки нидерландского дипломата? Наверное, князь Петр Андреевич поделился услышанным в десятых числах февраля 1837 года от Натальи Николаевны с Карамзиными, своими племянниками⁷³.

Об участии Геккерна в изготовлении пасквиля пишут П. А. Вяземский⁷⁴, биограф Пушкина П. В. Анненков (1813–1887)⁷⁵, Наталья Николаевна, об этом сообщила ее дочь М. А. Меренберг⁷⁶ и др. Мы не располагаем доказательствам и участия Геккерна–Дантеса в составлении и распространении пасквиля. Бросается в глаза жесткая логическая связь череды свершившихся событий: уговоры и угрозы, вкрадчиво нашептываемые Наталье Николаевне бароном Геккерном в конце октября, неожиданное для нее свидание с Дантесом у И. Г. Полетики 2 ноября, изготовление 3 ноября и появление 4 ноября «диплома рогоносца». Конечно, это можно назвать случайным совпадением. Случайные совпадения настораживают.

Приведем начало письма Геккерна от 30 января 1837 года, отправленного министру внутренних дел Нидерландов барону Верстолку: «Грустное событие в моем семействе заставляет меня прибегнуть к частному письму, чтобы сообщить подробности Вашему превосходительству. Как ни печален был его исход, я был поставлен в необходимость поступить именно так, как я это сделал, и я надеюсь убедить в том и Ваше превосходительство простым изложением всего случившегося.

Вы знаете, господин барон, что я усыновил молодого человека, жившего много лет со мною, и он носит теперь мое имя. Почти год, как мой приемный сын отличается в свете молодую и красивую женщину, г-жу Пушкину, жену поэта с той же фамилией. Честью могу заверить, что эта склонность никогда не переходила в преступную связь, все петербургское общество в этом равным образом убеждено, и сам г. Пушкин кончил тем, что признал это письменно и перед многочисленными свидетелями. Потомок африканского негра, любимца Петра Великого, г. Пушкин унаследовал от предка свой мрачный и мстительный характер.

Полученные им около четырех месяцев тому назад омерзительные анонимные письма разбудили его ревность и заставили его послать вызов моему сыну, который тот принял без всяких объяснений»⁷⁷.

Что тут комментировать? Этот текст написан на другой день после смерти Пушкина. Через два дня Геккерн с недоумением обнаружил, что «общественное мнение высказалось при кончине г. Пушкина с большей силой, чем предполагалось»⁷⁸.

Впрочем, и мы вправе пофантазировать. Злопамятный, мерзопакостный барон Геккерн, ослепленный жаждой наказания «жеманной упрямыцы», обидевшей, даже оскорбившей его сына отказом, сочиняет текст пасквиля, возможно, в соавторстве с лицом, принадлежавшим высшему свету, или использует печатный венский образец, передает оригинал своему пасынку, решительно отвергнутому нака-

⁷² Пушкин в письмах Карамзиных. С. 190.

⁷³ Е. А. Карамзина была побочной дочерью отца П. А. Вяземского.

⁷⁴ См.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 222–231.

⁷⁵ См.: Модзалевский Б. Л. Пушкин. С. 277–236.

⁷⁶ См.: Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. С. 129.

⁷⁷ Эйдельман Н. Я. Нидерландские материалы о дуэли и смерти. С. 205.

⁷⁸ Там же. С. 209.

нуне Натальей Николаевной, тот встречается с друзьями-лоботрясами, образует артель (один режет печатку, другой копирует текст и пишет адреса, Дантес разливает клико), и она, веселясь, дружно изготавливает то, что подтолкнуло гения к барьеру. На изготовление семи комплектов ушло не более четырех часов. В компании кто-то может проговориться. Это правило — жизнь не раз подтверждала его справедливость. Не проговорились — ужаснулись последствиям содеянного и поклялись молчать. Похоже? Да, но доказательства отсутствуют.

Подозрение падало не на одного лишь нидерландского посланника. Мы рассмотрим лишь обвинения против предполагаемых изготовителей пасквиля, на которых указывали их современники. Исключение сделаем лишь для наркома иностранных дел СССР Г. В. Чичерина (1872–1936).

Вслед за бароном Геккерном наибольшее число обвинителей у князя Петра Владимировича Долгорукова (1816–1868), воспитанника Пажеского корпуса, генеалога. Веских доказательств его участия в изготовлении «диплома рога носца» не обнаружено. Заключение графологической экспертизы об участии князя П. В. Долгорукова в изготовлении пасквиля, выполненное в 1927 году фельдшером-криминалистом А. А. Сальковым по поручению П. Е. Щеголева, опровергнуто⁷⁹. Молва прочно прилипла к Долгорукову с самого начала. Его характер с ранних лет и до кончины современниками признавался невыносимым. Ему удавалось восстанавливать против себя не только близких, но и вовсе незнакомых людей. О его более чем дружеских отношениях с Геккерном знали все. «Старик барон Геккерн, — вспоминал П. А. Вяземский, — был известен распутством. Он окружал себя молодыми людьми наглого разврата и охотниками до любовных сплетен и всяческих интриг по этой части; в числе их находились князь П. В. Долгоруков и граф Л. С.»⁸⁰. В другом месте Вяземский пишет: «Это еще не доказано, хотя Долгоруков и был в состоянии совершить эту гнусность»⁸¹.

Приведем выдержку из воспоминаний барона Ф. А. Бюллера (1821–1896), правоведа и архивиста. В ней сообщается мнение наименее субъективного, авторитетнейшего свидетеля прошедших событий:

«В 1840-х годах, в одну из литературно-музыкальных суббот у князя В. Ф. Одоевского, мне случилось засидеться до того, что я остался в его кабинете сам-четвёрт с графом Михаилом Юрьевичем Виельгорским и Львом Сергеевичем Пушкиным, известным в свое время под названием Лёвушки. Он тогда только что прибыл с Кавказа, в общеармейском кавалерийском мундире с майорскими эполетами. Чертами лица и кудрявыми (хотя и русыми) волосами он несколько напоминал своего брата, но ростом был меньше его. Подали ужин, тут-то Лёвушка в первый раз узнал из подробного, в высшей степени занимательного рассказа графа Виельгорского все коварные подстрекания, которые довели брата его до дуэли. Передавать в печати слышанное тогда мною и теперь еще неудобно. Скажу только, что известный впоследствии писатель-генеалог князь П. В. Долгоруков был тут поименован в числе авторов возбудительных подметных писем»⁸².

Одну из выходов князя П. В. Долгорукова запечатлел генерал-адъютант граф В. Ф. Адлерберг (1791–1837) в рассказе, записанном П. И. Бартеневым:

⁷⁹ См.: *Щеголев П. Е.* Дуэль и смерть Пушкина. С. 436–452; *Козлов А., Феофанов Ю.* Истина без прикрас // *Известия.* 1975. 28 августа. № 201.

⁸⁰ Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 172. Л. С. — граф Л. А. Соллогуб (1812–1852), брат В. А. Соллогуба.

⁸¹ Русский архив. 1901. Кн. III. С. 255.

⁸² Русский архив. 1895. Т. II. С. 204.

«Зимой 1836–1837 гг., на одном из бывших вечеров, граф В. Ф. Адлерберг увидел, как стоявший позади Пушкина молодой князь П. В. Долгоруков кому-то указывал на Дантеса и при этом подымал вверх пальцы, растопыря их рогами»⁸³.

Имя Долгорукова связывают с другом его юности князем И. С. Гагариным (1814–1882), дипломатом, писателем. В 1843 году он покинул Россию, вскоре перешел в католичество и вступил в Орден иезуитов. В 1836 году Долгоруков и Гагарин снимали квартиру на Миллионной⁸⁴. Благодаря именно этому обстоятельству подозрения пали и на Гагарина. В отличие от Долгорукова о Гагарине сохранились теплые воспоминания достойных людей; среди них А. И. Тургенев, С. А. Соболевский, Н. С. Лесков. В них выражено убеждение в том, что Гагарин не мог совершить столь гнусного поступка. «С своей стороны, — пишет С. А. Соболевский, — я слишком люблю и уважаю Г[агарина], чтобы иметь на него хотя бы малейшее подозрение; впрочем, в прошедшем году я сам решительным образом расспрашивал его об этом; отвечая мне, он даже не думал оправдывать в этом себя, уверенный в своей невинности; но оправдывая Д[олгорукова] в этом деле, он рассказал мне о многих фактах, которые показались мне скорее доказывающими виновность этого последнего, чем что либо другое... Мне только что сказали, что Дантес-Геккерн хочет начать другое дело с Д[олгоруковым] и что он намеревается доказать, что именно Д[олгоруков] составил подлые анонимные письма, следствием коих была смерть моего друга Пушкина»⁸⁵.

Всю жизнь И. С. Гагарина терзали возникшие в отношении него подозрения.

Высказывались необоснованные предположения о том, что в парижском архиве Дантеса хранится экземпляр пасквиля (чей?), и он может заказать почерковедческую экспертизу. Затея кончилась ничем.

Выше приведены извлечения из письма от 7 февраля 1862 года жившего в Москве Соболевского в Петербург светлейшему князю С. М. Воронцову, враждовавшему с П. В. Долгоруковым. Письмо это заканчивается постскриптумом:

«Р. S. Мне известно, что записки (подложные или настоящие) княгини Долгоруковой ходят по Петербургу; люди, которые их там читали, даже сообщили мне некоторые черточки их содержания. Если Вы их увидите, благоволите дать себе труд посмотреть, что в них говорится о деле Пушкина: это тем более интересно, что — княгиня всегда утверждала (и это говорила она всем), что ее муж ей сказал, что он — автор всей этой интриги»⁸⁶.

Ольга Дмитриевна Долгорукова, урожденная Давыдова (1824–1893), вышла замуж за развращенного бароном Геккерном князя Петра Владимировича в 1846 году. Вместе они почти не жили; известно, что муж ее бил. Записки О. Д. Долгоруковой не публиковались и нигде больше не упоминаются. Воронцов судился с Долгоруковым, обвинив его в клевете, и выиграл процесс.

Б. Л. Модзалевским собран материал, характеризующий Долгорукова отпетым мерзавцем, но прямых доказательств причастности его к «фальсифицированию» анонимного пасквиля нет⁸⁷.

О графине Марии Дмитриевне Нессельроде, урожденной графине Гурьевой (1786–1849), жене министра иностранных дел, сохранилась масса воспоминаний с

⁸³ Русский архив. 1892. Т. II. С. 488.

⁸⁴ См.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 402.

⁸⁵ Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пг., 1924. С. 24–25.

⁸⁶ Там же. С. 27.

⁸⁷ См.: Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. С. 13–49.

противоположными о ней мнениями. Приведем ключевую фразу характеристики графини Нессельроде из воспоминаний барона М. А. Корфа: «Сколь вражда ее была ужасна и опасна, столь и дружба — я испытал это на себе многие годы — неизменна, заботлива, охранительна, иногда даже до ослепления и пристрастна»⁸⁸. Пушкина она ненавидела неистово за приписываемую поэту эпиграмму на ее отца, министра финансов, прославившегося мздоимством и воровством. «Встарь Голицын мудрость весил, / Гурьев грабил весь народ». Известно, что и дочь его не была святой, не гнушалась брать за хлопоты и покровительство. Все недоброжелатели Пушкина ходили в ее друзьях. Ближайшим из них с появления в Петербурге в 1823 году до отъезда 1 апреля 1837 года был Геккерн, после гибели Пушкина покинутый всеми, кроме графини Нессельроде. Даже резко отрицательное отношение к нидерландскому посланнику в Зимнем дворце и, следовательно, министра иностранных дел к нидерландскому посланнику не повлияло на ее к нему отношение.

Своевольная графиня Мария Дмитриевна продолжала принимать барона Геккерна, успокаивая и утешая его. Никто в Петербурге так к нему не относился, как она.

Приведем извлечение из неизданных воспоминаний церемониймейстера князя А. М. Голицына (1838–1919): «Государь Александр Николаевич у себя в Зимнем дворце за столом, в ограниченном кругу лиц, громко сказал: „Ну, так вот теперь я знаю автора анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина; это [графиня] Нессельроде“. Слышал это от особы, сидевшей возле государя»⁸⁹.

И вновь никаких доказательств. И какое ее участие могло быть? Кого-нибудь натравить, подтолкнуть, поощрить... Вряд ли графиня Нессельроде стала бы ввязываться в подобную историю, разоблачение — удар по карьере мужа. Монарх на расправы был скор и жесток.

Сотрудник Института мировой литературы Е. Ю. Литвин опубликовала найденное ею письмо народного комиссара иностранных дел СССР Г. В. Чичерина (1872–1936) от 18 октября 1927 года П. Е. Щеголеву. Приведем из него извлечение:

«Многоуважаемый Павел Елисеевич, в „Огоньке“ 16 октября я впервые увидел факсимиле пушкинского анонима. Почерк, как показалось мне, знакомый. Мне кажется, это почерк Фил. Ив. Брунова, многочисленные *lettres particulieres* (*фр.* частные письма), которого я читал почти 30 лет тому назад, когда работал с Н. П. Павловым-Сильванским в Госархиве. Конечно, могу ошибаться, но характер почерка уж очень знакомый... Мне представляется такая картинка: злая, энергичная, властная Мария Дмитриевна [Нессельроде] имела при себе подлизывающегося остроума Брунова; он ее, несомненно, увеселял после обеда, она, очевидно, в соответствующих красках рассказала о романе государя с Пушкиной; Брунов, любитель шалостей и скабрзностей, очевидно, сочинил тут же остроу *orde de cocus* и сказал — „Пушкин заслужил диплома“, Мария Дмитриевна, оскорбленная Пушкиным, ухватилась за это, и Брунов тут же набросал карикатуру официального документа»⁹⁰.

Филипп Иванович Брунов (1797–1875) — граф, цензор, дипломат. Современники отзывались о нем нелестно. В 1920–1960-е годы и позже некоторыми пушкинистами обсуждалось предположение о том, что «диплом рогоносца» намекает на якобы существовавшую связь Н. Н. Пушкиной с Николаем I. Таким образом, император делается виновником гибели поэта. Рассматривались самые нелепые вари-

⁸⁸ Русская старина. 1900. Т. СII. С. 50.

⁸⁹ Московский пушкинист. М., 1927. С. 16. Автор статьи полагает, что князь А. М. Голицын записал рассказ графа А. В. Адлерберга или его кузена Э. Т. Баранова.

⁹⁰ Простор. 1984, № 9. С. 205–206; *orde de cocus* — *фр.* орден рогоносцев.

анты. Вызывает удивление фантазия наркома. Жена министра иностранных дел Российской империи с чиновником Министерства иностранных дел, будущим русским послом в Лондоне, производят на свет пакостное письмо, намекающее на интимную связь императора с замужней дамой, и им не страшно от одной только мысли о том, что их ждет в случае разоблачения. Странно, что такое пришло в голову народному комиссару иностранных дел СССР.

Действительно, в тексте пасквиля обнаруживается, возможно, неосознанный намек на интимные отношения между Натальей Николаевной и Николаем I. Основания для подобного подозрения отсутствуют. Нашего императора не следует называть безгрешным. На третьем этаже Зимнего дворца располагался фрейлинский коридор, куда ему иногда удавалось заходить, весь Петербург знал, что фрейлина В. А. Нелидова — его фаворитка. Император понимал, что не всякую женщину даже самодержцу можно безнаказанно заманить в постель, понимал, кто для него доступен, а кто — нет, понимал, что африканская кровь Пушкина в таком деле — помеха. Пушкин не стерпел бы того, что выпало на долю бедняги Нарышкина, мужа многолетней любовницы императора Александра I, отчего он и попал в «диплом рогоносца», отчего и усматривается в пасквили намек на интимную связь Николая I с Натальей Николаевной избранием Пушкина коадьютером Д. Л. Нарышкина. П. Е. Щеголев отыскал еще один намек на присутствие Николая I в тексте анонимного пасквиля. Жена графа И. Борха, чья фальшивая подпись украшает «диплом рогоносца», по слухам, побывала в объятиях императора. «О самой графине Пушкин выразился, что она живет с кучером». Если это так, «то получается острое сближение: в обладании графиней император соперничал с кучером!»⁹¹

Разумеется, от Александра Сергеевича не ускользнуло ничего. Д. Л. Нарышкин беззастенчиво брал у Александра I деньги. Возможно, отголоском тревоживших его намеков явилось письмо от 6 ноября 1836 года министру финансов графу Е. Ф. Канкрину с просьбой погашения огромного долга казне в счет продажи государству имения Кистенево⁹². Этого не произошло по ряду причин, но император нашел повод материально поддержать семейство Пушкина. Николай I через Бенкендорфа передал Наталье Николаевне десять тысяч рублей. В препроводительной записке шеф жандармов писал: «Его величество, желая сделать что-нибудь приятное Вашему мужу и Вам, поручил мне передать Вам в собственные руки сумму, при сем прилагаемую, по случаю брака Вашей сестры, будучи уверен, что Вам доставит удовольствие сделать ей свадебный подарок»⁹³. Эта сумма составляла чуть меньше четверти долга Пушкина казне.

Современники называли «фабрикатом» диплома С. С. Уварова (1786–1855), президента Академии наук, министра народного просвещения, впоследствии графа. Открытая вражда между ним и Пушкиным вспыхнула за год до появления пасквиля. О ней знали все. Князь Гогенлоэ, бывавший у друзей Пушкина, участвовавший в обсуждении происходившего вокруг анонимного пасквиля, пишет: «Об анонимных письмах существует два мнения. В обществе наибольшим доверием пользуется мнение, приписывающее их О. (Ouvagow — Уваров); мнение правительства (*du pouvoir*), основывающееся на тождественности пунктуации, на особенностях почерка и на сходстве бумаги инкриминирует их Н (конечно, *Heeskeren*)»⁹⁴.

Не ссылаясь ни на какие источники, литературовед П. А. Ефремов утверждает:

⁹¹ Щеголев П. Е. Пушкин и Николай I. 4. Последнее свидание в 1836 году // Из жизни и творчества Пушкина. Т. 2. М.; Л., 1931. С. 141.

⁹² Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 17 т. Т. XVI. Л., 1949. С. 182–183.

⁹³ Яшин М. И. Хроника преддвуэльных дней. С. 169.

⁹⁴ Цит. по: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 397. (*Du pouvoir (фр.)* — власть.)

«Графу С. С. Уварову приписывали распространение пасквиля рассылкою лицам высшего круга, даже незнакомым с Пушкиным, копий с этого пасквиля, сделанных во множестве по приказанию графа»⁹⁵.

П. Е. Рейнбот подозревал чиновника Министерства иностранных дел В. Ф. Боголюбова (1783–1842) в причастности к изготовлению пасквиля, основываясь на его близости к С. С. Уварову, нелюбви Пушкина и репутации злобного сплетника⁹⁶. Он полагал, что следует внимательнее присмотреться к лицам из круга Уварова и к Идалии Полетике. Действительно, современники единодушны в характеристиках Боголюбова («Сущий демон, везде поспекает, всем сумеет услужить», «уваровский шпион-переносчик», «способен на все»⁹⁷), но этого вовсе недостаточно, чтобы заподозрить его в изготовлении пасквиля.

Итальянская исследовательница Серена Витале вполне обоснованно предлагает в список подозреваемых в изготовлении «диплома рогоносца» добавить покинутых Дантесом женщин, мстивших ему таким способом⁹⁸. Слишком иезуитски изощренный способ для употребления в России. Тогда в этом списке окажется И. Г. Полетика, влюбленная в Дантеса и ненавидевшая Пушкина.

В 1987 году по заказу журнала «Огонек» историк-археолог Г. Хаит совместно с сотрудниками Всесоюзного научно-исследовательского института судебной экспертизы и другими специалистами выполнил сложнейшее всестороннее исследование анонимного пасквиля⁹⁹. В результате были сделаны следующие выводы:

1. Тексты дипломов и адреса написаны одной рукой. Подтвердилось графологическое исследование Б. В. Томашевского.

2. «Фабрикатор» диплома не француз, так как допущенные в написании некоторых слов ошибки не могли быть сделаны носителем языка независимо от степени его грамотности. Подтвердилось мнение А. С. Полякова и Б. В. Томашевского.

3. Диплом написан не «простолюдином» по чьему-то распоряжению, а лицом образованным, возможно, принадлежавшим высшему свету.

4. Вероятнее всего, автором текста и исполнителем было одно и то же лицо.

5. Участие князей П. В. Долгорукова и К. С. Гагарина в изготовлении пасквиля не подтверждается.

При поверхностном изучении внешнего вида пакета, полученного М. Ю. Виельгорским, а также неполной сохранности лицейского, в предположении того, что остальные пакеты принципиально ничем не отличались (их сравнение убеждает нас в этом), возникает ряд вопросов.

С какой целью один конверт (назовем его так) вложен в другой? На наружном конверте печатными буквами написан подробный почтовый адрес получателя, на внутреннем имеется нарочито небрежно выполненная надпись: «Александр Сергеевичу Пушкину». Оба конверта запечатаны красным сургучом одной и той же печаткой. Текст пасквиля помещен на внутренней поверхности листа, служащего внутренним конвертом («обложкой»). Такой способ отправки корреспонденции практиковался, его называли конфиденциальным. Предоставим слово графу В. А. Соллогубу:

«Я жил тогда на Большой Морской, у тетки моей <А. И.> Васильчиковой. В первых числах ноября (1836) она велела однажды утром меня позвать к себе и сказала:

⁹⁵ Цит. по: *Вересаев В. В.* Пушкин в жизни. М., 1926. Вып. 4. С. 64.

⁹⁶ ПД. Ф. 665. Оп. 2. Д. 7. Л. 4–9.

⁹⁷ *Грег Н. И.* Записки моей жизни. М.; Л., 1930. С. 808–809.

⁹⁸ *Витале С., Старк В.* Черная речка. С. 7.

⁹⁹ *Огонек.* 1897. № 6. С. 20–21.

— Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое запечатанное письмо, с надписью: Александру Сергеевичу Пушкину. Что мне с этим делать?

Говоря так, она вручила мне письмо, на котором было действительно написано кривым, лакейским почерком: „Александру Сергеичу Пушкину“. Мне тотчас же пришло в голову, что в этом письме что-нибудь написано о моей прежней истории с Пушкиным, что, следовательно, уничтожить я его не должен, а распечатать не в праве. Затем я отправился к Пушкину и, не подозревая нисколько содержания приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете. Распечатал конверт и тотчас сказал мне:

— Я уж знаю, что такое: я такое письмо получил сегодня же от Елис. Мих. Хитровой: это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя — ангел, никакое подозрение коснуться ее не может»¹⁰⁰.

Если Соллогуб точен, то к моменту его прихода Пушкин пакета с пасквилом не получил. Е. М. Хитрово успела получить и даже отправить пасквиль ему с посылным. О предполагаемом получении Александром Сергеевичем «диплома рогоносца» мы судим по его словам из цитированного выше письма Бенкендорфу о находившихся в его руках трех экземплярах: Хитрово, Соллогуба и кого-то еще. Упоминание о получении Пушкиным пасквиля имеется в письме Вяземского великому князю Михаилу Павловичу (см. выше).

И тут странности. Почему пакет для Соллогуба отправили его тетке? Не знали, где он живет? Возможно. Если знали или не знали, что он живет у тетки, то почему не поставили его имени? Не распечатал внутренний конверт. Все распечатали, кроме него и Е. М. Хитрово. Ей показалось, что произошла ошибка, и она, не задумываясь, отправила пасквиль Пушкину. Разумеется, если Соллогуб писал правду и отнес конверт Пушкину нераспечатанным, то все же странно, что дал этому поступку непонятное объяснение. К. О. Россет пишет, что, получив от Соллогуба пасквиль, Пушкин, не читая, порвал его¹⁰¹. Так и не узнал, что там написано? Вдруг другое. Если бы никто из получивших пакет не вскрыл внутреннего конверта и отдал его Пушкину? Тогда текст знал бы только он. В этом ли цель пасквилянта?

Соллогуб не распечатал внутренний конверт, потому что «в этом письме что-нибудь написано о моей прежней истории с Пушкиным». Кроме него самого, Пушкина и его жены, никто ничего знать не мог (дуэльная история Соллогуба с Пушкиным см. ниже). Да и знать там было нечего. Переборщил. Мог написать, что, прочитав надпись на внутреннем конверте, решил отнести его Пушкину. Складывается впечатление, будто ему был известен текст нераспечатанного письма. А бедняжка Е. М. Хитрово, отправившая Пушкину пасквиль нераспечатанным, корила себя за то, что не уничтожила его и оказалась втянутой в распространение клеветы.

Размышления получателя конфиденциальной корреспонденции понятны. Если внутренний конверт запечатан и на нем стоит имя другого лица, то его не следует вскрывать. Но Россеты, Вяземские и Виельгорские вскрыли внутренние конверты, потому что в последние дни октября — начале ноября наблюдали неуравновешенное поведение Пушкина и, не сговариваясь, заподозрили неладное. Порывистой

¹⁰⁰ Соллогуб В. А. Воспоминания. С. 357–358. Из этого текста видно, что Пушкин пасквиля не получал.

¹⁰¹ См.: Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 349.

Е. М. Хитрово не пришла в голову тревожная мысль. О чем подумал Соллогуб, он написал сам. Обратим лишь внимание на то обстоятельство, что основные свидетельства об анонимном пасквиле и о преддвуэльных днях Александра Сергеевича мы узнаем в основном от графа В. А. Соллогуба. На нем вся ответственность.

Почему получателями были близкие Пушкину лица и никого постороннего? Из самых близких не получил пакет лишь В. А. Жуковский. Он, как один из воспитателей наследника престола, не имевший семьи, жил в то в Шепелевом доме, принадлежавшем императорской фамилии, то в Царском Селе, в зависимости от того, где находился цесаревич. Может, поэтому? 1 ноября Жуковский приехал в столицу специально, чтобы присутствовать при чтении Пушкиным «Капитанской дочки», и остановился у В. Ф. Одоевского, но об этом никто не знал. Почти все получатели принадлежат к узкому кругу друзей Карамзиных. О постоянно посещавших карамзинские вечера знали немногие, их почтовые адреса еще меньшее число. П. В. Долгорукова заподозрили в изготовлении пасквиля, потому что он был близок к Геккерну и знал, где живут братья Россет, бывал у них, и нередко. Но к кругу нидерландского посланника принадлежал старший брат Владимира Соллогуба, граф Лев Александрович Соллогуб (1812–1853), и имел дурную репутацию. Почему-то братьев Соллогубов ни в чем не заподозрили. Лев Соллогуб с 1839 года служил секретарем русского посольства в Вене (мы уже знаем о печатных образцах «дипломов рогоносцев» из Вены). В своих воспоминаниях В. А. Соллогуб много места отводит родителям, родне, даже весьма отдаленной, но о старшем брате молчит. Детские обиды? Зависть? Он мечтал служить по Министерству иностранных дел и всю жизнь просидел за разными столами учреждений Министерства внутренних дел, а Лев сделался дипломатом. Окончательный текст «Воспоминаний» появился через три десятилетия после смерти Льва. Может, их связывала общая тайна, неприятная история? Почему-то в «Воспоминаниях» не запечатлены беседы с тестем автора графом Мих. Ю. Виельгорским о последних месяцах жизни Александра Сергеевича. Трудно представить, чтобы они не говорили о пасквиле, Наталье Николаевне, Дантесе, Пушкине — самом ярком из людей, ему известных. Кто сегодня вспоминал бы Соллогуба, не ворвься он в жизнь Александра Сергеевича?

Литературовед П. К. Губер (1886–1940) пишет о В. А. Соллогубе и его «Воспоминаниях» следующее:

«Самым примечательным событием великосветской жизни Соллогуба была довольно близкая прикосновенность его к делу последней дуэли Пушкина. Накрахмаленная и напомаженная фигура графа на один миг выглядывает из-за кулис этой жуткой и тяжелой драмы и тотчас же скрывается вновь. Все относящиеся сюда факты известны нам, главным образом, в изложении самого Соллогуба, и, конечно, в этой части своих мемуаров он заботливо взвешивал каждое слово, чтобы какая-нибудь неблагоприятная тень не пала на его поступки»¹⁰².

«С Пушкиным на дружеской ноге», не имея большого литературного дарования, он продвигался вверх быстро и легко. Но с первой половины 1840-х годов Владимир Соллогуб начал понимать, что пик его литературной карьеры оказался позади.

Н. М. Смирнов со слов К. О. Россета пишет, что на пакете был указан «не только дом его жительства, куда повернуть, взойдя во двор, по какой идти лестнице и какая дверь его квартиры»¹⁰³. Такие подробности удивили и насторожили братьев Россет. Они получали письма, но на конвертах не писался столь подробно адрес

¹⁰² Губер П. К. Граф В. А. Соллогуб и его мемуары // Соллогуб В. А. Воспоминания. С. 22.

¹⁰³ Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 274.

снимавшейся ими квартиры. Соллогуб сообщает читателю, что «смолоду был страшно бестолков и всю жизнь перепутывал числа и годы»¹⁰⁴. Через пятнадцать лет, истекших после истории с анонимным пасквилом, он сообщил П. В. Анненскому:

«В начале ноября 1836 года прихожу я к тетке: „Смотри, пожалуйста, какая странность, — говорит она. — Получаю по городской почте письмо на мое имя, а в письме записка:

Алекс. Сер. Пушкину“.

Первая мысль впала мне в голову, что это, может быть, о моей истории какие-нибудь сплетни. Я взял записку и пошел к Пушкину. — П. взглянул и сказал: „Я знаю! *Donnez-moi votre parole d'honneur de ne le dire a personne. C'est une infamie contre ma femme* (*фр.* Дайте мне честное слово, что никому об этом не расскажете. Это письмо позорит мою жену). Впрочем, это все равно что тронуть руками... Неприятно, да и руки умоешь — и кончено. *C'est comme si on rachait sur mon habit par derriere. C'est l'affaire de mon domestique* (*фр.* Когда мне сзади плюют на платье, этим занимается мой слуга). Вот, продолжал, что я писал об этом Хитровой, которая мне также прислала письмо“.

— Не подозреваете ли Вы кого в этом?

— *Je crois que c'est d'une femme* (*фр.* Я думаю, что за этим стоит женщина), — говорил он.

В тот же день Виельгорский, Карамзины, Вяземские получили подобные билеты (пакеты. — Ф. Л.) и их изорвали, прочитав. Замечательно, что Клем. Россет, который не бывает в большом свете и придерживается только тесного Карамз[инского] кружка получил такое же письмо с надписью:

Клементию Осиповичу Россети. В доме Занфтелебена, на левую руку в третий этаж.

След. писавший письмо хорошо знал в подроб. даже что касалось до приятелей Пуш-а. С этого времени Пуш. сделался беспокоен»¹⁰⁵.

Этот текст, записанный со слов В. А. Соллогуба П. В. Анненковым, безусловно точно передавшим смысл его рассказа, существенно отличается от приведенного выше. В 1866 году Соллогуб выпустил книгу воспоминаний о Н. В. Гоголе, А. С. Пушкине и М. Ю. Лермонтове. Сюжет визита к Пушкину с нераспечатанным пасквилом и все остальное, относящееся к дуэльной истории, слово в слово перекочевало во все последующие издания его «Воспоминаний», сначала в 1877 году в газету «Русский мир», затем в 1886 году после смерти В. А. Соллогуба в журнал «Исторический вестник», и, наконец, в 1887 году его «Воспоминания» вышли отдельной книгой.

Новые странности. Не забыл через столько лет адрес братьев Россет и забыл, что М. Ю. Виельгорский, его тесть, отдал письмо в III отделение. Но и это еще не все, он запомнил, что на внутреннем конверте пакета «кривым лакейским почерком» выведено: «Александрю Сергеичу Пушкину». Кроме теткинго пакета и, возможно, братьев Россет, вряд ли чей-то пакет он держал в руках после 1836 года. Следовательно, его память тридцать лет удерживала надписи на конвертах.

Есть еще два вопроса, на них нет ответов, но их постановкой сужается круг подозреваемых: кто знал, что Пушкин — историограф? Кто мог знать об упомянутых в пасквиле Д. Л. Нарышкине и И. Борхе?

¹⁰⁴ Соллогуб В. А. Воспоминания. С. 273–274.

¹⁰⁵ Модзалевский Б. Л. Пушкин. С. 377.

Еще один отрывок из воспоминаний Соллогуба. Прочтите его внимательно. Если он не лжет, то уж наверное лукавит:

«Двадцать пять лет спустя, я встретился в Париже с Дантесом-Гекерном, нынешним французским сенатором. Он спросил меня: „Вы ли это были?“ — Я отвечал: „Тот самый“. — „Знаете ли, — продолжал он: — когда фельдъегерь довез меня до границы, он вручил мне от государя запечатанный пакет с документами моей несчастной истории. Этот пакет у меня в столе лежит и теперь запечатанный. Я не имел духа его распечатать“.

Итак, документы, поясняющие смерть Пушкина, целы и находятся в Париже. В их числе должен быть диплом, написанный поддельной рукой. Стоит только экспертам исследовать почерк, и имя настоящего убийцы Пушкина делается известным на вечное презрение всему русскому народу. Это имя вертится у меня на языке, но пусть его отыщет и назовет не достоверная догадка, а божие правосудие!»¹⁰⁶

И с убийцей встретился, и убийца оказался нелюбознательным, и автора океанного пасквиля знает, но не назовет. Судившие Дантеса оригиналом «диплома рогоносца» не располагали и, кажется, его копией тоже; они не затребовали его из деликатности, чтобы не возникло лишних вопросов, чтобы не задавать их Наталье Николаевне. И если была у Дантеса копия, то не делать же по ней графологическую экспертизу. Оригинал у Дантеса не могло быть, Соллогуб это знал.

23 февраля 1846 года педагог и литератор Н. И. Иваницкий записал в дневнике:

«Вот что рассказывал гр. Соллогуб Никитенке о смерти Пушкина. В последний год своей жизни Пушкин решительно искал смерти. Тут была какая-то психологическая задача. Причины никто не мог знать, потому что Пушкин был окружен шпионами: каждое слово его, сказанное в кабинете самому искреннему другу, было известно правительству. Стало-быть — что таилось в душе его, известно только Богу. Он искал смерти. В 1836 г. он вызвал на дуэль Соллогуба, по самой пустой причине, за какую-то сплетню. Соллогуб не отказался. Это понравилось Пушкину. Он сблизился с Соллогубом, и они сделали друзьями. Вскоре он вызвал на дуэль Дантеса — и просил Соллогуба быть секундантом. Соллогуб согласился. Секунданты объяснились с Дантесом. Тот сказал, что готов исполнить все требования Пушкина. Пушкин потребовал, чтобы Дантес женился на его свояченице. Дантес женился. Не прошло и двух месяцев, как Пушкин опять потребовал его на дуэль. Дантес опять объявил, что в жизни этого великого человека он обязан будет дать отчет перед целым народом, — и потому готов сделать ему всевозможные уступки. Пушкин сказал, что он хочет непременно стреляться с ним, потому что они не могут жить вместе. Соллогуб уезжал тогда в Москву, и секундантом Пушкина был [К. К.] Данзас. Разумеется, обвинения пали на жену Пушкина, что она будто бы была в связях с Дантесом. Но Соллогуб уверяет, что это сущий вздор. Жена Пушкина была поистине красавица, и поклонников у ней были целые легионы. Немудрено, стало быть, что и Дантес поклонялся ей как красавице; но связей между ними никаких не было. Подозревают другую причину. Жена Пушкина была фрейлиной при дворе, так думают, что не было ли у ней связей с царем. Из этого понятно будет, почему Пушкин искал смерти и бросался на всякого встречного и поперечного. Для души поэта не оставалось ничего, кроме смерти»¹⁰⁷.

А. В. Никитенко (1804–1877) — литератор, критик, цензор, в том числе произ-

¹⁰⁶ Соллогуб В. А. Воспоминания. С. 375.

¹⁰⁷ Там же. С. 375–376.

ведений А. С. Пушкина, академик; Наталья Николаевна фрейлиной не была; Пушкин не требовал от Дантеса жениться на Екатерине Гончаровой, он настаивал на выполнении обязательств, взятых бравым кавалергардом, благодаря которым Александр Сергеевич согласился отказаться от посланного Дантесу вызова. Весь этот текст вызывает чувство чего-то инородного, надуманного, недодуманного.

История с несостоявшейся дуэлью между Пушкиным и В. А. Соллогубом в его «Воспоминаниях» описана несколько иначе, чем происшедшая. Поэтому предоставим слово П. К. Губеру, занимавшемуся изучением жизни и творчества В. А. Соллогуба:

«На каком-то званом вечере он подсел к красавице Наталье Николаевне Пушкиной и начал, по своему обыкновению, болтать ей на ухо какой-то не совсем приличный с точки зрения тогдашних строгих понятий, но, в сущности, весьма невинный вздор. Наталья Николаевна никогда не отличалась безукоризненным светским тактом и умением поставить себя в обществе на надлежащей ноге. Не догадавшись оборвать на первых же фразах не понравившейся ей разговор, она сочла нужным пожаловаться мужу, и Пушкин, недолго думая, послал Соллогубу формальный вызов на дуэль. Конечно, принимая во внимание совершенную ничтожность обиды, он мог сделать это только потому, что давно находился в состоянии ипохондрической раздражительности. Он уже начал ненавидеть слепой и страстной ненавистью петербургский большой свет, блистательные соблазны которого еще совсем недавно с такой неодолимой силой действовали на его воображение. Хлыщеватый и развязный юноша Соллогуб явился всего-навсего первым подвернувшимся под руку представителем целого класса людей, с которыми не терпелось переведаться Пушкину.

Мы легко можем поверить на слово нашему мемуаристу, когда он говорит, что получение картеля чрезвычайно смутило и огорчило его. Еще бы! Во-первых, Пушкин был известен как отличный стрелок, и драться с ним значило не на шутку рисковать жизнью. А во-вторых, ничего утешительного не обещал Соллогубу даже вполне благополучный для него самый исход дуэли. Император Николай Павлович очень не одобрял поединков, и бедному графчику, чего доброго, пришлось бы променять легкую и приятную службу в привилегированной канцелярии на кавказский линейный батальон. Кроме того, как появиться в редакциях журналов и литературных салонах с руками, обгауренными кровью любимого и прославленного поэта? Соллогуб уверяет, что он был намерен ни в коем случае не стрелять в Пушкина и беспрекословно подставить свой лоб его пистолету.

С дуэлью был связан немалый риск, на который Соллогубу идти не хотелось. Поэтому он, поскольку мы можем судить, начал весьма искусно отлынивать от дуэли: сначала ускакал в спешную служебную командировку, потом случилось как-то так, что при проезде Пушкина через Тверь, где тогда находился Соллогуб, последнему вдруг приспела спешная надобность отлучиться в Витебск. Всеми этими уловками, быть может, наполовину бессознательными, граф достиг своей цели: Пушкин остыл, успокоился и раздумал стреляться с безобидным франтом, который по летам был еще почти мальчиком. Но некоторый неприятный осадок всего происшедшего непременно должен был остаться в душе Соллогуба, и сознание, что он как-никак сплочивал, невольно внушало мечты о маленьком невинном реванше»¹⁰⁸.

Дуэльная история с Пушкиным, завершившаяся ничем, принесла Соллогубу горькую унижения: с ним обошлись как с мальчишкой. Не приступая к переговорам об

¹⁰⁸ Губер П. К. Граф В. А. Соллогуб и его мемуары. С. 23–24.

условия примирения, просто-напросто соизволили простить за неуклюжий разговор с дамой.

«Я с первого же раза без памяти в нее (Наталью Николаевну. — *Ф. Л.*) влюбился, — вспоминает Соллогуб. — Надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной; ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы; я знал очень молодых людей, которые серьезно были уверены, что влюблены в Пушкину, не только с нею незнакомых, но чуть ли никогда, собственно, ее даже не видевших!»¹⁰⁹

Он боготворил ее, а она предпочла у него на глазах флиртовать с красавчиком Дантесом. Молодой человек, злопамятный и честолюбивый, с болезненным самолюбием, обиделся и затаился.

«Посылка того диплома, — пишет П. Е. Рейнбот, — о котором идет речь, могла иметь своей целью отомстить Пушкину за обиду, им нанесенную»¹¹⁰. Острый язык Александра Сергеевича не щадил никого.

От брата, самого Дантеса, из светских разговоров и собственных наблюдений он знал, что происходит вокруг Натальи Николаевны и Александра Сергеевича. Отмщение зрело. Предположение основано на подозрительных поступках, усматриваемых в его поведении осенью–зимой 1836 года и позже, до конца жизни. О них мы уже размышляли, они побудили нас обратить особое внимание на этого человека. П. К. Губер первый заподозрил В. А. Соллогуба в причастности к изготовлению «диплома роконосца»:

«Молодой князь П. В. Долгорукий не мог быть ни изобретателем, ни тем более единственным автором гнусной проделки. У него, без сомнения, имелись соучастники, пособники и вдохновители. Пытаясь составить хотя бы приблизительный перечень их, мы с тяжелым сомнением задумываемся над ролью графа Соллогуба»¹¹¹.

Барон Геккерн, графиня Нессельроде, будущий граф Уваров, каждый в отдельности и в комбинациях, могли играть роли инициаторов и вдохновителей появления смертоносного пасквиля, но не исполнителей. Исполнителей мы можем отыскать десятки и составить из них, включая вдохновителей, сколько угодно артелей «фабрикаторов». Но среди окружения Пушкина высвечивается лишь одно лицо, способное исполнить все, не прибегая к чужой помощи. Прямых доказательств в нашем распоряжении нет.

Предположим, что в архивохранилищах обнаружили черновики анонимного пасквиля и случайно сохранившаяся печатка. Установлена личность писавшего. Но мы не узнаем, кто автор и вдохновитель. Удастся ли когда-нибудь снять все вопросы в драматической истории с окаянным пасквилом? Как выяснилось, Щеголеву этого сделать не удалось. Так ли важно через столько лет узнать имя пасквилянта? Неугасаемый интерес к Пушкину, его поэзии требует от нас продолжения поиска.

¹⁰⁹ Соллогуб В. А. Воспоминания. С. 277–278.

¹¹⁰ ПД. Ф. 665. Оп. 2. Д. 7. С. 11.

¹¹¹ Губер П. К. Граф В. А. Соллогуб и его мемуары // Соллогуб В. А. Воспоминания. С. 25.



PRO ET CONTRA

Юлия ЩЕРБИНИНА

ПИСАТЕЛЬСКИЙ СТОЛ как ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО

Литература в зеркале перинатальной
метафоры

Кто знает? Может быть, при каждой он странице
пыхтел и мучился, подобно роженице.

Василий Петров. Послание из Лондона. XVIII век

Я похож на родильницу,
я готов скрежетать.
Проклинаю чернильницу
и чернильницы мать!

Саша Черный

Писательский труд истари сравнивается с родительством: обдумывание идеи и сюжета соотносят с беременностью, процесс создания текста — с родами, книгу называют детищем. Перинатальная (родовая) метафорика отражена в целом ряде устойчивых выражений, связанных с сочинительством: *вынашивать замысел, муки творчества, плод авторской фантазии, порождение текста, дать жизнь книге, роман вышел в свет, автор представил публике свое детище...*

Слово «концепт» происходит от латинского *conceptus* — в одном из значений

Юлия Владимировна Щербинина — филолог, доцент Московского государственного педагогического университета. Основная специализация — речеведение, коммуникативистика. Занимается исследованиями дискурсивных процессов в разных областях культуры.

«зачатие». Мозг есть матка творчества. И то, что в академическом литературоведении целомудренно именуется «писательской лабораторией», «мастерской писателя», на самом деле можно назвать *родильной палатой*.

Послушаем самих писателей...

«Без мук не рождается и духовный плод. Творчество — это как роды, пока не созрел плод, он не выходит, а когда выходит, то со страданием и потугами», — писал Лев Толстой.

«Внутренние муки гения — материнское лоно бессмертных творений!» — настаивал Артур Шопенгауэр.

«В муках и пытках рождается слово», — считал Николай Гумилев.

«Не только книги, фразы рождаются в муках», — уточнил Юрий Олеша.

«Мысли тоже рождаются, как живые дети. Их долго вынашивают, прежде чем выпустить в свет», — уверял Михаил Пришвин.

«Муки творчества подобны родовым схваткам, сопутствующим рождению новой жизни. Творчество так же не обходится без боли и крови», — размышлял Виктор Савельев.

А Жан-Полю и вовсе принадлежит трактат под названием «Доказательство того, что тело следует рассматривать не только как детородителя, но также и как книгородителя...».

Перинатальная метафора — исходная, первообразная, ключевая для выявления природы литературного творчества. Все прочие образы (писательство как живопись, земледелие, охота, портновское дело, ювелирное искусство, добыча полезных ископаемых) — уже производные от нее, вторичные. И именно перинатальная метафора задает нормативные, эталонные отношения Писателя с Текстом. Она же — напротив, выявляет перверсии и отклонения от идеала.

При всей своей очевидности данное утверждение до сих пор не было в фокусе публичного внимания. Между тем применение перинатальной метафоры к описанию современного литературного процесса, актуальных тенденций, стратегий и практик обладает большим объяснительным потенциалом и открывает немало любопытного...

От чадолюбца — к детоторговцу

Еще в исходной точке зарождения текста обнаруживается: экзистенциальная драма писателя не столько в самой специфике сочинительства, сколько в тотальном одиночестве перед листом бумаги (компьютерным экраном). Литератор оказывается крестьянкой, рожаящей в чистом поле, или женщиной в советском роддоме в ночную смену: все спят... Муза с ее эфемерным энтузиазмом годится разве что на роль инструктора курсов подготовки к родам, но в качестве акушерки она ненадежна: прилетает и улетает, когда вздумается. Текст — не просто единокровный, но единолично выстраданный ребенок своего автора.

Проблема современности — в заметном ослаблении родственной связи между произведением и его создателем, в отчуждении писателя от текста. Постмодернизм не только дискредитировал писательский авторитет (не случайно, кстати, слова «автор» и «авторитет» обнаруживают этимологическое родство), но утвердил новый формат отношений: раз «автор умер» — значит, его детища отныне сироты. Это предел развития перинатальной метафоры, а с учетом ее вариативности они либо бастарды, либо приемыши. Первых традиционно принято скрывать (не отсюда ли новый бум писательских псевдонимов?), вторых — поскорее приставлять «к делу» (не отсюда ли служение текстов внетворческим потреб-

ностям авторов?). Но отношение к обоим обыкновено несколько иное, чем к родным отпрыскам: более отстраненное, менее тревожное, а порой и не столь ответственное.

Уже немало сказано о том, что в условиях современной культуры, главным кодом которой является товарный штрихкод, писательство утрачивает мессианскую направленность, включаясь в сферу потребительских услуг и превращаясь в своеобразную отрасль легкой промышленности по производству интеллектуальной продукции. Об этом рассуждают и сами писатели, и их персонажи: от Василия Аксенова («Я совсем уже отказался от концепции писателя как властителя дум. Этого больше не существует») до Павла Крусанова («Смотреть на слово писателя как на прогноз или руководство к действию совершенно нелепо. Все это — игра и организация досуга, ничуть не более того»).

Современный писатель сознательно отрекается от сакральных — *первородческого* и *родительского* — статусов, потому что в нынешних обстоятельствах они ему только мешают, препятствуют в завоевании широкого читателя. К популярности сакральность не пришьешь — это понятия разной онтологии и разных ценностных систем. Однако, как ни парадоксально, писательство оказывается очень органично постиндустриальной культуре, поскольку совмещает заработок с удовольствием, прагматику с гедонизмом. (Разумеется, количество денег и степень удовольствия существенно различаются у каждого конкретного автора, но в данном случае речь не о пропорциональном соотношении, а об общей закономерности.)

Повивальной бабкой писательского детища становится не Муза, но Мода. Показатели творческой успешности четко сформулированы и наглядно проиллюстрированы журналом «Эксперт»: литературные премии, признание экспертов, тиражи, наличие фанатов, публичность, наличие экранизаций, репутация. Давно обсуждаемый, этот тезис обнаруживает дополнительные и притом довольно стыдные смыслы, если взглянуть на него сквозь призму перинатальной метафорик: вообразим женщин, рожаящих для насыщения рынка рабочей силы. Казалось бы, аналогия не корректна: нельзя приравнивать тексты к людям. Но если вдуматься, доля истины тут есть, ибо писательство изначально сакрализовано в культуре, и десакрализация обнаруживает не изъяны писательства, а изъяны культуры.

Возникает двойной стандарт репрезентации: при переходе от дискурса творчества к дискурсу рынка образ автора дрейфует от *гадолюбца* к *детоторговцу*. Сегодня гораздо престижнее выставлять себя не Иосифом, а Крёзом. Писать как Рембо, но выглядеть как Рэмбо.

Публике интересны истории коммерческого успеха и не интересны откровения о творческих муках.

Востребованный литератор нынче позиционируется не как деятель искусства, а как медийный персонаж: «человек из телевизора», участник премиального процесса, свадебный генерал официальных церемоний, герой общественных, культурных, политических проектов и т. п. Писатель становится не столько создателем текста, сколько творцом события. Ньюсмейкером, шоуменом, публичной персоной. Как многие современные мамы одержимы больше внешней атрибутикой детства, чем воспитанием своих чад, — так большинство нынешних сочинителей сильнее творческих дум заботит присутствие в литтусовке, мелькание на ТВ, внимание прессы. Вместо медитативности — медийность. Вместо наррации — сенсация.

В 2012 году отличились литераторы Алтайского края, где прошел праздничный Парад лауреатов литературных премий года, приуроченный ко Всемирному дню писателя.

Новое развлечение питерских поэтов — дуэли. Продолжая модную традицию Серебряного века, современные стихотворцы привносят в нее атмосферу голливудских боевиков. Выглядит это, например, так: «Поэт П. после очередной обидной рифмы разбил губу поэту Б. В ответ поэт Б. швырнул в поэта П. пивной кружкой и лишил того сознания... В дело вмешались друзья обездвиженного поэта П. — поэты С. и В... Поэту Б. пришлось ретироваться через черный ход. Ему засчитали поражение в творческом поединке».

Есть и индивидуальные достижения: например, главред газеты «Красное знамя» Е. Горчаков отколол номер с виршами («Нет у баб нормальных в Сыктывкаре, а те, что есть, конкретное зае...»).

Возникают и новые именованья писателей — все чаще безотносительно самого творчества, а в привязке к внелитературным явлениям и событиям: *лонг-листер* и *шорт-листер*, *нацбестовец* и *большекнижник*, *липкинцы* и *дубултовцы*, *болотный писатель* и *белолентогный писатель*. Традиционные же определения (сочинитель, прозаик, стихотворец) воспринимаются как архаичные и приобретают иронический оттенок. И это очень показательно, ведь в речи фиксируются изменения общественного сознания.

Современный писательский образ складывается не столько из созданных произведений, сколько из набора поведенческих стратегий и социальных практик. Для создания этого образа одних только текстов оказывается недостаточно — возникает потребность в дополнительных способах самопрезентации, в расширении «зоны присутствия». Как многим современным женщинам для ощущения материнства недостаточно самих детей, им надо непременно выступать на «мамских» интернет-форумах, посещать семинары «ответственного родительства» и т. п., — так современным литераторам потребно самораспространяться в смежные области: книгоиздание и газетно-журнальное дело (Д. Быков, П. Крусанов, М. Амелин, О. Зоберн, И. Бояшов, Ю. Поляков, А. Кабаков, М. Бутов); кино и телевидение (Вик. Ерофеев, В. Сорокин, С. Минаев, Т. Толстая, А. Слаповский, В. Бенигсен).

Не менее привлекательная сфера для писательского самораспространения — территория читателя. Авторских встреч, чтецких вечеров, литературных фестивалей и даже интернет-общения на сайтах и в блогах оказывается явно недостаточно — возникают все новые формы хождения в народ: широкомасштабная просветительская акция «Литературный экспресс» (2008); массовая демонстрация под лозунгом «Нижегородские писатели — нижегородским читателям» (2010); «Контрольная прогулка» в рамках оппозиционного движения в Москве (2012)... Но, пожалуй, оригинальнее всех оказались украинские писатели, которые отважились на *любовный* эксперимент и еще в 2011 году провели «Литературный Speed Dating» — свидание с читателями. Разбившись на пары, участники кратко общались друг с другом, затем звучал гонг — и книгочей пересаживался к следующему сочинителю. Теперь осталось только завести литературный сайт знакомств — и читатели смогут не только читать, но и крутить *романы*.

Самораспространение возможно также в сферы, вовсе далекие от сочинительства, но позволяющие задействовать различные коммуникационные каналы и поддерживать устойчивый публичный интерес. Скажем, А. Иличевский, А. Кабаков известны как путешественники; Э. Лимонов, З. Прилепин, А. Проханов, С. Шаргунов, Б. Акунин, Д. Быков совмещают писательство с политической деятельностью; М. Елизаров слывет знатоком холодного оружия, а С. Лукьяненко коллекционирует мышей...

Рожаем вместе и напоказ!

Литераторам все больше импонируют роли не собственно родительские, а смежные: *опекун* (куратор, координатор), *гувернер* (редактор, составитель), *попегитель* (продюсер, пиарщик) чужих творений. Характерной окололитературной стратегией становится также участие в чужих творческих проектах либо создание собственных серий, циклов, антологий. Наиболее известные — «Stogoff project» Ильи Стогова, «Писатели без глянца» Павла Фокина, «Человек попал в больницу» Людмилы Улицкой, «Метро-2033» Дмитрия Глуховского, «Этногенез» Кирилла Бенедиктова. У Захара Прилепина — целая обойма проектов: «Десятка», «Война», «14. Женская проза „нулевых“», «Революция», «„Лимонка“ в тюрьму». Константин Кедров продюсировал Алину Витухновскую. А Ольга Славникова и Виталий Пуханов курируют целую литпремию «Дебют»...

Заметны еще две актуальные тенденции: *коллективные роды* (участие авторов в совместных проектах) и *роды публичные* (выкладывание в Интернет отдельных фрагментов создаваемого произведения). Писательские объединения могут быть самыми разными: экспериментальными (романы «Шестнадцать карт», «Красное, белое, серое»), просветительскими (учебник «Литературная матрица»), благотворительными (сборник «Книга, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно»). Немало авторов (например, С. Лукьяненко, Д. Глуховский, Д. Бавильский, Э. Барякина) выставляют в личных блогах главы еще не дописанных романов. Публичное обнажение творческого процесса набирает популярность, как популярно нынче выкладывать в соцсети УЗИ-снимки зародышей в материнской утробе и снимать роды на видеокамеру.

Особо популярно также совмещение сочинительства с литературной критикой. Вроде бы оно и ничего, но в русле все той же перинатальной метафоры выглядит несколько комично и отчасти извращенно. Вообразим роженицу, которая одновременно расхаживает по родильному залу с замечаниями в адрес товарок: «Слабо ту-жишься!», «Не так дышишь!», «Не ори на весь коридор!»... Причем в последнее время критика коллег по цеху больше напоминает в лучшем случае банальную «вкусовщину», а в худшем — слабоаргументированные нападки и навешивание оценочных ярлыков.

Прилепин в «Книгочете» бодро насакивает на Гришковца и Рубанова; Быков в «Новой газете» громогласно клеймит Ревазова, Терехова, Иванова; Левенталь в журнале «Соль» брызжет желчью на Былинского; Кучерская в сборнике статей и рецензий «Наплевать на дьявола...» интеллигентски укоряет Минаева; Тим Скоренко в сетевом издании смачно припечатывает белорусских авторов — Шемякина, Мележа и даже Колоса!..

Конечно, до возвышенной вражды Тургенева с Достоевским нынешним литераторам далеко, но плеснуть водой в лицо или вылить на оппонента ведро помоев — это запросто. По поводу критики писателями писателей еще в XVIII веке иронизировал Василий Петров в «Послании из Лондона»:

Так пусть, когда он чад с таким трудом родит,
Пусть мастерски на них любитесь, глядит.
Гляди! лишь не кричи: «Мои другой породы!
Мои — как ангелы; у всех других — уроды».

А что же сами литераторы? Чаще всего они отстраняются или вообще открещиваются от медийных («нюсмейкер») и рыночных («бренд») определений. «Для

меня „Метро-2033“ не бренд, а мир!» — пафосно заявляет тот же Дмитрий Глуховский. «Крайне неприятно признавать, что твое имя — бренд», — с горечью признается Людмила Улицкая. «...Смех разбирает. Совсем, видно, оскудела земля белорусская на бренды, раз на звание бренд-персоны претендует писатель, который в стране почти не издается и почти не продается...» — язвительно комментирует Андрей Жвалевский свое номинирование на конкурс «Бренд-персона года».

Но что бы ни говорили авторы, литература становится все более зависима от внелитературного контекста, художественное высказывание становится внехудожественным жестом. В эпоху креатива и интерактива ответственность как объективная обязанность писателя замещается субъективным ответом на социальные вызовы и запросы.

Апофеоз отчуждения автора от произведения — знаменитый интернет-проект «Роман»: создание коллективного гипертекста всеми желающими. Писателем может стать любой сетевой пользователь...

Книжки-детишки

От «отцов» логично перейти к «детям».

Сузив круг родительских обязанностей, современность одновременно ограничила писателя и в родительских возможностях, поставив его в жесткую зависимость от *гинекологов, акушеров, педиатров*, функции которых присвоили себе издатели, редакторы, критики, журналисты, чьи мнения сейчас, как никогда, более значимы, поскольку именно от них зависят публикация и последующая судьба произведения. Они либо выносят беспощадные вердикты («На аборт!», «Не жилец!», «М-м-м... что скажем отцу?»), либо активно способствуют появлению на свет очередной книги и даже, по мере необходимости, проводят для этого стимулирующие и реанимационные процедуры.

Легко предположить, что множество достойных, талантливых произведений вообще не были написаны — их настигла *внутриутробная гибель* из-за уверенности издателей в том, что «это никому не будет интересно», «это заведомый коммерческий провал» либо «это надо существенно переработать». Но все же главный диагноз современной литературы (причем не только массовой, но и интеллектуальной) — *недоношенность и преждевременные роды*. «Четыре романа в год» — эта цифра уже стала символом серийной литературы. Издателю важнее не держать марку, а выжать маржу. Недодуманные, плохо прописанные, невычитанные, дурно отредактированные тексты наводнили полки книжных магазинов.

Стимуляция родов может проводиться издателями мягко (с помощью финансовых бонусов) и жестко (пугалками вроде падения книжного рынка, снижения читательского интереса, роста конкуренции и т. п.). Отчуждение автора от текста здесь неизбежно. Это отлично иллюстрируется признанием знаменитого детективщика Виктора Доценко: «Пишу без черновиков. Страниц десять в день. Роман — за полтора-два месяца. Потом он несколько дней вылеживается. Потом я его перечитываю. Со стороны. Как чужой».

Порой в ажиотаже спешки редактор производит *кесарево сечение*, самостоятельно изменяя, модифицируя авторский текст. Причем романы-«кесарята» встречаются не только в паралитературе, но и в интеллектуальной прозе (чтобы никого не обижать, обойдемся здесь без конкретных примеров). Некоторые редакторы усердствуют так, что правка превращается в расправу над рукописью, а сами они превращаются в *форменных компрагикосов* от литературы, откровенно уродуя исходные варианты. Правивший Гоголя г-н Свиныин отдыхает!

Другое заметное явление современного литпроцесса — *искусственное загатие*: создание текстов по тематическим планам издателя, подсаживающего в авторскую голову готовые зародыши будущих произведений — с жестко заданной проблематикой, просчитанными сюжетными ходами и желаемыми образами персонажей. Наиболее распространенное в жанровой серийной прозе литературное ЭКО имеет достаточно давнюю традицию. Просто раньше писатели тешили амбиции КПСС, ваяя заказные нетленки про шахтеров, колхозников, полярников, передовиков производства, а нынче они обслуживают потребности массового читателя.

Смягченный вариант той же стратегии — подгонка текста автором под представления издателя, который диктует свои эстетические и поведенческие принципы. Явление отнюдь не ново, вспомним хотя бы мучения Достоевского, Драйзера или Золя. Последний так вообще минимизировал описания в «Завоевании Плассана», следуя желанию издателя Шарпантье выдать роман, в котором было бы поменьше «искусства». Нынешние издатели идут гораздо дальше. Так, начинающего прозаика Татьяну Поляченко заставили взять псевдоним, заменить название «Виварий» на «Кровь нерожденных», увеличить количество трупов и эротических сцен — и получилась детективщица Полина Дашкова. А не так давно одно очень крупное российское издательство предложило одному очень известному серьезному писателю... э-э-э... переписать концовки его романов, дабы повысить интерес к переизданию.

Не менее популярным становится также *суррогатное материнство* — создание текстов литературными «неграми» (*англ.* hackwriter): маститый сочинитель кидает семя романа, которое вынашивает «коллективная матка» наемных писцов. Официально признанный вариант этой практики — гострайтерство: создание на заказ текстов публичных выступлений, официальных биографий, семейных историй, деловой литературы, мемуарной прозы.

От всего описанного страдают не только авторы, но и, конечно же, читатели. Наскоро выпущенная и искусственно сконструированная книга вызывает тем больше подозрений, чем более признан ее автор. Еще Гейне заметил, что «всякая книга должна иметь свой естественный рост, как дитя... Честная женщина не рождает своего ребенка до истечения девяти месяцев».

Вроде бы это аксиома. Но вот парадокс: аналогично реальному общемировому росту случаев кесарева сечения и суррогатного материнства многие писатели также вовсе не возражают против искусственных мер появления на свет их отпрысков. Некоторые (например, широко известный Сергей Лихачев из Самары) даже открыто признаются в том, что работают наемными сочинителями, создают сайты-визитки, широко рекламируют свои услуги. Современный автор, как никогда, более сервилен по отношению к властителям книжной индустрии и одновременно, как никогда, более готов предать свое творение в угоду публике.

Что же касается экспертной оценки литературных произведений, то здесь, в сущности, действует та же *шкала Ангар*, по которой определяют общее состояние новорожденного в первые минуты жизни. Только применяется она почему-то для прогнозирования судьбы нового сочинения. При этом учитываются, опять же, преимущественно внешние, формальные обстоятельства: жанровое соответствие, продаваемость предыдущих текстов данного автора, количество отзывов в СМИ и т. п. Это все равно что судить о потенциале способностей и личностного роста новорожденного по здоровью родителей и их предыдущих детей.

Отсюда масса заблуждений, погрешностей, ошибочных предсказаний. Чаше всего произведение помещают не в тот *кювез*, путая жанрово-стилевые ниши: например, прозу Олега Павлова проводят по категории «чернухи», творчество Марины и Сергея Дяченко ограничивают рамками фантастики, метаисторические романы Алексея Иванова относят к фэнтези... Но тексты стоят на полках только в

книжном магазине, а в культуре они живут по иным законам, весьма далеким от издательских практик. И нынешние доки маркетинга раздраженно вертят в руках неформатные романы Кинга и Стругацких, а литературоведы спорят по поводу «Поющих в терновнике» и «Унесенных ветром», которые с момента их написания унеслись за тысячи миль от полки «любовный роман».

Не менее заметная, только нелегальная, насильственная практика отчуждения текста от автора — неавторизованное распространение цифрового контента, или, попросту говоря, пиратство. История борьбы с ним в области книжной индустрии началась у нас в 2004 году с иска против интернет-библиотеки Максима Мошкова и достигла апогея в 2011-м, когда издательство ЭКСМО провело массивную атаку пиратской онлайн-библиотеки «Флибуста» (Flibusta.net).

Однако и увещания, и угрозы оказываются здесь беспомощными, неэффективными: слишком велик масштаб интернет-воровства и слишком просты способы бесконтрольного копирования материалов в цифровую эпоху. А в стране, где долгое время был разрушен и по сей день ментально не реконструирован институт частной собственности, пиратство не только не осуждается, но даже обретает многочисленных сторонников и активистов под псевдолозунгом «Информация должна быть свободной!». Тех же, кто выступает на стороне защитников авторского и смежного прав, презрительно называют «копирастами» и «копирайт-фашистами».

Между тем взгляд на данное явление сквозь призму той же перинатальной метафоры обнажает всю его порочность и постыдность: по сути, пиратство — тот же *кинднепинг*. Ни один нормальный человек не посмеет утверждать, что кража детей не есть преступление. И тут уже совершенно неважно, наживается ли автор на своем детище, получает ли какие-то дивиденды от написанного — все эти обстоятельства нивелирует табу на воровство. Причем подчеркнем: на воровство того, что не добыто извне, а является плотью от плоти.

Кроме того, пиратство — это еще и *насильственная стерилизация*. Пираты убивают завтрашних писателей и завтрашние романы, потому что не позволяют капитализировать творческие усилия, душат зародыши новых произведений. Посягательство на авторское право — прямое ущемление *родительских прав*.

Принятый в июне 2013 года законопроект о борьбе с интернет-пиратством — формально достаточно серьезная, но в нынешнем виде не очень действенная мера: энергозатратно (много бюрократической волокиты); нестрашно (рядовых нарушителей предполагается штрафовать всего на пять тысяч рублей); казуистически («Провайдер не несет ответственности за нарушение интеллектуальных прав, если он не знал о незаконном размещении материала») и — главное! — поздно, слишком поздно... Хотя здесь, наверное, лучше все-таки поздно, чем вообще никогда.

Путь реборна

Аналогично отчуждению текста от автора идет процесс отчуждения книги от ее содержания. Это очень заметно отражается уже во внешнем виде пеленок... тьфу... обложек, которые все больше напоминают товарные упаковки. Яркие конвертики новорожденных романов пестрят регалиями и наградами авторов, выразительными характеристиками коллег по цеху и хвалебными отзывами критиков. Роль нежных атласных ленточек выполняют бул-марки с рекламой... издательских роддомов. В дизайне доминируют элементы сиюминутной актуальности, «одноразовости»: популярные графические мемы, уродливые штампики о премиальных номинациях, кричащие слоганы вроде «хит этого лета», «бестселлер 2011 года», «от создателя самого смешного романа сезона»...

Существенно меняется и облик аннотаций: они все чаще отражают не содержание написанного, а фиксируют сам факт появления книги. «Хотите узнать, какие события легли в основу фильма? Тогда читайте роман!»; «Этим произведением знаменитый автор прерывает двухлетнее молчание»; «Десятки миллионов читателей в сорока странах мира плачут, смеются, надеются и верят...» Подобные формулировки готовят читателя не к погружению в текст, а к очередному обсуждению события. Жанр аннотации мутирует в гибрид новостной заметки и агитационной листовки. И это так же двусмысленно, как размещать рекламу на конверте с новорожденным.

Отчуждаясь от своего содержания, текст «овеществляется», делается не только предметом купли-продажи, но предметом вообще. Популярной забавой последнего времени стали так называемые «книги по номерам». В России ее первой внедрила газета «Комсомольская правда», выпускающая с 2006 года и по настоящее время антологию литературной классики в едином оформлении. Соберешь всю подборку — и книжные корешки сложатся в нарядный орнамент. «Великие поэты», «Великие писатели», «Сказки: золотая коллекция для детей» — эти и подобные серии представляют собой разновидности партворков (*англ.* partwork — «часть» + «работа»; узкопрофильное издание коллекционной направленности).

Книга становится в один ряд с фарфоровой куклой или моделью автомобиля и превращается в предмет интерьера, элемент комнатного декора. Даже в рекламе книжных коллекций фигурирует образ не читающего человека, а расставляющего издания на полке. Предел овеществления книги — использование ее образа в качестве дизайнерского оформления конфетных коробок и чайных упаковок, шкатулок и мини-сейфов, открыток и визиток. Здесь потребительское отношение к книге доведено до логического финала — полного овеществления...

Аналогией популярности искусственных книг можно считать моду на искусственных детей — *реборнов* (*англ.* reborn — возрожденный). Все чаще на улицах европейских городов, а с недавних пор и у нас можно встретить женщин с запеленатой куклой вместо младенца. Такие куклы внешне очень правдоподобны и не сразу отличимы от живых детей. Проблема лишь в том, что реборны — феномен узкой субкультуры, а опредмечивание текстов — явление массовой культуры.

Характерна также специфическая образность, которую приобретает книга в поп-формате: она выхолощена и обесмыслена, превращена в культурный эрзац, оболочку без наполнения. Книга-вещь, книга-символ, книга-заклинание... В качестве примеров вспомним хотя бы известные кинофильмы «Мумия», «Демоны», «Книга мертвых», «Некромикон», где книгу используют как некий ключ к некоему процессу. Вспомним также знаменитое стивен-кинговское «Сияние»: сумасшедший писатель якобы работает над романом, а на самом деле попросту исписывает горы бумаги единственной фразой: «Я пишу роман». Нет текста — есть только действие. Пытаясь доказать всему миру, что он действительно пишет книгу, автор начинает убивать всех вокруг...

По сути, здесь постмодернистское отражение постмодернистской ситуации. И если вообразить читателя такого псевдопроизведения, то на вопрос о том, что он читает, тот может ответить, как Гамлет Полонию: «Слова, слова, слова». Понятно, что в шекспировской трагедии такой ответ фигурален: означает пустые, ничего не значащие знаки. Но при этом Шекспир вполне может встретиться и запросто поболтать с Кингом на страницах какого-нибудь мэшап-романа — нынче тоже очень популярного жанра.

Наконец, отчуждение текста от его содержания происходит и на уровне массо-

вого восприятия литературы. Как и само сочинительство, книга становится уже не явлением таланта и культурным продуктом, а атрибутом успешности и способом самовыражения. Псевдолитераторы — бизнесмены и политики, юристы и военные, певцы и спортсмены, модельеры и фотомодели — пишут псевдопрозу. Попсовые персоны пестуют литературных пупсов, финансово упитанных и упивающихся мнимой славой.

Дабы опять же никого персонально не обижать, не будем приводить конкретные примеры — они есть в статье Дмитрия Быкова. Заметим лишь, что и эти примеры пронизаны перинатальной метафорикой. Так, выход первой книги знаменитого стилиста сопровождался газетным заголовком «Звезда в шоке родила в муках». Книга прошла тот же путь, что и автомобиль: превратившись из средства передвижения в предмет престижа...

Пожиратели младенцев

А что же читатель? Десакрализация писательства «опрокинула на 90°» читательское отношение к автору и тексту, обрушив вертикаль авторитета и утвердив горизонталь упрощенности. Но не только. Десакрализация сформировала новые поведенческие стратегии и практики.

Прежде всего стало очевидно: еще больше, чем к издателю, писатель сервилен к читателю. Если раньше остро вставала проблема носителя текста, то сейчас гораздо острее проблема адресата. Сегодня обнародование литературного творчества легко, как с *платными родами*, решается платной публикацией. Можно и разместить произведение в Интернете. Другое дело — аудитория: ей ведь не всучишь насильно свое детище.

Усыновляя новорожденную книгу, принимая ее в семью ранее прочитанных произведений, читатель берет лишь ту, что соответствует его представлениям, ожиданиям, вкусам. Перекочевав из духовной сферы в рыночную, литература, как и всякая услуга, приняла на себя обязанность быть такой, какой ее хочет видеть потенциальный потребитель.

При этом массовый читатель уподобился подопытной крысе, которая бесконечно жмет на «кнопку удовольствия», требуя «продолжения банкета».

Здесь перинатальная метафора смыкается с пищевой: текст включается в непрерывную пищевую цепочку, произведения популярных авторов поглощаются как хрустящие круассаны. Современный читатель — в буквальном смысле *librorum hellus* (лат. «пожиратель книг»). Причем гастрономические и кулинарные сравнения возникают не только в многочисленных частных отзывах о прочитанном, но и в литературной критике, эссеистике, журналистике.

«Глотай книги, а не булочки!» — призывает Франсуаза Буше, автор популярной книги для подростков «Книга, которая учит любить книги даже тех, кто не любит читать». Владислав Толстов в рецензии на сборник рассказов Анны Матвеевой замечает, что «хороший рассказ — как омлет: обманчиво просто по форме, но очень сложно по исполнению». И выходит по сюжету романа Сергея Носова «Член общества, или Голодное время»: вместо кружка библиофилов человек попадает в сообщество кулинаров...

В современной социокультурной ситуации писатель приговорен к бесконечным самоповторениям. Так биология подменяется технологией: *рождение* текста вытесняется *клонированием* — плодятся нескончаемые «продолжения продолжений». Сиквелы, триквелы, квадриквелы... Возникает дурная бесконечность.

Писателю активно помогают ретивые поклонники, с методичностью кур-насе-

док плодящие фанфики (тексты поклонников по мотивам исходного произведения) и любительские буктрейлеры (видеоролики по книжным сюжетам). Последние уже даже вошли в практику школьных домашних заданий по литературе. Нынче фан-арт не просто на пике популярности — он органично интегрируется в культурные, образовательные, психотерапевтические практики.

Бывают, конечно, исключения, когда каждая последующая книга становится не механическим продолжением предыдущей, а фрагментом художественного пазла. Таков, например, мегароман того же Кинга «Темная башня». Относительно удачными можно считать межавторский проект «Время учеников», в котором фантасты нового поколения каждый на свой лад развивали идеи, мотивы, сюжетные линии наиболее известных произведений Стругацких. Однако в большинстве случаев подобные опыты обнаруживают стремительное *снижение тонуса матки* авторов.

Литература служит не только вкусной интеллектуальной пищей — она становится еще и питательной средой для читательского самовыражения. Отзывы о прочитанном напоминают отрывку после сытной трапезы. На бесчисленных интернет-площадках (форумы, блоги, соцсети, виртуальные конференции) книголюбьи не просто делятся впечатлениями — они активно поучают, как надо и как не надо писать. Дают советы и наставления, как зачинать и вынашивать литературного младенца и как правильно тужиться при его появлении на свет.

Все эти, в общем-то, достаточно очевидные явления можно оценить нейтрально, а отчасти даже и положительно, если бы не один ускользающий нюанс: синтез перинатальной и пищевой метафор обнаруживает нелицеприятную перверсию современного читателя — интеллектуальный *канныбализм*. Книгоедство — механистическое, слабоосмысленное и быстрозабываемое поглощение культурного продукта — демонстрирует сугубо утилитарное и потребительское отношение к писательскому труду. Перинатальная метафора обнажает стыдную правду о новом поколении книгоцеев: оно все реже усыновляет литературных детей — она все чаще их просто... ест.

Однако большинство писателей это, похоже, совершенно не смущает — писатели сами активно и радостно вовлекаются в потребительский дискурс. Если раньше цеховые разговоры вращались преимущественно вокруг обсуждения творческих процессов, то сегодня более обсуждаемы рейтинги и статусы. Ревностно отслеживая «лайки» в соцсетях и сравнивая позиции в топах продаж, авторы напоминают мамочек, кичащихся друг перед другом успехами и достижениями чад. Чьи ноги стройнее, кто какую олимпиаду выиграл, у кого больше пятерок в дневнике... Скоро, не ровен час, заговорят на популярном нынче *мамском языке* с его «покакусками» и «пузожителями».

Таким образом, писатель новейшей формации оказывается в неоднозначной и двойственной ситуации. С одной стороны, он лишился ореола оракула, звания демиурга, эполет культурного предводителя и прочих регалий, которыми ранее неизменно наделялся Человек Пишущий. Гермес пришпорил Пегаса и отправил в стойло. С другой стороны, писатель обрел соответствие актуальным тенденциям, хорошо встроился и в современный формат публичности, и в систему потребительской культуры. Из цеха мастеров перешел в корпорацию менеджеров. В условиях выбора «между клеймом и ярмом» был сделан выбор в пользу «ярма», правда не слишком обременительного и даже довольно приятного.

А раз так — значит, тужьтесь, уважаемые, тужьтесь! Да пребудет ваша матка в тонусе. Да повысится проходимость родовых путей. Да минует плоды ваши тугое обвитие пуповины.

Лев БЕРДНИКОВ

ДВА ЛИКА ИМПЕРАТРИЦЫ

Елизавета Петровна и евреи

«Не жалеть за целость веры и Отечества последней капли крови, быть вождем и кавалером воинства, собирать верное солдатство, заводить шеренги, идти грудью на неприятеля!» — с такими словами 24 ноября 1741 года обратились к красавице цесаревне Елизавете гвардейцы Преображенского полка. И она, дочь Петрова, их «кума» и «царь-девица», в золоченой офицерской кирасе, увлекла за собой на штурм Зимнего дворца 308 гренадеров — и постылое «немецкое» правление пало. Занималась заря нового царствования. Его декларируемый пафос очень точно передал историк Евгений Анисимов: «Именно [Елизавета], видя немощные страдания русского народа под гнетом ненавистных иноземных временщиков, восстала “на супостаты”. И с нею на Россию возшло солнце счастья. Превжний мрак и нынешний свет, вчерашнее разорение и сегодняшнее процветание — эта антитеза повторялась все царствование императрицы Елизаветы Петровны».

И в самом деле, не прошло и месяца после гвардейского путча, как в Успенском соборе Кремля 18 декабря 1741 года архимандрит Заиконоспасского монастыря Кирилл Флоринский уже клеймил иноверцев, с коими связывалось прежнее правление, называя их «человекояды птицы со своим стадищем». А архимандрит Свяжского монастыря Дмитрий Сеченов в присутствии монархини гневно обличал супостатов немцев, которые «прибрали к рукам Отечество наше, коликий яд злобы на верных чад российских рыгнули; коликое гонение на Церковь Христову и на благочестивую веру восставши, их была година и сила темная, что хотели, то и делали. А во-первых, тщилися благочестие отнять, без которого бы мы были горшия турок, жидов и арапов». Учитель Троицкой семинарии Иннокентий Паскевич произнес знаменательные слова: «Нейтралитета наш Христос не любит».

С легкой руки Елизаветы политика церкви в те времена стала воинствующе ортодоксальной. Как отметил писатель Казимир Валишевский, «религиозное пропо-

Лев Бердников родился в 1956 году в Москве. Окончил литературный факультет Московского областного педагогического института. Во время учебы сотрудничал с «Учительской газетой», где опубликовал десять очерков. После окончания института работал в Музее книги Российской государственной библиотеки, где с 1987–1990 годов заведовал научно-исследовательской группой русских старопечатных изданий. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию «Становление сонета в русской поэзии XVIII века (1715–1770 гг.)». С 1990 года живет в Лос-Анджелесе. Автор трех книг и более 350 публикаций в России, США и Израиле. Лауреат Горьковской литературной премии 2010 года. Почетный дипломант Всеамериканского культурного фонда Булата Окуджавы.

ведничество, ничем не стесненное в выборе средств; борьба страстная и пламенная против ереси пользовались ее поощрением и постепенно вылились во все виды, не исключая наиболее насильственных». Было резко ограничено распространение нехристианских вероучений, прежде всего мусульманства; возбранялось строить мечети в местностях, населенных православными и крещеными иноверцами (только в Казанской губернии в 1743 году было снесено 418 мечетей). Крещение магометан и язычников, по большей части насильственное, приняло небывалые масштабы и, по некоторым данным, с 1743-го по 1760 год составило около 410 тысяч обращенных, причем неопит, как правило, освобождался от рабства, податей, уголовного преследования и награждался деньгами. Гонениям подверглись и неправославные христианские конфессии: сократилось число армянских церквей; предполагался также перенос с Невского проспекта на окраины протестантских кирх. И хотя браки православных с католиками и протестантами допускались, но дети их могли быть крещены только по православному обряду.

При этом отход от православия и богохульство оставались тяжкими преступлениями и наказывались смертной казнью (которую Елизавета, вступив на престол, чинить как будто зареклась, но отступников и беззаконников секли кнутом, батогами и розгами в буквальном смысле «смертным боем»). Как отметил Александр Солженицын, императрица осуществляла и «железо-огненное преследование старообрядцев». По подсчетам историка Николая Костомарова, в царствование Елизаветы было совершено не менее шести тысяч самосожжений религиозных сектантов.

К слову, монархиня упорно боролась с «кошунниками» и в своем окружении: распорядилась сажать на цепь тех придворных, которые посмели «громко разговаривать в церкви» (для высокопоставленных сановников эта цепь была позолоченной). А именной ее указ 1757 года вменял в обязанность судейским служителям принимать участие в крестных ходах.

Но наиболее суровым религиозным преследованиям подверглись в те времена иудеи: елизаветинское правление отмечено беспрецедентно жесткими антиеврейскими узаконениями. Сама же императрица заслужила репутацию «последовательной и принципиальной антисемитки» (Фортунов В. Российская история в лицах. СПб., 2009, С. 195).

И в самом деле, 2 декабря 1742 года грянул «всемиловивейший» монарший указ: «Из всей Нашей Империи, как из Великороссийских, так из Малороссийских городов сел и деревень, всех мужеска и женска пола Жидов, какого бы кто звания или достоинства ни был... немедленно выслать за границу и впредь оных ни под каким видом в Нашу Империю ни для чего не впускать». Сия мера была вызвана фанатическим убеждением Елизаветы, что от евреев, «имени Христа Спасителя ненавистников, Нашим верноподанным крайнего вреда ожидать должно». При этом она объявляла себя правопреемницей «всезлюбнейшия Матери Нашей Государыни Императрицы Екатерины», которая указом от 26 апреля 1727 года изгнала иудеев и запретила им въезд в Россию под любым предлогом. Хотя своих предшественников на троне (Петра II, Анну Иоанновну, Анну Леопольдовну) Елизавета не упомянула в своем указе, но таковое умолчание было весьма красноречивым, ибо это они, по ее разумению, неосмотрительно дозволили евреям торговать в ряде областей и городов, и вот теперь «Жида в Нашей империи, а наипаче в Малороссии под разными видами... жительство свое продолжают». Терпеть врагов Христовых никак невозможно, их надлежит наконец всех выгнать вон, предварительно отобрав у них наличное золото и серебро. Укрывателям же евреев и прочим ослушникам грозит «высочайший гнев и тягчайшее истязание». А вот «кто из [евреев] за-

хочет быть в Христианской вере Греческого вероисповедания», получит от монархини милость, благостыню и российское подданство.

Надо сказать, что нетерпимая политика монархини в отношении иудеев не оправдывалась ни экономическими, ни финансовыми резонами. Деловые люди Риги, Малороссии и прочих областей, где с помощью оборотистых сынов Израиля осуществлялась значительная доля коммерческих операций, свою выгоду знали и пробовали возражать. С мест полетели ходатайства в Сенат с просьбами разрешить евреям вести торговлю хотя бы в пограничных областях. И сенаторы выразили императрице «всеподданнейшее мнение», что из-за запрещения иудеям приезжать в страну не только купечество понесет убытки, «но и высочайшим интересам не малый ущерб приключиться может», и не согласится ли государыня для «распространения коммерции» разрешить иудеям приезжать с товарами на ярмарки в Малороссию, Слободские полки, Ригу и другие прирубежные земли? На это 16 декабря 1743 года последовала знаменитая монаршая резолюция: «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли». Вследствие сего указом Сената от 25 января 1744 года повелевалось категорически запретить евреям въезд в Россию «даже для торга на ярманки» и «о впуске их никаких ни откуда представлений не присылать».

Где же искать корни столь острой нетерпимости дочери Петровой к иудеям, беспрецедентной даже на фоне ее державных предшественников? Не ошибемся, если скажем, что она была впитана ею с молоком матери. Это подчеркивала и сама Елизавета, говоря, что, выдворяя евреев из России, следовала «Всемиловейшим матерним намерениям». Впрочем, известно, что антисемитские узаконения Екатерины I были в значительной мере внушены ей Александром Меншиковым, антисемитом самого непримиримого свойства, при котором она была лишь «карманной императрицей». А известно, что дочери Петра росли в семье Меншикова, в компании с его тремя чадами. И не исключено, что заскоружлая злоба и ненависть к евреям Меншикова, то и дело прорывавшиеся наружу, нашли в Лизетке (так ее называли домочадцы) самый горячий отзвук. И хотя Меншиков потом отстранит Елизавету от трона и станет ее злейшим врагом, все же преподанные ей уроки юдофобии легли на самую благодатную почву. Ведь и в подмосковном Измайлове, при дворе благочестивой вдовы ее дяди — царя Иоанна V — Прасковьи Федоровны, где Елизавета воспитывалась вместе с двоюродными сестрами, они читали Святое Предание, затверживали поучения отцов Церкви о том, что евреи «нечистые и мерзкие», а синагога — «убежище демонов». Впрочем, Елизавета впитала в себя и европейский антисемитизм. В ее личной библиотеке наличествовали книги по истории средневековой Испании, а также Португалии и Польши. Она узнала и о кровавом навете, и об отравлении колодцев, и о прочих (мнимых) преступлениях потомков Иудиных, и все это множило ее высочайший гнев на «злокозненных жидов». Нет, конечно, устраивать показательные аутодафе, как это делали инквизиторы в Испании и Португалии, в России не следует, но с неверными надлежит расправиться со всей суровостью.

Предыдущие царствования, особенно правление регентши Анны Леопольдовны, ассоциировались у Елизаветы с непростительной терпимостью по отношению к нехристям. Более всего ее возмутила зловредная статейка в официальных (!) «Санкт-Петербургских ведомостях» (1741, № 45, 5 июня) о том, как «праздновали жиды с торжественною церемонию рождения Эрцгерцога». Сие действо, проходившее в основанном еще в XVI веке Еврейском квартале Праги, получило в газете самое подробное и детальное описание. И что особенно огорчительно, жиды представляли здесь не как гарпагоны и изгои, а, подобно другим народам, во всем много-

образии родов и званий. Ведь согласно газете, среди них были трубачи, скороходы, сапожники, мясники, позументщики, писари, сторожа, студенты с серебряными книгами в руках, мелаеды, врачи, музыканты, скорняки, «перед которыми несли два щита, из мехов сделанные, на одном из оных изображены портреты королевы и принца, а на другом виден был Давыдов щит», акробаты, арлекины, шуты и т. д. Да и внешний вид иудеев автора статьи явно впечатлил: он назвал их «богатоубранными жидами», причем некоторые были с круглыми черными шляпами, иные в венгерском платье, кто-то был одет «самыми дорогими мехами всех сортов», другой в гусарской одежде публике «всякие приятные мины показывал». Зачем вообще подданным Российской империи, куда въезд евреям заказан, знать о каком-то там жидовском празднестве?! Да к тому же благожелательный тон по отношению к хриstopродавцам совершенно недопустим. Уж не собиралась ли Анна Леопольдовна дать им какое послабление?

А в России главной костью в горле Елизаветы был некрещеный еврей-банкир Леви Липман. Этот финансовый воротила, поставлявший ювелирные изделия августейшим особам на астрономические суммы, куролесил при русском дворе уже с десяток лет и казался непотопляемым. При этом когда в Европе распространились слухи о его отставке, власти их опровергли: «Обер-комиссар господин Липман коммерцию свою по-прежнему продолжает и при всех публичных случаях у здешнего Императорского Двора бывает». Коммерция и впрямь выдалась знатная: правительница Анна Леопольдовна и ее окружение наперебой заказывали «придворному жиду» украшения и драгоценности на огромные суммы (один только принц Брауншвейгский Антон Ульрих остался должен ему 14 000 рублей).

Писатель Евгений Маурин в историческом романе «Людовик и Елизавета» сообщает, что цесаревна, погрязшая в долгах во время правления Анны Леопольдовны, будто бы «пыталась обратиться к придворному банкиру Липману; но еврей поставил такие условия, что Елизавете Петровне, если бы она приняла их, пришлось бы запутаться на несколько лет». Подтверждения этому не находится — более того, нет сведений, что обер-комиссар ссужал царствующим особам деньги под большие проценты. Однако факт знакомства будущей императрицы с Липманом несомненен (уж больно приметной фигурой был он при дворе), равно как и то, что еврейский толстосум вызвал у нее самые враждебные чувства. Ведь о том, сколь одиозной фигурой был Липман в глазах окружения Елизаветы, можно заключить из записок близкого к ней маркиза Жака Иоахима де ла Шетарди. Тот повторяет миф о всемогуществе «придворного жида», говорит о его хитрости и способности «распутывать и заводить всевозможные интриги» и делает однозначный вывод: «можно сказать, что Липман правит империей!»

Впрочем, секрет долгожительства Липмана объясним: он угождал самым изысканным вкусам лакомых до роскоши царствующих особ. А что Елизавета? Ее фанатическая страсть к пышности и щегольству не только не уступала, но и превзошла своих венценосных предшественниц. По словам князя Михаила Щербатова, двор ее «в златотканые одежды облакался, вельможи изыскивали в одеянии — все, что есть богаче, в столе — все, что есть драгоценнее, в питье — все, что есть реже, в услуге — возобновляя прежнюю многочисленность служителей, приложили к оной пышность в одеянии их... Подражание роскошнейшим народам возрастало, и человек становился почтителен по мере великолепия его жилья и уборов».

Тон при этом задавала сама императрица-модница — обладательница пятнадцати тысяч платьев, тысяч пар обуви, сотен отрезков самых дорогих тканей. Она и сама переодевалась по семь раз на дню, и своим придворным наказала являться на бал или куртаг каждый раз в новом платье (по ее приказу гвардейцы даже метили

специальными чернильными печатями одеяния гостей: чтобы впредь в старых костюмах показываться не смели!). А поисками самых модных вещиц для государыни были озабочены не только в России, но и за границей. Все парижские новинки сперва доставлялись во дворец; монархиня отбирала понравившееся, расплачивалась с поставщиками весьма скупно, и только после этого они получали право продавать оставшееся простым смертным. И не дай Бог нарушить сие правило: одна ослушница, некая госпожа Тардые, была за это арестована — в гневе императрица была страшна! Необыкновенная красавица в молодости, она страдала стойким комплексом нарциссизма; как сказал о ней историк Василий Ключевский, Елизавета «не спускала с себя глаз». Императрица страсть как была охоча до драгоценных камней, жемчуга, а особенно бриллиантов, которые вошли при ней в большую моду.

Казалось, расторопный и исполнительный обер-гофкомиссар Липман мог ей очень пригодиться, если бы... не оказался жидом. Исследователи говорят о мистическом страхе Елизаветы перед иудеями, приправленном к тому же брезгливым высокомерием. Ближайшая ее наперсница, болтунья-интриганка Мавра Шепелева (о ней говорили: «злая, как черт, и такая же корыстолюбивая») хорошо знала вкусы своей госпожи и умела подстроиться под ее капризный характер. Вот и в своих цидулках к Елизавете она писала лишь о том, что могло задеть ее за живое. «Жидов множество, и видела их, собак!» — сообщала она в письме из Нежина в 1738 году, подзадоривая августейшую подругу в ее нелюбви к евреям.

Получается, что императрица ненавидела этих «собак» больше, чем любила роскошь и пышность. Она не собиралась терпеть «христопродавца», да еще у кормила власти, и тут же прогнала его со двора. Монархиня незамедлительно упразднила даже сами придворные должности обер-гофкомиссара и камер-агента, напоминавшие о ненавистном инородце. Но устранив Липмана, Елизавета не преминула воспользоваться четко отлаженным механизмом ювелирной работы при дворе, пружины которого завел этот ненавистный еврей.

Для самой монархини и для сливок общества не покладая рук трудился ювелир Иеремия Позье, который имел к государыне более свободный доступ, чем генерал-прокурор или даже канцлер империи. Этот самый Позье был креатурой Липмана. Когда-то еврей угадал в нем, нищем, погрязшем в долгах швейцарце, будущего «Фаберже XVIII века», поддержал его в трудный момент и ввел в придворный круг. Позье, личный бриллианщик Елизаветы, долгое время работал с евреем в тесной спайке и с благоговением вспоминал об их тандеме. Получилось так, что Липман, как заправский кукловод, делегировал Позье ко двору новой императрицы, и тот продолжил его дело. Между прочим, отойдя в тень, этот еврей продолжал заниматься огранкой бриллиантов за границей (имел контору в Голландии), и не исключено, что его агенты поставляли камни в Москву и Петербург через христианских посредников.

И что же? — нигде в мире (разве что кроме как в Индии, где «не счесть алмазов в каменных пещерах») не было такого обилия бриллиантов, как в России в елизаветинские времена! Они покрывали головные уборы и прически дам, украшали их платья, у мужчин камни сверкали на пряжках, орденских знаках, шляпах, тростях, табакерках, пуговицах, обшлагах камзолов. Мелкие солитеры лежали кучами при дворе на карточных столах. Их приманчивый блеск говорил о неимоверном богатстве русской знати.

Погрязшая в роскоши государыня все же немало радела и о духовном здоровье подданных. С ее именем связана так называемая Елизаветинская Библия (полный перевод Священных книг Ветхого и Нового Завета на старославянском языке),

увидевшая свет в 1751 году. Она и сегодня, с некоторыми незначительными изменениями, продолжает использоваться Русской церковью в богослужении. По этому поводу один историк-почвенник язвительно заметил: «Интересно получается: Елизавета, как известно, жидов не любила и выпустила даже приказ об их высылке из России, но Библию, в составе которой был Танах, разрешила напечатать, очевидно, не связывая одно с другим или вообще не вникая в суть явлений». Замечание странное, если принять во внимание, что почитание христианами и церковниками Ветхого Завета никогда не исключало их антисемитизма. Ведь вполне очевидно, что в общественном и религиозном сознании преемственность между современными «жидами» и их библейскими прашурами вовсе не осознавалась. Кроме того, само по себе следование Ветхому Завету (а не последующим «превратным» его толкованиям) в царской России никак не дискриминировалось (отсюда исключительная терпимость к караимам).

Надо сказать, что и по мнению некоторых российских интеллектуалов той поры евреи вполне заслужили изгнание. Известный историк, в прошлом член «ученой дружины», Василий Татищев назвал указ Елизаветы «мудрым» и «своевременным». Он взял на себя труд разъяснить монаршую волю и гневно шельмовал: «Изгнаны они, иуды, из России за великие и злые душегубства, убиения ядом лучших людей, людей русских. Распространение отравных зелий и тяжких смертельных заразительных болезней всяческими хитроковарными способами, за разложения, кои они в государственное дело вносят. ...Особливо опасны они, природные ростовщики-кровососы, тайные убийцы и всегдашние заговорщики для Великой России». Не вполне понятно, кто поведал Татищеву о помянутых душегубствах евреев и где он их наблюдал (а он мог встречаться с иудеями и на Украине, где служил в составе драгунского полка, и в Берлине, Дрездене, Бреславле во время учебы, и когда находился в действующей армии под Кёнигсбергом и Данцигом). Но вот на «злое душегубство» самого Татищева указать можно. Это по его представлению в 1738 году был сожжен заживо татарин Тойгильд за отступничество от православия и возврат в магометанство (как изъяснились доморощенные инквизиторы, «он, яко пес, на свои блевотины вернулся»). Аутодафе несчастного состоялось на глазах у толпы крещеных татар, чтобы другим неповадно было!

Воинствующий пафос инвектив Татищева достиг такой точки каления, что оставил далеко позади даже непримиримых к иудеям церковников, для которых преступления евреев состояли в распятии Христа и упорном отрицании его божественной природы. Польские же и западноевропейские приемы юдофобии — более изощренные и причудливые (частично взятые на вооружение Татищевым) — в России просто не понадобились, ибо и этого оказалось вполне достаточно, чтобы не пускать евреев в страну, о чем писал английский историк Джон Клиер. Примечательно, что и в великоросских пословицах, песнях, частушках евреи вообще не упоминаются. А знаток русского лубка Дмитрий Ровинский в своей магистерской диссертации подытожил: «В прежние времена о евреях в Москве не слыхивали, поэтому не существует никаких смешных картинок, их изображающих». Единственное найденное им исключение для XVIII века представляет собой гравюра на дереве, изданная в Киеве Адамом Гошенским с надписями на польском (!) языке.

И все же, как отмечал академик Виктор Виноградов, именно в царствование Елизаветы в русском литературном языке слово «жид» стало употребляться с отрицательной экспрессивной оценкой и определилось как оскорбительное. Интересно в этом отношении свидетельство мемуариста Андрея Болотова, принявшего участие в Прусском походе. В бытность под Кёнигсбергом ему предложили «посмотреть на жидовскую свадьбу». И увиденное настолько не согласовалось с рас-

хожими представлениями о евреях (с которыми он никогда ранее не встречался), что россиянин воскликнул в сердцах: «Я смотрел тогда с особливым любопытством на сих новобрачных и не мог довольно надивиться всему поведению их, которое было столь порядочно, что я никак бы не подумал, что это жида были, если б мне того не сказали». Болотов настолько был впечатлен «порядочными» еврейками, что беспрерывно танцевал с ними менуэт, польку, мазурку и «затанцевался» до полуночи. Так что ему пришлось сделаться толерантным к народу Израиля.

А вот дипломату и стихотворцу князю Антиоху Кантемиру приписывают такие слова: «По мудрости Государей российских Великая Россия доселе есть единственное государство европейское, от страшной жидовской язвы избавленное. Но зело тайные иудеи, притворно в христианство перешедшие, в Россию ныне проникают и по телу ее расползаются. Особливо норовят и хошут сии лейбы и пейсохи вползти ко Двору в лейб-медикусы, пролезть в академию де Сиянс (Академию наук. — Л. Б.), к пружинам и ключам державной махины подобраться. Посему за кознями и происками жидовскими зорко следить надобно»¹. Нет сомнений, что речь идет здесь о втором лейб-медики императрицы, потомке марранов, значившемся католиком, Антонио Нуньес Рибейро Санчесе, талантливом враче и ученом. Монархиня часто прибегала к его квалифицированной помощи. Между прочим, среди его выдающихся заслуг перед империей есть одна, которую невозможно переоценить: в 1744 году он излечил опасно больную плевритом невесту великого князя Петра Федоровича, будущую императрицу Екатерину II (как потом писала она сама, «с Божьей помощью меня от смерти спас»). Иными словами, не будь этого еврея, Россия бы осиротела, ибо лишилась бы Великой Екатерины!

Когда лейб-медик Санчес из-за болезни глаз подал в отставку, его проводили из России во Францию с большими почестями. В выданном ему аттестате (абшиде) от 4 сентября 1747 года за подписью Елизаветы указывалось, что «в исправлении по искусству его медицинского дела, будучи в разных местах, донныне препроводил, как искусному доктору и честному человеку надлежит, добропохвально». Петербургская Академия наук поспешила избрать Санчеса «почетным членом физического класса, с определением Ея Императорского Величества жалования 200 руб. в год» с тем, чтобы он из-за кордона «для здешней Академии разные пьесы и диссертации присылал». Он отправился во Францию, чтобы после продолжительного отдыха снова практиковать медицину и писать научные трактаты. Выполнял он и поручения петербургских академиков: вел переговоры о поступлении на русскую службу видных ученых-иностранцев.

Тем неожиданнее и обиднее стал для него полученный из России указ Елизаветы Петровны от 10 ноября 1748 года о том, чтобы Санчеса «из академических почетных членов выключить и пенсии ему с сего числа не производить». Лишившись ученого звания и важного источника существования, доктор пишет президенту Петербургской академии Кириллу Разумовскому недоуменное письмо. И вот

¹ Публицист Олег Платонов, обнаруживший это высказывание, привел ссылку на книгу: «Приватные письма князя Антиоха Дмитриевича Кантемира к некоторым вельможам и ученым людям» (СПб., 1807, С. 14). Однако такое издание, согласно справке, полученной нами в группе «Сводного каталога русской книги 1801–1825 гг.» РГБ, не существует в природе и не находится ни в одной из библиотек России. На наш взгляд, весьма сомнительно, чтобы автором этого текста был Кантемир. Ведь речь идет здесь о тайном иудаизме лейб-медика и члена Академии наук, а таковым в ту пору был только один человек при дворе — доктор Антонио Рибейро Санчес. Однако его приверженность религии Моисея открылась только в 1748 году, через пять лет после кончины князя. Другое дело, что Кантемир придерживался непримиримо юдофобских воззрений и вполне бы мог под этими словами подписаться.

ответ: «Императрица полагает, что было бы против Ее совести иметь в Своей Академии такого человека, который покинул знамя Иисуса Христа и решился действовать под знаменем Моисея и ветхозаветных пророков». Отчаявшись, Санчес прибегнул к заступничеству известного математика-швейцарца Леонарда Эйлера, бывшего членом Петербургской академии со дня ее основания. Но ни ходатайство Эйлера (написавшего: «Я сильно сомневаюсь, чтобы подобные удивительные поступки могли содействовать распространению славы Академии наук»), ни явное расположение к Санчесу Разумовского положения его не изменили: Елизавета Петровна была непреклонна.

Стоит подчеркнуть, что антисемитизм императрицы носил исключительно религиозный характер, в отличие, скажем, от Вольтера, питавшего к евреям расовую неприязнь, на что обратил внимание американский историк Джеймс Бреннан. В самом деле, французский просветитель говорил о «природной глупости и лживости евреев», аттестовал их народом «варварским, корыстолюбивым», «самым отвратительным на земле». Елизавета же этническими фобиями не страдала, всемерно поощряя обращение иудеев в православие, желала видеть таковых своими подданными. И в этом она была весьма принципиальна и последовательна. Подобно своему великому отцу, она возвысила многих крещеных евреев, причем некоторые из них сыграли заметную роль в ее жизни, да и в истории всего дома Романовых. Христиане «жидовской породы», несмотря на наветы об их извечных кознях и происках, не вызывали у императрицы подозрений в тайном иудаизме. Казус с лейб-медиком Санчесом — единственный случай такого рода, да и произошел он из-за доноса: как полагает историк XIX века Михаил Шугуров, письмо Санчеса из Парижа с неосторожными высказываниями в пользу иудейской веры было перехвачено и доведено до сведения монархини, после чего тот и был подвергнут обструкции.

Забавно, что перлюстрацию корреспонденции из-за границы осуществлял тогда директор Петербургского почтамта лютеранин Федор Юрьевич Аш, тоже этнический еврей. Впрочем, это было вменено ему в должностные обязанности, в извещениях же упражнялись совсем другие кувшинные рыла, поднаторевшие в кляузах. Федор Аш начал служить по почтовому ведомству еще при Петре и возглавил его при Екатерине I. Елизавета высоко ценила его за исполнительность, аккуратность и, главное, за столь редкую среди чиновников несклонность к мздоимству. В 1744 году она пожаловала ему полковничий ранг, а также вечное владение мызой Хотинец, что в Ямбургском уезде, с 296 крепостными душами. Окончил же он свои труды и дни в чине статского советника.

Весьма покровительствовала императрица и братьям-выкрестам Исааку и Федору Павловичам Веселовским. Исаак Павлович сыграл в жизни Елизаветы немаловажную роль, ибо в течение трех лет (1722–1725) обучал ее, тогда еще отроковицу-цесаревну, французскому языку, приобщал к французской словесности и культуре. Не здесь ли следует искать истоки той галломании, которая заполонит впоследствии двор Елизаветы Петровны? Впрочем, карьера Исаака была крайне затруднена, сначала из-за противоборства с всемогущим Меншиковым, а затем из-за каприза взбалмошной Анны Иоанновны. Из бумаг видно, что ему много лет не выплачивали жалованья. В марте 1741 года он в чине коллежского асессора был отставлен от службы, как он писал, «за немощию». Но «немощь» разом покинула Исаака Павловича, как только на российский престол взошла Елизавета. Уже в декабре 1741 года Веселовский был произведен в действительные статские советники, перемахнув тем самым через целых четыре ступени в «Табели о рангах». Его назначают главой Секретной экспедиции Коллегии иностранных дел. В 1745 году Ве-

селовский был произведен в тайные советники, а в 1746 году ему был пожалован орден Св. Александра Невского.

В 1742 году императрица приставила Исаака к наследнику престола Петру Федоровичу для обучения его русскому языку, которым тот, живя в Голштинии, не владел. Если принять во внимание мнение некоторых современных писателей России о том, что постичь «глубокие корневые корни русского языка» может только натуральный русак, то выбор еврея в качестве учителя словесности было для «принципиальной антисемитки» Елизаветы поступком легкомысленным и даже беспринципным. Но Исаак Павлович — на удивление нынешним почвенникам! — ментором оказался превосходным, поскольку уже через год занятий порфирородный отрок свободно изъяснялся и грамотно писал по-русски. «Самый умный человек в России» (так назвал его один именитый иностранец), Исаак Веселовский жил передовыми идеями эпохи. Он был завзятым книгочеем и напряженно следил за современной ему литературой.

И Веселовский не побоялся перед лицом императрицы настойчиво ходатайствовать о своих соплеменниках. Какие только резоны он не приводил, объясняя все выгоды жительства иудеев в Российской империи! Он склонил на свою сторону даже канцлера Алексея Бестужева. Но монархиня к «врагам Христовым» была неумолима. Как же отреагировала она на это «дерзкое» прошение крещеного еврея? Во всяком случае, она его не наказала, не подвергла опале, демонстрируя к нему свою прежнюю приязнь. Скорее всего, она приняла его настойчивость за проявление наивного благодушия, впрочем, извинительного для христианина.

До генеральских чинов дослужился при Елизавете и брат Исаака, Федор Веселовский. Став в 1720 году дипломатом-невозвращенцем из-за укрывательства в Лондоне опального брата Авраама, он в 1742 году получил наконец всемилостивейшее разрешение вернуться в Россию и стал (пожалуй, первым и единственным в российской истории!) евреем-церемониймейстером императорского двора. Можно вообразить, как этот царедворец открывал торжественные церемонии, представлял на праздниках, куртагах! И никого, включая монархиню, почему-то не заботила его «жидовская порода», хотя она всем бросалась в глаза. Между прочим, в 1757 году он ездил в Женеву и вел переговоры с Вольтером о написании им истории царствования Петра Великого. Знаменательно, что просветитель и меценат Иван Шувалов привлек Федора, как человека энциклопедически образованного, в недавно основанный Московский университет — куратором. Труды Веселовского были отмечены государыней, которая в 1761 году пожаловала ему орден Св. Александра Невского, а также высокий чин тайного советника.

Между прочим, императрица предлагала вернуться в Россию и Аврааму Веселовскому, посулив ему полное прощение и милости (правда, тот ехать не пожелал и остался доживать свой век в Швейцарии).

Елизавета всегда симпатизировала соратнику отца, обер-полицмейстеру Петербурга, красивому и ладному Антону Дивьеру, радушно принимая его при дворе. И ее мать когда-то тоже была к нему более чем благосклонна: пожаловала графским титулом, чином генерал-лейтенанта, орденом Св. Александра Невского; поговаривали даже об их с Екатериной романтических отношениях. А вот светлейший князь Меншиков испытывал к нему жгучую ненависть (не мог смириться с тем, что его родная сестра вышла замуж за этого жида). На излете царствования Екатерины I и схлестнулись интересы властолюбивого Меншикова и группы царедворцев, к коей примкнул Дивьер. Светлейший возжелал возвести на престол сына покойного царевича Алексея, малолетнего отрока Петра, женить его на своей дочери Марии, а самому стать при этом фактическим регентом империи. Дивьер же был

сторонником того, чтобы Екатерина короновала цесаревну Елизавету, или Анну, или обеих вместе. «Тогда государыне будет благонадежнее, потому что они ее родные дети», — настаивал он.

В этой баталии верх взяла партия Меншикова. Под нажимом светлейшего ослабевшая от болезни Екатерина за несколько дней до кончины подписала нужный ему указ. Антон был схвачен, вздернут на дыбу, бит кнутом, а затем сослан в холодную Якутию, в Жиганское зимовье, что на пустынном берегу Лены, в 800 верстах от Якутска. В этой глухомани он томился долгих 15 лет. Но Елизавета, памятуя о его верности и неподкупности, став самодержавной императрицей, вернула его в Петербург. Дивьеру были возвращены все чины, ордена и регалии. Монархиня пожаловала ему 1800 душ крестьян из имения ненавистного им обоим Меншикова, а также деревню Зигорица в Ревгунском погосте (180 дворов). Он был также произведен в генерал-аншефы. Идя по стопам отца, она вновь назначает Дивьера обер-полицмейстером Петербурга. Но многолетние страдания и лишения надломили его здоровье; он часто хворал и умер в 1745 году, прослужив наново в полиции не более полугода.

И еще один еврей, сержант Преображенского полка Петр Грюнштейн пользовался особым расположением Елизаветы. Он сыграл выдающуюся роль в возведении Елизаветы на престол. В прошлом саксонский купец, этот дважды перекрещенец (сначала в лютеранство, а затем в православие) вел агитацию в пользу дочери Петровой в гренадерской роте, которая и стала главной силой гвардейского путча 25 ноября 1741 года. Человек недюжинных организаторских способностей, он, по словам историка, был «настоящим вожаком, который мог справиться со своейвольной толпой своих товарищей». Елизавета пожаловала его знатными поместьями, генеральским чином, потомственным дворянством, 927 крепостными душами. С помпой отпраздновала она свадьбу этого еврея и преподнесла молодым в подарок еще 2000 душ. Прознав же о том, что сержант лейб-компания Ивинский совратил новобрачную, а самого «жида» вознамерился предать смерти, монархиня тут же пришла на помощь Грюнштейну и отправила злоумышленника в тюрьму.

Но, к несчастью, Грюнштейн не выдержал испытания монаршей щедростью. Милости, посыпавшиеся на него как из рога изобилия, ослепили незадачливого гвардейца. Он настолько уверовал в свои огромные возможности, что стал вмешиваться в важные государственные дела. Грубо, в ультимативной форме он стал требовать от своего командира Алексея Разумовского отставки влиятельного генерал-прокурора Никиты Трубецкого — угрожал, что сам убьет этого «изменника, спасая императрицу от самого зловредного человека». А в бытность в Нежине учинил драку и нещадно отлупцевал родственников самого Разумовского, крича при этом: «Я Алексея Григорьевича услугою лучше, и он через меня имеет счастье, а теперь за ним и нам добра нет, его государыня жалует, а мы погибаем!» Государыне ничего не оставалось, как отправить опасного буяна в ссылку, в Великий Устюг.

Понятно, что никакой антисемитской подоплеки опала и ссылка зарвавшегося Грюнштейна никак не имела. Ведь покровительством Разумовского, да и самой монархини пользовался еще один еврей, Василий Алексеевич Вагнер, который даже управлял имениями Разумовского в должности генерал-адъютанта. Любопытно, что этот иудей — в обход запрещения — был в 1716 году тайно привезен в Россию из Пфальцкого графства Саксонии родовитым Семеном Салтыковым, крестился в 1729 году, причем его восприемником был богатейший помещик, сенатор и тайный советник Алексей Черкасский. Именным указом от 3 сентября 1750 года Елизавета пожаловала Вагнеру потомственный дворянский титул, ибо он, по ее словам, «из Еврейского закона восприял православную веру греческого

исповедания, и притом своими честными поступками Нашего Императорского Величества Высочайшую милость себе заслужил». Сын же Вагнера Алексей был произведен в придворные пажи. Монархиня также высочайше повелела записать Вагнера в герольдию. А умельцы из рисовальной конторы изготовили и герб этого «еврея во дворянстве»: на голубом поле плоский золотой крест в сердце щита между тремя серебряными подвесками. Над щитом — стальной дворянский шлем, с поставленным на нем голубым крылом. По сторонам щита опущен намет голубого цвета, с правой стороны подложенный золотом, а с левой — серебром.

Надо сказать, что и слова об «интересной прибыли», которую императрица от иудеев получать не желала, на выкрестов не распространялись. В ее правление не гнушались пользоваться их сноровкой и коммерческой хваткой. Свидетельство сему карьера сына московского купца Якова Михайловича с говорящей фамилией Евреинов. Его заметил еще Петр I: отправил в Голландию учиться иностранным языкам и коммерции, а в 1723 году назначил генеральным консулом в Кадис в чине коллежского советника. Елизавета, оценив способности оборотистого еврея, в 1742 году сначала сделала его членом, а в 1753 году и президентом Мануфактур-коллегии и действительным статским советником, с жалованьем в 1058 рублей. Он также возглавил Коммерческий банк российского купечества. В дарованном ему монархиней селе Троицком он построил великолепную Суконную фабрику. Государыня наградила его за труды орденом Св. Анны. Интересно, что обыкновенно скупой на похвалы пиит Александр Сумароков отозвался о Евреинове весьма благосклонно. Рассказывают, что однажды в книжной лавке он услышал, как слуга одного барина спрашивал комедию «Честный человек и плут». «Друг мой, — парировал Сумароков, — я советую тебе разделить свою покупку пополам: „Честного человека“ отнеси к товарищу моему Евреинову, а „Плута“ — к своему барину».

В числе еврейских промышленников, поощряемых императрицей, мы находим и бумажного фабриканта Якова Христиана Лакосту, сына известного шута Яна Лакосты, забавлявшего Петра I и Анну Иоанновну. О том, что Елизавета осталась довольна работой Якова Христиана, говорит хотя бы то, что она дважды повысила его в чине и произвела в майоры.

Остается неясным, сколько же иудеев было изгнано из России в царствование Елизаветы. Данные разнятся. Согласно официальной справке Генеральной войсковой канцелярии, в 1743 году из Малороссии выдворили 142 иудеев. Никакими другими точными сведениями мы не располагаем, и о масштабах депортации можно лишь гадать. Историк Юлий Гессен утверждает, что в результате сей акции «Россия осталась при Елизавете без евреев». А Семен Дубнов приводит другую цифру: 35 000 иудеев было изгнано из империи к 1753 году. С ним полемизирует Александр Солженицын, напомнивший, что тонкий знаток еврейства Генрих Грец ровно ничего не пишет об исполнении этого указа Елизаветы. Он также приводит мнение публициста Генриха Слиозберга о том, что в царствование Елизаветы лишь «делались попытки к выселению евреев из Украины». «Скорей надо признать вероятным, — заключает Солженицын, — что, встретив многочисленные сопротивления и у евреев, и у помещиков, и в государственном аппарате, указ Елизаветы так же остался неисполненным или малоисполненным, как и предыдущие подобные».

Ясно одно: если кто из иудеев и обретался в империи, то нелегально. Сыны Израиля вынуждены были прятаться, вести унизительное подпольное существование, переезжая с места на место. Единственный известный нам случай проживания и активной деятельности некрещеного еврея под скипетром Елизаветы — это феномен Давида Леви Бамбергера. Обладатель иноземного титула «покровитель-

ствуемый еврей», он, несмотря на все гонения, ухитрился 16 лет заниматься коммерцией в курляндской Митаве, жительствовавший в Риге, а во время Семилетней войны подвизался сначала в качестве фактора командующего русской армией при Гросс-Егерсдорфе генерал-фельдмаршала Степана Апраксина, а затем поставщика русского корпуса в Курляндии. В 1760 году «обер-офицерам, состоящим при складах», было приказано оказывать снабженцу-еврею всякое содействие. Впрочем, едва ли императрица знала о его существовании. Впоследствии, в начале царствования Екатерины II, Бамбергер в числе трех митавских евреев будет тайно вызван в Петербург для обсуждения правительственного проекта об организации переселения евреев в Новороссию...

Такой она была, российская государыня Елизавета Петровна, последовательной и принципиальной в своей суровости к иудеям и полной милосердия и благожелательности к крещеным евреям. Она покинула сей мир 25 декабря 1761 года. Во всех православных храмах проходили траурные песнопения на помин души почившей в бозе императрицы. А раввины синагоги Кёнигсберга выбрали для отпевания Елизаветы 48-й псалом, где говорится о наказании нечестивых после смерти. Звучали беспощадные слова осуждения: «Ведь человек в чести не пребудет, он подобен животным, которые погибают. Такова участь тех, кто надеется на себя, и доля тех, кто после них одобряет слова их. Как овцы, они уготованы миру мертвых; смерть будет их пасти... В прах обратятся их тела, жилищем их будет мир мертвых». Осквернение памяти монархини вызвало бурю возмущения в России и Европе. Однако и иудеев — нет, не оправдать! — понять можно: они платили за ненависть к своим единоверцам той же монетой.

П У Т Ъ К Ч И Т А Т Е Л Ю

Ольга ГЛАЗУНОВА

О ТОЛЕРАНТНОСТИ и ТЕРПИМОСТИ

Справедливость — это равенство, и <...> постыднее творить несправедливость, чем терпеть ее.

Сократ

The liberal regime is a regime of producers and consumers, not of citizens.

Ronald Beiner

Возможности языка отражать субъективный взгляд человека на мир поистине неисчерпаемы, и выбор нужного слова среди лексических синони-

Ольга Игоревна Глазунова — лингвист, литературовед, специалист по русскому языку как иностранному. Работает в Институте русского языка и культуры филологического факультета СПбГУ, старший научный сотрудник.

мов является чрезвычайно важной частью общения. Например, в зависимости от того употребите ли вы в одном и том же контексте слово *любовь* или *шуры-муры*, *предательство* или *коллорабационизм*, *лояльный* или *равнодушный*, *безмятежный* или *бесчувственный*, *огарование* или *демонизм*, ваша фраза будет восприниматься по-разному.

Язык — вещь совершенная, в нем нет абсолютных синонимов. Дополнительные значения, оценочного, стилистического, грамматического, лексико-семантического и даже общественно-политического характера, которые включены в семантическое значение слова, осложняют процесс его употребления в речи, но, с другой стороны, значительно расширяют возможности говорящего.

В английском языке, например, существительные *ignorance* и *unintelligence* часто заменяют друг друга. Однако в «Нортенгерском аббатстве» Джейн Остин тщательно их разграничивает. В романе приводится рассуждение о том, что женщине не следует стыдиться своего невежества. Наоборот, ей стоит использовать его в качестве преимущества, ибо, проявив невежество, легче начать общение. «Обладать хорошей осведомленностью — значит ущемлять тщеславие окружающих, — пишет Остин, — чего разумный человек всегда должен избегать, в особенности женщина, имеющая несчастье быть сколько-нибудь образованной и вынужденная поелику возможно скрывать этот недостаток». Невежество (*ignorance*) может быть не только естественным, но и преднамеренным, социально обусловленным, выступая в качестве тщательно спланированной неосведомленности (*unintelligence*). Молодой девушке, которая вступает в общество, по мнению Остин, следует помнить об этом.

Таким образом, чтобы выразить свою мысль точно и в соответствии с ситуацией общения, отправителю речи необходимо принимать во внимание многие факторы. Дополнительные свойства лексем позволяют расставлять приоритеты, делать акценты на наиболее важной информации, направляя беседу в нужное русло. Иногда, например, намеренно сделанная «ошибка» способна передать гораздо больше смысловых оттенков, чем нейтральный лексический вариант обозначения.

Особую группу в русском языке образуют заимствованные слова, которые вошли в него относительно недавно. *Эстрадное искусство*, традиционно воспринимаемое как искусство малых форм, в 90-х годах превратилось в *шоу-бизнес*, хотя в английском языке в качестве эквивалента к этому словосочетанию существует *variety (art)*, значение которого, правда, не подразумевает извлечение прибыли. Популярная на Западе *политкорректность* сменила *правила поведения советских граждан* и *цензуру*, а существительное *толерантность* все чаще заменяет в речи традиционную *терпимость*.

Безусловно, необдуманное использование заимствованных слов приводит к стилистическим ошибкам и может вызвать только улыбку. С другой стороны, внедрение в лексический состав языка нового слова, дублирующего традиционную лексему, обуславливает их смысловое разграничение.

Например, значение заимствованного существительного *толерантность* и традиционного *терпимость* одно и то же. Однако в последнее время не только в России, но и в других странах *толерантность* все чаще начинает приобретать негативную окраску, обозначая навязанное сверху требование вести себя в соответствии с либеральными установками, которые заставляют проявлять терпимость по отношению к тому, что терпеть невозможно.

Слово *толерантность* произошло от английского существительного *tolerance* в значении «устойчивость», «переносимость», которое, в свою очередь, происходит

от латинского *tolerantia*, обозначающего терпение, терпеливость, выносливость. Аналогичные значения в древнегреческом языке имеет и слово *phoretos*, которое образовано от глагола *phoreo* — «нести». Таким образом, между значениями существительного *толерантность* и глагола *нести* (*выносить*) прослеживается устойчивая связь, которая в современной западной интерпретации приближается к бесконечности.

Другое дело в русском языке. Такие фразеологические сочетания, как *терпение лопнуло*, *передел моего терпения*, *не испытывай моего терпения*, указывают на существование некой критической точки в значении слова, переход за которую будет сопровождаться нежелательными для человека последствиями. Разница в этимологии и способности образовывать устойчивые связи с другими единицами языка приводит к расхождению в восприятии синонимичных по сути лексем.

Прилагательного *терпимый* в Этимологическом словаре нет, однако можно предположить, что через глагол *терпеть* оно связано со словом *терпкий*, которое имеет значение «оставляющий вяжущее ощущение во рту, оскомины». Таким образом, очевидно, что терпимым в русском языке называют нечто достаточно неприятное. Стоит упомянуть и о том, что *оскомины* происходит от слова «оскома», имеющего тот же корень, что и глагол «скомить», то есть «болеть, ныть, шемить». Отсюда фразеологическое сочетание *набить оскомину*, которое употребляется по отношению к тому, что опротивело в высшей степени. Кстати, в переводе на английский *набить оскомину* (*to set smb's teeth on edge*) имеет то же значение.

В английском языке *оскомины* ассоциируется даже со словом *nausea* (тошнота), в то время как прилагательное *tolerable* (терпимый) означает *удовлетворительный, довольно хороший, сносный, приличный, приемлемый*, то есть соотносится со словами, в которых нет ничего предосудительного. Есть, правда, некоторая усредненность, которая в отношении, например, способностей человека часто граничит с посредственностью.

С другой стороны, о явных противоречиях в значении слова *толерантность* свидетельствуют не только факты языка. Что бы ни говорили, наш мир развивается не в соответствии с общественным мнением, а по законам физики. Согласно третьему закону Ньютона, всякое действие вызывает равное ему по силе противодействие. И этот закон отменить невозможно никакими реформами и проповедями толерантного отношения, не вступив в противоречие с самой природой мироздания.

Следовательно, мысль о том, что не стоит проверять терпение других людей, потому что когда-нибудь оно закончится, не возникла на пустом месте. Наличие в разных языках пословиц, описывающих один и тот же сценарий развития событий в случае недопустимого поведения, свидетельствует о том, что здравый смысл не приемлет никакого лукавства. Русские пословицы *Сколько веревочке ни виться, а конец будет*; *Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить* означают следующее: сколько бы человеку ни удавалось избегать наказания, кара его все равно настигнет.

Приведенная выше пословица о кувшине существует во многих языках: *the pitcher goes so often to the well that it is broken at last* (англ.); *tant va la cruche a l'eau qu'a la fin elle se casse* (фр.); *addig jár a korsy a kútra, míg el nem törik* (венг.); *su testisi su yolunda kirilir* (турецк.); *tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe* (исп.); *tantas vezes vai o cântaro a fonte que lá deixa a asa* (порт.). Пословицы отражают систему традиционных представлений и, как правило, имеют вид наставлений, цель которых состоит в регулировании поведения человека в природной и социальной

среде. На основе этих представлений в общественном сознании вырабатывается система императивов, которые существуют для того, чтобы предотвратить нежелательное развитие событий. Например, в русском языке пословице о кувшине соответствует фраза: не лезь на рожон.

В Западной Европе о толерантности заговорили в XVIII веке, в России это слово появилось веком позже. Затем, исчезнув из русского языка почти на пятьдесят лет, оно вновь стало востребованным в начале 1990-х годов. Однако либерально-позитивный смысл *толерантности* 90-х годов сменился скепсисом в начале XXI века.

Стоит отметить еще одно несоответствие в процессе утверждения этого понятия. В Декларации принципов толерантности, которая была утверждена ЮНЕСКО в 1995 году, говорится о правах человека на свободу самовыражения, но не об ответственности за содеянное. Присутствующее в тексте противоречие позволяет трактовать изложенные в декларации положения с самых разных позиций.

Так, в работе «Пределы толерантности: независимо-либеральная перспектива» автор ставит перед собой цель: исследовать понятие толерантности и предложить совершенное и основанное на либеральных взглядах представление о ее пределах. В качестве итогового вывода предлагается следующее утверждение: «Пределом толерантности должна быть нетолерантность, выражаемая всегда и во всем и тем же самым способом согласно принципам взаимности и пропорциональности, то есть нельзя быть толерантным по отношению к любому проявлению нетолерантности»¹.

Предложенное — довольно казуистическое — решение вопроса о пределе толерантности на самом деле полностью соответствует изложенным в декларации 1995 года принципам, утверждающим «признание универсальных прав и основных свобод человека». В частности, в них говорится о том, что «ни при каких обстоятельствах толерантность не может служить оправданием посягательств на эти основные ценности». Вот такая сказка про белого бычка получается: делать из храма варьете — можно²; поведение же тех, кто этому противится, должно рассматриваться как нетолерантное, а потому не заслуживающее снисхождения.

Очевидно, что при таком подходе соблюдение Гражданского и Уголовного кодексов, ограничивающих перечень «универсальных прав и основных свобод человека», становится строго обязательным. В противном случае коллапс общественной жизни неизбежен. Особенно в том случае, если понимаемая таким образом свобода не подчиняется элементарным требованиям соблюдения морали и общественного порядка.

Хотя при любом подходе всегда можно себе оставить права, а другим — обязанности подчиняться процессу их реализации. В полной мере мы это наблюдали в лихие 90-е, когда в погоне за прибылью под лозунгами обретения новых ценностей права большинства граждан попирались самым грубым образом. Неслучайно Рональд Бейнер в книге «Что случилось с либерализмом?» настаивает на том, что современный либерализм не считает нужным следовать провозглашенным некогда принципам: «либерализм не меньше, чем социализм, феодализм или любой другой

¹ «The limit of tolerance should be intolerance according to the principles of reciprocity and proportionality i. e. that intolerance should not be tolerated, at all times, and in a proportionate manner» (Nehushtan Yossi, *The Limits of Tolerance: A Substantive-Liberal Perspective*. Интернет-ресурс: <http://www.trinitinture.com/documents/nehushtan.pdf>).

² Представим, например, что было бы, если бы верующие с проповедями и молитвами начали пощщать гей-клубы, окропляя их посетителей святой водой.

общественный строй, является глобальной системой, то есть образом жизни, который исключает другие образы жизни»³.

Любые искусственные теории, какую бы благую цель они ни преследовали, на практике могут повлечь за собой гораздо худшие последствия, чем естественное развитие событий. Уверенность в собственной непогрешимости часто приводит к действиям, которые осуществляются спонтанно, без предварительного анализа всех возможных их составляющих. В народе данный принцип обозначен достаточно метко: «Главное — прокукарекать, а там хоть не рассветай». Особенно опасным подобное положение дел становится в наше время, когда даже небольшой конфликт может привести к затяжной войне или спровоцировать глобальную катастрофу.

У либерального варианта нетерпимости есть свои корни. Чтобы понять истоки современного либерализма, обратимся к «Диалогам» Платона, в которых идет речь о добре и зле, справедливости и терпении, свободе и воздержании.

Мысль Калликла о том, что «*один разумный сильнее многих тысяч безрассудных, и ему надлежит править, а им повиноваться*», и властитель должен стоять выше своих подвластных», как нельзя лучше объясняет причины любого эгоизма и своеволия. Пытаясь вразумить своего оппонента, Сократ говорит о том, что каждый, кроме власти над другими, должен властвовать и над самим собой — «*быть хозяином своих наслаждений и желаний*». Однако это замечание вызывает насмешку Калликла:

К а л л и к л . А х ты, простак! Да ведь ты зовешь воздержными глупцов!

С о к р а т . Как это? Всякий признает, что глупцы тут ни при чем.

К а л л и к л . Еще как при чем, Сократ! Может ли в самом деле быть счастлив человек, если он раб и кому-то повинуетя? Нет! Что такое прекрасное и справедливое по природе, я скажу тебе сейчас со всей откровенностью: *кто хочет прожить жизнь правильно, должен давать полнейшую волю своим желаниям, а не подавлять их, и как бы ни были они необузданны, должен найти в себе способность им служить (вот на это ему и мужество, и разум!), должен исполнять любое свое желание*»⁴ (выделено мною. — О. Г.).

Желание разрушить советский строй и обрести свободу для многих «реформаторов» в России 90-х годов воплотилось в выстраивание своего собственного варианта благополучия. О том, что это благополучие основывалось на нищете и бесправии других, в те годы мало кто думал. Сложившийся за десятилетия общинный уклад жизни разрушался в угоду отдельным индивидуумов, которые считали для себя возможным игнорировать традиционные ценности. Фраза Калликла о том, что эти «другие» слабы и потому недостойны свободы («один разумный сильнее многих тысяч безрассудных, и ему надлежит править, а им повиноваться»), для многих в те годы служила оправданием.

³ «Liberalism, no less than socialism, feudalism, or any other social order, is a global dispensation — that is, a way of life that excludes other ways of life» (Beiner Ronald, What's the Matter with Liberalism? Berkeley: University of California Press, 1992). Интернет-версия: <http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft4w10063f;brand=ucpress>

⁴ Горгий / Платон. Сочинения в 4 т. Т. 1. Под общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса. СПб.: Изд-во СПбГУ; Изд-во Олега Абышко. 2006. С. 324–326.

Но на каждого сильного всегда найдется еще более сильный. Безусловно, в присутствии диктатора мечты о счастье и вся послеперестроечная «мощь» так называемых «сильных» в осуществлении своего собственного варианта благополучия оказались бы пустыми обывательскими иллюзиями.

С другой стороны, объявив себя «сильным» и «разумным», поневоле начинаешь смотреть на других сверху вниз, уверовав в собственную непогрешимость. А что остается всем прочим — тем, которые не смогли в свое время поймать за хвост птицу счастья, или чьи моральные принципы оказались не столь шаткими? Вспоминать о Советском Союзе, когда проявление подобной несдержанности каралось самым жестоким образом?

Дальнейшее накопление капитала наиболее передовой и «свободолюбивой» частью российских граждан проходило в соответствии с ироническим замечанием Сократа: «Скажи мне, если кто страдает чесоткой и испытывает зуд, а чесаться может сколько угодно и на самом деле только и делает, что чешется, он живет счастливо?» Ответ Калликла свидетельствует о том, что привычка, какой бы она ни была, — вещь достаточно серьезная. «Я утверждаю, — говорит он, — что и тот, кто чешется, ведет приятную жизнь»⁵.

Нам постоянно навязывают мысль о том, что толерантность — это добро и путь к всеобщему счастью. Но добро трактуется как «намеренное, бескорыстное и искреннее стремление к осуществлению блага, полезного деяния, например, помощи ближнему». Что касается толерантности, то особого выбора нам не дают, как не давали его в 90-е годы. Если человек не хочет быть толерантным, то ему придется смириться и замолчать. Следовательно, толерантность достигается вопреки природе, путем насилия человека над самим собой, своими принципами и убеждениями. Не это ли мы наблюдали в Советском Союзе?

Что хуже, когда тебя ломает государство или когда ты сам ломаешь себя в угоду неким мифическим ценностям, — трудно сказать. Тем более что ломать себя приходится не тем, кто эти ценности в угоду себе проповедует. С другой стороны, толерантность, как правило, позиционируется как активное социальное поведение, к которому человек приходит добровольно и сознательно. Но так ли добровольно в наше время соблюдение этого требования и в какой мере оно может быть сознательным, если противоречит основополагающим физическим, психологическим и социальным принципам развития?

Может быть, нам стоит перестать изобретать велосипед в сфере регулирования норм общественной жизни и обратиться к традиционному здравому смыслу, который предоставляет гораздо более убедительные доводы в пользу достойного поведения. *Не рой другому яму, сам в нее попадешь; Не поступай по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе; На гужом счастье своего счастья не построишь.*

Эти истины никто и никогда не отменял, да и их мудрость основана не на амбициях и желаниях отдельных личностей, а на воплощении совсем других ценностей. Ибо, как говорил Сократ, «удовольствие и страдание прекращаются одновременно, а благо и зло — нет, потому что они иной природы», к которой политика не имеет никакого отношения.

⁵ Там же. С. 330.

РЕЦЕНЗИИ

ХРОНИКА ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ

Евсей Цейтлин. Долгие беседы в ожидании счастливой смерти. Из дневников этих лет. СПб.: Алетейя, 2012.

Прочитала сразу три книги Евсея Цейтлина¹, любезно подаренных мне автором. Все три одна за другой вышли в петербургском издательстве «Алетейя», у всех трех похожие обложки, почти одинаковый объем, узнаваемый стиль. Автор, как кажется, нашел свой жанр — две из трех книг представляют собой «заметки из дневника». Во всех трех книгах поднимаются вопросы экзистенциальные, в центре которых, как известно, отношение к смерти.

В самой цельной и наиболее значительной книге Евсея Цейтлина «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти», написанной в жанре писательского дневника, автор и его реально существующий герой — старый литовский писатель Йокубас Йосаде — заключают между собой своеобразный договор. Герой хочет проследить, а писатель зафиксировать работу сознания перед тем, как его носитель уйдет из жизни. Поразительно, что два этих пишущих человека, отличающиеся по возрасту, месту рождения, взглядам на жизнь, оба оказались глубоко погруженными в проблему смерти, поразительно и то, что они сумели отыскать друг друга. Но отыскали — и «эксперимент» пошел. Пять лет Евсей Цейтлин скрупулезно выспрашивал у й (так назовет он своего героя) о посещающих того чувствах и мыслях, пять лет й исповедовался писателю в совершенных и мнимых грехах².

12 ноября 1995 года Йокубас Йосаде умер. И спустя год на свет появилась книга с описанием «долгих бесед», проведенных двумя этими людьми в ожидании «счастливой смерти» одного из них.

О ней и пойдет у нас речь.

Сразу скажу, что текст получился непростой, затягивающий, заставляющий думать. Уверена, что написать его было нелегко. Можно себе представить, сколько за пять лет у автора накопилось материалов, папок, магнитофонных лент, писем, записочек и записок, сколько было прочитано книг самого Йосаде, а также критических статей и выступлений по его поводу. Да и сам автор изменился за эти годы, прошел свой путь, весьма отличный от предшествующего. В самом деле, Евсею Цейтлину в 1990-м, в начале эксперимента, 42 года (Йосаде — 79) он только что совершил прыжок в неизведанное — широко печатавшийся русский писатель, филолог и журналист, доцент российского университета, он круто меняет жизнь: переезжает в Литву, начинает собирать материалы об исчезающем здесь племени «литваков», литовских евреев, возглавляет вильнюсский альманах «Еврейский музей». Соответственно меняется и его мировоззрение, он обращается к религии отцов, «возвращается» (его определение) к иудаизму.

Эксперимент с Йосаде был, как кажется, очень важен для самого Евсея — помогал ему войти в сердцевину тех сложных философских, этических и религиозных вопросов, которыми мучился его «герой» и которыми не мог не задаваться он сам.

¹ Евсей Цейтлин. Долгие беседы в ожидании счастливой смерти. Из дневников этих лет. СПб.: Алетейя, 2012; Он же. Несколько минут после. Книга встреч. СПб.: Алетейя, 2012; Он же. Одинокие среди идущих. Из дневников этих лет. СПб.: Алетейя, 2013.

² Признаюсь, что обозначение й в моем сознании обезличивает героя, мне хочется называть его по имени.

Книга получилась не только отчетом о «последних» годах героя, она многослойна, и, как кажется, автор показал в ней «путь человека», еврея по национальности, в определенную эпоху и в определенных обстоятельствах. Вместе с тем это и движение автора навстречу герою, попытка «интерпретации» фактов его жизни, его страхов, его самооговоров. В итоге возникает широкая и многогранная картина времени и места, причем увиденная с разных точек зрения и как бы с разной фокусировкой.

Вопрос, возникающий на протяжении повествования не однажды: талантлив ли Йосаде? Писатель, драматург, написавший больше десятка пьес, большая часть из которых не была напечатана и не была поставлена на сцене. Были случаи, когда уже готовый спектакль по пьесе запрещали в день премьеры. Автор приводит высказывание Василия Розанова: «Судьба бережет тех, кого она лишает славы». В толковании Евсея Цейтлина это означает, что судьба бережет тех, «кто еще должен выполнить свою миссию на земле». И его герой до самой последней минуты своей жизни меняется, чего-то ждет от себя, в позднем возрасте открывает «свой жанр» письма или прямого обращения к читателю, мгновенно принесший ему популярность.

Однако максимум Розанова можно истолковать и по-другому. «Судьба бережет тех, кого она лишает славы», — то есть бережет она вполне обыкновенных людей, посредственностей, удовлетворившихся своей участью.

К какой категории принадлежит Йосаде? Для меня бесспорно, что к первой. Судя по книге, это крупный человек, обладающий, кроме литературного, еще и талантом жизни. Он любит удовольствия, любит женщин (фамилия Йосаде сепардская, в переводе с иврита означает «фундамент», что метафорически соответствует «половым органам»), умеет глубоко чувствовать и мыслить, в нем постоянно идет работа совести. Другое дело, что его литературному дару, таланту драматурга, не дано было раскрыться, его пьесы не печатались и не ставились. А это глушит вдохновение, мешает идти вперед, недаром Гоголь говорил: «Пьеса живет только на сцене». Можно ли расти и развиваться, находясь в бочке? А вышибить дно и выйти вон чаще всего получается лишь у сказочного богатыря.

«Вы содрогнетесь, когда узнаете правду», «я весь фиктивный» — Йосаде себя не щадит, таких его признаний и саморазоблачений в книге немало. Но попытаемся проанализировать, за что он так неустанно себя терзает, что называет «фиктивным». Оказывается, родился Янкель Йосаде в 1911 году сразу после девятого Ава, скорбного для всех евреев дня, в который были разрушены два Иерусалимских Храма, изгнаны евреи из Испании и началась Вторая мировая война. Но в годы детства Янкеля все метрические книги в Калварии, местечке, где он родился, были уничтожены, потому писарю в армии он назвал первую пришедшую на ум дату, день рождения Наполеона, 15 августа. Позднее раввин уточнит дату его рождения, и окажется, что он на одиннадцать дней старше и родился в не самый веселый для соплеменников день. Всех и делов.

В чем еще «фиктивность»?

Однажды еврейский писатель Янкель Йосаде понял, что, живя среди литовцев, он должен приспособиться к новым обстоятельствам жизни. Когда это случилось, нам не сообщается, но думаю, что произошло сие после войны, в конце 1940-х, в годы борьбы с «безродными космополитами». Скорей всего, именно тогда писатель перешел с идиш на литовский язык и стал зваться Йокубас Йосаде. Предательство? Измена своим корням? Но постойте. Был ли у писателя, не желающего оставлять своего дела, какой-нибудь выбор?

В Литве так же, как по всей стране, бушевала антисемитская кампания, закры-

вались еврейские школы, музеи, газеты и журналы — все это на совести сталинского режима. Но были и другие резоны. Писатель Йосаде никогда не был глубоко религиозным человеком, его тянуло к христианской религии, он осознавал себя «европейцем» (впоследствии и похоронят его на католическом кладбище). Переход на литовский язык означал расширение круга читателей. Придя с наградами с победоносной войны, он как бы завоевал для себя новый статус — не еврейского и даже не литовского, а советского писателя — с возможностями переводиться на русский и другие языки, с перспективой ездить в дома творчества Союза писателей. Кстати, эти перспективы были реальны, он «три-четыре месяца в году» проводил в Коктебеле, Дубултах, Пицунде и Малеевке. Кто-то скажет: променял свое «иудейство» на чечевичную похлебку. Но другого выхода из той западни попросту не было.

В этом смысле сам Евсей Цейтлин уже в наше время проделал прямо противоположный путь — от статуса «советский писатель» к писателю «еврейскому». Но, как говорится, «новое время — новые песни». И Йокубасу Йосаде, и Евсею Цейтлину потребовалось мужество, чтобы в корне поменять и перестроить свою жизнь, скажу даже: свою «философию жизни».

Йокубас Йосаде ушел из местечка, стоял за советскую власть, прошел через фронт и лагерь, он оказался «везунчиком»: не погиб, не сгинул, как многие-многие его соплеменники. В войну были убиты его близкие: мать, отец, две сестренки, всего пятнадцать человек. Кем убиты? Литовцами, подонки есть в любой нации. Не это ли горе сформировало «комплекс»: он не отмечал дней рождения, Новый год, не праздновал Дня Победы, не носил своих боевых наград.

Постоянная боль в душе, сопряженная с мыслью об убитых, обращалась на себя. Йокубас прокручивает события: когда при начале советской власти в Литве отца с матерью и сестрами как богатых владельцев фабрики должны были отправить в Сибирь, ему удалось их спасти, вычеркнуть из списка. Они остались в Калварии — и погибли в начале войны от рук литовских националистов. Его преследует мысль, что в Сибири они могли бы выжить.

Но, говоря объективно, виноват ли он в судьбе родных? Конечно, нет. Я бы назвала это «комплексом вины», причем вины мифической.

После войны к нему подступали агенты из органов на предмет доносов на соплеменников. Сумел отвертеться, ни на кого не донес, но язва в душе осталась.

Замученный страхом, в годы антисемитской кампании, называвшейся борьбой с безродными космополитами, писатель в поисках спасения начинает повесть «Бдительность» о некоем еврее-злоумышленнике, готовящем теракт. Рукопись прячет в качестве «вещественного доказательства» лояльности на случай, если за ним придут. И опять, можно ли бросить в него камень?

Или вот еще: ругает себя за то, что в разгар кампании против «убийц в белых халатах» когда видный литовский функционер попросил его посодействовать напечатать рассказ, с сочувствием описывающий гетто, он испугался, решил, что это провокация, — и рассказ напечатан не был. А вот интересно, почему бы самому «видному функционеру» не отдать в печать свой «идуший вразрез с линией партии» рассказ? Слабо?

По-моему, я перечислила если не все, то основные «преступления», за которые Йосаде себя казнит...

Мне кажется, не только я, но и все прочитавшие этот перечень отнюдь не содрогнулись. Преступлений как таковых не было, были болезненные моменты жизни, были болезненные решения, порожденные теми чудовищными обстоятельствами, в которых приходилось жить.

Думаю, что на суде совести Йокубас Йосаде должен быть оправдан — он не потерял нравственных ориентиров в той ситуации, когда многие становились предателями, доносчиками, убийцами.

Став из Янкеля Йокубасом, то есть изменив свое имя на литовский лад, писатель Йосаде не перестал быть евреем ни в своих глазах, ни в глазах окружающих. Его еврейство — одна из главных причин переполнявших его сознание страхов.

О страхах в книге Евсея Цейтлина много. Страх доноса, страх обыска, страх ареста, страх не то сказать и не то сделать. Особенно они одолевали в годы целевой борьбы с «космополитами» и «врачами-вредителями» (жена Йосаде работала врачом-терапевтом). Страх вынуждал прятать рукописи, жечь документы, писатель сжег почти все свои еврейские книги. Сжигал и плакал.

Воистину страшен рассказ, как ночью, уничтожая свои идишские рукописи, дневники и книги, Йокубас натывается на Тору. Но не поднимается у него рука на Священное Писание, он вырывает и бросает в огонь только страницу с посвящением: при обыске гэбэшники могут наткнуться на имя друга-поэта, подарившего книгу.

Страшен и одновременно комичен рассказ Йосаде о приятеле, писателе-литовце, к которому в лихую годину он пришел посоветоваться. Тот дарит ему свою книгу и боится сделать надпись: вдруг этого еврея арестуют, а его обвинят в дружбе с «безродным космополитом»? Такого же рода — смех и грех — воспоминания о посещении друзей в Израиле: там он боялся «в обе стороны» — своих неосторожных слов и доноса друзей.

А страх прослушек! Не будем забывать, как в советские времена мы остерегались говорить некоторые вещи по телефону и при телефоне! Все это не миновало и героя книги. Но обратим внимание: несмотря на страхи, вопреки им, Йокубас Йосаде высказывается в своих пьесах вполне определенно и смело. Евсей Цейтлин приводит кусочек пьесы драматурга «Синдром молчания», написанной в 1972 году, когда поднимать «еврейский вопрос» не полагалось.

Дочь Сара слушает радио: «Евреи-космополиты убивают государственных деятелей, наносят ущерб предприятиям и ведут шпионаж в пользу мирового империализма».

Сара (*к отцу*): Что же это значит?

Отец: Изгнание... Погромы... За десять заповедей Моисея мы заплатили кровью. За то, что еврей из Назарета завещал любить ближнего, как самого себя, заплатили кровью. За то, что Маркс требовал справедливости, — снова кровь. Из поколения в поколение реками льется наша кровь. Нас ненавидят, девочка моя.

Сара: Почему же?

Отец: Среди прочего, и за наши постоянные «почему?». За наше нетерпение и постоянное недовольство собой и миром, за наше упрямство.

Сара: Очевидно, мы не можем иначе.

Отец: И за то, что иначе не можем.

Писатель, написавший этот диалог в 1970-х, мог встретить лишь отторжение.

Кстати говоря, Йосаде в своих высказываниях подчас действительно «по-еврейски» упрям и парадоксален. Говоря о взаимоотношениях литовцев и евреев, он рассматривает аргументы обеих сторон, в чем-то признавая правоту литовцев. Такого «двойного зрения» (термин Евсея Цейтлина) были лишены его оппоненты-соплеменники; что до его коллег, писателей-литовцев, никто из них так и не решился взглянуть на проблему с точки зрения евреев, рассказать о геноциде еврейского населения.

Парадоксален и взгляд Йосаде на Израиль, куда уехала на постоянное жительство его дочь. Его жители для него — не евреи, а «израильтяне», превратившиеся «в такой же народ, как остальные». Евреи же — порождение диаспоры, и их судьба быть распыленными среди других народов и «бороться за справедливость». Взгляд этот явно не симпатичен собеседнику литовского писателя, автору «Долгих бесед...», однако он его приводит и не старается опровергнуть. Они с героем — на равных. Тот тоже многого не понимает и не одобряет в своем младшем друге. Они похожи, но не тождественны. И в этом — одна из притягательных черт книги.

Евсей Цейтлин написал прекрасную книгу. Он безошибочно выбрал нужного героя (а герой выбрал его), сумел из груды материала вытащить на поверхность самое работающее, самое важное и характерное. Отыскал самый верный — дневниковый — способ подачи материала. Его замечания и комментарии лаконичны и умны. И наконец, самое главное — видно, что он сроднился со своим героем, вошел в его жизнь, стал своим в его семье. Автор своего героя полюбил. Сам Евсей пишет, что хотел быть для него «зеркалом». Я бы сказала несколько иначе: автор книги и ее герой смотрятся друг в друга, как в зеркало.

Бывает ли смерть «счастливой»? Йокубас Йосаде умер в своей постели в возрасте 84 лет. Такой конец обычно считают счастливым. Но, как кажется, автор под словосочетанием «счастливая смерть» подразумевал что-то другое. Эпиграфом к книге взяты слова царя Соломона: «День смерти лучше дня рождения». Позволю себе предположить, что безнадежное это высказывание почерпнуто из Екклесиаста, где жизнь человеческая определяется как «суета сует».

Но у великого Соломона есть и другое сочинение — «Песнь песней», прославляющее жизнь, возводящее земную любовь в перл создания. Вот между этими двумя «безднами» мы и крутимся.

Мне кажется, что «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» — книга далеко не только о смерти, но и о жизни, жизни, полной борений и невзгод, но также творчества, любви и понимания.

Ирина Чайковская

«КНИГА С МЕСТОМ ДЛЯ СВИДАНИЙ»

Наталья Галкина. Зеленая мартышка. СПб.: Издательство «Журнал „Нева“», 2012.

Появление новой книги Натальи Галкиной, будь то стихи или проза, становится для меня событием, ее творчество можно определить словами Баратынского — с «лица необщим выраженьем». В книгу «Зеленая мартышка», которой посвящена эта рецензия, вошли два романа и «повествование в историях» — «Музей города Мышкина». Критики нередко относят ее прозу к жанру фантастики, но если это и фантастика, то особого рода. Место действия романов Галкиной — Петербург, «самый вымышленный», по словам Достоевского, город, реальное в котором переплетается с фантастическим. Кажется, что может быть скучнее пункта приема макулатуры, в которую свозят книги, порой целые библиотеки. Ставшие ненужными книги — печальный знак утраты культурной преемственности, замена многовековой традиции отношения к книге суррогатом. Здесь трудятся герои романа «Зеленая мартышка», интеллигентные чудачки Шарабан и Лузин, которым, с их «ненужными» познаниями, самое место в пункте приема макула-

туры, так же как в свое время литераторам самиздата — в котельных и сторожевых будках. В полуподвале пункта приема макулатуры сохраняется утраченное таинство чтения, и за книгой открывается другой мир, оживает петербургская мистика. Санкт-Петербург Натальи Галкиной — «место встречи, которое отменить нельзя», самых странных, причудливых персонажей. Так, настоящая фамилия Лузина де Лузиньян, он по праву наследования король Кипрский и Иерусалимский, и ему покровительствует фея Мелюзина, появляющаяся за окном его бедной питерской квартиры. Конечно, это вымысел, но жизнь выстраивает сюжеты, которые не снились самым изобретательным выдумщикам. Потомок крестоносцев Луи де Лузиньян действительно жил в Петербурге и прожил Мафусаиловы веки, мог встречаться с Гоголем, Лермонтовым, Достоевским, не этот ли «человек с пронзительными глазами» в окне старого дома на Средней Мещанской — персонаж гоголевского «Портрета» или лермонтовского «Штоса»? не его ли следы хранят набережные «Белых ночей»? Для того чтобы увидеть и описать ирреальное в настоящем и прошлом, необходим не только талант, но и основательное знание истории и культуры, которым обладает Наталья Галкина. Наряду с традиционным «петербургским» сюжетом: промозглый климат, бедные люди, прозябание в полуподвалах, злодей, готовый на любое преступление, развивается другой сюжет: блистательный маскарад придворной жизни елизаветинской эпохи, все участники которого — реальные исторические личности. Чего стоит история французского тайного агента шевалье д'Эона, который появляется при дворе в женском наряде под именем мадемуазель де Бомон, и ей (ему) благоволит императрица. Не стану перечислять известных людей российской истории XVIII столетия, появляющихся на страницах романа Галкиной, их множество, и каждый из них изображен убедительно и исторически достоверно.

Такие свобода и легкость повествования возможны при глубокой проработке исторического материала. Колоритные послания императрицы, яркость барокко в изображении бесконечного праздника при дворе, истории любви д'Эона и юной Сары Фермор, вереница пестрых теней, исчезнувших в вечности, — о тех временах можно сказать словами из эпитафии одного из персонажей романа, сподвижника Петра I Якова Брюса: «Fuiimus» — «Мы были».

И в романе «Табернакль», посвященном проблеме детей-инвалидов, отношению к ним в современном обществе, звучит тема чтения, развивающего воображение, расширяющего мир, вводящего в мир культуры. «Казалось, вся мировая литература, превратившаяся в бесконечный жизнерадостный и необычайно занимательный комикс, открыла перед лишенными прежде ее пространств детьми свои океаны и континенты. Теперь и они, бесправные маленькие инвалиды, были подданными царства воображения, на котором с давних пор мир стоял».

Несколько особняком в книге стоит повествование в историях «Музей города Мышкина», экспонаты этого музея — вышедшие из обихода предметы провинциального быта и крестьянского хозяйства. Жанр «повествования», по словам автора, похож на мышкинский музей, состоящий из вещей, на первый взгляд ничем между собой не связанных. Из лаконичных записей, рассказов друзей, воспоминаний о детстве, о судьбах нескольких поколений своей семьи, известной медицинской династии, возникает образ времени.

Предвыборная кампания (из рассказа Марии А.). Тетю Олю арестовали, бабушка с малолетней Аней зимой поехали на Урал. И вот едут они, пейзаж уральский, холод, морозище, молчание, луна, снег искрится; а на замерших пространствах полного безлюдья всюду алые лозунги: «Все на выборы!»

В «Музее города Мышкина» есть «истории» о детстве мальчика, мечтавшего в бедной послевоенной жизни стать художником; имя его мы читаем в начале книги, это Павел Абрамичев, автор удивительной обложки с портретом девушки XVIII века и алым небом над подмосковной усадьбой Брюса, — происходит смыкание текста с реальностью, почти виртуальное, с сегодняшним днем, с исполнением мечты.

«Повествование» Натальи Галкиной, поэта и художника, несмотря на трагические страницы, наполнено цветом, поэзией, предчувствием чуда. «Я люблю провинцию тайной, безотчетной, полудетской любовью... Где-то в воображении моем сияет заиндевельными деревьями ночь, прибытию нет конца, плывет санный корвет, за крестом оконной рамы угадывается берег, стоящее подо льдом озеро, темнеет лес острова, белеет, светится на острове Иверский монастырь... По цветным половикам неслышно ходит по дому хозяин, за ним ходит кот...». — это Валдай времен ее детства. Готовность к чуду, объемное, «четырёхмерное», видение истории, любовь к родному городу составляют основу произведений Натальи Галкиной. «Петербург — именно «книга с местом для свиданий» (Горан Петрович) ... Мы являемся в город Святого Петра на свидание, все мы тут, в Петербурге мы сойдемся снова». Незакатное солнце Петербурга освещает страницы книги Натальи Галкиной.

Елена Игнатова

КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ...

А. Л. Эбаноидзе. Предчувствие октября // Дружба народов. 2012. № 9.

На литературной интернет-карте России Александр Луарсабович Эбаноидзе обозначен как «русский грузинский писатель». Сам же А. Л. Э., презентуя мне свой новый роман («Предчувствие октября», ДН, 2012, № 9), позиционирует себя «временно обрусевшим», что, конечно же, и элегантнее, и уместнее, поскольку, начиная с «Брака по-имеретински» (1968–1973), писал пусть и по-русски, но исключительно «о грузинском». Впрочем, в ту пору эта антиномия никого не озадачивала — ни критиков, ни читателей. По крайней мере, тех, кто читал русско-грузинские его книги на общероссийской стороне языкового барьера. В доперестроечные (имперские) годы творческое двуязычие считалось явлением почти ординарным. И «тяжелозвонкая» архаика «Глиняной книги» Олжаса Сулейменова, и пряно-эротические миниатюры Тимура Зульфикарова, и абхазские побасенки Искандера, и чукотские притчи Рытхэу укладывались в лукаво-остроумную формулу Чингиза Гусейнова: в авторском переводе с родного азербайджанского на родной русский. Иное дело «Предчувствие октября». И в бытовом, и в бытийном «веществе» повествования ни намёка на «инородство». Среди персонажей — ни одного кавказца. Место действия — Москва, Сибирь, Подмосковье, ближайшие окрестности Рязани. Да и сюжетобразующие страсти — сугубо россиянские, без поправки на происхождение мастера. Зачем же в такой ситуации напоминать, что сочинитель нового романа не «природный русак», а временно обрусевший грузин? А затем, видимо, что автор и сейчас не совсем уверен, что его и здесь (в Московии) беспрепятственно признают своим, а не вынесут как «неформат» за границы «литпроцесса», как когда-то (в пору общесоюзного успеха «Брака по-имеретински») случилось на родине? О том, что в Грузии к русско-грузинским литературным скрещениям относятся с некоторым (хорошо скрываете-

мым) предубеждением, А. Л. говорил (не жалуясь, но огорченно) лет тридцать тому назад, когда вышел «Новый мир» (1983. № 11) с рецензией (моей) на его грузинский диптих¹. И, кажется, не сильно преувеличивал. Правда, теперь, после того, как в блистательном переводе появился предсмертный роман Отара Чиладзе «Годори», разговоры о том, что Эбаноидзе недостаточно свободно владеет родным наречием, прекратились. Зато появилась новая тема для пересудов. И не только в Тифлисе... В какую сторону там, за хребтом, околичности развернутся, не угадаешь, а вот в Москве, на обсуждении журнальной публикации, Лев Аннинский, на русском вопросе заикнувшийся, их сразу же притузил. С подлинным, дескать, верно. И впрямь верно.

Образцово-показательная советская семья, настолько, казалось бы, дружная, что даже квартирный вопрос ее не испортил. Впрочем, по тем временам у Краснопевцев хоромы: и кабинет, и детская, и гостиная. Хозяин (Федор Вениаминович) — доктор филологии (без пяти минут член-корр), автор нескольких монографий, в том числе и книги о Есенине. Хозяйка (Анна) — искусствовед, но службой не обременена. Краснопевцев в рассуждении мужских обязанностей домовит по-сибирски: женщина счастлива только тогда, когда живет за мужем. Что до бытовых тягот, то они аккуратно переложены на двузильную деву Евлампью, свойственницу филолога, уроженца глухого таежного села.

Под статью родителям и единственный сын, литератор. К двадцати трем годам Петр сумел и молодежной премии удостоиться, и звездно жениться на польско-армянской красавице с экзотическим именем Беатриче. Одно но — слишком уж красива невестка. И некстати, и невпопад. Правда, детей родила точь-в-точь такими, каких дед с бабушкой ждали. Близнецы и прелестны, и талантливы; мальчик (Филипп) по компьютерной части, девочка (Дарья) — по танцевальной. Словом, запас прочности у домочадцев Краснопевцева настолько велик, что кому как не Федору Вениаминовичу, претерпев цунами перестройки, вырулить семейный ковчег к новым возможностям? Если и не для себя — то для сына и внука. А почему, собственно, не для себя? Уж теперь-то можно писать и о Есенине, и о Платонове, не оглядываясь на всевидящее око цензуры? Может, так бы оно и было, если бы... Если бы почти одновременно (по закону парности) ковчег не покинули обе хозяйки — и старая, и молодая. Анна умирает от рака, а Беату уносит Черное море. И хотя тело утопленницы не найдено, Краснопевцев-старший заставляет себя поверить в несчастный случай. Краснопевцев-сын возвышающие обманы презирает и, несмотря на то, что прямых доказательств нет, убежден: жена сбежала с любовником, замаскировав побег с гламурной театральностью. Во вкусе Гаруна аль-Рашида. (Под этим псевдонимом, по всем московским сплетням и приметам, в романе фигурирует предполагаемый похититель красавицы.) Рассудив, что удобнее слыть вдовцом, нежели рогоносцем, Петр удирает в Сибирь, бросив и детей, и литературу и занявшись политикой.

Пришла беда, отворяй ворота?! Отправленный в Америку Филипп как в воду канул. Дарья в выпускном классе заболевает нервным расстройством. Евлампия увозит ее в Сибирь. Тамошняя целительница снимает порчу, но невезения, преследующие Дашеньку, на этом не кончаются. Ее выпускают из главной балетной школы страны практически с волчьим билетом. По причине превышающего балетные стандарты роста. К счастью, одновременно и по той же статье отставляют от большого балета и подружку Дарьи, девицу ухватистую, сексапильную и без предрассудков. Она-то и организует для них двоих танцевальную деятельность, а

¹ Два месяца в деревне, или Брак по-имеретински (1968–1973); Где отчий дом? (1982).

по деятельности и заработка. Элитные ночные клубы, дорогие корпоративы, суперсостоятельные поклонники...

В промежутках подруга умудряется временно выйти замуж и даже завести ребенка. Даша на рискованный эксперимент не решилась, а когда, к двадцати шести годам, опомнилась, выяснилось: ранние аборт не прошли без последствий. В результате у мальчика не одна, а две мамы. И для обеих малыш что-то вроде живой куклы, в которую они с удовольствием играют, пока не выясняется, что куклениш опасно болен и, если не сделать ему срочную дорогостоящую операцию (из тех, что делают только в Германии), шансов на выздоровление нет. Большую часть зеленых подругам удается собрать. Не хватает всего десяти тысяч. Перебив с давним приятелем, Дарья полусуто предъясвляет ему «счет» на нужную для операции сумму. Приятель не отказывает, но «из принципа» дает только половину. В надежде выиграть недостающее, Даша отправляется в модное казино. И проигрывается. Подчистую.

Знает ли об этой стороне жизни любимой внучки ее ученый и умный дед? Увы, не догадывается. И не потому, что (как и многие сами себя сделавшие интеллигенты в первом поколении) не чувствителен к тонким материям. А потому, что обвальная утрата всего, что Федор Краснопевцев считал своим «капиталом», превратила его в «мизерабля». Привыкший полагать себя хозяином положения, а в кругу семьи еще и защитником, он с тихим отчаянием осознает, что в теперешних обстоятельствах абсолютно беспомощен. А если не можешь ни помочь, ни спасти, убеди себя: никому твоя помощь и не требуется.

Сюжет, скажем прямо, не новый и даже измызванный. Но в пространстве прозы, в отличие от публицистики, все решают подробности (то самое чуть-чуть, понынешнему, ноу-хау). Отряд литературных персонажей, оказавшихся в сходной с Краснопевцевым жизненной ситуации, если не принимать в расчет их прежний социальный статус, можно (условно) разделить на три подотряда. Подотряд первый: опустившиеся до уровня полубомжей. Подотряд второй: сентиментально ностальгирующие по золотому веку развитого социализма. Подотряд третий: сталинисты, сознательные и бессознательные, съедаемые (до печенок) ненавистью к либералам и толстосумам. Ни к одной из этих типологических групп Федора Вениаминовича не припишешь. В быту он по-прежнему держит «фасон», не проливая «невидимые миру слезы» и не унижая себя плебейской завистью к толстосумам. Он как бы застыл, скукожился в состоянии какого-то скорбного бесчувствия. (Скорбное бесчувствие в нашем случае, как и в известном фильме Сокурова, не новомодный оксюморон, а перевод (с латыни) медицинского термина: *Anesthesia dolorosa*.) Но это все предыстория. А собственно история (то есть роман) начинает закручиваться в тот самый день сентября (не в Александров ли?), когда посреди почти летней благодати Федора Краснопевцева, ошеломленного рассказом внучки о проигрыше в казино, а главное, обликом новой, не известной ему Даши, настагает, застигая врасплох, предчувствие октября. Образ среднерусского Октября, вынесенный в заглавие романа, неизбежно, неустранимо, впечатывает в текст множество накопленных им, а значит, и нами, смыслов и ассоциаций. От «Люблю я пышное природы увяданье...» до «Знать недаром октябрь листовую заплакал...» ...Не исключая и тот главный русский вопрос, каким завершается пушкинская «Осень»:

Громада двинулась и рассекает волны.
Плывет. Куда ж нам плыть?

Но это потом, потом... А пока Федор Краснопевцев не очень даже понимает, о каких тысячах, зеленых или деревянных, идет речь. И когда Евлампия протягивает хозяину его собственную сберкнижку, только что выпавшую из книги, воспринимает эту случайность как выход из тупика: сумма вклада достаточно солидная. Закавыка в одном: получить причитающиеся вкладчику деньги в Москве невозможно, только в том отделении Сбербанка, где когда-то, четверть века назад, был открыт счет. А до него — двести километров. И с гаком. И только — машиной. Но все устраивается. Находится и машина, и водитель, старый друг, в тот день оказавшийся совершенно свободным. Дружба у них (филолога Краснопевцева и писателя Смурова) специфическая: и откровенность, и сочувственность, но в узком диапазоне, без соскальзывания в сердечные и домашние подробности. Возбужденный легкостью, с какой самоустраиваются предполагаемые препятствия, Федор Вениаминович с удивлением замечает, что с памятью сердца, казалось бы, безнадежно, дистрофически заглохшей, начинает происходить что-то необычное: оживая, она самовосстанавливается. Два часа назад Краснопевцев не мог вспомнить имя женщины, из-за которой сберкнижка оказалась в поселке, расположенном так далеко от дома. На самом деле ничего странного в этом нет. Федор не просто забыл имя, он вынул его из памяти — и имя (Лесма), и все, что жизнь наматывала на нерусское это имя в течение почти двух лет. А теперь вот — разматывает, чтобы развязать последний узел в том самом придорожном кафе, куда Федор и Лесма в разгар их романа частенько заглядывали.

Каюсь, я не на шутку опасалась, что случайная, через четверть века, встреча героя со старой любовью упростит текст, сдвинув сюжет на территорию нового сентиментализма во вкусе Марины Степновой с ее «Женщинами Лазаря», что, по-моему, было бы почти неизбежным, окажись Лесма не «прислужгой за все», а хотя бы хозяйкой этого самого кафе. Опасение оказалось напрасным: соблазнительной для «форматного» романиста коллизией Эбаноидзе не воспользовался. Как и многими другими, аналогичными. Его герои не попадают в аварию, несмотря на то, что смуровская «Волга» давно отработала гарантийный срок, сердечный припадок Федора не оканчивается инфарктом и т. д. и т. п. И жизнь, и слезы, и с миром связь возвращаются к герою почти по-пастернаковски: «беспричинно». И все-таки что-то произошло. Кто-то («незримый»?) раздвинул, как занавес, наркотическую (багрец и золото) красоту среднерусской осени, и Федор Краснопевцев, увидев обратную сторону придорожного ландшафта, сквозь осеннее сияние «вечной» его «красы» наконец-то разглядел то, чего так долго не хотел видеть: Россия бесповоротно сдвинулась (тронулась), и в прямом, и в переносном смысле. А куда несется — не знает никто: «...навстречу нам из теряющейся дали, дрожа, лучась и мерцающая, текли жемчуга, тысячи сияющих жемчужин; грудой наваленные вдали, близясь, они разрастались, разделялись попарно и проносились мимо. А по другой стороне, горя и вибрируя, во тьму утекали рубины, почти такие же крупные, как жемчуга, поначалу разрозненные, а вдали скапливающиеся в тлеющее пожарище, в груды жарких углей, в подернутую пеплом раскаленную лаву...

...Мы еще раз поменялись местами и осторожно влились в поток, огненной лавой текущий в преисподнюю...»

Алла Маргенко

П И Л И Г Р И М

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

ГОЛЛАНДСКИЕ СИМВОЛЫ

Башмаки – кломпы

Пожалуй, самый традиционный подарок из Нидерландов – деревянные башмаки – кломпы. Их делают только из двух сортов дерева – вербы и тополя. Первые дороже, поскольку, несмотря на свою мягкость, древесина вербы довольно прочная. История кломпов насчитывает более 1000 лет, и за эти годы они ничуть не изменились по форме. «Здесь простолюдины употребляют выдолбленные из дерева башмаки, от которых стук идущего по мостовой издали вы слышите»¹, – писал русский путешественник Н. А. Корсаков в начале 1840-х годов.

По сей день некоторые голландцы носят деревянные башмаки, но, чтобы это увидеть, вам придется проехать в музей под открытым небом, Например такой, как Фолендам, или на ферму. Однако несмотря на то, что башмаки нынче уже не в моде, крылатых выражений со словом «башмак» множество. Например, выражение «Now that breaks my klomp (clog)», что буквально означает «От этого и башмак может сломаться», употребляется, когда человек сталкивается с чем-то очень необычным, из ряда вон выходящим, ведь деревянные башмаки настолько прочные, что вряд ли могут сломаться. Или «You can feel it though your klompen!» (букв.: «Вы почувствуете это, несмотря на то, что в башмаках!») используется, когда что-то настолько очевидно, что вы можете это почувствовать «не снимая башмаков», которые на самом деле всегда отличались хорошими защитными качествами².

Если раньше крестьяне носили неокрашенные кломпы и лишь в церковь надевали беленую выходную обувь, то теперь производители раскрашивают кломпы в самые причудливые цвета, стараясь привлечь покупателей. Если туристам не нужна громоздкая пара обуви, то можно купить мини-кломпы – копилки или брелки.

Коньки

Нидерланды можно с полным основанием назвать «страной коньков». Голландцы любят и умеют делать коньки. Известно, что первые образцы были из кости. В давние времена местные жители скользили по льду на обработанных коровьих ребрах. Затем коньки стали делать из коровьих копыт. К ноге их привязывали веревками, изготовленными из рыбьей чешуи. Управлять такими коньками было очень сложно.

Архимандрит Августин (в миру – Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Корсаков Н. А. Рассказ о путешествии по Германии, Голландии, Англии и Франции в 1839 году. М., 1844. С. 28.

² Хукер Марк. Обычаи и этикет. М., 2009. С. 8–9.

Долгая история и у железных коньков. Вот что рассказывает Анри Буре из города Дидаммер, обладатель крупнейшей в Нидерландах частной коллекции коньков: «На деревянной гравюре 1498 года можно увидеть св. Лидвину Схидамскую, изображенную стоящей на железных коньках. Прославленный живописец Иероним Босх также запечатлел их на своих полотнах».

Интересно, что в те далекие времена буквально каждая голландская деревня имела свою марку коньков, непохожую на другие. Еще в XIX веке собственно голландские коньки сильно отличались от фризских. Во Фрисландии коньки предназначались для скоростного бега, а Голландии — чтобы чертить на льду замысловатые фигуры. А рыбаки, например, предпочитали коньки с утолщенными полозьями — в оттепель только на таких можно было передвигаться по рыхлому льду.

Каталоги коньков конца XIX — начала XX столетия поражают разнообразием видов. Взять, к примеру, фабрику «Хукстра» в городе Варга, старейшего изготовителя коньков во Фрисландии. В те годы она предлагала покупателям свыше 200 различных видов коньков. Об изобретательности свидетельствуют и карнавальные коньки — снабженные колокольчиками, они предназначались для костюмированных ледовых праздников.

В Голландии соревнования по прыжкам на коньках стали уже традицией. В отличие от классических легкоатлетических соревнований по прыжкам в длину, расстояние здесь отмеряют положенными на бок бочонками. Диаметр каждого бочонка около 40 сантиметров. При зарождении этого вида спорта, лет тридцать назад, использовались деревянные бочонки, которые доставляли немало неприятностей спортсменам. Падение на них часто оканчивалось увечьями. Сейчас их заменили бочонками из пластика. Под грузом упавшего они деформируются, не принося спортсмену особого вреда. Но суть соревнований не только в том, чтобы хорошо разогнаться и перелететь через ряд бочонков; нужно еще и приземлиться на обе ноги — иначе результат не будет засчитан. Пока непревзойденным результатом в истории прыжков на льду остался прыжок через 15 бочонков.

...Если кому-то летом приходилось удивиться множеству мачт с прожекторами и громкоговорителями на лугах Фрисландии, то к концу года он поймет, зачем это нужно. Свет прожекторов заливает окружающую местность. Об этом заботятся конькобежный клуб и пожарная команда. Уже при первых заморозках на почве луга превращаются в отличные катки для соревнований. Каждый приезжает сюда за свой счет. Можно сказать без преувеличения, что почти каждая вторая община во Фрисландии имеет свой собственный каток. Конькобежные объединения начинают действовать, когда покрываются льдом каналы и озера. Тогда звучит волшебное слово «туртохт» — народные гонки на коньках на расстояние 20, 40, 60 или 100 км. Даже крупные межрегиональные газеты, такие, как «Телеграф», «Волскрант» или «Алгемен дагблад», помещают в эти дни на своих спортивных страницах календарь соревнований с подробным расписанием. И каждый год звучит вопрос: «Состоится ли на этот раз Эльфстедентохт?» Возрос не праздный, ведь не каждый год температура во Фрисландии опускается настолько, чтобы стал возможным 200-километровый марафон.

В XX столетии это удалось только 14 раз. За день до общенациональных соревнований, за которыми следят более миллиона человек на месте и еще восемь миллионов по телевизору, производится запись в стартовые списки. Хотя в принципе участвовать в марафоне может каждый, существует правило: сначала на старт вызывают членов объединения. В 1985 и 1986 годах запись прекратилась, поскольку желающих оказалось больше, чем максимально допустимое число участников, ограниченное 16 000.

Эльфстедентохт стартует в 5 часов утра в Леувардене. Контрольным пунктом на участке Снек, Эйлст, Ваудсенд и Слотенмер служит Слотен. Где-то между Слотеном и Балком находится середина дистанции. После Балка бегуны приходят в Ставорене у Эйсселмера к южной точке марафона. Финиш также находится в Леувардене, потому что гонки проходят по кольцу³.

Ветряные мельницы

Голландия — страна ветряных мельниц, деревянных башмаков, сыра и тюльпанов. По крайней мере, это то, что поначалу бросается в глаза всем туристам. Ветряные мельницы распространены в Голландии, так как страна расположена в низине и ничто не преграждает путь многочисленным ветрам, приходящим сюда с Северного моря. Это бесспорный факт. Ветер — дешевый источник энергии, который никогда не иссякнет.

Силу ветра, как известно, люди стали использовать свыше трех тысяч лет назад в Древнем Египте. А ветряную мельницу придумали не в Голландии, а в Персии, причем еще в VII веке нашей эры. Оттуда в IX–X веках ее привезли в Европу, где она довольно быстро прижилась. Первые же ветряные мельницы появились в Англии в IX веке, а в Голландии, которую до недавних пор называли «страной ветряных мельниц», они появились чуть позже⁴.

Мельницами обзавелась каждая уважающая себя европейская страна. Поначалу это были неуклюжие бочкообразные сооружения из кирпича — четыре из них сохранились и в Нидерландах. Считается, что первый ветряк здесь был сооружен в 1230 году. Но от кирпичных строений голландцам пришлось отказаться: зыбкая почва не выдерживает тяжелых зданий, они заваливаются, а то и вовсе падают. Так на смену каменным гигантам пришли мельницы легкие, изящные, деревянные, стоящие, впрочем, на надежных фундаментах. Их крыши, а иногда и стены делали из тростника, чтобы еще больше облегчить конструкцию⁵.

На протяжении столетий мельницы являлись основным источником энергии в стране. Еще 100 лет назад в Голландии было 10 000 действующих мельниц. На них мололи зерно, производили лесоматериалы; благодаря мельницам также поддерживалось водоснабжение на территории страны. Если в России мельницы, как правило, мололи зерно, то в Голландии они были «мастерами на все крылья». Об этом свидетельствовали русские путешественники, побывавшие в Голландии в начале XX века.

Сергей Меч: «Одни мельницы мелют зерно, другие пилят дрова, выжимают масло, растирают табачные листья, делают бумагу, треплют пеньку, мелют кофе и шоколад. Непрерывно, хотя и медленно ворочаются их громадные крылья — даже от самого слабого ветра»⁶.

С. В. Пантелеева: «Монотонную нидерландскую равнину пестрят десятки тысяч ветряных мельниц, вечно машущих огромными крыльями. Мельничное крыло бывает до 12 сажен длиной. Ветряными мельницами мелется зерно, кофе, растирается табак, краски, шоколад, выделяется масло, бумага, пилится дерево, движутся колеса множества фабрик»⁷.

³ Бустен Эгон. Нидерланды. Poliglot, б/г, С. 46.

⁴ Бусыгин А. В. Побеждающие море. О Голландии и голландцах. М., 1990, С. 91.

⁵ Лопашин Кирилл. И все-таки она ветрится // Всемирный следопыт, № 18, 2007, С. 73.

⁶ Меч Сергей. Бельгия и Голландия. М., 1912, С. 52.

⁷ Пантелеева С.В. Нидерланды и Бельгия. СПб., 1905, С. 9.

Даровая энергия ветра приводила в движение механизмы лесопилок, бумажных мастерских, маслобоен, фабрик по производству пушечного пороха. В мукомольнях усовершенствованные жернова позволяли очищать овес, не перетирая его в муку, как делалось в других странах.

Производство муки — далеко не главная задача голландских мельниц. Помимо мукомольни, в Нидерландах до сих пор можно увидеть мельницу-лесопилку, где не только пилят доски, но и перетирают древесину для производства бумаги, мельницу-шерстобитню, мельницу-маслодавилку, которая отжимает растительные масла, например из семян льна или репейника⁸.

Мельница самого старого типа выглядела как клетка кубической формы высотой в один этаж, к которой крепилась ось крыльев. Сама клетка вращалась на массивном деревянном крестообразном основании, располагавшемся горизонтально на крыше неподвижного нижнего этажа. Около 1600 года появилась мельница с неподвижным цилиндрическим корпусом и вращающейся крышей с установленными на ней крыльями, которая управлялась при помощи рычагов. Немногим ранее Корнелий Корнелиссен изобрел гигантскую мельницу-лесопилку, так называемый «пилтронг», которая предназначалась для распиливания самых тяжелых брусьев, в частности, на корабельных верфях. Собственно мельница образовывала блок, возвышавшийся над мастерской, пилы которой он приводил в движение. Блок и мастерская объединялись общим каркасом. Мастерская находилась на уровне второго этажа и открывалась как склад, позволяя грузить готовые доски прямо на шаланды. Все сооружение достигало размеров городского здания и покоилось на каменном фундаменте, внутри которого перекатывались подвижные опоры⁹.

Ветряная мельница, как правило, двухэтажное строение. Верхний ярус, где находится вал с прикрепленными к нему лопастями-крыльями, снабжен поворотным механизмом с педалями и рычагами и может вращаться вокруг своей оси, чтобы улавливать ветер. Правда, некоторые мельницы поворачиваются целиком. На деревянные решетчатые крылья натягивают полотняные паруса. Уменьшая или увеличивая их площадь, можно регулировать скорость вращения валов. Замедлить ее помогают деревянные тормоза-колодки — они блокируют вертикальный вал мельницы. Чтобы от трения дерево не загорелось, его смазывают свиным салом, куски которого висят под крышей каждого ветряка¹⁰.

Из даров природы Голландия в изобилии располагает главным образом ветром и водой. Голландию, как известно, создали сами голландцы и... ветряные мельницы. Люди проводили каналы, возводили дамбы, сооружали насосы. Остальное делали ветряные мельницы. Прилежно вращая крыльями, они приводили в действие водяные насосы и осушали перенасыщенную влагой почву.

Настоящая миссия мельниц всегда заключалась в откачке воды с затопленных территорий. Этой работой были заняты девяносто процентов всех мельниц страны, десятая часть суши которой отвоена у моря. Такие мельницы называются полдерными — от голландского слова «полдер», которое обозначает плодородный участок суши ниже уровня моря. У входа во многие полдерные мельницы прочерчена красная линия, отмечающая уровень моря¹¹. Каждый раз, когда мельник выходит за порог, она напоминает ему о том, что теперь он находится прямо на дне морском. Только благодаря им, трудолюбивым мельницам, не прекращавшим работу ни днем ни ночью, удалось отвоевать эту землю у воды.

⁸ Лопашин Кирилл. Указ. соч. С. 75.

⁹ Зюмтор Поль. Повседневная жизнь Голландии во времена Рембрандта. М., 2001. С. 346.

¹⁰ Лопашин Кирилл. Указ. соч. С. 75.

¹¹ Там же.

К XVII веку население страны стало довольно многочисленным, каждый клочок полезной почвы был невероятно ценен, и все равно земли не хватало. Именно тогда изобретатель Ян Андриансон по прозвищу Лейхтвотер («легкая вода») придумал, как осушить море с помощью системы мельниц, каждая из которых архимедовым винтом перекачивала воду из канала в канал на один уровень вверх. Как сказал Вольтер, «Бог создал землю, а голландцы пристроили к ней Голландию». Расположенные на дайках (дамбах) мельницы приводят в движение насосы. Поскольку максимальная высота подъема воды для насоса, приводимого в движение ветром, составляет полтора метра, на одной дамбе зачастую можно увидеть вереницу, состоящую из двух-трех мельниц.

В XVII веке число мельниц в Нидерландах достигло девяти тысяч. Они стали настоящим символом стойкости, недаром большинство из них носили и носят имя — «Надежда» (*голландск.* Ноор)¹². «Главная постоянная работа ветряных мельниц состоит в выкачивании воды из болот для осушения почвы, — писала в начале XX века С. В. Пантелеева. — Движимые ветром крылья двигают, в свою очередь, колеса с черпаками, которые зачерпывают и сливают излишнюю почвенную воду для возвращения ее морю. Осушение болот и озер в больших размерах предпринималось уже в XIII веке. Тогда из озера Миддельзее впервые была выкачана вся вода ветряными мельницами»¹³.

Петр I посетил Голландию в 1697 году для обучения «корабельному делу». Целую неделю царь-плотник жил в Зандаме, и здесь он постигал не только секреты кораблестроения, но также оценил важное значение ветряных мельниц для усиления «энергетической мощи» страны.

К 1600 году в Зандаме и его окрестностях насчитывалось полсотни мельниц. За годы «золотого века» их число настолько возросло, что Занстрек превратился в самый большой промышленный центр: в 1700 году здесь взмахивало крыльями около шестисот мельниц. Их главным назначением было распиливание ввозимого в страну по Рейну строевого леса, который в огромных количествах шел в Амстердам на строительство новых жилых кварталов и кораблей. Сопrotивление гильдии амстердамских пильщиков, слепо преданных дедовскому методу ручного распиливания, было сломлено острой конкуренцией, и с 1630 года Зандам полностью забрал этот рынок под свой контроль.

Победа пошла на пользу всем отраслям промышленности, которая в течение первой четверти века сосредоточивалась в руках местных мельников — маслобойни, обрабатывавшие рапс, репу и коноплю; фабрики по производству красителей на бразильской древесной основе, мела, крахмала; заводики по приготовлению белил; предприятия по измельчению табака и растиранию горчицы; подготовка сырьевой основы для цехов по изготовлению веревок и канатов; мельницы-веялки, мельницы для приготовления пряностей и, наконец, писчебумажные фабрики¹⁴. Здесь работали в две смены, чтобы мельницы не простаивали и ночью, чтобы не упустить ветра и малейшей возможности побольше заработать. К концу XVII века каждую четверть часа от причала Зандама отходило груженное товаром судно¹⁵.

И в Россию потянулись «мельничные мастера» из Голландии. Вот имена некоторых из них.

¹² Там же.

¹³ Пантелеева С. В. Нидерланды и Бельгия. СПб., 1905. С. 10.

¹⁴ Зюмтор Поль. Повседневная жизнь Голландии во времена Рембрандта. М., 2001, С. 347.

¹⁵ Дриссен Йозин. Царь Петр и его голландские друзья. СПб., 1996. С. 34.

Гуд де Клас (De Goede Class). В 1698–1700 годах строил пильную мельницу на реке Пьяне. С 1705 года строил мельницу на Суконном дворе в Москве. В 1713–1714 годах строил мельницу на реке Пехорке при палашном заводе¹⁶.

Дюзен ван дер Дирк, «мельничный мастер», нанят в 1697 году. Построил на Чижовке (Воронеж) на валу мельницу, которая в XVIII веке была разобрана, перевезена и собрана в Белоколодске¹⁷.

Лен ван дер Дирк, «мельничного и пилного дела мастер». Работал в Казани в 1716 году¹⁸.

Ковенговен Виллим. В 1705 году под его наблюдением построили первую деревянную голландскую реформатскую церковь в Санкт-Петербурге около деревянного дома К. Крюйса. В 1708 году строил пильные ветряные мельницы на Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Позже строил ветряные мельницы для производства бумаги, масла, круп, досок. До 1718 года — ведущий «мельничного дела мастер». Из произведенных им досок строили шпиль Петропавловского собора в 1717–1718 годах¹⁹.

Ветряная мельница — традиционный символ старой Голландии. В современных Нидерландах их осталось не так уж много. Как молчаливые дозорные, стоят они вдоль каналов и дорог, составляя неотъемлемый элемент здешнего ландшафта. Ветряные мельницы спасли страну от обратного превращения в топкое болото. Днем и ночью перекачивали они воду с полей и пастбищ в каналы и реки.

Тысячу двести лет трудятся мельницы, и люди не обошли их ни вниманием, ни благодарностью. Мельницы пользуются в стране особой привилегией, о чем пишет В. И. Немирович-Данченко: «У Голландии три самых страшных врага: озера, реки и море, и со всеми тремя она справляется, благодаря отваге своего населения. Каждый из этих врагов требует своей особенной системы борьбы. Озера и болота голландцы окружили плотинами, плотины снаружи обвели каналами. За плотинами над озерами поставлены сотни тысяч ветряных мельниц, движущих постоянно всасывающие насосы. Насосы перемещают таким образом, при помощи всевозможных приспособлений, воду из озер в каналы, выводящие ее в реки и затем в море. Таким образом, освобождаясь из под воды, являются плодоноснейшие поля, дающие великолепные жатвы, луга с такой сочной и питательной травой, что голландский скот не имеет равного в мире, считая в том числе и английский. Осушившие землю каналы остаются самым дешевым и самым удобным средством для сообщений. В семнадцатом веке таким образом двадцать шесть больших озер было осушено в течение сорока лет»²⁰.

Любопытно, что за прошедшие века в этом плане мало что изменилось. И сегодня огромные территории не превратились в болота только потому, что на них постоянно ведутся осушительные работы. Все приезжающие в Нидерланды обращают внимание на непривычную картину: поля и, особенно, луга, где пасется скот, разбиты на квадраты, которые окружены заполненными водой канавами.

Такие дренажные каналы занимают до пяти процентов полезных площадей. Но не будь их, скапливающаяся вода быстро превратила бы эти участки в болота. Поддерживать такие земли в порядке довольно сложно и дорого. Воду из дренажных канав нужно постоянно удалять — перекачивать в каналы или реки. Раньше в местах перекачки устанавливали ветряные мельницы, которые лопастями гнали

¹⁶ Макаров Борис. Голландцы в России в 1-й половине XVIII века. СПб., 2009. С. 121.

¹⁷ Там же. С. 106.

¹⁸ Там же. С. 134.

¹⁹ Там же. С. 120.

²⁰ Немирович-Данченко В. И. По Германии и Голландии. СПб., 1892. С. 269.

воду, а поскольку этого требовала каждая дренажная система, то и мельниц нужно было много. Все сельские просторы были усеяны мельницами, работавшими день и ночь. Отсюда и пошло малопонятное на первый взгляд голландское выражение: «молоть до осушения»²¹.

«Голландия — царство Эола; плоскость, начинающаяся от самого берега моря, не делает нигде препятствия северному ветру, который на земле так же силен, как и на море, — писал в 1839 году русский путешественник князь Алексей Мещерский. — Здесь, где столько воды, не видно ни одной водяной мельницы — все ветряные. Их механизм может всегда быть в движении, потому что ветер редко когда перестает»²².

В 1836 году в Голландии было в ходу 12 000 ветряных двигателей в 6000 лошадиных сил, которые предохраняли две трети страны от обратного превращения в болото. О том, как было «обезврежено» Гарлемское озеро, рассказывает С. В. Пантелеева: «В XIX веке выкачали 33-верстное Гарлемское озеро, местами имевшее до шести аршин глубины. Это озеро с каждым годом увеличивалось и сильно наводняло прибрежные села. Однажды оно до того разбушевалось, что, перекинувшись через плотину, начало заливать Амстердам. Тут амстердамцы решили выкачать при помощи мельниц беспокойное озеро. Хотя за такой же проект, но лет 200 перед тем, амстердамцы прозвали «сумасбродом» строителя мельниц Лееватера.

Гениальный проект был выполнен в 1840 году. Вокруг озера целых десять лет строилась плотина, и копался отводной канал, опоясывающий плотину. Затем, в течение трех лет, ветряные и паровые мельницы-водокачки безостановочно выкачивали воду. Илистое дно озера дало 23 000 десятин плодороднейшей земли, ценившейся по 700 рублей за десятину (теперь она стоит много дороже) <...>

На дне Гарлемского озера и других сорока восьми осушенных озер раскинулись города, деревни, плодороднейшие поля и луга, образцовые огороды и садоводства. Тут произрастают разнообразнейшие хлебные, бобовые, корнеплодные и промышленные растения, цветы (выписываемые даже далекими странами), фрукты (славящиеся даже на лондонском рынке). На великолепных травах польдеров пасутся образцовые породы скота»²³.

Удачно вписываясь в окружающий ландшафт, мельницы, нередко опоясанные рвом с подъемным мостиком, стали одной из наиболее самобытных черт Голландии. Вокруг них скоро сложились настоящие традиции. Мельничные крылья всячески украшались, в зависимости от ситуации. Когда простой люд хотел выразить большую радость, жернова останавливались так, что крылья замирали вертикальным крестом, увенчанным флагом. Если игралась свадьба, два воскресенья подряд жернова украшали цветами. В провинциях Голландия и Зеландия больший или меньший наклон крыльев означал в дни траура степень родства мельника и усопшего. Угол в 45 градусов означал сильнейшую скорбь, а также общественное бедствие²⁴.

«Мельницы в Голландии украшаются при радостных и достопамятных случаях, — писал в середине XIX века Николай Иванович Греч. — Крылья мельницы останавливают в виде креста, украшают их разноцветной бумагой, обвешивают цветочными и зелеными венками и вмешивают в эти украшения кусочки жести, которые, отражая солнечные лучи, производят удивительный эффект. Крест мельницы

²¹ Бусыгин А. В. Побеждающие море. О Голландии и голландцах. М., 1990. С. 90.

²² Мещерский Алексей, князь. Записки русского путешественника. Голландия, Бельгия и Нижний Рейн. М., 1842. С. 159.

²³ Пантелеева С. В. Нидерланды и Бельгия. СПб., 1905. С. 10.

²⁴ Зюмтор Поль. Повседневная жизнь Голландии во времена Рембрандта. М., 2001. С. 346–347.

обращается к тому месту, где происходит торжество. Это наблюдается и в случае смерти хозяина мельницы или близкого его родственника. Мельница остается в таком украшении до его погребения»²⁵.

Каждое положение крыльев имеет свое значение. Тот, кто управляет их движением, может рассказать о чем угодно тому, кто также знает «мельничный» язык. «Язык» понятен с расстояния многих километров — ведь мельницы, возвышаясь над домами и деревьями, отлично видны со всех сторон. Чаще всего мельники шлют друг другу послания вроде «Ушел, скоро вернусь», «Мельница временно не работает».

Если мельник установил крылья в виде «X» — значит, в его доме радостное событие. Если определенное крыло красное — значит, у мельника родился ребенок. Синее — дочь вышла замуж. Если крест с наклоном вправо — в доме траур. Если поблизости проходит похоронная процессия, мельник медленно поворачивает крышку-шапку мельницы, устанавливая крылья фронтом к процессии.

Поставив крылья прямым крестом «+», причем крыло сверху обязательно должно быть зеленым, мельник уведомляет клиентов, что в связи с неисправностью мельница временно не работает. С помощью мельницы можно вызвать плотника, предупредить о начале откачки воды и даже пригласить коллегу на кружку пива²⁶.

Однако в годы наводнений и войн мельницы несли куда более ответственную службу. Во время войны против испанского владычества мельничные крылья передавали гёзам приказы Вильгельма Оранского, сообщали о передвижении врага. Понятно, что в пору, когда не было ни радио, ни телефона, роль такого «средства информации» была велика. Так было в средневековье. Но вот в 1940 году в Нидерланды вторглись гитлеровские полчища, до зубов вооруженные современной техникой. Телефонные разговоры подслушивались, радиопередачи засекались. И только мельницы прилежно крутили крыльями. Но теперь их крылья говорили не о свадьбах и крестинах. Была разработана система, при помощи которой авиация союзников получала нужные ей сведения.

Впервые в истории авиации членом экипажа бомбардировщика стал мельник. Голландский мельник. С борта самолета он читал сообщения, которые передавали с земли:

— Немцы перенесли аэродром в нашу деревню. Зенитки установлены в окрестностях Нъив-Миллигена. Ян из Коог-анн-де-Заана прибыл по назначению²⁷.

Таким же способом мельницы предупреждали антифашистское Соппротивление о возможных облавах.

С XIX века ветряные двигатели постепенно начали вытесняться сначала насосами с паровым двигателем, а затем с электродвигателем. Голландцы применяли паровые насосы уже в 1836–1837 годах, когда осушали Гарлемское озеро, на месте которого ныне расположен аэропорт Схипхол²⁸. «В начале XIX века гидравлические помпы двигались еще успешнее; более двадцати восьми тысяч гектаров было осушено в южной Голландии до 1844 года, шесть тысяч в северной, и во всей стране с 1500–1875 год четыреста тысяч, — писал В. И. Немирович-Данченко в начале 1890-х годов. — В самое последнее время ветряные мельницы, некогда осушавшие эти “польдерсы” (polders), уже оставлены: Голландия нашла более выгодным заменить их паровыми машинами»²⁹.

²⁵ Греч Николай. Парижские письма с заметками о Дании, Германии, Голландии и Бельгии. СПб., 1847. С. 102.

²⁶ Городинский Ф. Расскажите крыльями... // Вокруг света. 1970. № 5. С. 16.

²⁷ Там же. С. 16.

²⁸ Бусыгин А. В. Побеждающие море. О Голландии и голландцах. М., 1990. С. 91.

²⁹ Немирович-Данченко В. И. По Германии и Голландии. СПб., 1892. С. 269.

В наши дни жители Голландии, когда нужно помолоть зерно или откачать воду, обходятся без них. И все же тысяча мельниц в Голландии осталась. И люди питают к ним самые нежные чувства. Потому что, как говорится, Голландию создали голландцы и... ветряные мельницы. И сегодняшний пейзаж Нидерландов трудно представить без мельниц с огромными двадцати-тридцатиметровыми крыльями. Изредка мельницы еще продолжают выполнять свои функции, а чаще всего сохраняются в основном для привлечения туристов.

На юге страны, в местечке Киндердэйк, находится ряд из девятнадцати ветряных мельниц, на которые приезжают посмотреть туристы со всего мира. Это выставка действующих, самых настоящих знаменитых голландских мельниц, выстроившихся в ряд по берегу канала. Это самое крупное скопление крылатых конструкций на территории Голландии. Сейчас в Киндердэйке их работу выполняет современная насосная станция, на которой установлен — внимание, новый рекорд! — самый крупный винтовой насос в Европе³⁰.

Хотя крылья ветряных мельниц Киндердэйка — это теперь скорее декорация и вертятся они лишь в разгар туристского сезона, прогулку к девятнадцати мельницам с видом на расположенные ниже польдеры можно считать весьма познавательной. Здесь можно получить полное представление о том, какое значение имели насосы с ветровым приводом для осушения страны, расположенной ниже уровня моря. Нигде в мире не найти такого количества и разнообразия мельниц, как в Киндердэйке. Пейзажи Киндердэйка, с бесконечным рядом мельниц на фоне бескрайнего неба, залитого нежным светом солнца или затянутого пеленой темных туч, или светлых облаков. Киндердэйк — это открытка из Голландии, это воспоминание, полное прелести и очарования.

На мельницах и сегодня живут мельники-волонтеры, единственная забота которых — поддержание раритета в рабочем состоянии. Интерьер таких домов прост: деревянные стены, выкрашенные в теплые, но почему-то темные цвета, узкие двери и окна, в которые почти не проникает свет, кровати, убирающиеся в стенные шкафы, чтобы освободить днем и без того тесное жилое пространство. Плюс постоянный гул ветра в парусах крыльев. Комфорта — минимум. Жить в такой обстановке могут только весьма романтично настроенные люди. Видимо, таковы голландские мельники³¹.

Однако сегодня намечается возврат к идее более эффективного использования силы ветра. Еще в 1931 году в Крыму была построена первая в мире ветроэлектростанция с лопастями диаметром 30 метров. Тогда результат был весьма скромным: станция вырабатывала всего 100 киловатт. Десятью годами позже подобная станция с крыльями уже в 52 метра была построена в США, но и она оказалась весьма маломощной. Попытки более рационального использования силы ветра предпринимаются и в Нидерландах. Путешествуя сегодня по стране, нельзя не обратить внимание на ветряки, заменившие собой мельницы³².

...Во вторую субботу мая вся Голландия отмечает грандиозный праздник — национальный *День ветряных мельниц*. Более шестисот ветряков открывают свои двери для посетителей. На многих из них красуются голубые флажки, означающие, что гостей приглашают бескорыстно и никакой платы за вход не возьмут. Наверх можно карабкаться по узеньким лестницам с бесчисленными ступенями, не имеющим перил. Добродушные мельники демонстрируют старинное ремесло, на

³⁰ Лопашин Кирилл. Указ. соч. С. 75.

³¹ Там же. С. 75.

³² Бусыгин А. В. Указ. соч. С. 91.

мукомольнях продают, а иногда и просто раздают горячие пироги из свежемолотой муки³³.

Мельница — неременный элемент голландского пейзажа. Собственно говоря, она давно уже превратилась в неофициальный символ страны.

...В начале 1880-х годов Голландию посетил российский писатель и путешественник Михаил Вернер. Объездив ее многие города, он возвращался в Россию на пароходе из Роттердама. Свой рассказ он завершил строками, которыми и мы можем закончить наше знакомство с этой маленькой страной: «Когда пароход обогнул мол гавани, с пригорка выглянула ветряная мельница. Она тихо перебирала своими мохнатыми руками, как будто посылая мне прощальный привет»³⁴.

³³ Лопашин Кирилл. Указ. соч. С. 75.

³⁴ Вернер Михаил. Страна плотин. Очерки современной Голландии. М., 1884. С. 230.

ДОМ ЗИНГЕРА

Сергей Козлов. Вид из окна: роман. М.: Сибирская Благозвонница, 2013. — 574 с.

Казалось бы, вполне мыльная опера: молодая успешная женщина, Вера Зарайская, нефтяная королева и светская львица с мягкими манерами и жесткими принципами дает в газете объявление: «Куплю одинокого мужчину для достойного использования. Требования: средних лет, высшее образование, начитанность, любовь к искусству, к путешествиям, отсутствие вредных привычек. Не интим». Это овдовевшая миллионерша затеяла странную и нелепую игру: ей нужен собеседник, проживающий в ее доме, нужен во избежание кривотолков вокруг ее одинокого образа жизни, как защитная ширма от нежелательных претендентов на ее руку и состояние. Откликнулся на объявление малоизвестный разведенный поэт, Павел Соловцов. Самоидентификация: неудачник, слабак, размазня. Но не так безнадежно: в армии был в разведроту, совсем не трус. Спокойно приноравливается к новой ситуации заключившим коммерческий договор партнерам не пришлось. Уже через несколько дней Соловцов схлопотал пулю, предназначенную для другого, для друга семьи своей работодательницы, ее потенциального жениха. Основное место действия — столица древней Югры Ханты-Мансийск, расположенный на Иртыше, в 60 километрах от впадения его в Обь. Город нефтяников и банкиров, где строят много и с размахом, предстает во всей его красе. Не часто современная русская глубинка с такими яркими подробностями является в современной прозе. А может не глубинка, а центр русской жизни, где внешняя неторопливость, размеренность бытия прекрасно сочетаются с динамичностью процессов, в которые вовлечены и вся страна, и каждый ее житель? Впрочем, действие Ханты-Мансийском не ограничивается, героям придется побывать и в Москве, и в Праге, и в Черногории. С ними будут происходить странные и загадочные события, их будет преследовать возникший из небытия «покойный» муж главной героини, Веры Сергеевны, Георгий Зарайский, он же английский подданный Джордж Истмен, который в нужный момент предпочел инсценировать свою смерть, предварительно выведя львиную долю капиталов в иностранные банки и надежно спрятав. И вернуться через 8 лет, чтобы жениться на своей собственной жене. (Как тут не вспомнить загадочную смерть Бориса Березовского?) Это достаточно густонаселенная книга, в которой друзей у героев больше, чем врагов. Хорошо прописаны характеры второстепенных героев, и у каждого своя индивидуальная

судьба, характерная для граждан современной России и все-таки неповторимая. Изыщны и легки переходы от серьезного к откровенно комическому, безудержно смешному (как смешны страдания бывшего английского агента Уайта в черногорской деревушке). Неожиданна завязка, неожиданны повороты сюжета, в центре — отношения мужчины и женщины, их совместное преодоление ситуаций, способных разрушить едва намеченный союз, рождение любви. Будут и творческие запои главного героя, и таинственно подброшенные ему афродизиаки, и послания в бутылках, закопанных в сугробы, и ход событий, взятых главными героями под контроль. В безумных идеях и планах большой тройки — Астахова, Соловцова, Хромова — примет участие сам Кустурица, инсценирующий сказку о гибели влюбленных. И, конечно, этот роман — не мыльная опера и не мелодрама. Это очень русский роман, в котором герои разговаривают и размышляют о жизни, о ее смысле, о любви, о душе, о человеке в этом мире. О цивилизации и о России, о НАТО и ВТО, о Западе и Востоке, о том, почему Европа недолюбливает Россию, и какая она, Россия, советская и современная. («Мы потеряли не советскую власть, мы потеряли время и менталитет»; «В России вообще торопиться вредно для здоровья. Медленная страна»). Герои делают экскурсии в русскую историю, размышляют о самозванцах и двойниках, о литературе и образовании, о Боге, о православии. И о русском бытии на авось. Размышляют герои главные, как Павел Соловцов: «Люди разучились любить. Они просто потребляют друг друга, как пищу, как вещи...». И второстепенные: легализовавшийся бандит и крупный бизнесмен Хромов, друг Веры и ее бывшего мужа; глава службы охраны Астахов и рядовой охранник Володя, окончивший музыкальное училище по классу фортепьяно и исторический факультет университета; киллер «Справедливый», чемпион России по пулевой стрельбе, который принципиально «не работал» с невиновными; мастер с буровой; алкоголик Паша с экстрасенсорными способностями. И даже Колин Уайт, бывший сотрудник «Ми-6», великий мастер интриги и ловкач: «Мы живем по часам на Биг Бене, а русские — по обстоятельствам». Не удивительно, что цитаты из книги уже кочуют по Интернету. А так как главный герой не просто кандидат филологических наук и бывший университетский преподаватель, но и поэт, то в текст романа органично входят стихи: Федора Тютчева, Сергея Есенина, Николая Заболоцкого, Роберта Рождественского, Дмитрия Мизгулина и многих многих других, в том числе самого Соловцова. Также органичны в книге отсылки к Данте и Шекспиру, — это по-настоящему культурная книга, здравая и здоровая. Деловая женщина Вера Сергеевна встретив человека, чей «интеллект был другого рода, он мало был применим на том поле, где нужно было зарыть пять сольдо и ждать, когда вырастет дерево с золотыми монетами», вернула себе давно утраченное ощущение прикосновения к запредельному. Она вспомнила, поняла, что есть кое-что кроме денег, вслед за Павлом осознала и признала бессмысленность любого накопления, кроме духовного самосовершенствования. Устав от стремительной и беспощадной гонки за прибылью Вера Сергеевна выбирает любовь (правда, сумев сохранить и материальное благосостояние). Весьма актуально: Сергей Козлов предлагает задуматься об истинных ценностях в наше прагматичное, меркантильное время. И цитата из эпилога: «И если кто-то скажет, что таких счастливых историй не бывает и любовь такой силы невозможна, смею возразить: все бывает и не все проходит».

Первое стихотворение: 100 русских поэтов XVIII–XXI вв. Мое стихотворение: прил. к антологии монографии «Последнее стихотворение»/ авт.-сост. Ю. В. Казарин. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. — 620 с.

Первой, в том же, 2011 году, вышла антология-монография «Последнее стихотворение» — собрание последних стихотворений, созданных русскими поэтами на

протяжении XVIII–XX веков. Уникальный поэтологический материал дал возможность в неожиданном ракурсе взглянуть на творчество и судьбы ста поэтов, оставивших в русской культуре заметный след. В предисловии Юрий Казарин, поэт, лингвист, профессор Уральского университета рассматривает генезис, динамику, развитие и структуру русской поэтической личности. Логически оправданно появление и следующей антологии, «Первое стихотворение». Эта антология содержит ранние стихотворные опыты и ювенальные стихотворения более 100 поэтов XVIII–XXI веков, от Василия Третьяковского (1703–1768) до Бориса Рыжего (1974–2001), а также краткие биографические сведения об авторах и поэтологическую информацию, касающуюся начального периода творчества каждого из них. И если, с точки зрения составителя, последнее стихотворение — это языковой и культурный факт духовного мужества, то первое стихотворение является началом антропологического, лингвокультурного и духовного становления и возмужания. «Последнее стихотворение — это факт не столько биографический, сколько социальный, издательский, культурный, вообще литературный, тогда как первое стихотворение — это явление прежде всего личностное, антропологическое, одновременно и потайное, и случайное (в детские годы все пишут!), и даже зачастую — не обязательное. Если существование последнего стихотворения — факт общедоступный в силу эсхатологического интереса любителей поэзии, то первое стихотворение — это чаще всего или тайна, или текст, прочириканный, пропетый ребенком, как птичкой. Пойди найди его!». Ювенальный период творчества любого поэта интересен тем, что в нем представлены практически все приметы и признаки индивидуального языка и поэтики автора. Детство текстотворца — важнейший период не только активации языковых способностей, но и развития языковой и текстовой личности в целом. Детский взгляд, детская точка зрения, а точнее, поле зрения, остаются базой, основой первоначально чистого и свободного отношения к миру и творчеству. Поэтический талант, как и талант любого другого качества, — явление загадочное. И в предисловии Ю. Казарин подвергает это загадочное явление подробному анализу: что такое языковая поэтическая способность, как происходит «пробуждение» языковой поэтической личности, какие факторы способствуют ее появлению и проявлению. Как и когда начинает работать языковая, в данном случае поэтическая, форма сознания. Каковы компоненты языковой способности, как они проявляются со времени появления ребенка на свет, когда и как активируются — звуковая, фонетическая, фонологическая... Как формируется и функционирует способность создать текст, отражающий ту или иную картину мира — научную, публичную, художественную, наивную, религиозную, философскую... Что и как влияет на процессы языковой деятельности, на становление личности поэта. Проникновению в сущность природы поэзии помогают включенные в предисловие воспоминания о начальной поре своего сочинительства таких поэтов, как В. Ходасевич, С. Гандлевский, Б. Пастернак. И. Бродский. Академические издания поэзии, литературоведческие и библиографические исследования почти всегда фиксируют и представляют ранние (детские, юношеские) опыты поэтов. Но «первое стихотворение» — термин в достаточной степени неопределенный и многозначный. Это и реально, физически и хронологически первое стихотворение; и первое письменно зафиксированное стихотворение; и первое стихотворение, открывающее академическое собрание стихотворений того или иного автора; и стихотворение, признанное автором в качестве первого; и стихотворение, признанное близкими поэта, биографами в качестве первого; и первое «настоящее», подлинно талантливое стихотворение. Поэтому в антологии отображена парадигма первого стихотворения, и первое стихотворение оказывается не единичным. В хронологическом порядке

предстает вереница русских поэтов: имя, отчество, фамилия (псевдоним) поэта, даты рождения и смерти. А далее, после необходимых биографических данных публикуются первые поэтические опыты, сохранившиеся ранние стихотворения, первая публикация (время, издание), стихотворение, обычно открывающее собрание сочинений, стихотворение, которое автор считал первым профессиональным. Естественно, в каждом случае возможны вариации, в зависимости от того наследия, что сохранилось, что удалось обнаружить. Завершается книга разделом «Мое стихотворение», где составитель выборочно приводит любимые стихотворения разных поэтов и субъективные, лирические комментарии к ним.

Юлия Щербинина. Пособие по укрощению маленьких вредин. Агрессия.

Упрямство. Озорство. М.: ФОРУМ: НЕОЛТТ, 2013. — 256 с.: ил.

Представление о детстве как особом понятии и специфическом периоде жизни человека возникло только в XVII веке. С конца XVIII–начала XIX века до наших дней отношение к детям и детству менялось. Как? Этому в книге посвящен небольшой исторический экскурс. Но каковы бы ни были педагогические воззрения разных эпох, проблемы те же: дети упрямые, капризные, непослушные. Вредины, которые постоянно досаждают другим, в первую очередь родителям, создают конфликтные ситуации, попадают в опасные для себя переделки. В противостоянии детей и взрослых Юлия Щербинина, доктор педагогических наук, видит проблему не только психологическую и педагогическую, но также философскую и языковую. Эта проблема не сводится к отношениям «отцов» и «детей», взаимодействию разных поколений. Имеет место и несовпадение картин мира взрослых и детей, и разница восприятия жизни, и различия в речи, и несоответствие речевых кодов, способов общения, форм коммуникации. Мы действительно говорим с детьми на разных языках. «Когда мы называем малышей «вредными», противными», «ужасными», «несносными» — мы лишь выражаем то, что на детском языке называется совсем иначе. Например, «веселье», «поиск», «подвиг», «чудо, «волшебство»...» В литературе и в жизни бытуют три метода борьбы с детской вредностью: нравоучения и нотации; наказание посредством лишения сладостей, игрушек, подарков, развлечений; осмеяние и позор — поставить в угол, на горох, выпороть, закрыть в темной комнате... Но дети по-прежнему вредничают... Важнее инструкций и наставлений, считает Ю. Щербинина, сначала осмыслить глубинную сущность непослушания, пусковые механизмы детской вредности, особенности детского мировосприятия, отраженные в языке. Такое понимание — первый шаг к гармонии и согласию. Сделать шаги к пониманию собственных детей автор предлагает в хорошей компании, вместе с отечественными и зарубежными писателями, выдающимися философами и филологами. Надежным подспорьем являются не только художественные тексты — а выразительных цитат множество, но и тексты научные, а также реальные случаи, кровожадные стишки прошлого и популярные анекдоты про Вовочку, фирменные детские штучки. Литературные сюжеты и символические образы неизменно переводятся в реальную плоскость. Все вместе является богатейшим источником информации и дает калорийную пищу для размышлений. С точки зрения автора, понять механизмы детского мышления и глубинную, исконную сущность воспитательных приемов и правил общения с детьми помогают и этимология (происхождение слов), и семантика (значение слов). Вот один пример, этимологический: «Разница между шалостью и озорством открывается также в происхождении самих слов. Так, древнерусское «шалити» означает «резвиться» — то есть просто активно двигаться, играть, развлекаться, баловаться. Тогда как «озорной» имеет общий корень с такими словами, как «позор», «ззорный» и буквально означает

“такой, на которого смотрят с осуждением”. Иначе говоря, шалун соотносится с озорником примерно так же, как проказник с безобразником». Первые главы, задуманные как небольшой литературно-филологический экскурс, позволяют выяснить, кто такие вредины, как мы управляем детьми и как дети управляют нами, что мы делаем не так. Остальные главы непосредственно посвящены основным, взаимосвязанным формам детской вредности (агрессии, упрямству и озорству), и тому, как с каждой конкретной «вредностью» справляться. Необходимые сведения систематизированы. Например, Ю. Щербинина выделяет четыре основных вида упрямых капризуль: Нытик, Бука, Вымогатель, Привередина. У каждого из капризуль свои мотивы, свои специфические способы воздействия на взрослых, и на каждого есть своя не столь уж замысловатая управа. Системно изложены самые типичные ошибки, которые мешают нам понять детей и научиться с ними ладить: непосильные требования к детям и необоснованные запреты; попустительство, соглашательство, заискивание, потакание; противоречивые или взаимоисключающие установки, требования, запреты; раздражение, нетерпение, отчаяние. И это далеко не полный перечень родительских просчетов, приведенных в книге. Ребенок по своей природе не способен быть все время послушным, спокойным, кротким, утверждает Ю. Щербинина. Неправильно и нелепо списывать все капризы на «врожденную вредность» и «скверный характер», следует обратить внимание, что ребенок с разными людьми ведет себя по-разному, многое в поведении ребенка зависит от взрослого. Так, для снижения детской агрессии стоит использовать нехитрые приемы: проектировать положительные реакции, переключать внимание, похвалить, показать неэстетичность и невыгодность агрессивного поведения. С детьми такие механические запреты как «уйди» и «не трогай», не срабатывают, как не срабатывают и абстрактные требования — «будь хорошим», «веди себя прилично». Необходимы грамотная организация времяпровождения ребенка и создание благоприятной атмосферы: «займись тем-то», «попробуй то-то». Чрезвычайно полезны советы родителям, данные в главе «Детки, в школу собирайтесь»: как ограждать ребенка от ошибок в общении; как научить подрастающего ребенка находить общий язык со сверстниками, как вооружить его навыками грамотного диалога и приемами словесной самозащиты. Даны и тесты: конфликтные ситуации, которые следует проработать вместе с ребенком, разобрать варианты поведения в каждом случае со всех сторон. Практических советов и рекомендаций по укрощению маленьких, от 2-х до 10 лет, вредин, в этой умной, написанной хорошим, доступным языком книге достаточно, чтобы скорректировать поведение своих детей, не только для временного обеспечения своего покоя, но и во благо их будущей взрослой жизни. Надо только помнить, что «хороший дрессировщик — это не Карабас с плеткой, а мудрый и ласковый наставник, тонко чувствующий настроение своих подопечных». В заключении приведены обширные списки: «Что почитать маленьким врединам», «Что почитать о маленьких врединах». Удачно дополняют текст веселые рисунки художника Адольфа Скотаренко.

Александр Тюрин. Русские — успешный народ. Как прирастала русская земля. СПб.: Питер, 2013. — 384 с.

От века IX до начала XX осваивал русский народ материковые просторы северной Евразии: шел в Дикое поле и «черный лес», переволакивал суда и поднимал паруса на неизвестных реках, сражался с врагом, а потом пахал землю и растил хлеб. Расселение шло на юг, от Оки до Кавказских гор, оно охватило Причерноморье, достигло Приднестровья. Уже в X веке русские воины появились на Кавказе, а с начала XVI века в восточной части Северного Кавказа началось формирование

русских казачьих сообществ и не одно столетие происходило мирное и немирное присоединение горских народов к России. В середине XVI века в царствование Ивана Грозного началось не только масштабное освоение Дикого поля, но также было прорублено «окно в Азию». Русские продвигались на Восток, от Поволожья к Юкону, они покорили, колонизировали Сибирь, Дальний Восток и азиатские степи и утвердили себя на Аляске, Алеутских и Курильских островах. Последовательно, с почти энциклопедической полнотой, используя уникальные дореволюционные и современные исследования, Александр Тюрин рассказывает великую и величественную историю разрастания земли русской, историю русского фортифики (Фортифика — граница между освоенными и не освоенными поселенцами землями). На протяжении почти трех веков русское государство создавало сложную и затратную систему обороны от набегов. Ставило крепости и остроги, предтечи будущих городов. Это в советские времена история городов сводилась к пребыванию в них Ленина или пламенных революционеров, но именно годы основания дают возможность узнать, как продвигалась Русь по территориям. В этой книге перечислены все города (большие и малые), все остроги, входившие в системы пограничных укреплений. Только на Белгородской черте, строительство которой продолжалось до 1646 года, встало 23 города, несколько десятков фортов-острогов, протянулось пять больших земляных валов по 25-30 км каждый. После Смуты, вызвавшей активизацию степняков, такие меры были необходимы. В 10-е годы XVI века, когда русское правительство начинает первые оборонительные мероприятия на «крымской Украине», были возобновлены самобытные формы защиты от набегов (засеки, искусственные лесные завалы), использовавшиеся еще в домонгольские времена для обороны от половцев. Вот они — леса заповедные — леса, где проходили засеки, и законом запрещалось их вырубать и без санкции правительства прокладывать через них дороги. В книге подробно рассказано о методах ведения войны со степными и другими народами и о конкретных, многочисленных битвах, походах, набеге. Поименно названы не только русские военачальники, но и рядовые (где возможно) герои былых сражений. Приводятся сведения, вскрывающие «анатомию обычного набеге»: сколько побито, сгорело домов, церквей, скота, припасов, взято в полон людей, людей с женами и детьми — шести, пяти, трех, двух лет. (Детей вообще забирали охотно — легко перевозить, легко продать). Перечислены, описаны все виды оружия, которое использовали русские воины. Повествование, в которое входят сведения об организации жизни пограничных войск и общин (от Москвы до самых до окраин), о быте и укладе жизни мирной и военной, хозяйственной, — отнюдь не сухое перечисление цифр и фактов, но рассказ эмоционально насыщенный, почти поэтический. Среди устроителей земли русской были крестьяне, дворяне, боярские дети, стрельцы, казаки. Они жили по-крестьянски, но сражались как воины. Когда взрослые казаки находились в походах, в секреты и «залог» назначили малолеток от 13 до 17 лет, иногда «казачата» держали оборону острогов. И побеждали, и гибли. О казаках — гребенских, терских, моздокских, яицких, об их русских корнях — в этой книге сказано немало. Автор, как и его дореволюционные предшественники-исследователи, не боится «страшного» словосочетания: «покорение народов». Да, непростые отношения складывались с чувашами и мордвой, долгое время воинственными оставались башкиры, калмыки, ногайцы, черемисы, остяки. Но какие-то народы присоединялись мирно, какие-то вели войны с русскими до тех пор, пока их не прижимали более сильные соседи, и тогда они переходили под покровительство русского царя. Автор доказывает, что расширение российской земли было вызвано отнюдь не агрессивностью русского государства, но рядом факторов: в первую очередь необходимостью вести оборону

от набегов, а также нуждой в землях, которые можно ввести в сельскохозяйственный оборот, особенностью русских природно-климатических и географических условий. Была и глубинная, цивилизационная причина: противостояние двух хозяйственных систем, русской, земледельческой и кочевой, скотоводческой. Освоение пространств явилось делом единого государства и единого народа. Все слои общества несли четко обозначенные обязанности, все работало на главную цель — построение большой защищенной страны. И не холопский характер русского человека, а осознанная необходимость побуждали русских служить своему государству и государю. Роль государства (не всегда однозначно успешная) на разных этапах, от века IX до начала XX, подробно рассмотрена в книге. На протяжении всей книги проходят сопоставление двух типов колонизации — русской и западной. Не в пользу последней. «Российское государство, как показала история, нигде не нуждалось в изгнании или истреблении туземных народов, в лишении их земли, обычаев, языка. Русская нация была, по сути, социальной машиной по оккультурированию пространства, по превращению зон присваивающего и набегового хозяйства в мир производящего хозяйства». Касается А. Тюрин и антироссийской деятельности западных стран — сначала Польши, Литвы, затем Турции, Англии, столкновение интересов шло постоянно. В этой, информационно насыщенной книге нашлось место и для полемики с либеральными историками. «Либералы, взявшиеся писать и говорить о нашей истории, легко пробегают мимо русского фронта XVI–XIX веков и, уж конечно, не замечают его жертвенной роли. Пожалеть младенца можно лишь тогда, когда его каким-то образом причислили к «жертвам царизма». Тут будет политический смак и либеральное удовлетворение. А если младенца сжег, утопил или рассек саблех степной или горный «борец против самодержавия», то и вспоминать тут нечего. Мягко снаружи, но суров внутри российский либерал». Борьба Московского государства с кочевниками евразийской степи во многом сформировала его и определила его черты, как позитивные, так и негативные, считает А. Тюрин, и когда эта многовековая борьба выбрасывается из исследования, то теряется значительная часть содержания русской истории, а искусственно созданная пустота заполняется мифами, антиисторическими и часто русофобскими. И если российские либеральные историки конца XIX–начала XX века немало сокращались, что личность в Московской Руси была подчинена государству, то их современные продолжатели уже объявляют всю российскую историю неправильной. Через всю книгу проходит боль за то, что история того, как русские осваивали пространства — забытая и молчащая. Уральские казаки, сидя в реданке, отбивались один против десяти, ходили в чистое поле на превосходящего противника. Казаки одолели степь и пустыни. Остался не воспетым в нашей литературе и кино даже наш спецназ XIX века — казаки-пластуны, проводники и разведчики. Только вот герои экранов не они, а ковбои или ниндзя. Движение русских первопроходцев от Урала до Тихого океана и движение англосаксонских пионеров от Атлантического побережья до того же Тихого начались примерно в одно и то же время, на рубеже XVI и XVII веков. Русские пересекали тайгу, тундру, ледяную пустыню, Ледовитый океан, англосаксы — в основном широколиственные леса и прерии, где паслись несметные стада бизонов. Наш путь был примерно в 1,8 раза длиннее. Наши вышли на побережье океана через полвека, американцы только через два столетия. Подвиги наших первопроходцев, их имена преданы забвению. О людях, создавших самую большую страну в мире, Россию, фильмы не снимают. А. Тюрин пишет другую, подлинную историю русских — историю успешного народа, проделавшего огромную цивилизационную работу на одной шестой части земной суши. Были ошибки, но великих свершений — больше. «Предки построили для нас огромный

дом — Россию, к которому последние 20 лет мы относимся без должной ответственности, не задумываясь разваливая и разоряя его.... После 1917 года, несмотря на революционный погром казачества, многие направления русской колонизации сохранились, а с конца 1920-х годов она обрела четкую связь с планами индустриального развития СССР. Град сокрушительных ударов обрушился на наш фронт в последние 20 лет. Наша страна стала последним крупным объектом капиталистической колонизации, превращаясь в эксплуатируемую периферию. Однако у нас появится будущее, причем гораздо более яркое и интересное, чем у Европы, если мы снова приступим к освоению наших бескрайних пространств, если возродим русский фронт».

Евгений Овечкин. Российская Врангелиана — Wrangeliana Rossica. СПб., 2011–2013. Вып. 1 Петербургские годы архитектора Врангеля: Михаил Александрович Врангель (1886–1963). — 2011. — 80 с.; вып. 2. Кавказец из рода Врангелей: Александр Евстафьевич Врангель (1804–1880). — 2011. — 250 с.; вып. 3, 4. Мои экспедиции к Врангелям: Земля Псковская и Витебская. Земля Елецкая и Тульская. — 2012. — 215 с.; вып. 5. Петербургский акушер: Карл Федорович Врангель (1799–1875). — 2013. — 600 с.

Представители древнего рыцарского рода Врангелей жили и служили в России на протяжении почти трех веков, со времени создания Петром Великим в 1721 году Российской империи. Многие Врангели уехали после революции, но некоторые остались в «красной империи», представители рода Врангелей и поныне живут в РФ. На протяжении веков Врангели избирали военное поприще, но среди них были и видные ученые, художники, композиторы, архитекторы. Их вклад в историю и культуру России внушительен. В честь мореплавателя барона Ф. П. Врангеля названы острова в Чукотском и Баренцевом морях, бухта и мыс в Беринговом море, мыс Врангеля в Охотском море. В честь его сына, Ф. Ф. Врангеля, тоже мореплавателя и гидролога — мыс Врангеля в Карском море. Искусствовед Н. Н. Врангель первым заговорил о сохранении художественных и исторических памятников-некрополей в России. История рода Врангелей подробно освещена в двухтомнике «История рода Врангелей» (Берлин, Дрезден, 1887). Но в России история рода Врангелей мало исследована: при советской власти фамилия ассоциировалась с «черным бароном», предводителем вражеских сил времен Гражданской войны, и хотя сегодня «черный барон» сменил цвет, стал «белым генералом», его полуполюгендарная фигура заслонила других представителей рода. Дискредитации фамилии послужил и такой, казалось бы, невинный прецедент, как выход в середине 1970-х мультсериала «Приключения капитана Врунгеля» (по одноименной книге А. Некрасова, изданной в показательном 1937 году). Возможно, целенаправленно уничтожались и надгробия: из почти шестидесяти захоронений Врангелей, существовавших до 1913 года на некрополях Петербурга, удалось отыскать только три. Главная цель, которую ставит перед собой автор «Российской Врангелианы», действительный член Русского географического общества Евгений Овечкин — как можно полнее представить публике вклад Врангелей в развитие российской цивилизации и культуры. Есть и прикладная задача — способствовать сохранению наследия рода Врангелей в России и его включению в культурную жизнь современного российского общества. Среди героев книг, героев, в современной России забытых почти полностью, архитектор Михаил Александрович Врангель, выпускник Петербургского института гражданских инженеров, с 1922 года по 1938 главный архитектор Севастополя; Александр Евстафьевич Врангель, видный военачальник

русской армии XIX века, участник покорения и умиротворения Кавказа; повиватель среди воителей, петербургский акушер Карл Федорович Врангель. В своей работе исследователь рода Врангелей использовал уникальные, рассеянные по разным хранилищам России и ближнего зарубежья документы, в том числе никогда не публиковавшиеся ранее, частные письма, легенды, семейные предания. В итоге — не просто портрет героя на фоне эпохи, но и сама эпоха (вернее, эпохи, воссозданные в удивительных подробностях, деталях). Это и повседневная жизнь Института гражданских инженеров, на рубеже XIX–XX веков превратившегося в крупнейший в России архитектурно-строительный вуз: правила поступления, учебный курс, изучаемые дисциплины, преподаватели и ученики. Этот институт окончил архитектор Врангель. Приводятся его обращения и заявления к руководству Института, список сданных работ — чертежи, проекты, рисунки, расчеты, диплом, отметки за работы. Рассказано о первой практической работе, еще студенческой — на строительстве гостиницы «Астория», дана краткая история заводов, с которыми М. А. Врангель сотрудничал впоследствии. И конечно, много сказано о строительстве в довоенном Севастополе. Современным обликом своим во многом обязанным М. Врангелю. Впервые за полтора века появлялась работа, посвященная видному отечественному военачальнику, участнику кавказской войны, генерал-адъютанту, генералу от инфантерии барону Александру Евстафьевичу Врангелю. Он был одним из тех, кому в 1859 году суждено было решать судьбу сильного и опасного врага Российской империи — предводителя мюридов имама Шамиля. Восстанавливается весь его полувековой путь служения: руководимые им военные экспедиции, личные подвиги и гражданские свершения на благо Кавказа, а вместе с тем и важные страницы истории покорения Кавказа. Удивительный, неизвестный Петербург — Петербург акушерский, Петербург Деторождающий предстает в выпуске, посвященном петербургскому акушеру Карлу Федоровичу Врангелю. Автор знакомит нас со всеми родовспомогательными заведениями Петербурга середины XIX века, с придворными госпиталями и лазаретами города, куда доктор Врангель приглашался для консультаций и содействия. Подлинные акушерские отчеты дают возможность прикоснуться к труду акушеров, увидеть то, что скрыто за цифрами и сводками отчетных ведомостей. Быть может, впервые появилась возможность так полно познакомиться с деятельностью Придворной медицинской части, образованной в январе 1843 года для обслуживания не только лиц императорской фамилии и многочисленной свиты, но и всех служащих министерства двора. Службе в Придворной медицинской части доктор Врангель посвятил более 20 лет, с 1849 по 1872. В жизни К. Врангеля был не только петербургский, но и дерптский, берлинский периоды, о чем также подробно рассказано в книге. Скрупулезно Е. Овечкин восстанавливает адреса проживания своих героев, а вместе с историей домов и их владельцев. Особым можно считать выпуск, посвященный «экспедициям к Врангелям» («Земля Псковская и Витебская. Земля Елецкая и Тульская»). Их автор совершил в 2009–2010 годах с целью отыскать, обследовать, осмотреть следы бывших владений, останки парков, фрагменты семейных кладбищ, а также поработать с архивами, выявить неизвестные ранее документы, познакомиться с потомками. «Российская Врангелиана» — это первое целостное изучение истории рода Врангелей и их наследия в России, труд, в котором собраны в единое целое множество исторических, биографических и краеведческих фактов. Но исследованиями Е. Овечкин не ограничивается. Безвозвратно утрачено многое, но есть еще возможность восстановить, сохранить, вспомнить. И он предлагает, предлагает организовать историко-медицинский клуб по изучению и популяризации биографического наследия петербургских акушеров, поместить в доме на Гагаринской улице Петер-

бурга, где когда-то по инициативе Карла Врангеля был открыт родильный покой, предназначенный для оказания акушерской помощи «бедному классу людей», памятную доску. И, посетив бывшую усадьбу видного тульского лесоведа П. И. Левицкого — тестя «Елецкого барона» А. К. Врангеля, обращается в Федеральное агентство Лесного хозяйства (Рослесхоз) с просьбой об оказании поддержки в спасении и сохранении уникального памятника природы «Каменного» леса.

Альмира ханум Тагирджанова. Мусульмане в жизни и культуре Петербурга (XVIII–XIX вв.). СПб.: Полторак, 2013. — 82 с.: ил.

С самого своего основания Санкт-Петербург складывался как город многонациональный и поликонфессиональный. Одним из основных поставщиков строителей рабочих для будущей столицы была Казанская губерния, — за кронверком Петропавловской крепости, в Татарской слободе жили калмыки и мусульмане-татары, возводившие город. В строительстве Кронштадта участвовали башкиры. В молодой Петербург прибывали посольства из Персии и Бухары. Повышенный интерес к мусульманскому Востоку, повышенное внимание к собственным подданным-мусульманам со стороны властей Российской империи было закономерно: страна жила в мусульманском окружении, присоединялись новые, населенные мусульманами земли: Крым, Закавказье, Средняя Азия. Кроме того, русское дворянство имело татаро-булгарские корни и гордилось своими предками. Одна из основных тем выполненного в хронологической последовательности исторического очерка А. Тагирджановой — политика царского правительства по отношению к мусульманам, государственные акты, направленные на урегулирование конфессиональных отношений, указы осуществленные и неосуществленные. Среди указов и те, что касались и возвращения (при Екатерине II, в отличие от предшественниц, более мягкой по отношению к мусульманам) дворянских титулов бывшим татарским князьям (мурзам), и образования мусульманских приходов в провинции и столице, и строительства мечетей в губернских городах (а типовые проекты разрабатывались в столице). Со времен Петра I поощрялось изучение арабского, персидского языков, именно при нем был напечатан первый русский перевод Корана, выполненный с французского перевода середины XVII века, на арабском языке текст Корана впервые был напечатан при Екатерине II. Вообще в Петербурге с конца XVIII века не было недостатка в литературе о мусульманском Востоке. Печаталась и законодательная и учебная литература на родных для жителей России языках. Мусульманская тема находила свое отражение в русской литературе, архитектуре, живописи, музыке. Внимание русской науки и культуры к восточной теме, в том числе в ее мусульманско-религиозной окраске, в немалой степени определялось также и политической жизнью России первой половины XIX века: войны с Турцией, Персией, острота кавказского вопроса. Культурная составляющая мусульманского присутствия подробно рассматривается в книге. Представлена целая галерея портретов мусульман-ученых XIX века, работавших в Санкт-Петербурге: профессор арабской словесности, автор трудов по арабским языкам Шейх ат-Тантави, выдающийся российский ориенталист, каллиграф и переводчик М. Топчибашев, известный татарский ученый-ориенталист Х. Фаизханов, крупнейший ученый-ориенталист, первый декан факультета восточных языков А. Казем-Бек... Не случайно III международный съезд ориенталистов проходил в Петербурге (1876). В нем принимали участие представители 25 стран, делегаты от ученых мировых сообществ и организаций, представители Азиатской России в ярких национальных костюмах, а также российские офицеры-мусульмане. Последнее тоже не случайно: если первыми мусульманами молодой столицы были строительные ра-

бочие, то спустя столетие мусульманская община города состояла главным образом из военных — офицеров гвардии и низших чинов. Верховная власть грамотно включала мусульман в активную жизнь страны. Николай I решил довериться инородцам после декабрьского выступления 1825 года. Был учрежден Собственный Его Императорского Величества конвой из «азиатцев», в том числе с целью показать, что правительство ищет не угнетения инородцев, но их благосостояния, относится к ним с доверием. В 1836 году по повелению Николая I появилась Команда лезгин, а в 1839-м — Команда мусульман-азербайджанцев (первых азербайджанцев Петербург увидел после присоединения к России в 1813 году примыкавших к ней северных азербайджанских ханств). Иноверцы служили доблестно. Но и власть требовала от православного большинства выполнять определенные правила по отношению к зачисленным в полк горцам: не давать свинины и ветчины, не запрещать умываться по обычаю несколько раз в день, не подвергать телесным наказаниям, запретить насмешки дворян и стараться подружиться с горцами... Мусульманским гвардейцам в казармах выделялись специальные помещения для богослужений, поэтому азан, призыв к мусульманской молитве, звучал в Таврическом дворце и Михайловском замке, принадлежащих военному ведомству. В книге много малоизвестных фактов, цитат из малодоступных архивных источников и столичной прессы, приведены выдержки из мусульманских изданий конца XIX века — еженедельной газеты «Переводчик», издававшейся в Бахчисарае, и газеты «Казанский телеграф». Автор не рисует идиллическую картинку, проблемы были — с невыполнением благих намерений по организации мусульманских приходов, с выпуском газет. И все-таки показательной кажется реакция на программную статью газеты «Переводчик» православных и мусульман: русский цензор мусульманских изданий В. Смирнов не соглашался с тезисом о педагогической обездоленности мусульманского юношества, тогда как все русские учебные заведения для мусульман были открыты, а мусульманская элита не считала правомерным раздувать религиозную ненависть в стране, выставлять мусульман как исконных врагов христианства и сеять взаимную вражду и недоверие. И если государство в лице своих чиновников не упускало из виду вопросы воспитания и просвещения, должны формировать «уважение к русскому монарху» и российскому государству, не допускать мыслей, враждебных русскому государственному началу, то и мусульманская элита была против того, чтобы возвращать неприязненные чувства к русскому народу, сожаление об участи мусульман. А в общем, это книга о том, как мусульмане наравне с православными создавали Петербург, страну, российскую культуру и науку.

Публикация подготовлена
Еленой Зиновьевой

*Редакция благодарит за предоставленные книги
Санкт-Петербургский Дом книги (Дом Зингера)
(Санкт-Петербург, Невский пр., 28, т. 448-23-55, www.spbdk.ru)*

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НЕВА» ЗА 2013 ГОД

Проза

- Аствацатуров А. Дуэль в табакерке. Каприйский сон. *Рассказ*. II, 112.
Беккин Р. Аскар и его брат. *Повесть*. I, 9; В поисках Баумана. *Казанская быль*. VIII, 113.
Бобылёва Д. Забытый человек; Супруги Сивоконь. *Рассказы*. VII, 130.
Вялков П. Летописец. *Рассказ*. V, 88; Нестор. *Рассказ. Посвящается девятистолетнему юбилею первой русской летописи*. XII, 96.
Гамаюнов И. Щит героя. V, 39.
Гвелесиани Н. Мой маленький Советский Союз. *Роман*. XII, 6.
Запольских В. Любовь к ошибкам. *Повесть*. VI, 7.
Кожев Д. Сломанные часы; Сонная радуга. *Рассказы*. I, 40.
Каримов Г. Тихий Оза. *Рассказ*. VIII, 128.
Кураев М. Саамский заговор. *Историческое повествование*. IV, 27.
Курзаков О., диакон. Былинки. I, 128.
Ласкин А. Параллельное кино. *Повесть-воспоминание*. II, 10.
Левенгарц В. Соната для фортепьяно «Зима в России». *Рассказ*. V, 146.
Летц Ю. Человек-он и деревянный чемодан; Башня. *Рассказы*. VII, 143.
Лорченков В. Последняя любовь лейтенанта Петреску. *Роман*. III, 10.
Мадорская Н. Ой, цветет калина... Лариса в Зазеркалье. *Рассказы*. VI, 119.
Михайлов И. Созвездие Базилевса. Отдых. Бамбалея. *Рассказы*. IV, 9.
Наговицына Е. Несколько длинных военных дней; Ми-24; Тонкая струна. *Рассказы*. V, 9.
Нагорнов И. Морок. *Повесть*. X, 67.
Непогодин В. Французский бульвар. *Роман*. VII, 8.
Петерсон В. Невыдуманные истории. *Рассказы*. V, 134.
Ратников А. Репортериум. *Повесть*. I, 66.
Родионов М. Тямлевы. *Конспект романа*. X, 8.
Рузавин Р. Тебе жить. *Роман*. VIII, 6.
Рыбаков В. Палец. *Рассказ*. III, 119.
Скурихин Д. Регги-роман. XI, 8.
Тюгаева Е. Всемогущий поезд. *Рассказ*. XII, 118.
Федотов В. Запах гари. *Рассказ*. X, 137.
Филиппов Д. Другой берег. *Рассказ*. VIII, 140.
Хасавов А. Джинны; Ассистент Стивена Сигала. *Рассказы*. VII, 106.
Шульц Л. Лоскутки и обрывки. *Повесть*. II, 67.
Шумейко И. Вещество Веры. *Федеральный роман*. IX, 9.
Янковская Т. И вот она стоит ласточкой на камне. *Рассказ*. XI, 92.

Поэзия

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| Бауман А. II, 62. | Городницкий А. III, 3. |
| Бельский С. I, 36. | Григорьев А. XI, 3. |
| Беспалько В. VIII, 3. | Добровольский А. VII, 125. |
| Брюховецкий В. V, 82. | Дударев В. IX, 3. |
| Васильев С. III, 115. | Дьячков А. I, 134. |
| Вепрёв А. XI, 86. | Зиновьев Д. V, 34. |
| Габриэль А. IV, 24. | Зубарева В. II, 108. |
| Гампер Г. VIII, 109. | Каминский Е. IV, 3. |
| Гарбер М. IV, 131. | Комаров К. I, 3. |
| Гиацинтова Ю. VII, 3. | Коньков Ю. IX, 128. |
| Година Н. IX, 125. | Лихтенфельд Б. VIII, 124. |
| Горбовский Г. X, 3. | Машинский Л. V, 112. |

- | | |
|----------------------|------------------------|
| Морозов Г. XII, 114. | Файзуллин Р. I, 61. |
| Морозова Ю. I, 125. | Фрегатов П. VIII, 136. |
| Пояркова А. III, 133 | Хосид Б. XII, 3. |
| Рубанов Р. VII, 102. | Шацков А. V, 3. |
| Рубина М. XI, 98. | Шемшученко В. VI, 3. |
| Сосновский В. II, 3. | Ширали В. X, 63. |
| Страхова Л. X, 134. | Шостак Е. XII, 90. |
| Сурнина И. VI, 113. | |

Публицистика

- Базиева Г. Зона риска и риски зоны. VIII, 168.
Беркович Е. Одиссея Петера Прингсхайма. V, 156.
Горюнок С. II. О предпосылочных основаниях культуры. II, 127; В рабстве у слов. VIII, 149.
Лурье Ф. Хранители прошлого. IV, 148.
Петин В. Радиофобия и радиационный гормезис. IV, 136.
Рыбаков В. Утопия и управленцы. IX, 169.
Сизов Б. Об отце. *Вступительное слово Михаила Кураева. Публикация подготовлена Ларисой Шахворостовой.* VII, 151.
Солов В. Без гнева и пристрастия. X, 142.
Фрумкин К. Закономерности духовных революций. XI, 102.
Шумейко И. Три парадокса династии Романовых. I, 137.
Шустов А. Похищение Римской империи. Расследование исторической манипуляции. III, 139.
Яковенко И. Русская православная церковь в меняющемся мире: Судьбы традиционного комплекса культуры. VI, 129.

Экзистенциальное путешествие

- Бачинин В. Tolstoyevsky-trip. Опыты сравнительной теологии литературы. Опыт первый. Наша фельетонистическая эпоха, или Духовная война между нулем и бесконечностью. I, 150; Опыт второй. Между верой и безверием, или Теология кризиса. II, 190; Опыт третий. Иов-вариации, или Теология страдания. III, 211; Опыт четвертый. Русская духовная смута, или Теология экзистенциальной аномии. IV, 196; Опыт пятый. Энергия заблуждения, или Анатомия гуманитарных соблазнов. V, 198; Опыт шестой. Богословие бунтующего Льва: мятеж против Христа и Шекспира. VI, 191; Опыт седьмой. Мистический опыт и рассудочное информаторство. VII, 165; Опыт восьмой. Взрослые «русские мальчики», или Теология Ивана Карамазова. VIII, 175; Опыт девятый. Настасья Филипповна и Анна Аркадьевна, или Теология зла. IX, 169; Опыт десятый. «Скотопригоньевская» цивилизация смерти, или Инфернальная экзистенциология исторического поражения. X, 192.

Критика и эссеистика

- Айзенштейн Е. «Сокровенное в слезах, едва прошептанное слово». *Образы Бога и поэта в творчестве Елены Шварц.* V, 175.
Аннинский Л. Разум и смысл. *Читая публицистику Льва Толстого.* XII, 128.
Бердников Л. Щеголь павловских времен. *Из забытого прошлого Петербурга.* V, 198.
Большев А. Литературная формула любви. IV, 158.
Ефимов И. Гении и маски. *О книгах Петра Вайля.* X, 150.
Краснухина Е. Грани жизни. III, 200.
Лурье Ф. Окаянный пасквиль. XII, 162.

- Мазур Т. «Сегодня на нашей улице праздник!». *К истории Музея-квартиры А. С. Пушкина*. II, 182.
- Набоков Н. Кузевский. Рождество со Стравинским. *Главы из книги «Старые друзья и новая музыка»*. Перевод с английского и примечания Михаила Ямщикова. Подготовка текста и вступительные очерки Евгения Белодубровского. XI, 113.
- Румер-Зараев М. На стыке трех времен. *Исторический очерк: ислам – иудаизм – христианство*. XI, 157.
- Седова Г. В поисках «бедной Кати»: эльзасские впечатления. II, 145.
- Синдаловский Н. Легенды великих страстей человеческих. IV, 171.
- Щербинина Ю. Оскорбительная критика: опыт отражения. I, 159.
- Ястребенецкий Г. Теплые осколки. VI, 159.

Круглый стол

- Питер: Культурный слой-2012. I, 173 (И. Н. Сухих, С. В. Друговойко-Должанская, А. М. Мелихов, А. Козакевич (ведущая); Е. Кузьмина; Н. Афанасьев; А. Шмидт; А. Короткова; А. Ефимова; Т. Кайль; В. Овсянникова; Л. Агакеримова; Н. Зайцева; Т. Степанова).
- Протест-2012 (Лев Аннинский, Вячеслав Рыбаков, Роман Арбитман, Борис Колоницкий, Владимир Елистратов, Андрей Заостровцев, Сергей Гавров, Михаил Кураев, Каспер Калле, Ольга Кугкина, Мария Ремизова, Валерий Столов, Вера Калмыкова, Константин Фрумкин, Елена Краснухина, Адам Кузнецов, Елена Иваницкая, Александр Мелихов, Евгений Ермолин). III, 164.
- Каким быть учебнику истории? (Лев Аннинский, Сергей Гавров, Яков Гордин, Владимир Елистратов, Евгений Ермолин, Елена Иваницкая, Вера Калмыкова, Каспер Калле, Елена Краснухина, Михаил Кураев, Александр Ласкин, Александр Мелихов, Владимир Соболев, Валерий Столов). X, 169.

Петербургский книговик

- Айзенштейн Е. «Дорогой подарок царь-Давида...». *Псалмопевец Давид в русской поэзии XIX–XX веков*. IX, 180; Вместо письма. X, 231.
- Амусин М. Литература и революция. VII, 174.
- Аннинский Л. Страсти по Георгию. XI, 168.
- Архимандрит Августин (Никитин). Великая княгиня Анна Павловна (1795–1865) – королева Нидерландов. I, 225; Святой Виллиброрд епископ Утрехтский. II, 241; Босх из Хертогенбоса. IV, 239; Русско-голландские «колокольные» связи. V, 229; Голландская духовная поэзия в России. VII, 235; Дордрехт – «Перл Голландии». VIII, 235; Голландия – страна тюльпанов. IX, 237; Сыр – всему голова (Алкмар, Эдам). X, 251; Хорн. XI, 243; Голландские символы. XII, 231.
- Бердников Л. Анна Иоанновна и евреи. Бироновщина или липмановщина? X, 238; Два лика императрицы. Елизавета Петровна и евреи. XII, 204.
- Войтоловский Л. Трагедия Глеба Успенского. Подготовка публикации *Маргариты Райциной*. IX, 221.
- Глазунова О. О толерантности и терпимости. XII, 215.
- Гранцева Н. Шекспир и проблемы черной магии. IV, 224; Способный изумить Европу. К 270-летию Г. Р. Державина. VI, 227; Незабвенный Херасков. XI, 224.
- Грушко В. Чем люди живы. X, 226.
- Горнфельд А. Эстетика Глеба Ивановича Успенского. Подготовка публикации *Маргариты Райциной*. VII, 198.
- Гушанская Е. Последняя книга. I, 198.
- Давыдов Б. Пошла писать губерния. II, 251.
- Дождикова Н. Слепой мир в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова. IV, 212.
- Залесова-Докторова Л. Генрих Восьмой глазами Хилари Мантел. I, 206; Goncourt-2012. IV, 221.

- Зиновьева Е. «Дом Зингера». I, 246; III, 247; IV, 245; V, 247; VI, 245; VII, 248; VIII, 245; IX, 246; XI, 246; XII, 240.
- Иванов С. Классический след в фантастике Вадима Шефнера. VI, 213.
- Игнатова Е. «Книга с местом для свиданий». XII, 225.
- Капустин Д. Чехов и Корея. *Два эссе*. III, 226.
- Карбасова О. Федор Достоевский. Ускользающая вера. XI, 172.
- Лукин Б. Три вины Николая Дмитриева. *Эссе*. X, 203.
- Макшеев В. И крепка наша горькая связь. II, 201.
- Марченко А. Куда ж нам плыть? XII, 227.
- Неверов А. О свойствах страсти и не только. III, 244; Сращивать, залечивать, соединять. *Конспект с комментариями*. V, 237.
- Никитайская Н. «Дорогой наш Борис Натанович...». IV, 206.
- Новикова-Строганова А. «Грабеж»: «Драмокомедия» русской жизни. VI, 220.
- Поляков А. О смерти Пушкина. *По новым данным. Подготовка публикации Маргариты Райциной*. XI, 205.
- Принцева Г. «Рыцарь бедный на русском Парнасе». III, 235.
- Сенча В. Виктор Сенча. Вшеноры — «болдинская осень» Марины Цветаевой. *Очерк*. X, 216.
- Синдаловский Н. Фольклор внутренней эмиграции. 1960–1970-е годы. VII, 209; Нетерпимость на «улице веротерпимости», или Как отразилась в городском фольклоре эпоха разрушения храмов и глумления над верой. XI, 180.
- Скорый С. Гавань чистого русского языка. V, 243.
- Федотов О. Два пути. X, 227.
- Фрумкин К. Загадка мещанства. *Социологические заметки на полях русских пьес*. II, 229; Соблазнитель. *Размышления о ветном образе*. V, 216; Победа писателей над всемогущим противником. *Божественное всемогущество как проблема литературного стиля*. IX, 205.
- Чайковская В. Карл Брюллов: игра с огнем. III, 220.
- Чайковская И. О пользе мемуарий. III, 238; Войти в зазеркалье. V, 239; Владимир Маяковский и Лиля Брик: сходство несходного. *Раздумья над прожитанными книгами*. VII, 186; Ищу человека. *Заметки постоянного зрителя канала «Культура»*. IX, 215; Хроника объявленной смерти. XII, 221.
- Черкесов В. «Мы вышли из блокадных дней...». V, 212.
- Чисников В. Федя Протасов — агент Охранки?! *Загадка пьесы Л. Н. Толстого «Живой труп»*. I, 211.
- Щербинина Ю. Литературные Моцарты и Робертино. VI, 201; Писательский стол как гинекологическое кресло. *Литература в зеркале перинатальной метафоры*. XII, 193.

Contents

Prose and Poetry

Boris Hosid. Poems • 3

Natalia Gvelesiani. My Small Soviet Union. *Novel* • 6

Elena Shostak. Poems • 90

Pavel Vyalkov. Nestor. *Story. To the First Russian Chronicle 900th Anniversary* • 96

Gennady Morozov. Poems • 114

Elena Tyugaeva. Omnipotent Train. *Story* • 118

Criticism and Essays

Lev Anninsky. Mind and Sense. *While Reading Leo Tolstoy's Publicism* • 128

Felix Lourie. Accursed Libel • 162

Petersburg Bookman

Pro et contra. Julia Shcherbinina. Writer's Desk as a Gynecological Chair. *Literature in a Mirror of Perinatal Metaphor*. **Times and Images.** Lev Berdnikov. Two Faces of Empress. Elizaveta Petrovna and Jews. **The Road to the Reader.** Olga Glazunova. On Tolerance and Toleration. **Reviews.** *Irina Tchaikovskaya.* Chronicle of a Death Foretold. *Elena Ignatova.* Book with a Place for Meetings. *Alla Marchenko.* Where shall We Go... **Pilgrim.** Archimandrite Augustine (Nikitin). Dutch Symbols. **The Singer's House.** *Elena Zinovyeva's publication* • 193–250

Contents «Neva» for 2013 • 251

Издатель: закрытое акционерное общество «Журнал „Нева”». Адрес редакции:
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18. Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург,
а/я 9

Телефон: (812) 314-50-52; e-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaeditor@gmail.com;
nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva/>
Ресурс в сети Интернет: www.nevajournal.ru

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276 и ИД «Экономическая газета» по объединенному каталогу «Пресса России», подписной индекс 42414.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге – в магазинах: «Книжный клуб на Австрийской» (Каменноостровский пр., 13/2 (Австрийская пл.), тел. 232-3307); Центр современной литературы (наб. Адмирала Макарова, 10, тел. 328-6708), Книжная лавка «Исткнига» (Васильевский остров, Кадетская линия, 27/5, литер А, тел. 986-8251), также в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923).

В Москве: в редакции журнала «Знамя» (ул. Большая Садовая, 2/46, тел. (495) 699-4264)

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-2117, 238-4634)

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург: ЗАО «Журнал „Нева”», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства www.nevajournal.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г. выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева”»

Подписано в печать 25.10.2013. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 1/16. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 2800 экз. Заказ № 17.44
Издательство «Журнал „Нева”»

Отпечатано по технологии StP
в ООО «СЗПД-ПРИНТ»
188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, 45 Б